ОЛЕСЬ ГОНЧАР

2

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ВТОРОЙ

ЗЕМЛЯ ГУДИТ

повесть

ТАВРИЯ

роман

Перевод с украинского
И. Карабутенко и Л. Шапиро

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

С (Укр)2
Г 65

Оформление художника
Е. ГАННУШКИНА

Г $\frac{0733—240}{028(01)—74}$ Подп. изд.

ЗЕМЛЯ ГУДИТ

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, присвоено звание *Героя Советского Союза посмертно* УБИЙВОВК ЕЛЕНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ — руководителю подпольной комсомольско-молодежной организации города Полтавы.

I

Над Полтавой плыло бабье лето.

Насколько хватал глаз, вились в голубой вышине бесчисленные белые нити, то плавно опускаясь, то снова поднимаясь в прозрачных потоках воздуха. Одни летели быстрее, другие медленнее, на миг задерживаясь, будто в нерешительности, и снова двигаясь с величавым спокойствием. А из-за крыш домов, из глубокой синевы небес уже появлялись другие и все плыли, плыли без конца, без края. Будто страшная буря где-то там, за горизонтом, рвала гигантские белые паруса, а сюда долетали лишь слепящие шелковые нити, сияющие обрывки далеких разбушевавшихся штормов.

В городском саду притаились настороженные зенитки. По гулким улицам двигались на запад воинские части, грохотали танки, а навстречу им тянулись обозы беженцев. Ревел скот, плакали дети. Тысячами окон, заклеенных крест-накрест бумажными лентами, смотрел оцепеневший город на растревоженный людской муравейник.

Константин Григорьевич Убийвовк сидел в уютном скверике возле обкома партии, сумрачно прислушиваясь к тревожному гулу окружающей жизни и время от времени поглядывая то на часы, то на обкомовскую дверь. Ляли все не было. Прошло уже два часа, как она вошла в обком, попросив отца подождать ее здесь, у витрин с пожелтевшими газетами.

— Почитай пока, папа... Я не задержусь...

За это время Константин Григорьевич, голова которого уже покрылась серебристыми нитями бабьего лета, успел прочитать все, что было поблизости: и газеты в витринах.

и огромную Доску почета, на которой красовались названия передовых колхозов области. Некоторые из них теперь были захвачены врагом. Константин Григорьевич глубоко вздохнул и задумался. Ходят упорные слухи, что враг совсем близко от Полтавы. Да что там слухи: со вчерашнего дня весь горизонт на западе глухо гремит, содрогается.

Дома у Константина Григорьевича сегодня укладывают пожитки, готовятся к отъезду. Жена больна, нужно было бы поторопиться, помочь ей. Но Ляля задерживается. Почему она так долго?

Правда, посетителей много, двери обкома почти не закрываются. Все время туда и сюда снует озабоченный люд. Одни входят, другие выходят, поспешая куда-то с деловым, суровым видом. Может, там какое-нибудь совещание или семинар... Здесь нет места ни для паники, ни для растерянности. Вон, кажется, прошли рабочие железнодорожных мастерских... А это, видно, приезжие с периферии — райкомовцы и председатели колхозов... Вот две молодые женщины с портфелями (наверное, сельские учительницы), еще группа молодежи, вот мать с ребенком на руках... Сколько людей перебывает за день! Все вокруг клокочет, кипит, а обком работает уверенно и четко.

Где-то в этом кипении затерялась Ляля... Странная она была сегодня. Задумчивая, углубленная в себя. Не хотела рассказывать отцу, кто и зачем ее вызывает. Какие у нее дела? Прощается со знакомыми девчатами? Однако для того, чтобы попрощаться, не нужно столько времени.

Солнце уже повернуло на запад, окна обкома ярко зарделись. Константин Григорьевич, окидывая взглядом этажи, старался угадать, сквозь какое из этих больших окон падают солнечные лучи на его Лялю.

А Ляля сидела в кабинете секретаря обкома партии Степана Федоровича Кондратенко. В просторной комнате было багряно от косых лучей заходящего солнца.

Разговор приближался к концу.

— ...Вот тебе, товарищ Ляля, такое задание на первый период,— говорил секретарь обкома, не спуская с девушки внимательных глаз.— Задание, сама понимаешь, особое, партийное...

— Благодарю за доверие, Степан Федорович... А как в дальнейшем?

— В дальнейшем указания будешь получать через связного. Он тебя найдет.

— Хорошо.

— Есть еще вопросы?

— Нет, все ясно.

Секретарь обкома поднялся из-за стола. Ляля тоже встала, ожидая разрешения уйти. Доверчиво, чуточку грустно смотрела она на своего руководителя и наставника. Коренастый, широкоплечий, в военной гимнастерке, он сделал шаг к окну и стоял какой-то миг в задумчивости, вслушиваясь в далекий, едва слышный гул фронта.

— Слышишь, Ляля?

— Слышу, Степан Федорович.

— Уже в нашей области... Хозяйничать пришли, господа арийцы? Но не быть вам тут хозяевами. Не быть.

Секретарь обкома оперся о подоконник стиснутыми кулаками. От его крепкой фигуры и волевого, мужественного лица веяло такой уверенностью и силой, что Ляля почувствовала, как и сама рядом с ним крепнет, впитывает в себя частицы его могучей силы.

— Знаю, товарищ Убийвовк, что непривычно тебе было слушать о связном, о явках и конспирации, когда кругом безбоязненно ходят советские люди, когда твой отец, сидя в скверике, еще спокойно читает наши газеты. Жизнь, как прежде, протекает почти нормально, открыто, еще не ушла в подполье, а мы уже о таких вещах здесь говорим... Правда, непривычно, странно?

Девушка с удивлением посмотрела на него лучистыми глазами.

— Вы будто читаете мои мысли... Очень странно...

— Привыкай, Ляля. Будут большие трудности на нашем пути. Будет тяжело, так тяжело, что ты, может, еще и не представляешь себе полностью... Не забывай, что перед нами враг опытный, коварный, жестокий.

— Степан Федорович, идя к вам, я все взвесила. Я знаю свои возможности. Знаю, что ради счастья нашей Отчизны пойду на все!

— К этому нужно быть готовой. Но думать надо о победе. Наша цель — выйти победителями. В самые трудные минуты, в самой сложной обстановке думай об этом, о народе нашем, попавшем в такую беду. Думай о нем, и это даст тебе силу, твердость, подскажет правильное решение.

— Буду думать. Буду помнить.

...Когда Ляля вышла из обкома, отец понял: что-то произошло. Дочь словно бы повзрослела сразу. Шла уверенная, собранная, серьезная.

Константин Григорьевич, конечно же, не знал, что Ляля сейчас побывала не просто у секретаря обкома, а уже у секретаря *подпольного* обкома партии.

II

Ночью в окно к врачу Константину Григорьевичу Убийвовку кто-то постучал. От этого стука вся темная комната, в которой собралась семья врача, сразу будто наполнилась затаившейся тревогой. Все молчали, хотя никто не спал. Стекла в окнах слегка багровели отблесками далеких зарев. Было слышно, как на диване тяжело дышала Надежда Григорьевна, жена врача.

Через некоторое время стук повторился.

— Слышите? — шепотом вскрикнула тетя Варя.— Это они!

Из открытой настежь спальни мелькнуло что-то белое, на какой-то миг в комнате словно бы посветлело. Босые ноги прошлепали на кухню.

— Ты куда, Ляля? — пропентала тетя Варя.

Белая фигура исчезла и снова появилась в дверях.

— Ляля! — тихо простонала Надежда Григорьевна.— Не ходи!

В темноте все увидели, как в руках у девушки сверкнул топор.

Константин Григорьевич, отстранив дочь, подошел к окну и неестественно громко, чуточку даже с угрозой спросил:

— Кто там?

— Константин Григорьевич, это я,— голос был женский, вкрадчиво-умоляющий.— Это я, Мария Власьевна... Выйдите на минутку!

Тетя Варя облегченно вздохнула.

— Доченька, иди ко мне,— слабо позвала Надежда Григорьевна, нетерпеливо протягивая руки в темноту, чтобы обнять Лялю.

Врач гремел в сенях засовами. Засовы были необычные, недавние — раньше ограничивались одним слабеньким крючком.

— Что вас носит, Власьевна, в эту адскую ночь? — ворчал врач, выходя на веранду.

— Дела, Константин Григорьевич...

— А если застрелят? Возьмут и застрелят. Им ведь недолго.

— Я огородами и садами,— шептала Мария Власьевна почти радостно, хотя врач не видел никаких причин радоваться в такое время.— Их патрули только на главных улицах. А окраин да зарослей боятся!

Константину Григорьевичу показалось, что Власьевна даже лукаво хихикнула в темноте. «Ну и бабы», — подумал врач одобрительно.

— Что же вас привело? — спросил он.

— Прибежала за вами,— продолжала тараторить Власьевна.— Знаю, что не откажете...

Не привыкать старому полтавскому врачу к нежданным ночным визитам. Летом ли, в осеннюю ли непогоду или в лютую зимнюю метель — всегда к нему могли постучать. Молча одевался, чтобы идти, куда скажут: кому-то срочно понадобился он либо в самой Полтаве, либо в каком-нибудь из пригородных сел. К этому он давно привык сам, привыкла вся семья, и никто уже не представлял себе, чтобы Константин Григорьевич мог вдруг отказаться и не пойти спасать знакомого или вовсе постороннего человека. И если бы когда-нибудь врач отказался, то ни сам он, ни кто-либо из членов семьи не нашел бы его поступку оправдания. Но в эту ночь, когда весь город не спит, как перед казнью, когда еще, взрываясь, горят склады на Южном вокзале, освещая половину города, и гудит, грохочет фронт где-то совсем недалеко...

— Куда? К кому?

— К нам, Константин Григорьевич...

Власьевна приникла к самому уху врача и горячо зашептала что-то. Убийвовк слушал, потирая усы.

— Подождите,— буркнул он, выслушав, и направился в комнату.

— Что там, папа? — первой не удержалась Ляля.

— Роды.

— У Власьевны? — с огромным удивлением спросила тетя Варя.

— А хотя бы и так,— глухо пошутил Константин Григорьевич, надевая дорожный плащ, будто собирался в дальний путь.

— Папа,— встала на диване Ляля.— Я с тобой.

— Что?

— Я только провожу тебя, а там подожду во дворе. Вдвоем — не страшно.

— А одному мне страшно? — неожиданно рассердился Константин Григорьевич.— За кого ты меня считаешь?.. Заприте сь на все засовы!

Ляля, накинув халатик, вышла вслед за отцом, чтобы запереться.

— Почему ты не хочешь взять меня с собой, папа?

— Запирай дверь и иди в дом, а то простудишься.

— Пускай простужусь.

Отец сердито заскрипел вниз по деревянным ступенькам крыльца. Ляля, закладывая тяжелый крюк, слышала, как отец и Власьевна заговорили, направляясь к воротам.

— Когда он пришел в себя? — спросил отец Власьевну.

— Еще днем, бедненький, еще днем, когда мы переносили его. И при памяти, и голоса не потерял, только не слышит ничегошеньки. Мы ему и то и се, а он полежит-полежит и снова на весь сарай: «Где мой экипаж?..»

Ляля стояла будто оглушенная. «Где мой экипаж?..» Больше ничего она уже не расслышала. «Где мой экипаж?» Кто это «он», зовущий своих товарищей в каком-то сарае? Летчик, танкист? Ее вдруг пронзила мысль, что это может быть Марко́.

Три года прошло с тех пор, как она впервые встретилась с Марком Загорным. Это было в Харькове, в Дзержинском райкоме комсомола, в золотом месяце сентябре. Навсегда запомнился Ляле этот день. После лекций они, студенты-первокурсники физмата, пошли становиться на комсомольский учет. В райком Ляля шла с подругами, а оттуда возвращалась с Марком. Обоим нужно было зайти в общежитие, а вместо этого они каким-то образом очутились в саду имени Шевченко. Ляля и сама не знала, как все это случилось. Будто это сам сад пришел к ним в тот вечер и обступил со всех сторон деревьями и цветами. И она, требовательная и неприступная, которая до того никогда не позволяла себе оставаться с глазу на глаз с юношей, на этот раз присела на скамейку возле него, малознакомого, далекого и — странное дело! — невероятно близкого! Присела, да так и осталась до поздней ночи, разговаривая с ним обо всем на свете, а когда наступила пора идти домой, то оба уже понимали, что с этого момен-

та они будут всегда вместе, что они необходимы друг другу в жизни, неразделимы.

Эта сказочная ночь была белой, по крайней мере, такой осталась она в памяти Ляли. О чем они тогда говорили? Об университете? Об астрономии, которая захватила их обоих? О море, которого Ляля никогда не видела и на котором вырос Марко? Он был из Мариуполя, из семьи знаменитых сталеваров. Густой загар южного солнца еще лежал на нем. И даже голубая его спортивная рубашка, казалось Ляле, еще сохраняла в себе соленый аромат моря. Весь вечер они разговаривали, удивляясь друг другу. Ляля была поражена тем, как совпадают их взгляды, привязанности, мечты. В глубочайшем, сокровеннейшем, тончайшем разветвлении своих мыслей они неожиданно открыли поразительную общность. И одному и другому собственная жизнь представлялась прежде всего как всеобъемлющее посвящение Отчизне, как служение ей, и только в этом они ощущали трепетную привлекательность своей цели.

С тех пор прошло три года. Пролетело время, как от восхода до заката дня.

Уже в первую неделю войны Марко Загорный пошел добровольцем в армию. Как и о других однокурсниках, Ляля знала о нем лишь то, что его направили в танковое училище курсантом. Возможно, это он, изнемогая сейчас от боли, лежит в каком-то сарае и спрашивает о своем экипаже? Но почему обязательно это должен быть он? Почему не другой Марко, какой-нибудь другой Ляли? Все равно, только бы спас его отец, только бы спас!..

За стеклянной верандой был виден сад, разбитый Константином Григорьевичем в год рождения дочери. Уже столько лет здесь дарили плоды сочные вишни, яблони и груши! Некоторые даже состарились, и врач укрепил их молодыми прививками.

Теперь сад стоял какой-то незнакомый, будто чужой, очерчиваясь верхушками на фоне зловеще красного неба. В глубине за деревьями высился стройный кладбищенский собор, такой ослепительно-белый, будто его только что вылепили дети из первого снега. Где-то дальше, над Зиньковским шляхом, висели в небе неподвижные жуткие «лампады». Между ними, насколько хватал глаз, вспыхивало множество мелких разноцветных ракет. Они взвихривались в темноте, выгибаясь по горизонту в сторону востока и указывая линию недалекого фронта.

Раньше Ляля никогда не видела такого огромного мрачного полыхания огня. Помнится, еще на первом курсе они читали с Марком о звездных дождях. О звездопаде 1833 года ей пришлось отвечать на экзаменах Николаю Павловичу. Кажется, так... В ночь с 12 на 13 ноября в Южной Америке началось необычайное падение звезд. Сотни тысяч метеоритов разрезали небо. Одни из них были размером с луну, другие имели хвосты, будто кометы. Но это величественное зрелище угасло в высоких слоях атмосферы. На землю не упала ни одна звезда... Как жалела Ляля тогда, что сама не была свидетелем этого редкостного явления! И как некстати это вспомнилось ей сейчас, перед этим ливнем диких разнузданных ракет по горизонту! Лучше ослепнуть, чем видеть их над Зиньковским шляхом!

И сколько это будет продолжаться? Неужели этот взвихрившийся вал огня будет продвигаться все дальше на восток, отдаляя от нее близких людей, и планы, и мечты, отдаляя весь тот мир, без которого просто немыслимо представить себе жизнь?

Где-то за городом, быть может, в Артелярщине или у Чутова, еще гремит фронт. На залпы далеких пушек стекла веранды изредка отзываются тонким дрожащим звоном.

Гул становился все глуше и глуше. По мере его отдаления эта знакомая с детства веранда, и настороженный отцовский сад, и белая колокольня за ним — все словно утрачивало знакомый вид и представало перед Лялей измененным, каким-то чужим, будто повернулось к ней другой стороной и теперь с трудом узнавалось.

— Марко, — шептала она, глядя на ракеты, как слепая.— Неужели вы отступили надолго? Неужели вернетесь не скоро? Что же это будет? — с холодным ужасом шептала она. — Скажи мне, Марко!

Ее позвали из комнаты.

Ляля молча прошла к дивану и примостилась возле матери.

— Какие у тебя колени холодные,— ласково промолвила Надежда Григорьевна. Даже голосом своим она словно бы кутала дочку в теплое. — И руки холодные. О чем ты все время думаешь, Ляля?..

— Мама... Мамуся!.. Ма! — Ляля вдруг прижалась лицом к груди матери.— Как мы теперь жить будем, ма?

III

А жить начинали так. Утром Константин Григорьевич встал, вышел во двор и написал на воротах мелом:

TYPHUS — ТИФ

На двух языках — по-латыни и по-украински.

— Если они догадаются, то вырежут нас на месте,— беспокоилась тетя Варя, которая всегда из нескольких возможных ситуаций склонна была предполагать худшую.

— Не вырежут,— потирал руки врач.

Он был еще довольно крепкий, с ежиком на голове, со странным взглядом — будто все время смотрел поверх очков.

— Когда зайдут и будут спрашивать вас, Варвара Григорьевна, или тебя, Надя, чем, мол, кранк, то вы молчите. Я сам буду отвечать. Я этим болванам по-латыни отвечу... Я им, негодям, языком Цицерона скажу, кто они такие...

— Костя, перестань,— простонала жена, отворачиваясь к стене.

Сели завтракать, но и есть сегодня не хотелось. Кроме того, жаркое попахивало керосином. Соседка достала мяса на комбинате и запесла им утром. Тетя Варя ворчала: кто это додумался обливать продукты керосином?

— Видели бы вы их без керосина, — заметила Ляля, неохотно ковыряясь в своей тарелке и время от времени поглядывая в угловое окно.

Раньше это окно в такую пору было открыто днем и ночью, и Ляля утром могла прыгать с низкого подоконника прямо в сад. Сразу за окном росла ветвистая груша с прививками. Вокруг нее девушка каждую весну сажала небесно-голубой вьюнок и огненно-красную фасоль. Потом втыкала в землю лозу, и побеги вились по этой лозе, достигая свисающих веток и цепляясь за них своими усиками. Постепенно под грушей создавалась круглая живая беседка. Там в летнюю жару Ляля, раздевшись, читала все дни напролет. Однажды она попробовала даже спать в этой цветущей беседке, но среди ночи испугалась жабы и убежала на чердак к матери. Мать летом часто спала либо на чердаке, либо под открытым небом на крыше веранды. Теперь и спали в комнате, и окна закрывали наглухо, будто изменился климат.

— Что ты все в сад поглядываешь, Ляля? — спросил Константин Григорьевич, украдкой наливая себе уже вторую рюмку спирта. До сих пор за завтраком он выпивал только одну.— Не бойся, они не придут.

Ляля промолчала.

— Ты думаешь, Костя, что этот «тифус» нас спасет? — промолвила Надежда Григорьевна с дивана. Она вовсе не вставала к завтраку.

— Не думаю, что спасет, но на первый случай поможет. А там будет видно...

— «Будет видно»,— сказала Ляля с несвойственным ей ранее сарказмом и отложила вилку.

Она сидела за столом прямо и собранно, как за школьной партой. Овальное белое лицо, которое даже летом не покрывалось загаром, сегодня казалось белее обычного. Старательно промытые волосы были аккуратно уложены вокруг головы тугим валиком. Светло-золотистые, они отливали солнцем, были такими красивыми, что мать никогда не могла на них наглядеться.

— А знаете, где я был ночью? — не выдержал наконец Константин Григорьевич.

Ляля заранее знала, что отцу самому захочется рассказать, и нарочно не спрашивала его об этом до поры до времени. Из него тогда слова не вытянешь. Он терпеть не мог назойливых расспросов.

— Знали бы вы, где я был! — И, обтерев салфеткой сизый, как металл на морозе, бритый подбородок, Константин Григорьевич начал рассказывать: — Взяла меня Власьевна за руку и ведет... Да не дорогой, а какими-то джунглями. Никогда днем не видел такого в Полтаве. Через какие-то бомбоубежища переступали, чьи-то баклажаны топтали. Вижу, очутились в саду у механика Гриневского. Власьевна говорит мне: «Прыгайте через забор». И первая полезла, как кошка. А между прочим, она одних лет со мною. «Что вы,— говорю,— Власьевна... Я уже свое отпрыгал. Разучился». — «Ничего, — говорит,— Григорьевич, учитесь заново. Может, придется еще через колючую проволоку прыгать». Ничего не поделаешь, полез я со своей аптечкой. А забор трещит. Представьте себе, должен был... пикировать.

Все — даже стоически суровая тетя Варя — улыбнулись. Впервые за это утро. Но и улыбки были какие-то вымученные, будто начали уже отвыкать от этого.

— Какие слова вы научились употреблять,— неодобрительно заметила тетя Варя. — «Пикировать».

— Беда всему научит, Григорьевна...

— Досказывай же, папа,— торопила Ляля.— Кого ты видел?

— Представь себе: танкиста!

— Танкиста?

— Нашего танкиста?

Три пары глаз устремились на Константина Григорьевича. Он медлил с ответом, осматривая всех, как настоящий конспиратор.

— Где же ты его видел, папа?

— Угадай... И кто бы подумал!.. В сарае у Тесленчихи...

— У той крикуньи? — удивилась тетя Варя.— Которая всегда была чем-то недовольна?

— У той самой. И что самое удивительное — она первой прибежала к Ильевской и подговорила соседок спасать танкиста. Его машина загорелась где-то за березовой рощей, он чудом выскочил, добежал до первых домов, а тут еще бомба поблизости шарахнула. Уже горел, говорят, комбинезон совсем на нем истлел — женщины с трудом водой загасили. Брови и даже ресницы обгорели, осыпались.

— Очень плох?

— Его еще и оглушило, беднягу. Кричит на весь подвал, а бабы возле него с коптилкой хлопочут, дежурят попеременно, вот народ!

— Ты ему помог, папа?

— Сделал все, что нужно. А главное, сам он хлопец крепкий, ладно сбитый — сибиряк. Думаю, скоро поправится. А уж как он благодарил! Запомните, говорит: имя Леонид, фамилия — Пузанов. Вернете мне силу — отблагодарю стократно.

Константин Григорьевич поднялся, повеселел. Всегда после хорошего поступка он чувствовал себя энергичным и бодро настроенным.

— Знаете,— чуточку погодя обратился врач ко всем, однако глядя на жену, которая лежала на диване опечаленная, потемневшая, обложенная подушками.— Я решил идти... на работу.

Никто ничего не ответил на это.

Раньше слово «работа» произносилось в семье с уважением и гордостью. «Он — на работу!..» «Он — с рабо-

ты!» Что это значило! В такие минуты все домашние слушали Константина Григорьевича, все подчинялись и помогали ему, и он воспринимал это как должное.

Последние десять лет Константин Григорьевич работал заведующим городским пунктом «Скорой медицинской помощи». До недавних пор он еще носился по городу на своем неугомонном автобусе, спасая пострадавших от бомбардировок полтавчан. Накануне Константин Григорьевич должен был на этом автобусе выехать на восток. Вчера они, посадив в машину больную Надежду Григорьевну, двинулись в путь... Чтобы не волновать прежде времени мать, Ляля покамест не говорила ей о своем твердом намерении остаться в Полтаве. Константин Григорьевич тоже молчал об этом... Застревая в тесных колоннах, по пылающим улицам Полтавы Убийвовки выбрались на окраину города. Здесь все и произошло. Колонны внезапно попали под яростный налет вражеской авиации. Их машину разбило, тяжело ранило осколком двухлетнего ребенка шофера прямо на руках у матери. Константин Григорьевич с полчаса пробыл возле него и возле других раненых, которые окружили его медпункт, открытый на скорую руку средь поля. В это время стало известно, что путь на Харьков уже перерезан немецкими танками.

Взяв Надежду Григорьевну под руки, Убийвовки возвратились с нею домой. В дом ее уже не ввели, а внесли. Это было вчера. А сегодня Константин Григорьевич уже завел речь о работе. О какой?

— Раз выехать не удалось, то нужно начинать что-нибудь здесь,— словно оправдывался перед кем-то Константин Григорьевич.— Немцы немцами, а мой пункт «Скорой помощи» должен функционировать. Ведь Полтава не вымерла, в ней остались наши люди. Кто им будет помогать? Немцам они не нужны.

Никто не возражал.

Ляля стояла перед своим книжным шкафом, всматриваясь в знакомые корешки томов.

И мать, и отец, и тетя Варя украдкой поглядывали на свою единственную. Сегодня даже в этой стройной девичьей фигуре, даже в том, как она оперлась белой хрупкой рукой на дверцу шкафа, было что-то непередаваемо скорбное. Вдруг Ляля повернулась к родным и как-то горько, не по-своему улыбнулась:

— А что я буду делать, папа?

Надежда Григорьевна внутренне вздрогнула: глаза дочери, всегда такие светло-голубые, вдруг потускнели.

— Что я буду делать, мамочка?

И все с ужасом спрашивали себя: в самом деле, что она будет делать? Кому нужна сейчас ее астрономия, переменные звезды, которыми она бредила и которые так настойчиво готовилась исследовать?

Еще неизвестно было семье Убийвовков, что недалек тот час, когда потянутся на запад по дорогам всей Украины конвоируемые колонны молодых невольниц — вчерашних студенток, пятисотенниц, учительниц, стахановок, когда горько зарыдают села и города, а леса наполнятся мстителями. Еще неизвестно было семье, что случится именно так. Но уже чувствовалось, понималось сердцем, что будет нечто подобное, что никакое примирение с тем, что надвигается, немыслимо, потому что единственно возможной была только та просторная, большая жизнь, с определенной целью, с чистым дыханием, к которой готовилась Ляля-октябренок, Ляля-пионерка, Ляля-комсомолка. А теперь эта жизнь все больше и больше заслонялась тяжелой тучей. Вернуться можно было только с боем или погибнуть рабом.

Девушка стояла посредине комнаты с широко раскрытыми глазами, которые от ее дум тускнели все больше и больше.

— Только рабыней я не буду, — вдруг промолвила Ляля ровным голосом, так, будто бы речь шла не о ней, а о ком-то другом.

На некоторое время воцарилось молчание.

— А мы тебя и не готовили к этому,— тихо сказала мама, глядя в потолок своими темными, в темных обводах глазами.— Мы тебя готовили для настоящей жизни.

IV

Вскоре через соседей дошел слух, что в центре начались аресты и обыски квартир городских активистов. Надо было ожидать, что рано или поздно волна террора докатится и сюда, на тихую улицу Евгена Гребинки. Правда, Лялю как комсомолку в городе знали мало, она приезжала в Полтаву лишь на каникулы. Но Константину Григорьевичу могли припомнить, что он некоторое время был депутатом райсовета.

Врач втянул в комнату большой деревянный ящик. Ляля и тетя Варя вытерли его, обили сукном и клеенкой, чтобы в ящик не просочилась влага.

Начали укладываться. И тут оказалось: ящик чересчур мал для того, что им хотелось бы спрятать. Никто не знал наверняка, будут ли немцы шарить что-нибудь или вытопчут, уничтожат все без исключения. Прежде всего Ляля сняла со стен портреты,— среди них Шевченко в смушковой шапке,— портреты были под стеклом, увешанные вышитыми рушниками. Тщательно вытирала их и ставила в ящике вдоль стенок один к одному. Константин Григорьевич, сосредоточенный и молчаливый, укладывал тяжелые томики произведений Владимира Ильича. Даже старые медицинские журналы старик почему-то решил засунуть в ящик. Тетя Варя, держа в руках свои любимые книги, для которых уже не оставалось места, запротестовала против эгоизма врача.

— Неужели они и медицину будут уничтожать?

Константин Григорьевич сурово посмотрел на нее.

— А вы уже забыли, что они у себя делали? Даже Гейне, поэта, сжигали на площади!

Однако медицинские журналы решили все же покамест не упаковывать. Надежда Григорьевна, не вставая с постели, настаивала на том, чтобы обязательно спрятали роман Чернышевского «Что делать?», от начала до конца переписанный от руки. Еще до революции, когда эта книга была под запретом, Надежда Григорьевна, тогда еще шестнадцатилетняя учительница земской школы, переписала роман со старшими сестрами и подругами. Одна из частей полностью была переписана рукой Варвары Григорьевны, которая теперь без очков уже не могла узнать свой собственный почерк. С тех пор прошло много времени, Ляля приобрела печатное издание всех сочинений Чернышевского, но рукописный экземпляр бережно сохранялся, как дорогая реликвия маминой молодости. Теперь и «Что делать?» спрятали в ящик, обитый клеенкой.

Тетя Варя пересыпала нафталином Лялин красный берет и тоже сунула в ящик. Почувствовав запах нафталина, Ляля вышла из себя:

— Будто навеки!

Тетя обиделась, съежилась, и слезы выступили у нее на старческих глазах. Девушка вынуждена была просить

прощения. Сегодня все были какие-то взвинченные, обижались на каждом шагу.

Последним сверху положили Лялин пионерский галстук с зажимом. Больше ничего не вмещалось. Однако нужно было еще укладывать и укладывать. Произведения Леси Украинки, Лялины университетские конспекты, тисненную золотом грамоту Константина Григорьевича от Наркомздрава Украины... К чему ни прикасались — все опасно было оставлять на виду, все хотелось припрятать. Надежда Григорьевна просила пристроить в ящике даже коробочку с Лялиными молочными зубами. Если бы можно было, они бы и пианино, и весь дом втиснули в этот единственный деревянный ящик, загерметизированный клеенкой. Взялись тянуть его через порог комнаты. Ящик не поддавался. Ляля тянула его к себе, отец подталкивал сзади. Тетя Варя держала дверь. Надежда Григорьевна, глядя на их работу, еле сдерживала рыдания.

Выволокли ящик через порог — и в комнате словно не осталось ничего. Будто выветрился из нее человеческий дух. Надежда Григорьевна лежала, комната казалась нежилой. То, что жило здесь годами, чем все они дышали, отодвинулось теперь за порог, и шкаф, опустев, и стены, обнажившись, сразу превратились во что-то холодное, чужое, ненужное. Ящик закопали в саду, под яблоней, в том окопе, где тетя Варя чаще всего пересиживала первые немецкие бомбежки. Присыпали землей, разровняли граблями, прикрыли картофельной ботвой.

Ляле не хотелось возвращаться в опустевший дом. Будто все, что было в их жизни самым существенным, ушло в землю и самый дух обжитости развеялся в воздухе.

Опершись на грабли, девушка стояла в задумчивости над свежим замаскированным укрытием. Вместе с запакованными вещами земля словно бы вобрала в себя, как солнечное тепло, ее девичьи надежды и стремления. И от этого она, земля, покрытая сухой картофельной ботвой, копанная и перекопанная поколениями, стала девушке еще роднее.

V

Дни наступили серые, бесцветные, похожие на сумерки. Повеяло ранними осенними холодами. После восьми вечера город замирал и никто, кроме немцев, не имел права

появляться на улицах. Ночи стали неестественно длинными.

И все-таки по ночам люди чувствовали себя лучше. Фронт, который днем уже не был слышен, по ночам еще глухо гремел сплошным, будто подземным рокотом. Каждый вечер на горизонте зловеще вспыхивали далекие, еле заметные «лампады», развешанные самолетами. Сегодня более мелкие, чем вчера, завтра более мелкие, чем сегодня. Стекла на веранде уже не откликались на вздохи далеких пушек тонким дребезжащим звоном.

В первые дни Ляля, вняв просьбам больной матери, никуда не выходила из дому. К ней тоже никто не приходил. Через соседских мальчишек обменивалась лаконичными записками с друзьями, будто все они были под домашним арестом. С утра до вечера читала, читала запоем, как бывало раньше, когда готовилась к серьезным экзаменам. У них, на Кобыщанах, немцы тоже не появлялись, расположившись преимущественно в центре города. На глухой улице баснописца Гребинки по-прежнему паслись под заборами козы, равнодушные к войне и к миру.

Константин Григорьевич осуществил свое намерение и пошел на работу в городской пункт «Скорой медицинской помощи», которым он руководил перед войной. Немцы пока не вмешивались в дела этого скромного учреждения, и врач приступил к делу с таким независимым видом, будто оккупантов и вовсе не было в Полтаве. Ходил с санитарками по садам и вылавливал брошенных раненых коней, чтобы было чем возить пациентов.

На базар ходила тетя Варя, или Варвара Григорьевна, как почтительно звали ее все Кобыщаны.

Длительное время в селах поблизости Полтавы учительствовали сестры — старшая, Варвара Григорьевна, и младшая, Надежда Григорьевна. Уже в первый год учительствования шестнадцатилетняя Надюша приглянулась земскому фельдшеру Константину Убийвовку, юноше с бравыми усами, с вышитой петухами манишкой во всю грудь. Мечтательной учительнице он также пришелся по душе. Однако сначала материальные недостатки семьи Убийвовков мешали молодым жениться, потом началась империалистическая война, и Константин Григорьевич, надев серую шинель, пошел мерять Галицию и высокие Карпаты. Пять лет ждала его Надя. Поженились они только во время гражданской войны.

Маленькая Ляля с первых дней своей жизни уже имела как бы не одну, а двух матерей. Для одинокой бездетной тети Вари светловолосая девочка сестры стала отрадой сердца, и тетя тайком и неуклюже осыпала Лялю своей искренней, нигде не растраченной любовью.

Выйдя на пенсию, тетя Варя стала жить в семье сестры. Жилистая, сухая, маленькая и цепкая, как крючок, она вела все хозяйственные дела, никогда не уставая, никогда не болея, ни о ком, кроме самой себя, не забывая. Чуткая семья хорошо понимала ее молчаливое самопожертвование, скрываемое под внешней суровостью.

К новым оккупационным порядкам Варвара Григорьевна отнеслась с явным презрением. На базар она отправлялась воинственно и сердито, похожая на маленькую взъерошенную наседку. С тех пор как немцы заняли город, тетя Варя сердилась и покрикивала на всех и вся. А с базара возвращалась вне себя от гнева.

— Вы только подумайте!— закричала она сегодня еще с порога, глядя на присутствующих выцветшими, почти белесыми глазами.— Вы только подумайте!.. Они приняли меня бог весть за кого!

Ляля медленно закрыла книгу и молча посмотрела на тетю Варю, сжавшуюся от гнева и обиды в сухой жилистый клубочек.

— Только приблизилась к базару, как вдруг подошли ко мне два шалопая и, заглянув в кошелку, процедили: «Ком, паненка, шляфен в тюрьму!» Еще и ржут при этом, мерзавцы! Если бы соседки не заступились, потянули бы, собаки, я вам говорю. Вот настали времена!.. Говорят, тюрьма уже битком набита. Врача Гринберга повели со всей семьей — с женой и детьми. Самого маленького жена держит на руках, а он, глупыш, еще и смеется. Ох, дожили...

— Доченька, дай мне воды,— попросила мама, тяжело дыша на постели.

— А по Пушкинской,— продолжала тетя Варя,— гнали наших пленных, идут раненые — никто их не перевязывает, вся улица за ними покраснела от крови. Один нагнулся поправить обмотку, отстал на шаг, конвоир дал очередь из автомата прямо по нему — и не встрепенулся, сердечный. Вот что творится!

Ляля молча слушала тетю Варю, пристально глядя на нее, суровые глаза ее все больше округлялись. Потом

встала, подошла к гардеробу и сняла с вешалки свое синее пальто.

Надежда Григорьевна чуть слышно застонала.

— Куда ты, Ляля?

— Никуда, собственно... Пойду к Сережке... Хоть душу отведу...

— Теперь везде опасно, Ляля.— Мамины глаза, подернутые глубочайшей печалью, умоляли: не одевайся. — Кроме того, сегодня должна прийти портниха.

— Не беспокойся обо мне, мама. Я буду осмотрительна. А портниха никуда не денется.

— Ты надеваешь демисезонное? — ужаснулась тетя Варя.— И модельные?

— Они мне не жмут,— сказала девушка.

— Тебе не жмут, так им бельмом в глазу! — рассердилась тетя.— Сейчас все стали одеваться в самые что ни на есть лохмотья. Сегодня на базар вышли, как побирушки. Я дам тебе свою корсетку... [1]

— Нет. Я буду ходить так, как ходила.

И она надела пальто и белый берет. Тетя беспомощно держала в руках свою залежавшуюся, побитую молью корсетку.

— Я ненадолго, мама... Прошу тебя — не волнуйся.

— Но ведь там...

— Ничего. Твоя дочь не растеряется...

VI

Шла быстро, глядя под ноги. На тротуаре шевелилась хрупкая, не успевшая пожелтеть листва. Этой осенью ударили ранние заморозки, и деревья осыпались еще совсем зеленые. В верхушках голых деревьев высвистывал ветер.

Возле бывших армейских складов-бараков работала большая группа гражданского населения, окруженная немецкой стражей. Люди, наверное, умышленно отворачивались от улицы, выставив к ней свои сгорбленные спины, по которым Ляля никого не могла узнать. Вкапывали высокие тесаные столбы, трамбовали землю. Среди работающих шнырял пожилой офицер с рулеткой в руке, старательно вымеряя расстояние между столбами, покрики-

[1] Род кофты *(укр., обл.)*.

вая на помощников. Тут же рядом команда солдат весело сбрасывала с машины огромные мотки колючей проволоки. От этого зрелища мороз пробежал у Ляли по коже, будто к ней уже прикоснулся этот колючий позорный провод. «Что же это такое? — спрашивала Ляля неведомо кого, быстро проходя мимо каменных бараков и ожидая, что ее вот-вот остановят внезапным окриком.— Что же это будет?»

— Ляля! Что же это такое?

Девушка, встрепенувшись, подняла голову. Со стороны базара к ней приближалась мать Сережки Ильевского, невысокая, довольно полная женщина, с кошелкой в руке. У Ляли отлегло от сердца.

— Что же это такое, девочка?! — говорила Ильевская с ноткой упрека в голосе.— Мало того что дорожку к нам забыла, а теперь вот и на улице не замечаешь...

— Что вы, тетя Оля! — Ляля смотрела на Ильевскую так, будто и в самом деле чувствовала за собой вину.— Как раз к вам и направилась... Сережке лучше?

— Лучше не лучше, а лежать теперь не время, — с сердцем ответила Ильевская. — Задала им с Любкой норму: намолоть вдвоем десять стаканов муки, пока с базара вернусь.

— Что же там на базаре?

— Побывала, провались они сквозь землю, эти ихние базары. Ни к чему не приступиться... Пошли!

С Сережкой Ильевским Ляля училась в одной школе и прекрасно помнила стенгазеты, заполненные его стихами. Хотя позднее пути их разошлись — Ляля поехала учиться в Харьков, а Сережка поступил в Полтавский пединститут, — они продолжали дружить и поддерживать «родственные связи». В первые дни немецких налетов Сережку завалило обломками в рухнувшей институтской библиотеке, и его положили в городскую больницу. Уже перед самым наступлением оккупантов на Полтаву мать забрала его домой.

— Вишь, что сделали с городом,— ворчала Ильевская, идя рядом с Лялей и осматривая дома. Над балконом одного из помещений уже был вывешен портрет Гитлера.— Прикрылись дерьмом... Нет житья ни в доме, ни в саду, зато Гитлер на виду.

Ляле казалось, что это вовсе не ее город, что она видит его впервые. Люди по улицам теперь не ходили, а бегали, ныряя в переулки, как в мешки. Здоровались, глядя

исподлобья, торопливо, будто стыдились и боялись друг друга. Встречая некоторых знакомых отца, Ляля не останавливалась, не заводила с ними разговора, как это было прежде. Кивала на ходу и тоже чувствовала себя неловко...

— Что сегодня с тобой? — обратила на нее внимание Ильевская, привыкшая всегда видеть Лялю с открытой приветливой улыбкой. — Будто привезенная... От людей отворачиваешься...

— Я не знаю, тетя Оля... Как-то мне неловко... Вроде я виновата в чем-то. Будто слышу упреки отовсюду. Такая, дескать, молодая и здоровая, мы тебя столько учили, воспитывали... А ты теперь спокойно прохаживаешься по улицам и не думаешь о том, почему город сдан, почему не эвакуированы все...

— Такое скажешь,— прервала ее Ильевская.— Второй Сережка... На того тоже «все смотрят».

— Да, в самом деле смотрят, тетя Оля...

— Еще бы не смотрели. Ты ведь нарядилась, будто под венец. Вот и режет глаза.

Среди обычного шарканья ног пешеходов Ляля вдруг услышала сзади отдаленное металлическое щелканье. Губы ее невольно стиснулись в брезгливую гримасу.

— Пойдемте побыстрее, тетя Оля...

— Чего тебе не терпится?

— Слышите: клацают?

— Я не слышу... Где?

— За спиной.

— Пускай себе клацают, — сказала, оглянувшись, Ильевская, однако ускорила шаг. — Костями бы вы клацали!

Когда подошли к дому, в котором жили Ильевские, Ляля еще с улицы услышала, как во дворе гудят самодельные жернова. Городские мельницы стояли, цены на муку подскочили невероятно, и полтавчане в последнее время начали обзаводиться, как первобытные люди, собственными «мельницами».

— Жернова гудят, аж в Берлине слыхать,— сердито сказала Ильевская, открывая калитку.

Из сарая навстречу им вышел, прихрамывая, Сережка с сестрой Любой, красивой черноглазой девочкой.

— Перевыполнили, мама! — радостно сообщила Люба, белая от мучной пыли.— Двенадцать стаканов!

Сережка стоял молча, опустив руки и глядя в сторону. Невысокий, с тонкой шеей, он белым чистым лицом, и блестящими глазами, и черными стрелками бровей поразительно был похож на свою сестренку. На нем была черная бархатная толстовка с таким же пояском, низенькие стоптанные сапожки. Штаны были напущены на них, как шаровары.

— Крутишь? — спросила Ляля, поздоровавшись.

— Кручу,— ответил Сережка, слегка картавя.

Взглянули друг на друга, и оба тотчас же потупились. Им обоим было как-то не по себе.

— Пошли в комнату,— сказал наконец Сережка и, повернувшись к Ляле спиной, первым стал подниматься в дом.

— А я думала, что ты до сих пор лежишь,— сказала Ляля, когда они прошли через кухню в комнату Сережки и остались одни.— Решила проведать.

— Спасибо,— буркнул Сережка.— Теперь не улежишь.

— Зажили твои раны?

— Затягиваются.

— А я целые дни дома и дома. Будто в яме.

— Читаешь?

— Сейчас это единственное утешение.

— Что ж ты читаешь?

— Еще раз перечитала «Как закалялась сталь». Как-то особенно, по-новому теперь все это воспринимается...

— Жизнь консультирует, — горько заметил Сережка.

— Ты знаешь, — сказала Ляля немного погодя, — наши уже пригласили портниху, чтобы учила меня шить.

— Что ж... предусмотрительно...

— Может, попаду к какой-нибудь немке, и шитье избавит меня от конюшни. Ценная профессия. А ты?

— Что я? — посмотрел Сережка на Лялю. Его стрельчатые брови были высоко подняты. Они всегда высоко подняты, будто однажды что-то удивило юношу и он до сих пор вспоминает об этом. — Я... ничего.

— Как ничего? Наверное, пишешь?

— Понемногу.

— Почитаешь? — Ляле не столько нравились Сережкины стихи, сколько искренний пафос, с которым он всегда их читал.— Почитай, Сережка.

— В другой раз,— отмахнулся он, смущаясь от того, что ему и впрямь хотелось читать свои стихи.

— Я же вижу, что тебе хочется прочесть,— сказала Ляля. — Не ломайся.

Сережка нервно пригладил назад свой черный чубик и, встав из-за стола, прошелся к окну, выходившему на Первомайский проспект. Внизу, возле подъезда противоположного дома, стояли в ряд немецкие автомашины.

— Открывают банк,— процедил Сережка сквозь зубы.

— Я больше не прошу, — предупредила Ляля капризно.

Сережка, глядя в окно поверх дома, начал своим неокрепшим тенорком:

Рапец возьму па плечи,
В карман бумаги лист,
Пойду, неизвестный предтеча,
В ветреный дикий свист.
Пойду я за дали морские,
В нездешние страны пойду,
Туда, где дома городские
Не рушатся в дымном аду [1].

Сережка оглянулся на Лялю. Она слушала. Тогда, еще выше подняв голову, он продолжал:

Невольничье солнце серо
Светит в моем краю.
Тигры или пантеры
Примут меня в семью.
Презрев человека и зверя,
В джунглях построю вигвам,
В единого бога веря,
Которого выдумал сам.

Закончив читать, Сережка снова оглянулся на Лялю. Девушка смотрела на него насмешливо.

— Далеко же ты собрался, друг,— сказала она иронически. — Бежать, значит, надумал?

— Не бежать, а идти!

— Это софистика. Главное, от кого уходить? Не от самого ли себя?

— От фашистов! — твердо сказал Сережка.

— От них ты, наверное, недалеко убежишь. Догонят. Не успеешь построить свой вигвам «среди тигров бурых».

— Ляля! Я прошу тебя: не иронизируй!

---

[1] Стихи Сергея Ильевского даны в переводе Павла Шубина.

— Я не иронизирую. Скажи, Сережка, ты это серьезно? «полон презренья ко всему»? Неужели ты решил отречься... от всего?

— От чего «от всего»? — не понял сначала Сережка.

— От всего, что было. От нашего. Ты, наверное, готовясь в дорогу, уже и комсомольский билет порвал?

— Что? — остолбенел Ильевский. — Не смей со мной так разговаривать, Ляля! Не смей!..

Нервным движением он резко отвернулся от нее и снова остановился у окна. Ветер гонял по улицам листву. Низко над городом катились серые валуны туч.

Сережка стоял, ссутулившись, и обиженно молчал, не поворачиваясь к Ляле. Она встала и пошла к нему. Ласково положила руки ему на плечи, заглянула в лицо юноше. Глаза его были полны слез.

— Когда ты это написал, Сережа?

— Сегодня, когда жернова крутил... Не смотри на меня, Ляля. Сядь. А то когда стоишь рядом, ты всегда смотришь на меня с высоты своего роста,— сказал Сережка.— Меня это угнетает.

Ляля, усмехнувшись, отошла к столу.

— Куда же ты все-таки хочешь бежать, Сережка? — спросила она немного погодя.

— Сам не знаю,— откровенно сказал хлопец.— Бывает вот такое... Бросил бы, кажется, все да и пошел бы в люди, как Тиль Уленшпигель... С птицей на плече и с песней на устах... Развлекал бы их в горе, поддерживал бы... Потому что так, как сейчас,— невозможно. Задохнусь.

— К людям хорошо, но уйдешь от людей, Сережка,— сказала девушка грустно,— неминуемо заблудишься. Я сама сегодня чуть было не заблудилась,— призналась она. — И где бы ты думал? В Полтаве. В нашей Полтаве, Сережка!.. Будто попала в совершенно незнакомый мрачный город. Иду мимо бараков,— знаешь, где склады были перед войной,— смотрю, обносят их колючей проволокой, в три ряда. Вышки уже стоят. Видимо, будет концлагерь. Просто удивительно, когда они успевают. Будто за одну ночь.

— Мастера. Набили руку.

— Прохожу мимо детской поликлиники, гляжу — тоже обводят проволокой. Вывеска: кригслазарет... Можно ждать, что, проснувшись завтра утром, увидишь, как весь город уже опутан колючей проволокой.

На лице Сережки появилась болезненная гримаса.

— Все-таки я прав, Ляля,— доверчиво прошептал он.— Давай бежать! Скорее бежать, Ляля! Пропадем.

— Куда, Сережка?

— Куда? Известно куда! К фронту, к нашим!..

Ляля задумалась.

— Хорошо, — сказала она после паузы. — Мы убежим, спасемся. А другие? Ведь все не могут убежать?

Ильевский не нашелся, что ответить.

— Ты говоришь, «к фронту». А дальше что?

— Вступим в армию и будем воевать.

— Воевать... Воевать можно всюду, Сережка. А где воюют — там и фронт. Разве бойцы гоняются за фронтом? Они сами его создают.

— Все это так, Ляля. Но не забывай одну вещь. Кончится война, и найдутся люди, которые всегда косо будут смотреть на таких, как мы. Скажут: они оставались у немцев, они жили под немцами.

— Кто так скажет? — вспыхнула неожиданно Ляля, будто Сережка тронул ее самую больную струну.— Последний тот человек, кто так подумает... Нет, правду о нас скажут наши поступки и наше поведение!..

Она умолкла, не на шутку разволновавшись. Сергей стоял у окна, покусывая губы. Воронье черной тучей кружилось над домами и садами.

— В конце концов, главное не то, где ты будешь,— немного успокоившись, продолжала свою мысль Ляля.— Главное — что ты будешь делать. Нужно, чтобы под оккупантами горела земля. Издали жечь трудно. Жечь се нужно здесь.

— Я тоже об этом думал, Ляля.

— Думал? Это хорошо. Собственно, тут долго и думать нечего. Нужно начинать действовать, Сережка... Скажи мне, где тот танкист?

— Какой танкист?

— Разве ты не знаешь? Тот, который горел. Которого Власьевна с твоей матерью от огня спасли.

— А, Леня! — просиял Сережка. — Он уже работает. Устроился слесарем на заводе «Металл».

— Ты с ним говорил? Что за парень?

— Кремень парень,— сказал Сережка.— Наш человек, советский.

— Видишь, и впрямь выходит, что одно только местопребывание еще не изменяет человека, его внутреннее со-

держание, — сказала девушка. — Выходит, что духовную его структуру, внутреннюю сущность не втиснешь в паспорт и в место прописки!

— Конечно,— согласился Сережка.— Это не только прописка. Это каждое дыхание. За Леню я уверен, что кинь его хоть на Марс, он и там будет нашим.

— Когда ты нас познакомишь?

— Хотя бы и сегодня. С работы он возвращается после пяти.

— Где соберемся?

— Можно у меня.

— Хорошо. Начнем с этого...

Они принялись советоваться, все больше и больше воодушевляясь в предчувствии серьезной работы. И постепенно без следа исчезло неприятное ощущение неловкости, чувство моральной подавленности, которое наполняло обоих в первые минуты сегодняшней встречи.

Когда Ляля, собравшись уже домой, вышла на кухню, она вся сияла, раскрасневшись, как это бывало раньше.

— Чему это вы так обрадовались? — удивленно спросила Ильевская.— Не иначе, поссорились и помирились?

— В шахматы играли,— весело сказал Сережка. Раньше, когда заходила Ляля, они непременно садились за шахматную доску сыграть несколько партий.

— В шахматы? — сурово спросила Ильевская.— А это чьи же шахматы?

Она указала под стол. Там лежала запыленная шахматная доска. Сергей смутился.

— Эх ты! — укоризненно покачала головой Ильевская.

— Прости, мама, за неправду. Мы просто... душу отводили,— сказал Сережка честно.

VII

В воскресенье по Пушкинской улице Лялю вел под руку высокий юноша. Ляля все время смеялась, юноша, наверное, развлекал ее какими-то шутками. Он был в простых армейских сапогах, в куцей, будто подрезанной шинели, в танкистском шлеме. Если бы кто-нибудь потребовал у него документы, он, без суеты и волнения, показал бы удостоверение на имя Ивана Адриановича Пархоменко, слесаря завода «Металл». И если бы на самом заводе «Металл», который немцы решили приспособить под свою

прифронтовую мастерскую, спросили у старых рабочих-полтавчан об Иване Пархоменко, они дружно подтвердили бы, что действительно хорошо знают этого светловолосого парня, сына Марии Власьевны Пархоменко. Знают, леший бы его взял, изрядно насолил он им, мастерам, еще будучи фабзайцем, а теперь вот снова откуда-то свалился на их голову. Так бы они ответили...

В конце концов, трудно отличить прокопченные темные руки слесаря от шершавых рук кадрового танкиста.

— Ты только не горячись, Леня,— говорила девушка, когда они уже выходили на окраину в березовый перелесок, который вся Полтава называет Белой рощей.— В таких делах, Леня, выдержка — прежде всего.

Ляля была в осеннем пальто поверх пушистого лыжного костюма. Остроносые туфли на высоких каблуках рядом с широкими шароварами казались особенно изящными и легкими.

— Я уже вижу! — воскликнул юноша, вглядываясь безбровыми глазами в просветы белоствольных березок.— Вон он, увяз в болоте. Эх ты, друг!..

— Не кричи, прошу тебя, Леня.— Девушка оглянулась вдоль аллеи.

— И гусеницы слетели, и башню, видно, заклинило!

— Это твой?

— Нет, это Федорова... А своего я что-то не вижу...

— Запоминай место.

— Подожди!— Леня непроизвольно вырвал свою руку из Лялиной руки.— Ты видишь? Это же командирская машина!

— Твоего командира?

— Что же это такое? — ничего не слышал Леонид.— До сих пор я думал, что она тогда вырвалась, а, оказывается, она тоже засела!

— Не одна она...

— Что-о? — Леонид метнул свирепый взгляд на девушку.— Да пускай бы все сели, лишь бы она вырвалась!

— Очень хороший был командир?

— Командир как командир, не в том суть... Полковое знамя было на той машине!

— Знамя изготовят, Леня...

— «Изготовят»! Ничего ты не понимаешь в этом. Полк, потерявший знамя, расформировывается! Не существует больше!

— В самом деле? — Ляля стояла, глубоко пораженная.— Я этого не знала. А может, его спасли? Может, они вышли?

Леонид сопел, молча осматривая местность. Пахло набухшей корой, мокрыми листьями.

— И все же, Леня, нам нельзя задерживаться, — спохватилась девушка и, потянув парня за руку, заставила его повернуться на месте.— Нам пора возвращаться... Хорошо запоминай. Ночи теперь такие темные. Да еще в лесу...

— Я в любом лесу как дома,— буркнул Леонид мрачно.— На Енисее вырос... И все-таки когда же она, командирская, засела? Это мне просто непонятно!

Он еще раз оглянулся. Сквозь белую гребенку березняка еще виднелись разбросанные по низине замершие танки.

Леня присел на корточки, разглядывая сквозь деревья почерневшие машины.

— Вон моя! — воскликнул он, увидев свою машину. Голос его дрогнул.— Моя, моя...— Леня уже шептал это тихо, с трудом.

— Леня, смотри, заяц! — дернула Ляля товарища за руку. Заяц сидел перед ними на тропинке, насторожив уши, как свечки. Леня свистнул. Косой удивленно повел головой и будто нехотя поскакал в кусты.

— Так могут и волки расплодиться под Полтавой,— промолвила Ляля. — Раньше здесь по выходным полно было полтавчан, а теперь...

— Жаль, нет винтовки. Я бы его с первого выстрела... А вечером уже пельмени варил бы!

Ляля внимательно посмотрела на парня.

— Кстати, как ты живешь, Леня? — спросила она.— Материально...

— Живу,— нахмурился Леонид.— Зажигалки научился делать, а Власьевна продает. Вот шипель она мне купила... Малость коротковата, правда, на меня... Третий рост...

— Мы тебе что-нибудь в складчину...

— Оставь ты, Ляля!— обиделся Леонид.— Теперь всем так... Думаешь, Ильевский лучше меня живет? Да они просто голодают, только Сережка не признается. А я со своей Власьевной как-нибудь перебьюсь. Власьевна — душа бабуся!.. У нее сын где-то на Балтике — морячок,— сказал Леонид и задумался.— Все-таки мне не верится,

что весь экипаж командирской машины погиб. Это было бы черт знает что!

Уже выходя из Белой рощи, они на боковой тропинке неожиданно увидели двух немцев-офицеров. Небрежно положив ружья на плечи, офицеры медленно шагали в высоких охотничьих сапогах. У одного за поясом мягко свисал заяц вниз головой. Лица у офицеров были раскормленные, а глаза — голодные.

— Хочешь, я их сейчас уложу! — прошептал Леня, косясь на немцев.

— Не смей трогать! — Ляля ускорила шаг, теснее прижавшись головой к плечу юноши.

Офицеры, шедшие позади, перекинулись на своем языке несколькими словами и громко захохотали.

— А зря! — Леонид ударил себя по карману широкой ладонью.— У меня семизарядный.

— Ты носишь с собой? Днем?

— И днем и ночью.

— Леонид! Чтоб это было в последний раз.— В голосе девушки прозвучали повелительные нотки. — Зачем форсить? Ты слышишь?

— Есть,— чуть было не козырнул Леня Пузанов.

...А ночью он снова появился в Белой роще. Стояла непроглядная тьма, и лишь белые стрелки берез невыразительно светились в ней. Ветер ровно шумел в верхушках, а внизу было совсем тихо.

Пузанов уверенно пробирался между стволами, не цепляясь, нырял сквозь кусты, и ни один сук, ни одна ветка не хрустнули под его ногами, будто не сапоги, кованые и тяжелые, ступали по чуткой листве, а лапы крадущегося тигра. Сережка Ильевский пробирался в темноте следом за ним. С непривычки Сережка все время за что-то цеплялся, кусты хватали его за полы, исцарапанные руки остро щемили. Все колючие ветки, казалось, нарочно направляли свои острия ему в глаза. «Странно, как он тут ориентируется,— думал Ильевский о Леониде.— И как он умеет так ходить: ни треска, ни хруста... Кажется, должно быть бы наоборот. Ведь я в этой роще бывал с детства, а он только второй раз...»

Леонид слегка шелестел шинелью перед его носом, невидимый, как дух. «Разве мне строить в джунглях вигвам? — подтрунивал над собой Сережка.— Это такому, как Ленька!..»

Наконец кустарник закончился, прохладный тугой ветер дохнул им в лицо, и они остановились. Ветер дул уже с поля.

— Видишь,— шептал Пузанов, наклоняясь к Сережке и указывая рукой вперед.— Видишь, громадина темнеет?

— Ничего не вижу, Леня...

— Вот еще мне!.. Да ведь совсем близко!

— А верно! Вроде что-то выплывает.

— Это он и есть. Ты ляжешь здесь и будешь ждать. Как только сниму,— Леня говорил о пулемете, который надеялся снять с подбитого танка, — я тебе свистну чибисом...

— Как это чибисом?

— Эх ты, друг... Тоже мне поэт... Ну, просто свистну!.. А ты тут прислушивайся как следует... В случае чего — действуй, как условились...

— Есть,— сказал Сережа скромно.

Сначала Пузанов направился к командирской машине. Обошел вокруг нее, ласково ощупывая рукой броню. В левом борту зияла темная пробоина. Через открытый люк башни Леонид привычно забрался в танк, посветил фонариком. Пусто. Все, что можно было снять, кто-то уже унес, похозяйничал раньше него. Попробовал неподвижные мертвые рычаги управления и вылез из башни. Было тоскливо, и все же вроде легче стало на душе. Экипаж успел выйти.

Спотыкаясь на болотных кочках, Пузанов направился к своей машине. Она чернела приземистым силуэтом в нескольких десятках метров впереди. В этой машине он встретил войну на границе Западной Украины. В ней выдержал трехдневный неравный бой с врагом, когда по фронту в тридцать километров шли лесом, танк на танк, в лобовую и — горели. Тогда он сберег машину. Теперь она, беспомощная и молчаливая, стояла, завязнув в трясине, и словно ждала его.

Внезапно в нескольких шагах от машины Пузанов остановился. В танке что-то стучало. Наверное, подумалось ему, это Ильевский устал ждать и забрался в машину.

Подошел ближе.

В машине покашливали, сопели, чертыхались.

— Ты знаешь, Борис,— слышался молодой недовольный басок,— ничего не могу сделать... Где он закреплен, что его держит — ни черта не вижу...

— Брось, Валька, — скороговоркой ответил другой молодой голос.— Так мы с ним до утра провозимся. Лучше уж завтра придем с фонариком. А сейчас давай займемся аккумулятором.

Снова послышались стук и тяжелое сопение, уже, вероятно, у аккумулятора.

— Не сможем мы вытянуть аккумулятор,— произнес вскоре тот же басок.— В нем, пожалуй, пуда четыре будет. Ты не мешай мне, Борис!..

— Ты сам мне мешаешь, Валька!

Пузанов улыбнулся и тихо поднялся к люку. Не выпуская из руки револьвера, крикнул вниз:

— Эй вы, конспираторы! А ну-ка, вылазь!

В машине притихли, даже сопеть перестали. Вероятно, «конспираторы» замерли на месте.

— Вылазь, кому говорю! — вновь скомандовал Леонид.

Через минуту возле танка стояли, потупившись, двое парней: один — высокий, широкоплечий, другой — маленький, в кепке с огромным козырьком.

Пузанов пренебрежительно оглядел своих пленников, свистнул Ильевскому. Юноши вздрогнули от этого свиста.

— Ну что, сняли? — спросил их Пузанов насмешливо. — Вы думаете, тут так — тяп-ляп?.. Вот я вам покажу, как снимать!

Задержанные дружно сопели, опустив головы.

— Что тут такое? — храбро спросил Ильевский, приближаясь.

— Сережка?! — Задержанные встрепенулись, узнав его по голосу.— Сережка, это мы!

Ильевский пригляделся к ним в темноте:

— Валентин? А это кто? Борис?

— Я! — очень живо, даже заискивающе ответил перепуганный Борис.

— Что вас тут носит? — допрашивал Ильевский, как строгий следователь.

Пузанов обратился к нему:

— Знакомые?

— Да это же наши орлы с Подола!.. Знакомься, Леня: это Валентин Сорока, а это Серга Борис...

Парни с некоторой опаской подали Пузанову руки.

— Ваше счастье,— буркнул Леонид.— Ну и головы!.. Кто ж так делает? Охрану не выставили — раз, разговорчики — два, спички зажигаете в машине — три. А если бы это не я?

— Ничего не видно,— пробормотал широкоплечий Сорока.

— Да вы и днем бы его не сняли! — с ноткой хвастливой гордости сказал Пузанов.— Машина тоже не глупая, она ждет рук хозяина!

Борис неуверенно глянул на него из-под своего козырька:

— Так как же быть?

— А я вот покажу сейчас, как быть! — Леонид мгновенно очутился на машине и бесшумно исчез в ней.

Вскоре из люка высунулся контур пулемета.

— Принимай, Сережка! — послышался голос Леонида.

Ильевский, приблизившись к люку, взял из рук непривычно тяжелое оружие.

Через некоторое время Пузанов, тяжело дыша, выставил на борт аккумулятор.

— Принимайте!

Ребята подхватили его втроем и чуть было не уронили, таким он оказался тяжелым.

— Вот как это делается,— сказал Леонид, спрыгивая на землю.

— Гениально! Это просто гениально! — восторженно воскликнул Борис, приглядываясь в темноте к Пузанову.

— Класс! — согласился и Валентин.— Мы бы до сих пор возились. Подсобите, я возьму аккумулятор на плечи.

Ему помогли. Леонид взял у Сережки пулемет, осмотрел его в темноте, и они все вместе двинулись к Белой роще.

VIII

Утром 26 октября на краю городского кладбища, на Огневом Поле, немцы расстреливали пленных политруков. Их расстреливали не в яру, а на ровном месте. Никто из пленных не упал на колени, и пули, пронзив горячие груди и не встречая преграды, летели дальше.

Выскочив на выстрелы, Ляля, еще не причесанная после сна, замерла посреди двора и, не двигаясь, смотрела вверх. Пули тонко свистели над ее головой. Если бы она могла увидеть эти пули в полете, то увидела бы, что они красные от горячей крови политруков.

Стрельба прекратилась, а девушка все еще стояла на месте. Потом оглянулась вокруг себя, будто в незнакомой пустыне.

В этот день с нею творилось что-то странное. Первой заметила это Надежда Григорьевна, которая вообще замечала тончайшие, еле уловимые изменения в настроении дочери. «Она смотрит на меня, как слепая, — с тревогой подумала мать о Ляле. — Смотрит прямо на меня и не видит».

На расспросы о здоровье Ляля бросала односложные скупые ответы.

Потом оделась и молча ушла из дому. Вернулась уже во второй половине дня, насквозь промокшая под дождем, но более разговорчивая и оживленная, чем утром.

— Мама, ты ничего не будешь иметь против,— сказала она за обедом,— если ко мне сегодня придут гости? Хотим кое-что почитать.

— Зачем ты спрашиваешь, Ляля! Ты ведь знаешь, к тебе всегда приходило много друзей. Кажется, я никогда слова не сказала.

— Спасибо, мама.

Константин Григорьевич притащился с работы сердитый и насупленный. Устало сел за стол, закурил.

Глухо шумел дождь, ударяясь о крышу. Мелкими слезами плакали окна.

— Какая дрянь,— задумчиво произнес Константин Григорьевич.— Я никогда и не подозревал, что у нас может найтись такое дерьмо.

— Ты о ком, Костя? — сочувственно спросила жена.

— Ты знала... Да кто его не знал... Сынок Архипа Коломойцева...

— Тот, который распространял лотерейные билеты?

— Тот самый.

— И что же он?

— Паном меня назвал! — воскликнул врач с глубокой обидой.— Встречает сегодня на улице, какая-то грязная повязка болтается на рукаве. «Пану Убийвовку мое почтение!» И даже подмигнул мне, как сообщнику. Даже подмигнул, негодяй!

— А девчата сейчас уже не товарищи, а «паненки»,— сообщила тетя Варя, как бы жалуясь.

— Паненки? — спросила Ляля.

— Паненки.

Константин Григорьевич в этот день рано лег спать.

— А вы знаете,— сказал он, уже улегшись,— все эти политруки были ранены и контужены. Их такими и вывели на расстрел.

И врач тяжело вздохнул.

Дождь шумел и шумел, как бескрайний камыш. И весь город прятался в этом высоком сером камыше. Затерянный в степях, вылинявший, бесцветный, он будто размывался дождями, становился меньше, уходил в землю.

А как только упали первые сумерки, по улице Гребинки, с ее глухого конца, со стороны Огневого Поля, промелькнула сначала одна фигура, за нею через некоторое время другая, потом третья, четвертая. Все фигуры были серые, как заборы, вдоль которых они тайком пробирались. Казалось, что это встают на Огневом Поле казненные утром политруки и движутся куда-то по глухой улочке, окутанной сумерками и дождем.

Первым пришел Борис Серга. Он учился вместе с Лялей в Харьковском университете, тоже на физмате, и раньше часто бывал в доме Убийвовков. В Харьков и из Харькова Борис и Ляля всегда ездили вместе. Если же среди учебного года в Полтаву вырывался кто-нибудь один из них, то прихватывал из дому коржики и для другого. На факультете Ляля редактировала стенгазету «Вектор», а Борис был ее заместителем. Когда Лялю избрали секретарем комсомольской организации, Борис стал редактором «Вектора». Он в шутку говорил, что если Лялю изберут еще куда-нибудь, то прежнюю ее работу обязательно поручат ему, как Лялин «пройденный этап».

Учебе и работе Серга отдавался самозабвенно, со всей страстью своей неистовой натуры. Услышав на лекции какую-нибудь новую, свежую мысль, он не мог усидеть на месте. На переменке его высокий, почти девичий голос был слышен на весь коридор. Задрав свой острый, как топорик, подбородок, он дискутировал, все распаляясь, непроизвольно хватая пуговицы на груди оппонента и откручивая их. Ему делали замечание, он на миг приходил в себя, а через минуту, увлекшись, уже откручивал пуговицы другому, стреляя снизу вверх очередью отрывистых слов. Ему всегда не хватало времени, и, даже купаясь летом в Ворскле, он жалел, что нельзя одновременно плавать и читать. Все годы он был круглым отличником, и на собраниях, еле выглядывая из-за трибуны острым, продолговатым своим лицом и выпуклым лбом, он призывал товарищей брать науку штурмом.

Шумно влетев в комнату, Боря, по обыкновению, поздоровался с каждым в отдельности, справился у Надежды Григорьевны о ее здоровье, окинув быстрым взглядом

пианино, на которое он когда-то набрасывался с ходу, в конце концов надоедая всем. На этой почве он жестоко ссорился с Варварой Григорьевной, которая не терпела в доме шума. Сегодня Борис не подходил к пианино. Он забрался в Лялину комнату, сел, притих, уставившись глазами в какую-то книгу. Однако по неподвижным глазам его было видно, что он не читает, а только смотрит на немую страницу, словно перед ним древний текст, ключ к которому он внезапно забыл.

Следом за Борисом ввалился его верный друг Валентин Сорока, ростом под потолок, широкоплечий, несколько флегматичный парень. Новое пальто на нем с подложенными отцом-портным плечами сидело неуклюже. Разговаривая, Валентин краснел до ушей после каждого слова, будто ему казалось, что он говорит наивно и невпопад. Валентин тоже сразу пошел к Ляле, оставляя по всей комнате лужи своими гигантскими сапогами. Тетя Варя, сердито ворча, вытерла за ним пол.

Последними пришли Ильевский и Пузанов. Ляля познакомила Леонида с матерью и Варварой Григорьевной, сказав, что это тот самый танкист Марии Власьевны, о котором рассказывал отец. А сам Константин Григорьевич уже спал, не раздевшись, на диване. Леонид, проходя мимо кровати в Лялину комнату, задержался на миг взглядом на морщинистом усатом лице врача. Даже во сне оно было нахмуренным. Ляля вошла в комнату последней и плотно прикрыла за собой дверь.

Оглядела товарищей. Какие разные люди сидели перед ней! С разными наклонностями, с разными привычками... Леня Пузанов курил в углу цигарку, расхристанный, как в бою. Если бы не было войны, возможно, ему никогда не пришлось бы быть в Полтаве. Водил бы трактор или комбайн в своем сибирском колхозе... Сережка Ильевский, удивленно подняв высокие брови, стоит напряженный возле печки и смотрит в пол, будто слушает, не гудит ли земля от далекой канонады. Валентин сидит рядом с Борисом на диване, положив тяжелую руку на его плечо, словно охраняя друга от всяких напастей. О чем сейчас думает каждый из них? Что привело их сюда в эту осеннюю дождливую ночь, полную опасностей, подстерегающих из-за каждого угла? И какая сила может их, разных, объединить так, чтобы уже ничто разъединить не смогло?

— Товарищи,— сказала Ляля, с любовью произнося это слово.— Товарищи.— Она раскрыла свою сумочку

и достала оттуда свернутую трубочкой бумажку.— Я написала листовку о сегодняшних событиях.

— Читай,— хмурым голосом сказал Леонид.

Ляля ровным голосом прочитала текст:

— «Товарищи полтавчане!

Сегодня на Огневом Поле, напротив красных казарм, немцы расстреливали советских военнопленных. Они нарочно устроили расправу на видном месте, на глазах у населения. Этим палачи хотят запугать нас, убить в наших людях веру и способность к борьбе.

Не выйдет!

Поклянемся кровью наших павших братьев, что не покоримся оккупантам.

Кровь за кровь!

Смерть за смерть!»

Товарищи внимательно слушали. Закончив читать, Ляля посмотрела на них. Сквозь седой табачный дым взгляды юношей горели далекими немигающими огнями.

— А это и в самом деле не случайно, что они вывезли убивать их на глазах у всего города,— прервал молчание Ильевский.

— Но не случайно и то,— воскликнул Пузанов,— что именно в этот день мы создаем свою организацию!

— Давай нам, — обратился Валентин к Ляле, — мы с Борисом размножим. У меня есть черная тушь.

— К утру будет двадцать штук! — вырвалось у Бориса.— Нет, не двадцать, а сто двадцать,— поправился он гневно.

Ляля смотрела на Бориса такими глазами, словно перед ней была задушевная подруга, поверенная сокровенных тайн. Если в обращении с другими Ляля всегда держалась просто и естественно, то перед Сергой ей хотелось быть еще лучше, привлекательнее, чем она была на самом деле. Хотелось быть в его глазах необычайно красивой, безупречной в поведении. Боря, единственный из присутствующих, лично знал Марка Загорного и об ее отношениях с ним. В присутствии Бориса у девушки пробуждалась неопределенная, почти не осознанная разумом надежда, что Серга запоминает каждый ее поступок и когда-нибудь, встретившись с Марком, обо всем ему расскажет.

— Только как подписать листовку? — заколебалась Ляля.

— От имени организации, — предложил Пузанов.

— Конечно, но как?

Внесли несколько предложений. Больше всех понравилось Сережкино: «Непокоренная Полтавчанка».

— Это будет и твой собственный псевдоним,— пояснил он,— и одновременно название всей организации. Наш девиз.

— Врут они, что уничтожили партизан,— неожиданно произнес Валентин, краснея. Товарищи посмотрели на него.— На днях к бате заходил знакомый из совхоза «Жовтень» [1], рассказывал, что в Шишаках сейчас действует отряд какого-то товарища Куприяна.

Леонид насторожился.

— Где это Шишаки?

— Не за морями, — продолжал Сорока. — Одни говорят, что это секретарь Шишакского райкома партии, другие говорят, что это Кондратенко.

— Секретарь обкома?— встрепенулся Ильевский.

— Да.— Жесткий крепкий чуб торчал на голове Валентина непокорным гребешком.

— В Зинькове немцы после боя с отрядом товарища Куприяна похоронили больше сотни своих германов... В Гадячских лесах действуют несколько отрядов. Про Гранита слыхали? Про «деда Ивана» слыхали?

— Надо попробовать связаться,— сказал Пузанов.

— Я пойду в совхоз,— горячо воскликнул Ильевский.— Найду! Свяжусь! Там наши родственники!

— Не горячись, Сережка,— спокойно сказала Ляля.— Будет работа, будет и связь.

— В Писаревщине,— дальше рассказывал Валентин, как сказку,— убили четырех эсэсовских офицеров и самолет сожгли...

— Пора и нам открывать счет! — нетерпеливо встал Пузанов.

— Я уверен,— посмотрел Серга на Лялю,— что в самом городе тоже существуют организации. Разве тут мало осталось коммунистов и комсомольцев? Быть может, не в одном доме происходит сейчас такое совещание. Быть может, они вспоминают и нас, так сказать, в плане гипотезы, лишь догадываясь о нашем существовании.

— Вполне возможно,— улыбнулась Ляля.

— Но как их нащупать? Жаль, Ляля, что нам в университете не читали спецкурса по практике подпольной

---

[1] Жовтень — октябрь *(укр.)*.

работы! — сокрушенно сказал Серга.— А теперь плавай. Вот как, скажем, подать другим сигнал о себе?

— Действиями,— сказала Ляля.— Это теперь единственный пароль! Действиями дадим знать о себе местному подполью, а может, и нашим... на Большую землю.

Она впервые употребила это слово, врезавшееся в память со времен полярной эпопеи. Сейчас оно воспринималось всеми по-новому и было наполнено куда более широким смыслом.

— На Большую землю!

Всеми овладело приподнятое настроение от радостного предчувствия серьезной деятельности.

— А теперь давайте поговорим конкретнее, — сказала Ляля. — Прошу к столу. Распределим обязанности и скрепим подписями. Кто будет записывать?

— Пускай Сережка,— предложил Борис.— У него почерк, как у Нестора-летописца!

...Поздно ночью от дома Убийвовков снова расходились неприметные фигуры. Тихо растворялись в осеннем мраке. Будто выступали в путь молчаливые политруки, расстрелянные на Огневом Поле утром.

На рассвете город забелел первыми листовками: «Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

И гордая подпись: «Непокоренная Полтавчанка».

IX

С тех пор как Ляля, начав активно действовать, почувствовала себя настоящей подпольщицей, со строгими обязанностями и ответственностью перед другими,— с того момента жить ей стало легче. Словно бы с трудом выбралась наконец из глубокого снега и вступила на чистый лед. Хотя какая-то тень внутреннего напряжения, упавшая на нее в день расстрела политруков, так и не сходила до сих пор; даже смеясь и радуясь, девушка не могла освободиться от этого напряжения, которое было заметно в движениях, в выражении глаз, лица; хотя она, быть может, лучше других понимала опасность избранного пути,— все это не только не угнетало, а, наоборот, укрепляло ее. Ляля почувствовала, как борьба, начатая ими, внутренне очищает, облагораживает ее самое.

Обкомовский связной, докладывая секретарю подпольного обкома партии об одной из первых своих встреч с

Лялей, заверил, что девушка быстро осваивается в новых условиях, что из нее вырастает настоящий руководитель подпольной комсомольской группы.

Бывая теперь на людях, Ляля не испытывала того тяжкого гнетущего стыда, который сжигал ее в первые дни оккупации. Теперь на улицах она высоко, как и прежде, поднимала голову в белом берете, охотно встречая взгляды знакомых, которые тоже словно бы говорили ей: «Мы знаем, Ляля, что ты осталась такой, как была, то есть, возможно, стала даже лучше, чем была. Мы знаем, что ты не оскорбила ничего святого, ни от чего не отреклась. Да, в конце концов, другого мы от тебя и не ждали».

Возможно, подталкиваемые именно этой уверенностью в ней, многочисленные мамины знакомые, близкие и не совсем близкие, встретив Лялю, оглядываясь, спешили порадовать ее приятными новостями. Полтава была полна оптимистических слухов, которые в большинстве своем и рождались тут же, в самом городе. И эти радужные выдумки народного оптимизма преподносились Ляле одной из первых как таинственные радостные подарки.

— Ты слыхала, Ляля, поговаривают, будто уже открылся второй фронт,— шептали ей в одном месте.

А в другом:

— Взят Ростов! Немцы удирают из Донбасса...

А еще чаще спрашивали Лялю: что слышно там? И кивали на восток. Как будто она должна знать больше, чем они. И Ляля каждый раз беспокоилась в душе, получится ли что-нибудь с радиоприемником, который взялся смонтировать Валентин. Вот тогда бы она ответила всему городу сразу!

Полтава гудела. Хотя прошло уже несколько месяцев оккупации и, казалось бы, должна была появиться хотя бы видимость мирной жизни тыла, однако такой жизни не было. Все глухо кипело, бродило, роптало. Полтава, находившаяся в сотнях километров от фронта, оставалась до сих пор на военном положении.

В лесных районах области действовали партизанские отряды секретаря подпольного обкома партии. Указания, призывы и директивы город регулярно получал в весьма своеобразной форме — в форме прошитых пулями полуживых карателей, которых оккупанты еженедельно мрачно свозили из дальних и близких районов в свой городской госпиталь. Эти беспощадные директивы указывали каждому путь его действий.

Поздней осенью и с первыми метелями из Харькова на Полтавщину хлынул поток голодающих. Мимо дома Убийвовков за город на Кобеляцкий тракт целыми днями со скрипом двигались тележки, запряженные женщинами, подталкиваемые детьми и стариками. Этот голодный, бесконечный скрип разрывал на части сердце девушки. Везли соль, мыло, зажигалки, белую глину... Менять, менять, на кусок хлеба менять! В центре города этих несчастных грабили немцы, на окраинах по-разбойничьи встречали полицаи, в полях они сами замерзали, обессиленные, на обочине дороги. Прозвали этих людей менялами. Внезапно и дико ворвалось в жизнь это прозвище, порожденное лихолетьем! Не знали такого слова советские люди до войны! Теперь оно слышится все чаще и чаще. Менялы... Будто и в самом деле речь шла о каких-то первобытных менялах древних мрачных веков.

Но Ляля заметила, что даже среди этих самых горемычных не нашли себе места утрата веры и отчаяние. Дорога, как река, несла с собой великий гомон. В Люботине наши самолеты разбросали листовки... Немцев остановили под Москвой... В Бодайкове партизаны повесили на площади предателя-старосту... Самые свежие вести приносили именно харьковчане. Путники говорили обо всем этом, не скрываясь, свободно, в полный голос. Атмосфера свободы и непринужденности стояла над трактом. Иногда среди путников попадались мужчины в шинелях, с противогазными сумками на боку. Ляля угадывала в этих людях вчерашних солдат. Доверчиво, не таясь, говорили они, что бежали из лагерей, кто впервые, а кто во второй раз, и держат теперь курс за Днепр, в Черные леса, о которых в то время начали уже складываться легенды. Встречные предупреждали их, где в ближайшем селе надо ждать «собачника», как обойти комендатуру. Ляле нравилось, что люди перед лицом опасности становятся дружнее и заботятся друг о друге значительно больше, чем раньше.

Почти каждую ночь в доме Убийвовков ночевал кто-нибудь из пробиравшихся к фронту. Хотя и было распоряжение сотенного (теперь кварталы были разбиты на сотни) не пускать без его разрешения ночлежников, но на это не обращали внимания. Однажды попросилась к ним на ночлег неразговорчивая пышная молодица с санками, в которых сидели, зарывшись в лохмотья, двое детей. Сзади саночки подталкивала, мелко ступая, бабуся в ватных

штанах. Уже во дворе, увидев дым над трубой и радуясь ночлегу, дети весело подгоняли мать, а она тянула молча, налегая грудью на лямку, сделанную из солдатской обмотки.

Вечером за чаем бабуся оживленно рассказывала о харьковских делах, а молодица все время сидела задумчиво, не проронив ни слова.

— Какой Харьков был шумный и звонкий, а теперь замерз, замерз, голодает,— жаловалась бабуся.— А что уж на Холодной горе в лагерях делается — не передать. Каждый день машинами вывозят замерзших пленных. А однажды погнали их на станцию грузить снаряды для фронта. Так они и снаряды и себя с ними вместе взорвали — не захотели смерть братьям посылать!.. А на Сумской,— мамочки родные,— полные подвалы мертвецов... И не вывозят никуда. Эпидемия начнется весной.

— До весны всякое еще может быть,— неожиданно заговорила молодица хриплым голосом.

— Конечно,— согласилась бабуся,— не вечно же им здесь быть, если все люди против!

Этот разговор почему-то особенно врезался в память Ляли. «Когда все люди против! Против!» — долго повторяла она в ту бессонную тревожную ночь.

На следующий день Ляля снова была у Ильевского. Она застала его за необычным занятием: Сережка занимался гимнастикой, выжимая одной рукой стул. Раньше, хотя он и числился членом общества «Спартак», но спортом не слишком увлекался, потому что на футбольном поле его, маленького, всегда подминали под ноги. Тем более удивил он Лялю своими упражнениями теперь, когда изо дня в день с продуктами становилось все труднее. От частого недоедания уши у парня стали прозрачными, аж светились. Да и он сам весь словно просвечивался.

— Что это тебя вдруг на спорт потянуло? — заинтересовалась Ляля, с чувством сожаления оглядывая Сережку. Белое лицо его с тонкими красивыми чертами было сейчас бледно-розовым.

— У меня свой расчет, Ляля.

— Какие еще у тебя расчеты?! — не без иронии спросила девушка, зная поразительную непрактичность Сережки.

— Видишь, Ляля, из всех наших я, кажется, наименее сильный... Физически, конечно,— поправился он с до-

стоицизмом, заставив Лялю улыбнуться.— А я хочу быть сильным во всех отношениях. Потому что нам, очевидно, всяко придется. Возможно, где-нибудь и врукопашную... Котовский, между прочим, в смертной камере занимался спортом.

— А на работу уже ходил?

— Ходил.

— И что?

— Выгнали.

Леня Пузанов, который быстро завел себе друзей среди шоферов, устроил Сережку «механиком» в немецкий гараж. Совершенно не разбираясь в машинах, Сережка пролежал полдня под машиной, сначала откручивая ключом первую попавшуюся гайку, а потом снова закручивая ее. «Механика» быстро раскусили, однако выгнали довольно корректно.

— А ты откуда, Ляля?

— Просто бродила по городу, привыкала... Заходила на базар поворожить «на планетах»...

— Нашла коллег?.. Затрагивают твою астрономическую струнку?

— Так затрагивают, Сережка, что хочется подойти и дать пощечину такому типу на весь базар. Ну, взял бы себе замусоленные карты или морскую свинку, а то, главное, планеты сюда приплетает,— сердито проговорила Ляля.

Она терпеть не могла этих темных гадалок, опошлявших самое слово «планета», которое было для нее научным термином, полным своеобразной красоты и очарования.

— Вообще в последнее время — ты заметила? — расплодилась тьма всяких гадалок в юбках и в штанах,— невесело говорил Сережка.— Астрологи появились, всякие спириты даже... не хватает только алхимиков... Ты помнишь Мусю Львовскую из девятого «А»?

— Ну?

— Сестра говорит, что Муся тоже принялась вертеть по ночам блюдечко... Вызывает духов и просит у них совета.

— Муся? Серьезно?

— Вполне серьезно.

— И смех и горе,— после паузы промолвила Ляля.— Каждый, как может, ищет выхода из этого ада. Одни находят правильный путь, а некоторые на стены лезут.

— Она вопрошала дух Пушкина, долго ли еще продержатся оккупанты.

— Что ж он ответил ей?

— Говорит, что Александр Сергеевич ответил какой-то шуткой. Довольно неприличной.

Оба засмеялись.

— Пушкин и на том свете не может угомониться,— промолвила девушка. — Нет-нет да и выкипет какой-нибудь фокус.

— Можно представить, до чего ему осточертели эти спириты,— вздохнул Сережка.— Как все-таки легко у нас дышалось, Ляля... Все время будто озоном атмосфера была насыщена. А теперь иногда станет так душно... так душно, что поднялся бы посреди ночи и пошел хоть глоток этой свежести искать... Хоть разок вдохнуть!

— Тебе, вижу, снова хочется пуститься в свои странствия?

— Иногда, кажется, совсем удается убедить себя, Ляля, что не нужно, что мы должны здесь оставаться, а потом... снова хочется! — Сережка задумался и почти со злостью прочел:

Пойду я, гонимый, пойду я, осмеянный,
Не в силах забыть ничего все равно,
Напрасно чужими ветрами овеянный,
Все верный тому, во что верил давно.

— Хорошо,— усмехнулась девушка,— мы тебя пошлем, только не в дебри.

— А куда?

— Потом узнаешь. Попутешествуешь малость. Теперь вообще много людей путешествует. У нас вот ночевали люди из Харькова. Разговорились, конечно, про оккупантов. Одна, совсем уже старенькая, знаешь, как сказала? «Не вечно же им,— говорит,— быть... если все люди против...» Это мне очень понравилось! С такой искренней, непосредственной уверенностью произнесла она эти слова!.. Вообще мне кажется, Сережка, что, несмотря на гнетущую тяжесть оккупации, люди наши не только не шарахнулись кто куда, а, наоборот, стали еще более сплоченными, еще более честными друг с другом. Я, конечно, имею в виду не те ничтожные шкурнические элементы, которые повыползали сейчас из всех щелей, а настоящих людей, основную массу нашего народа. Выйди в город, прислушайся: все клокочет!.. Немцы ходят среди людей,

однако встречные словно пропускают их мимо, ускользают от них, не давая войти в самую гущу, в самую ткань жизни. Самое главное, что в сердце народа не угасает великая вера. Ты заметил, все живут, прислушиваясь к востоку: не гудит ли? Не приближается ли?

— Верно! Город полон надежд, — сказал Сережка, глянув на девушку.

— Вот это она и есть, та сила, Сережка, которая умножает и наши с тобой силы! Обрати внимание, как, например, простые женщины относятся к бойцам других национальностей... Вот хотя бы история с Ленькой... А сколько их таких? В каждом селе полтавские матери дают убежище если не одному, то нескольким окруженцам, есть среди них и русские, и белорусы, и узбеки, и грузины!.. Разве это не важно, Сережка? Это очень важно!..

Ильевский смотрел на возбужденную Лялю, и темные глаза его сияли.

— А ты здорово это подметила: вера в народе не угасает. Не чувствуется у нас беспросветного мрака!

— Как во вселенной, в макрокосмосе: среди безграничной темноты — бесконечные солнца, солнца, солнца! Да такие солнца, что оккупантам от них жарко.

— А кто же мы с тобой, Ляля?

— Мы покамест маленькие, молодые звезды.

Прямо с работы зашел Пузанов — в мазуте, в куцей своей обтрепанной шинели. Весело поздоровавшись с Лялей, заглянул через порог на кухню:

— Тетя Оля, вы дадите мне теплой воды?

— Хоть кипятку,— откликнулась Сережкина мать.

Леонид пошел умываться. Шумно плескаясь, фыркая, он кричал из кухни товарищам:

— Городскую управу переименовали — слыхали? Отныне городской управы нет... Есть бурго-ми-страт! Запомните...

— А ту желто-голубую [1] тряпку, которая висела над управой, еще позавчера сняли, — сообщила, в свою очередь, тетя Оля.

— Накокетничались,— сказала Ляля равнодушно.

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка! —

напевал Леня, умываясь.

[1] Желто-голубой (жовто-блакитний) — цвет петлюровского флага.

— Тише, Леня,— заметила Ильевская.— У соседей офицер стоит...

— А ну их ко всем чертям! Надоели.

И затянул еще громче:

Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко...

Ильевская смотрела на него, сдерживая добрую улыбку.

Умывшись, Пузанов снова вошел в Сережкину комнату и, пристально и серьезно глядя на Лялю, молча полез рукой в правый карман брюк.

Сережка следил за рукой Леонида, как мальчонка, ждущий краюху «от зайца».

Вместо краюхи Леонид, громко стукнув, положил на стол ржавую ракетницу. Потом точно также молча, улыбаясь одними глазами, вытянул из левого кармана брюк вторую ракетницу и, еще сильнее стукнув ею, тоже положил на стол.

X

Валентин Сорока и Боря Серга жили на Подоле, в том районе Полтавы, который сбегал с южного склона белыми домами прямо на луга, ровные, просторные, тянувшиеся до самой Ворсклы, спрятанной в берегах.

Дома, в которых жили хлопцы, стояли напротив, через улицу. Оба юноши учились в одной школе. Валентин «хватал» преимущественно тройки, а Борис был честным отличником, и на собраниях его под аплодисменты избирали в президиум. Зато на уроках физики учитель брал себе в ассистенты только Валентина. Лопоухий, курносый паренек с пылающим от постоянного смущения кругленьким лицом демонстрировал товарищам вольтову дугу так смело и уверенно, будто сам ее изобрел.

Валентин в самом деле считался одним из лучших изобретателей в школе и в городском Дворце пионеров. Беззаботно относясь к другим наукам, он мог до самозабвения отдаваться делу, связанному с техникой, работе в радиокружке или в кружке авиамоделистов. Поджав под себя ноги, сопя и шмыгая носом, Валя просиживал в мастерской Дворца до позднего вечера, мастерил, ломал, переделывал законченное, пока сторожиха не напоминала

ему, что пора собираться домой. Тогда он бежал по длинному коридору Дворца в библиотеку, где Борис наслаждался чтением книг. Валька звал друга, и они вместе отправлялись домой. Если это было зимой, то они сев прямо на лед, по-ребячьи съезжали с горы до самого Подола.

Дома Валя провел через улицу телефон к Борису. Мало того, что они целыми днями были вместе, вместе взбирались на гору по дороге в школу и вместе возвращались оттуда — перед самым сном им тоже хотелось бы обсудить неотложные вопросы, договориться о делах на завтра, — вот с этой целью Валентин и провел телефон. Правда, разговаривать по этому телефону было невозможно, слóва не разберешь, но разве это так уж важно? Главное, что гудеть — просто: гу-гу-гу! — можно было сколько твоей душе угодно.

И весной, проснувшись утром, когда весь мир за окном щебетал и солнце напускало полную комнату веселых зайчиков, ребята радостно гудели друг другу через улицу, давая знать, что я, мол, уже встал, что мне хочется резвиться, озорничать, что тебе тоже этого хочется, что мы сейчас встретимся и помчимся без оглядки до самой Ворсклы, и пусть нас ищут матери хоть целый день, мы будем плыть по реке, поплывем хоть на край света, лежа спиной на воде — черными от загара животами вверх, к синему небу... Так, или приблизительно так, можно было бы перевести на человеческий язык то, о чем гудели друг другу здоровые, краснощекие ребята в те весенние утра, и этот гул ничем не омраченной первой дружбы запал им обоим в душу навсегда.

И в самодеятельных кружках Дворца пионеров, и дома Валя сооружал маленькие двигатели, мастерил игрушечные электропоезда, фотографировал самодельным аппаратом ровесников-сорвиголов со всего Подола, а в школе озорничал, и отца то и дело вызывали к завучу. Возвратившись домой, строгий «батя» давал сыну хорошую взбучку, громил его модели, а курчавый малыш с каштановым чубом, за который его только что оттаскали, оттопырив свои полные, как у негра, губы, угрожал отцу, что пойдет жаловаться на него в милицию. Однако в милицию он не ходил, а вместо того строгал модели заново, их посылали на республиканские выставки, а Валентин уже снова стоял перед учителем красный, насупившийся, с руками в ссадинах и с достоинством принимал наказание за свою очередную выходку. Тут появлялся любимчик

учителей, круглый отличник Боря Серга, оратор и книжник, и, задрав к учителю свой острый нос, стрелял скороговоркой, извиняясь за своего друга Вальку, который не умел просить извинений. Если же умолить учителя не удавалось, Боря просил, чтобы уготованное для Валентина наказание разделили им на двоих, потому что так легче переносить наказание, а отдельно они «вообще не могут».

Отдельно они в самом деле не могли. И позднее, когда Борис, будучи студентом, приезжал из Харькова на каникулы, а Валентин работал учеником механика на городской электростанции,— и тогда, встретившись, они сидели до поздней ночи в саду, сидели все лето и никак не могли наговориться друг с другом. Ночи были чистые и синие, как море, они были насыщены всеми запахами лета, дыханием вечной молодости; по всему Подолу, до самой Ворсклы, пели и перекликались сотни Наталок-Полтавок, и в тон им вторили сотни беззаботных Петров, и тогда Валентин не мог усидеть на месте, какой-то веселый бес искушал его «отколоть» номер посмешнее. И он, закутавшись в простыню и став на сучковатые ходули, шел по садам вспугивать влюбленных, а культурный Борис, хотя и стоял «выше этого», все же сопровождал своего друга. Потом Валька, встретив молодых подолянских забулдыг, наводил их на институтский сад, а Борис, который был «выше этого» и считал, что неприлично забираться в сад через забор, подходил к сторожу и вел переговоры. Он честно говорил деду, чтобы тот подержал собаку, пока они управятся, потому что иначе и собаке будет беда, и деду — морока, и у хлопцев штанов не так уж много... К тому же, работая спокойно, они и ветвей не повредят, и лишнего не нарвут, а просто полакомятся. Наверное, Борис был хорошим дипломатом, потому что дед-сторож иногда и в самом деле держал свою собаку за ошейник, пока хлопцы паслись.

Потом, грызя кислые даровые яблоки, Валентин и Борис снова сидели в своем саду. Валька строил ракетопланы по Циолковскому, а Борис конструировал их по-своему, пока мать Валентина — крупная, солидная женщина — не начинала ворчать, появившись на крыльце: долго ли еще они будут гудеть и не пора ли им спать.

— Мы уже кончаем,— отвечал Валентин матери.

А через час выходила мать Бориса и, поскольку они все еще ломали в саду голову над ракетопланом, тоже

начинала кричать через дорогу — не пора ли им спать, потому что завтра не добудишься.

— Мы уже кончаем, мама! — кричал Борис через дорогу.

Однако расходились они только тогда, когда небо на востоке розовело, как застенчивая девушка, а в низине, над лугами, далеко видны были седые волны-переливы рассветных туманов. И каждый раз у них оставалось много такого, о чем они еще не доспорили и не досоветовались, с сожалением перенося это на следующий вечер.

А теперь оба были уже взрослые, и сад их стоял голый и неосвещенный. Подол поглядывал на мир темными глазами, как изнуренный узник. И были они теперь не одни, и принадлежали не только самим себе, а жила еще в противоположном конце Полтавы высокая девушка с детским именем и золотистыми волосами, которая давала им задания; был на Первомайском проспекте симпатичный картавый поэт Сережа, который послезавтра пойдет по заданию на село; был на «Металле» отчаянный и задушевный сибиряк Лепька, которому поручено готовить оружие, были еще где-то неизвестные друзья, возможно, даже тут, под боком, и все они решили бороться, и не столько решили, сколько это как-то само собой решилось, потому что иначе они не представляли своего существования.

После первого заседания на квартире у Ляли хлопцы целую ночь писали листовки, четко, как для стенгазеты, старательно выводя печатные буквы, чтобы все было понятно и колхозникам из Пушкарей, и старым полтавским рабочим. Писали, перебрасываясь словами о том, что, если бы застали их сейчас немцы, наверняка отрубили бы им руки, подвергали бы медленным изощренным пыткам,— все это ребята очень отчетливо представляли, но от сознания опасности писали еще упорнее и старательней.

На следующий день листовки читала вся Полтава, оккупанты и предатели соскабливали их штыками, вынутыми из ножен, а через два дня листовки вновь белели на стенах; содержание было точно таким же, как и в предыдущих, хотя на этот раз писал не Валентин, не Борис, а кто-то другой, неизвестный.

— Я же говорил, что есть еще и другие, кроме нас, в Полтаве! — восторженно восклицал Борис, а Ляля тепло смотрела на него радостными синими глазами.— Полтава борется, друзья! Чья-то сильная рука поддерживает нас!

Листовки, расклеенные неизвестными единомышленниками, были написаны уже не черной тушью Валентина, а отпечатаны на машинках, которые, быть может, стучали в свое время в обкоме партии.

На всех листовках была одна и та же подпись: «Непокоренная Полтавчанка».

XI

Родители Валентина уже спали; за ставнями, наглухо закрытыми на болты, бесновался ветер, а Валька с Борисом все еще возились в маленькой комнате, в которой днем работал старый Сорока, превратившийся внезапно из лучшего мастера городского индпошива в подолянского ремесленника на дому.

Валентин ползал на коленях под столом, растрепанный, с оттопыренными губами, а Борис держал каганец, послушно присвечивая в нужных местах по первой Валькиной команде.

Организация поручила Валентину смонтировать радиоприемник. Смонтировать во что бы то ни стало. Уже целую неделю молодые подпольщики напряженно ждали результатов его работы. Они сообща подыскивали недостающие детали. С добрыми намерениями несли или передавали Валентину всякие железки, казавшиеся на неопытный взгляд какими-то «родственниками» приемника. Валька от души хохотал, разглядывая принесенный ему Ильевским спидометр из разбитой автомашины. Часто Валентин, набрав в мешочек соли, сам или с Борисом шел на базар. У торговцев всякой металлической мелочью он постепенно приобретал нужные ему детали.

Теперь приемник был почти готов. Валентин прикрепил его снизу к доске стола, аккуратно протянул антенну за трубой водопровода, а заземление — по трубе умывальника.

Борис, который вообще преклонялся перед умением артистически обращаться с техникой, умением, свойственным его другу, всегда находивший у Валентина какую-то инженерную струнку, и на сей раз воскликнул, что это «просто гениально».

С восхищением глядел Борис на широкие мускулистые Валькины руки, которые становились словно

бескостными, когда ощупывали какую-нибудь деталь. Пальцы сновали по ней сноровисто, смело, стремительно проникая в отверстия, которые казались слишком тесными для его пальцев. Инструменты Валентин брал из-под ног или из-за спины, даже не глядя на них, безошибочно угадывая их одним прикосновением, иногда обходился вовсе без инструмента, казалось бы, крайне необходимого,— загибал, что нужно, руками, перекусывал зубами, шлифовал о штаны. Когда Валентин работал, он казался Борису еще умнее, чем обычно.

«Что-то появляется в выражении его лица,— думал Борис, держа каганец в занемевшей руке,— честное слово, что-то появляется!..» А Валька, работая, все время бубнил баском из-под стола, словно обращаясь к журавлиному носу Бориса, освещенному каганцом. Валентину только этот острый нос товарища и был виден.

— Неправильно ты сказал, Борис, что я технику люблю до самозабвения, как Архимед, которого прикокнули оккупанты в Сиракузах. Раньше я тоже думал, что нет на свете ничего милее, чем копаться в машинах, в разной аппаратуре, вдыхать в них живую душу так, чтобы никто и выдохнуть ее оттуда не мог. Глянешь, бывало,— лежит перед тобой нечто совершенно мертвое, хлам, утиль... Дай, думаю, попробую. Возьмешь, смонтируешь, подгонишь, запустишь — смотришь, ожило!.. Что ни говори, а все-таки много всякой чудесной чертовщины люди навыдумывали!.. Если бы можно было встать эдак лет через тысячу да взглянуть, какая тогда техника будет, а? Представляешь себе? Наверное, вся земля уже на машинах держаться будет!..

— Я ж говорю, что ты без техники жить не можешь,— улыбнулся Борис.— Это твоя стихия.

Валентин сопел под столом.

— А вот и могу,— неуверенным голосом промолвил он немного погодя.— Электричество ведь бросил?

— Так это же у немцев! — возразил Серга.

— А у немцев разве не электричество? Разве у них не тот же электроток, что у нас? А вот бросил,— вздохнул Валентин, как в бочке. — Не мог.

— Что не мог?

— Все не мог! Что ни прикажут — не могу. Скажут — протяни проводку вон туда,— начну и не могу. Ставлю изолятор, а меня как будто кто-то дергает за полу: «А ты подумал, кому эта лампочка будет светить?»

Подгоняю рубильник, а меня снова кто-то дергает: «А куда этот рубильник ток будет включать?» И знаешь, прямо тошно мне стало, невмоготу! И трансформаторы, и кабели, и все остальное начисто опротивело. Думал, что навеки отпала у меня охота и к технике, и ко всему этому.

— А, оказывается, нет?

— Нет,— облегченно и шумно, как вол, вздохнул под столом Валентин.— Слава богу, нет. Как только взялся за приемник, сразу увидел, что все у меня... на месте.

— Все-таки любишь?

— Все-таки люблю. Да ты и сам видишь, что у нас было, а чего не хватало. Как у той кумы, что похвалялась — если бы творог да мука, наварила бы вареников, одолжите дровец... Я уверен, что тут даже академик какой-нибудь развел бы руками.

— Сказал бы,— засмеялся Борис,— что, учитывая и то и это, радио есть радио и требует соответствующих материалов...

— Материал!.. Был бы один материал, самый главный: голова на плечах да желание в сердце... А остальное приложится...

— Было бы стремление,— воскликнул Борис приподнято,— был бы порыв духа!..

— Тсс! — толкнул его ногой Валентин. Он уже сидел под столом в наушниках, как бортмеханик в кабине самолета. — Трещит!..

— Дай хоть один наушник! — Борис стремительно нырнул под стол, и коптилка погасла. Он не стал ее зажигать. Одним ухом приник в темноте к наушнику. Валентин прижался к другому. Они услышали бы стук собственных сердец, если бы прислушались к ним, а не чарующее потрескивание атмосферы.

— Валька, неужели это правда?

— Скажешь! — воскликнул Валентин.— Да ведь уже давно за полночь!.. «Коминтерн» не работает!..

— А ты уверен, что настроил на «Коминтерн»?

— А на что же еще?

Потом они слушали музыку, далекую, непонятную, прекрасную. Как будто перед ними открывались сказочные, полные неземных звуков миры, потерянные для них, а теперь вновь возвращенные усилиями их воли, их юношеского упорства. Значит, не напрасно они работали с такой настойчивостью несколько ночей подряд!

— Садись вот так, и будем слушать.— Валентин обнял в темноте сухощавое плечо Бориса.— Тебе удобно? — Валя становился даже чутким и вежливым, когда в душе у него была радость.

— Удобно, удобно,— прошептал Борис с благодарностью.

Так, сидя под столом, хлопцы и уснули, обнявшись, с наушниками в руках. И проспали бы они так до белого дня, если бы внезапно не послышались им гудки, полнозвучные, красивые, такие, как те, которыми они перекликались в детстве, разбуженные первым солнцем, взбодренные весенней свежестью. «Гу-у, гу-у, гу-у»,— слышали они прекрасное, улыбаясь оба во сне.

Это были первые гудки московской радиостанции перед тем, как она начинает утром свои передачи, приветствуя весь мир бодрой торжественной песней.

Как только стало рассветать, Борис помчался на Кобыщаны к Ляле. Он поднимался с Подола к центру по крутой булыжной мостовой, придерживая фуражку за козырек, чтобы ее не сорвало встречным ветром.

Шел он быстро, как всегда вприпрыжку. Собственно, это нельзя было назвать шагом, потому что он бежал на гору и с горы, никогда не уставая и часто удивляя этим несколько тяжеловатого, медлительного Валентина.

— Я когда-нибудь разберу тебя на части, как часовой механизм,— шутливо угрожал иногда Валька,— и посмотрю, что у тебя внутри. Почему ты никогда не задыхаешься?

— Что? — спросил Борис задумчиво.

— Разберу...

— Разбери, разбери,— серьезно соглашался в таких случаях Борис, задрав на Валентина свое кепи с невероятно большим козырьком.— Разбери.— Он совсем и не слышал, что именно его друг намеревается разобрать. Борис в это время витал мыслями где-то далеко...

Ветер бил сухим снегом, резал глаза. Из боковых переулков свистели сквозняки. На перекрестках снег яростно взвивался белыми смерчами.

С разгону Борис налетел на какую-то женщину, чуть не сбил ее с ног, а потом с бухты-барахты поздоровался с нею и побежал дальше, а она удивленно смотрела ему вслед: кто бы это мог быть? Вроде бы незнакомый, а здоровается... А впрочем, молодые растут быстро: за

какой-нибудь год так вырастет, что и не узнаешь, чей он. Растут, растут...

На Гоголевской улице, возле сожженного универмага, тесной кучкой стояли женщины, глядя куда-то через улицу, вверх. Борис поднял свой козырек и застыл на месте: на фонарном столбе висел скрюченный мальчик-подросток.

За что повешен? Кто он такой?

Борис ничего этого не знал. То, что он почувствовал в первую минуту, нельзя даже назвать страхом. Он просто забыл обо всем на свете, для него ничего не существовало, кроме одного: бумажки в боковом кармане рубахи. Только эта бумажка обрела вдруг ощутимую физическую тяжесть, и только ее Борис ощущал на себе. Он инстинктивно прикрыл грудь рукой.

Голова повешенного была обнажена, волосы припорошило снегом, и снег уже не таял. Простенький, замасленный пиджачок, на груди — фанерная табличка с надписью: «Партизан».

На ногах у повешенного Борис увидел здоровенные армейские ботинки, которые, по всей вероятности, были ему не по размеру. А на лицо, не сохранившее ничего человеческого, он просто боялся смотреть.

Борис стоял и не отрывал взгляда от крепких, тяжеленных башмаков, от таблички, написанной от руки, но так старательно, словно она была отпечатана по трафарету. «У них уже, наверное, много таких табличек заготовлено. Вероятно, и на меня есть, и на Валентина»,— подумал Борис, невольно прислушиваясь краем уха к голосам каких-то женщин, разговаривавших на базаре. Они говорили о том, что, быть может, этот парнишка вовсе и не партизан — какой из него партизан,— наверное, он просто возвращался домой после восьми, а его схватили и повесили. Даже похоронить не разрешают.

— Теперь они хозяева, что хотят, то и делают с нашими детьми...

Гнев и решимость отомстить все больше охватывали Бориса. Уважение к себе, Борьке Серге, который стоит, не пугаясь, не удирая, хотя внутри у него все дрожит от напряжения, переполняло юношу — бумажка с сообщением Советского Информбюро лежит у него на груди, и все вокруг, кажется, знают о ней и видят ее.

Борис заметил, как по тротуару приближается фигура полицая, мерзкая синяя фигура: полицай пронизывает

сго насквозь; глаза этого негодяя ползают по Борису, как медленные гусеницы по листве; одежда уже не прикрывает бумажку у Бориса на груди, ее видят все, она как медаль. Полицай приближается. Борису хочется повернуться и дать деру вниз, на Подол, бежать изо всех сил, но он говорит себе мысленно: «Стой! От них никуда не убежишь!..»

И стоит.

Опять ему хочется знать, сколько у них, проклятых, еще заготовлено табличек на него, на его друзей, на весь народ. «Стой, будь что будет!»

Полицай, оказывается, знакомый. Семен Коломойцев. Однажды летом возле городского кинотеатра подолянские хлопцы, в их числе и Валентин, решили хорошенько проучить Коломойцева за какие-то подленькие провинности перед товарищами. Они вывели его за театр, в темное место, и после краткого предисловия начали, как говорится, пересчитывать ребра. Остановил их тогда Борис:

— Бросьте вы руки пачкать!

Он органически не переносил телесных расправ. Его от них тошнило.

Теперь Коломойцев, помня давнишнюю услугу, встретил Бориса, как приятеля:

— Привет, Серга! Что, пацана разглядываешь? Ох, и затянули ж!

Коломойцев был в синей форменной фуражке, в такой же шинели с блестящими пуговицами.

— Когда это вам выдали новую форму? — спросил Серга со спокойствием, которого совсем не ждал от себя.

— Недавно привезли. Прямо из цейхгаузов. Это, говорят, их полиция носила до тридцать третьего года, а потом сняли.— Коломойцев говорил, как-то непривычно шамкая, будто рот был полон ваты.

— И все это время лежали в цейхгаузах? — с подчеркнутым любопытством спросил Серга.

— Все время. Добротное сукно!

— И штаны тоже? — еще спокойнее спросил Борис, неизвестно почему бледнея.

— И штаны.— Коломойцев отвернул широким жестом полу шинели, показывая синие, изрядно вытертые штаны.

Борис внимательно осмотрел их.

— А что это у тебя на заду? Латка?

— Да вот залатано,— прошамкал Коломойцев.— Но под шинелью не видно, правда?

— Конечно.

— Тебе куда, Борис? — Коломойцев назвал его по имени, и Борису вдруг захотелось заехать полицаю в морду.— Ты в Корпусной? Там сегодня памятник Славы сваливают.

— То есть как — сваливают? — не понял сначала Борис.

— Да так просто: решили свалить. Пошли посмотрим...

— Нет, мне сюда, — показал Борис в противоположный конец сквера, туда, где стоял памятник Гоголю.

— Ты меня не бойся, Серга,— вдруг снизив голос, промолвил Коломойцев.

— А чего мне тебя бояться?

— Ну, как чего... Ты все-таки был комсомольцем при советах. Но не бойся, я не заявлю.

— Почему же ты не заявишь? — с неожиданной дерзостью выпалил Борис. — Заяви.

— Э,— погрозил пальцем Коломойцев.— Меня не возьмешь за рупь пять, я не лыком шитый: а если советы придут, тогда что? Вам, ей-богу, лучше, чем мне. Вам нечего бояться, а мне... хана!

— Выходит, ты сам нас боишься?

Коломойцев промолчал.

— И верно, боюсь,— вздохнул он.

«Нужно будет его заманить куда-нибудь в темный угол»,— подумал Серга и сказал:

— Ну, пока...

— Пока.

Борис пошел сквером, мимо памятника Гоголю. Простоволосый Гоголь смотрел, как живой, на фонарный столб, на тяжелые ботинки парня, не достававшие до земли.

За памятником, в глубине сквера, Серга неожиданно увидел Лялю. Она стояла с каким-то незнакомым Борису человеком и разговаривала с ним, глядя на фонарь. Незнакомый — с портфелем под мышкой, с трубкой в зубах — изредка отвечал Ляле, не вынимая трубки изо рта.

Когда Борис приблизился к ним, незнакомец с нескрываемым неудовольствием посмотрел на него. Ляля, похоже, встревожилась.

— Ты уже был возле него, Борис? — Девушка кивнула на фонарь.

— Был.

— Не узнал, кто такой?

— Я на лицо не смотрел.

Незнакомец подал Ляле руку.

— Будь здорова...

— Познакомься, Борис,— обратилась Ляля к Серге.— Это... товарищ Сапига.

Сапига взял протянутую Борисом руку, подержал ее какой-то миг, будто взвешивал, и, неприязненно отпустив ее, пошел, не оглядываясь, мимо памятника. Ляля смотрела на бронзовый бюст Гоголя.

— Смотри, его плечи как будто вздрагивают,— сказала девушка.

Снег волнами пабегал на памятник, бил о бронзу мелкими льдинками пороши.

— Ляля, ты ничего не знаешь! — тихо воскликнул Серга.— Если б ты только знала!

— Что такое? — Девушка удивленно смотрела на Бориса. Выражение его лица было таинственным.

— Говори скорее!

— Отгадай...

— Неужели готово?

— Да, Ляля! — Серга оглянулся во все стороны.— Под Москвой фашистам дали по зубам!

Девушка схватила его под руку, потянула с собой вдоль сквера.

— Рассказывай! Неужели вы слышали Москву?

— Слышали. Правда, урывками, треска и шума много, наверное, другие станции забивают...

— Что ж там? Ну, поскорее же! — Ляля оглянулась. Сквер был безлюден, лишь по мостовой, стуча, как колодками, деревянными подошвами, шли на работу пленные.

— Освобожден Тихвин!

— Тихвин освобожден? — В глазах у Ляли запрыгали голубые искорки.

— Елец, Рогачев, Клин...

— И Клин! И Елец! — повторяла Ляля возбужденно, как будто хорошо знала эти города, хотя на самом деле некоторые из этих названий слыхала впервые.

— ...Яхрома,— продолжал Борис, все более распаляясь от гордости и счастья, что он первый сообщает девушке об этой Яхроме. — Солнечногорск, Истра...

— Солнечногорск? — Ляля заглядывала в глаза товарищу с благодарной нежностью.

— Е-пи-фань,— произносил Борис все громче, как будто набираясь сил с каждым словом.

— Епифань,— взволнованно, с наслаждением повторила Ляля, сжимая локоть Бориса. Он выше поднял козырек.

— Ливны, Дубна, Богородицк...

— Борька! — почти выкрикнула Ляля.— Ты знаешь, что это такое? Это же наступление! — Ее глаза еще сильнее засверкали. — Недаром мне снился Марко!.. Как будто весна, вокруг зелено, а он, в каске, в полушубке, спешит куда-то через Шевченковский парк в Харькове и все зовет, зовет...

— Можно думать, что наступление продолжается уже длительное время,— вслух размышлял Борис.— Потому что в начале передачи упоминалось, что, мол, как известно, под Тулой разгромлена вторая бронетанковая армия Гудериана.

— Борис, все это нужно было записать! — спохватилась Ляля.— И немедленно размножить!.. Как же ты не записал?

Борис только сейчас вспомнил о бумажке, лежавшей у него на груди.

— Вот голова! — стукнул парень себя по лбу и засмеялся. — Ну и голова!

Он и не заметил, как все, что было записано в этой бумажке, он рассказал Ляле наизусть.

XII

Вечером товарищи собрались у Ильевского на проводы. Завтра утром Сережка отправляется в район, в знаменитый до войны совхоз «Жовтень», где жила его тетка. Сестра Люба пошла в совхоз две недели назад и до сих пор не вернулась. Мать беспокоилась: а что, если по дороге Любу схватили немцы?.. Сережа должен был обо всем разузнать. Кроме того, ему надлежало выполнить и другое задание, о котором мама ничего не знала. На дворе уже лежали, зарытые в снег, умело упакованные, переписанные разными почерками листовки с первыми сообщениями Совинформбюро. Сережа должен был распространить их на селе.

Молодежь собралась в Сережкиной комнате, мать хлопотала на кухне. Ей было показалось, что никто больше уже не придет, как вдруг дверь открылась, и на пороге вырос, стряхивая снег, еще один гость, приземистый, черноволосый, с сердитым лицом горчичного цвета. Мать удивилась: этот еще ни разу не приходил к ее сыну.

— Вы продаете шкаф? — деловито осведомился незнакомец, исподлобья взглянув на хозяйку. Мать на какой-то миг заколебалась. Сережка предупредил ее, что тому, который придет покупать шкаф, нужно ответить: «Пройдите, посмотрите». И направить в Сережкину комнату.

— Вы продаете шкаф? — еще раз сказал незнакомец, не столько спрашивая, сколько утверждая, и мать должна была сказать так, как советовал Сережка.

— Пройдите, — сказала она, и голос ее дрогнул. — Посмотрите...

Нахмурившись, гость прошел в комнату, плотно прикрыв за собой дверь.

В Сережкиной комнате было оживленно и шумно, как на студенческой вечеринке. У Валентина уши пылали огромными розами — каждый таскал его за уши: сегодня он был именинником, ибо первым услышал голос Большой земли. Когда вошел новый гость, которого тут все, видно, ждали, присутствующие встали ему навстречу. А Ляля представила его:

— Сапига.

Сапига подходил к каждому, молча пожимая руки.

— Раздевайся,— сказал Леня, принимая на себя роль хозяина.— Будь как дома.

Сапига снял пальто, и орден Красной Звезды блеснул у него на груди. Он исподлобья оглядел товарищей, довольный тем впечатлением, какое произвел на них орден.

«А он, видать, с гонорком», — подумал Серга о новоприбывшем, глядя, однако, с уважением на его орден.

Напрасно думал Сапига, привинчивая орден перед тем, как идти к Ильевскому, что эти люди мало его знают и что им надо отрекомендоваться своими заслугами. Даже тем из них, которые видели его впервые, главное уже было известно о новоприбывшем.

Ляля, которой было поручено чуть ли не самое трудное дело — подбирать в организацию надежных людей, давно уже изучала Сапигу, как изучала и многих других. В этом ей помогали, сами того не подозревая, подруги,

многочисленные знакомые, соседки Сапиги и даже сам Константин Григорьевич, который не первый день был в хороших отношениях со стариком Сапигой и немало слыхал от него про сына.

Присутствовавшие знали, что Сапига получил орден в финскую войну, знали, с какого года он в комсомоле, с какого — кандидат в члены партии. Известно им было также, что по профессии он журналист. Но всего этого теперь, во время оккупации, было мало для того, чтобы оценить человека, хотя раньше, до войны, возможно, было бы и достаточно. И не его орден был основной причиной того, что Сапига мог сейчас войти сюда. Сама жизнь научила Лялю и ее товарищей ценить человека не только за прошлые заслуги, а, главным образом, за его теперешние действия, за то, что он делает сейчас и как ведет себя в окружении врагов. На молодых подпольщиков его орден производил теперь куда меньшее впечатление, чем газета «За Радянську Україну», которая выпускалась специально для населения оккупированной территории и которую Сапига давал читать некоторым людям, в том числе и Лялиным подругам. Большое значение имело и то, что Сапига вместе со своей сестрой распространял первые листовки организации, подписанные «Непокоренная Полтавчанка». Об этом тоже присутствовавшие уже знали. Важно было, наконец, и то, что, работая завхозом в комитете украинского Красного Креста, демагогической марионеточной организации, созданной оккупантами, Сапига часто выезжал заготовлять дрова в Диканьские леса и возвращался оттуда с интересными новостями, о которых Константин Григорьевич слыхал от старика Сапиги.

И если Сапига в самом деле входил в эту комнату с некоторым гонорком, с сознанием превосходства учителя, идущего к ученикам, то довольно скоро он почувствовал себя совсем в другой роли. Присутствующие, которые были куда моложе его, задавали вопросы, а он отвечал. Потому что здесь, в Полтаве, они, оказывается, успели сделать больше и, следовательно, имели право спрашивать с него, чей вклад в общее дело пока что был меньше.

— Так ты ничего определенного не знаешь о товарище Куприяне? — обратился Пузанов к бывшему журналисту.

— Я уже сказал,— попыхивал Сапига трубкой,— что лично его не знаю. По-моему, вообще под этим именем действует не один, а несколько отрядов. Товарищ Купри-

ян — это, очевидно, руководитель основного отряда, которому подчиняются остальные. Я хотел в Лютенках вступить в местный отряд, но председатель колхоза, с которым я вел переговоры, сказал мне, что людей им пока не нужно.

— Как это людей не нужно? — удивился Сережка.

— Так,— спокойно продолжал Сапига, не поворачиваясь к Ильевскому,— потому что даже для тех людей, которые у них есть, не хватает оружия. А кроме того, они вообще придерживаются той точки зрения, что верные люди в самой Полтаве нужны не меньше, чем в лесу.

— Разве не то же самое я тебе говорила, Леня? — обратилась Ляля к Пузанову.

— Ты сказал, им нужен пулемет? А что они могли бы дать в обмен? — задал вопрос Валентин, набивший в последнее время руку на всякого рода обменах.

— Не знаю, — сказал Сапига.

— Тол у них есть? — спросил Леонид.

— Я об этом не знаю... Мне известно другое: у Артелярщины подбили машину с ракетами.

— Вот как? — поднял брови Сережка.

— Да, полная машина ракет... А насчет тола не знаю.

Сапига, не глядя на товарищей, видел их. Со всех сторон они поблескивали на него глазами. До сих пор он считал, что владеет профессиональным даром журналиста: с первого взгляда разгадывать и определять людей. Сейчас Сапига должен был признаться себе, что ошибался. Вначале они ему показались почти детьми, не слишком серьезными и малоопытными. Такие молодые беззаботные лица он привык видеть на выпускных вечерах в десятилетках. К чему они тогда готовились? Возможно, уже представляли себя инженерами, мореплавателями, зодчими... Не думали они, что будут сидеть за закрытыми ставнями вокруг карбидной оккупационной лампы, упорно постигая нелегкое искусство создания подполья, изыскивая тол для диверсий в родном городе. Не думали, однако довелось. И уже не беззаботные птенцы сидят здесь кружком. Горе отчизны, опасность, нависшая над каждым из них лично, сделали их внутренне старшими, более зрелыми.

А разве не то же самое произошло с ним самим?

Войну Сапига встретил на самых трудных ее рубежах. Вот он бредет с товарищами от села к селу, на Яготин, на Пирятин, из окружения в окружение. Колхозницы поят

их молоком. «Куда ж вы, куда?..» Кажется, Сергей этих застывших у дороги колхозниц только в дни горя, пожалуй, понял по-настоящему, как позднее, уже в окружении, понял он себя.

Все светлое перегорело у него в душе и залилось кровью, когда пылали шляхи под Пирятином, загромождённые бесконечными огненными заторами — сотнями пылающих автомашин с моторами, устремленными на восток. Когда брели полями из ночи в ночь заросшие бородами молодые окруженцы, ориентируясь по компасам и по Полярной звезде, которая все время светила слева. Под ногами шумели осенние травы, а примкнутые штыки тускло поблескивали над головами, как древки знамен. Из ночи в ночь.

Грызя сырой початок кукурузы и зарываясь где-нибудь в стог сена, забытый средь поля, ты не спрашивал, кто это шевелится рядом с тобой и куда двинется дальше, одолев усталость и сон. На восток, только на восток тянулись глаза и звало сердце!

Потом немецкие танки гнались по полю за окруженцами, давили траками гусениц людей, измученных горем, давили рядовых и командиров, давили на своем пути все живое. А на берегах Сулы и Ворсклы уже сидели вражеские засады, прошивая из пулеметов лодки, отчаливавшие к восточному берегу. От лодок летели щепки, кровавилась вода, покачивались на волнах зеленые пилотки.

На Ворскле Сапига попал в плен. Он не успел разрезать ножом голенища, испортить обувь, как это делали другие, и немцы сняли с него сапоги. Босого, его гнали через всю Полтаву, через родной город, в котором он не был пять лет. Тут жили его мать и отец, его сестры, родные и двоюродные, его ровесницы-девчата, которых он когда-то любил. Его нога не ступила бы в город, он умышленно отстал бы от колонны, чтоб его пристрелил равнодушный конвоир-пруссак, если бы он не был уверен в том, что в Полтаве его никто не узнает. Его не могли узнать. И не потому, что он не был здесь последние пять лет. Не будь войны, его узнали бы и через пять лет, и через шесть. Потому что разве мог он, молодой военный журналист, появиться тогда на Октябрьской, знакомой с детства улице, босым, оборванным, с окруженческой бородой на юношеском лице и жгучей ненавистью в запавших глазах? Так он шел, измученный, изнуренный, ступая босыми пятками по острой родной мостовой, шел, сердито

запрокинув голову назад, с пустой трубкой в зубах. Он дерзко смотрел на тротуары, заполненные матерями и сестрами, которые рыданьями устилали дорогу колонне. Он в своих грязных позорных лохмотьях не боялся быть узнанным ими и сам искал глазами своих близких. В конце концов, он мог бы бросить в толпу записку или просто, подняв над головой погасшую, без звезды, пилотку, крикнуть: «Это я, Сергей Сапига!..» Мог бы... Нет, он этого ни за что на свете не смог бы. Да и зачем? Чтобы родная мать узнала его и, горестно вскинув руки, бросилась бы к нему из толпы? Чтобы конвор-пруссак отгонял ее прикладом, а она рассыпала б по мостовой, как слезы, мелкий картофель «в мундире», принесенный для пленных? Нет, он этого не мог. Быть может, мать отдала свой печеный картофель другому, думая о сыне.

Так он прошел через родную Полтаву, босиком ступая по булыжнику, который жег ему ноги, будто раскаленный добела. По Октябрьской, самой лучшей улице, мимо фасадов домов, украшенных пестрой опишнянской керамикой, мимо знаменитого ампирного ансамбля домов, созданных к столетию Полтавской битвы. Прошел, как сквозь бесконечное тяжелое горнило, удушливое и темное. И сам он почернел, словно обуглился.

На Южном вокзале пленных грузили в эшелоны. Разделили, как стадо, на сотни и повели к вагонам. Раздвинули тяжелые двери, и конвоир щелкнул по плечу первого:

— Рюс, давай!

«Рюс, давай!» Только эти два слова знал конвоир. Да, в сущности, больше ему и не нужно было знать. Все остальное он «договаривал» палкой. С помощью палки раздавал макуху, палкой считал людей, проверял, все ли в наличии, палкой наказывал. Теперь он палкой велел первому, чтобы тот лез в вагон. Первый поднялся.

Конвоир щелкнул другого:

— Рюс, давай!

Собственно говоря, в руках у него была не страшная увесистая дубина, а обыкновенная лозинка, и бил немец без остервенения, — он спокойно, привычно похлестывал, пересчитывая пленных. И это было самым страшным — это спокойствие, эта методичность его движения. На лице конвоира, почти благодушном, уравновешенном добротой глупца, не было заметно ни раздражения, ни ярости. И в тоже время не было ни малейшего следа сомнения или

колебания. Он был уверен, что так надо. Только так нужно обращаться с существами низшего порядка, которые не являются в его понимании людьми.

До сих пор Сапига всячески избегал палки. Это ему стоило того, что он иногда лишался порции макухи. В колонне он не становился крайним, старался быть незаметным. Он понимал, что это не выход, что рано или поздно с ним случится то же, что и с другими, и это наконец случилось здесь, около вагона. Он не боялся физической боли, он был еще достаточно крепок, чтобы выдержать боль куда более сильную, чем от удара лозиной. Сапига боялся оскорбления, клейма.

И все-таки оно легло на него. Когда подошла очередь, он сам кинулся к вагону, однако быстрая лозинка догнала его, хлестнула не больно, словно шутя. Но в глазах у него потемнело: раб! Клейменый раб!

И именно тогда Сапига понял со всей отчетливостью, что никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на миг он не примирится с оккупантами. На протяжении всей своей сознательной жизни он сам никого не ударил и ничья рука не ударила его. Это позорное, унизительное движение мускулов воспринималось им как что-то противоестественное, одинаково оскорбительное и для получившего удар, и для того, кто ударил. Все его существо восстало против подобного поругания человека. Его, взрослого мужчину, который знает себе цену, привык к другим нормам жизни, щелкает своей хворостиной этот беспросветно тупой и благодушный пришелец-конвоир. Можно ли когда-нибудь к этому привыкнуть, можно ли с этим когда-нибудь смириться? Нет, никогда, никогда он к этому не привыкнет, как не привыкнет организм жить не дыша, не наполняя легкие воздухом.

Он и прежде много слыхал о науке ненависти, воспитывал это чувство у бойцов и не сомневался, что прекрасно в этом разбирается. И только после случившегося у вагона ему стало ясно, что он еще не знал ненависти.

Теперь он страшился лишь одного — никогда не встретить этого немца. И откуда было ему знать, что, выбросившись вечером на полном ходу вместе с конвоиром под откос, он слишком быстро задушит врага, а сам останется жив и будет брести, прихрамывая, с немецким автоматом, в немецких сапогах через козельщанскую кукурузу, держа путь на Полтаву. В дороге он снова привинтил к гимнастерке сохраненную им Красную Звезду

и, появившись ночью под отцовским окном, мог сказать то, чего не сказал, проходя по городу в колонне пленных: «Мама, это я, Сергей».

Был он уже не клейменый узник, а народный мститель. Собственной рукой он сорвал с себя клеймо, и от пережитого остались в душе лишь горечь и стойкость. И вот теперь он наконец снова сидит среди этих юношей, как равный среди равных.

Желчный, угрюмый, он спокойно ведет разговор. Они хотят, чтоб Сапига завтра поехал в Писаревщину за дровами для своего Красного Креста.

— Хорошо,— отвечает он.

— Если пулемет товарищам нужен сейчас,— неохотно говорит Ляля,— мы, конечно, передадим.

— Я соберу на заводе еще один! — заверил Пузанов.— Старики помогут.

— А у них хотя бы ракет возьми,— приказывает Валентин Сапиге. — Могут пригодиться.

— Возьму, — говорит Сапига, попыхивая трубкой; он медленно отвинчивает орден и молча прячет его в карман. Ничего не видит сквозь дым, кроме созвездия горячих глаз, и чувствует, как укрепляется в нем великая сила, связывающая его с этими людьми на жизнь, а может быть, и на смерть.

Леня Пузанов под конец вечера стал особенно воодушевленным, бурным, в нем заиграла удаль мужественного человека. Стройный, высокий, видный, в расстегнутой черной танкистской гимнастерке, туго подпоясанной широким ремнем, он бушевал, шутил, мучил своего любимца Сережку. Незаметно подкравшись к Ильевскому, он внезапно хватал его под руки, поднимал на воздух и ставил на тот стул, которым Сережка манипулировал во время занятий гимнастикой.

— Декламируй! — требовал Леонид.

Ему радостно было осознавать себя снова бойцом, воином, видеть вокруг себя этот новый, пускай еще неумелый, но надежный экипаж. Так же радостно было смотреть на эту девушку с ясными глазами, которой он хочет сказать что-то особенное и сейчас лихорадочно размышляет: сказать или нет?

Обгоревший чуб Леонида уже давно отрос, обожженные брови снова наметились густым белым пушком, и сам он в последнее время поздоровел и окреп. Его зажигалки имели сбыт, и Власьевна быстро выходила парня.

Теперь он лихо похаживал, разминаясь, беспричинно радуясь от избытка здоровья, и то предлагал Валентину выйти во двор и побороться на снегу, то молча улыбался всем, самому себе и даже карбидной лампе. Заметно было, что нынче ему хочется найти неожиданные хорошие слова, известные только ему и никому больше, но он лукаво приберегает их до определенного момента, как наилучший гостинец.

— Давайте петь! — призывает он, глядя на безголосого Сапигу, и первым начинает:

Хлебом кормили крестьяне меня,
Парни снабжали махоркой!..

Сапига морщился, как от боли. Сережкина мать угрожающе постучала в дверь. Леня оборвал песню.

— Зажимают нас, дружище! — обратился он к Сережке, который смотрел на него сверкающими от восторга глазами.— Не дают нам развернуться!..

Расходились поодиночке. Вначале вышел Сапига, подняв воротник пальто, потом Серга, следом за ним Валентин. Последними уходили Пузанов и Ляля. Леонид часто провожал ее после совещаний.

Теперь он, натянув свою куцую шинель, ждал, пока Ляля закончит разговор с Ильевским.

— Пошли, пошли,— не терпелось Леониду.— Что ты ему растолковываешь? Не маленький, сам знает, как вести себя в совхозе!..

— Идем,— сказала девушка, натягивая перчатки и подходя к Леониду.— Да ты хоть бы застегнулся, а то душу выставил!..— Она принялась помогать ему застегивать гимнастерку. — Заболеешь, а потом возись с тобой...

— Не заболею,— уверял Леня, послушно предоставляя Ляле возможность застегивать себя. Это ему явно нравилось.

Попрощавшись, они вышли.

Снега заметали Полтаву. Ветер свистел в темных безлюдных улицах. Било острыми сухими волнами. Неосвещенные дома гудели, словно пустые.

Пузанов и Ляля, взявшись под руку, вышли на Кобыщаны своим обычным ночным маршрутом: через запущенные дворы, среди руин, по окраинам. Ляля заметила, что карман его шинели оттягивает семизарядный пистолет, однако не стала на этот раз отчитывать Леонида.

Когда они, добравшись до улицы Панаса Мирного, хотели уже пересечь ее, Ляля вдруг дернула Пузанова за руку:

— Стой!

Они прижались к стене какого-то сарая. По улице неторопливо проходили двое, ведя спокойный разговор. Слова их сносило ветром.

— Что это за жизнь, — жаловался один из них, — сейчас дрожи — бойся этих, те придут — тех бойся...

По голосу Ляля узнала Коломойцева.

— Полицаи,— шепнула она Леониду предостерегающе. Однако он принял это как приказ.

— Это те хори? — Леонид, сунув руку в карман шинели, рванулся на улицу так неожиданно, что Ляля не успела его задержать.

Полицаи застыли на месте.

— Эй, разэтак вашу!

Пузанов решительно шагнул вперед.

— Стой! — пятясь, воскликнул один из полицаев.— Стой, стой!

И оба они, показав спины, изо всех сил дали стрекача вдоль улицы, на бегу оглядываясь и выкрикивая «стой!».

Ляля вылетела к Леониду. Он, топая ногами на месте, от души хохотал.

— Какой же ты, право, Леня,— строго отчитывала Ляля, внутренне довольная парнем, когда, проскочив через улицу Мирного, они зашагали по глубоким снегам кобыщанских садов.— Какой же ты, братец!

— Все-таки я их выкурю из Полтавы! — похвалился Леонид. — Они у меня еще попляшут!.. Не должно быть в городе подобной нечисти. Такой чудесный город, Ляля, должен быть только для таких... как ты!

— О,— засмеялась девушка,— а для таких, как ты?

— И для таких, как я,— охотно согласился Леонид.— Я вообще устроил бы города для молодых,— продолжал он, легко перенося девушку через снежный сугроб.— Ну и намело!

Леонид все крепче прижимал девушку к себе, и она, не противясь, тепло льнула к его плечу.

— Ляля! — Леонид вдруг остановился и резко повернулся к девушке. Он видел ее блестящие расширенные глаза, полураскрытые губы, чувствовал ее горячее дыхание.— Ляля! — Он все ближе наклонялся, тянулся, задыхаясь, к ее губам.

— Леня! — с ужасом прошептала девушка, отталкиваясь от него обеими руками.— Что ты, Леня?

Его рука вдруг обмякла, бессильно опустилась, будто из нее выпустили кровь.

— Нельзя, Леня...

— Почему?

Девушка помолчала, потом тихо ответила:

— У меня... есть.

— Кто он такой? — спросил Леня с глухим вызовом.— Где он?

— Он... в армии.

Леонид почувствовал острый стыд за свой поступок.

— Тогда... тогда прости.

— Не надо... не говори об этом.

Леонид не говорил. В другом случае он боролся бы до последнего за свою любовь, он обещал бы девушке всего себя, все, что у него есть и чего нет, и в этом стремлении его не остановили бы никакие преграды. Но сейчас он чувствовал себя совершенно обезоруженным — «в армии»... Леонид не спросил о его звании и человеческих достоинствах, не высказал предположения, что тот, неизвестный, быть может, давно уже погиб где-нибудь на Дону или под Смоленском. Леонид не сказал об этом девушке, хотя и подумал об этом. Стоял, будто вдруг отделенный от нее высокой стеклянной стеной, быть может, впервые в жизни обезоруженный без борьбы. Бороться за свое чувство он уже не мог, ибо понимал, что боролся бы не с девушкой, а с тем неизвестным «в армии». Какой он тот? Кто он?.. Не это являлось сейчас главным для Леонида. Главным было то, что «тот» находился там, в армии, то есть был солдат, друг по оружию.

— Извини, Ляля,— сказал Леонид совсем глухо.

Они молча попрощались и разошлись.

Дома Ляля быстро разделась и, спросив у матери разрешения, юркнула к ней под одеяло.

— Я чуточку погреюсь возле тебя, ма.— Ляля подогнула колени.

— Холодная, как ледяшка,— обнимала ее мать.— И тело у тебя такое твердое...

Девушка уткнулась матери в плечо.

— Мама, погладь меня.

— Когда ты отвыкнешь от этого? — ласково ворковала мать.— Как тебе не стыдно? Ведь уже не маленькая.

— Ну что мне делать, ма, если я так люблю твои руки. Так люблю, чтобы они прикасались ко мне! Я ведь мамина дочь, мамина!.. И от этого никогда не отвыкну, так и знай!

— Даже и тогда, когда будешь... не одна?

Девушка молча размеренно дышала, прижавшись к груди матери.

— Почему же ты молчишь, малышка?

Ляля еще плотнее прижалась горячей щекой к маме.

— Возможно, я всегда буду одна...

— То есть как? — испугалась мать.

Константин Григорьевич похрапывал у стены. С трудом, как нездоровое сердце, стучали в темноте часы: то замедляли ход, то вдруг начинали спешить, будто желая наверстать упущенное.

— Ты не сердись, Ляля, но я давно хотела спросить тебя... К нам столько людей ходит... Ты с кем-нибудь дружишь?

Ляля шевельнулась под боком.

— Со всеми дружу.

— Как это со всеми? — переспросила удивленная мать, и они обе тихо, как заговорщицы, засмеялись, боясь разбудить Константина Григорьевича.— Ты не хитри, маленькая... Я знаю, конечно, что ты дружишь со всеми, даже с этим нахмуренным Сапигою. Но я имею в виду одного... Не Леня ли это?

— Мама! — обиженно отпрянула девушка от матери.— Как ты можешь такое подумать? Как ты можешь?

Голос Ляли дрожал. Казалось, она готова была заплакать.

— Не сердись на меня.— Мать горячо поцеловала ее куда-то в подбородок. — Почему это тебя так обидело? Леня неплохой парень. Что он яко наг, яко благ — не имеет значения: на это теперь никто не обращает внимания, такое уж время... Вернутся наши — опять будет иметь все, что имел. Важно то, что он надежный парень, — повторила мать.

Ляля знала, что и матери, и даже требовательной тете Варе сибиряк нравился.

— Я не говорю, что он плохой... Но, пожалуйста, не ставь так вопрос, ма. Разве ты забыла, что у меня есть Марко? Как можно об этом забыть? Ай, какая же ты, право!

Мать почувствовала себя неловко, однако не хотела сразу признаться:

— Да Марко... Где-то он сейчас?

— Ты сама ведь своего усатого Костю ждала пять лет!

— Я поклялась, — прошептала мать с гордостью.

— И я поклялась! — ответила Ляля.

— Как же ты поклялась? — с чисто женским любопытством спросила мать, наклоняясь к Ляле.— Как, маленькая, скажи?

— Как тебе не стыдно об этом спрашивать, ма! Какая ты бесстыдница!

— Это потому, что темно... В темноте можно... Скажи.

— Ну, как, — замялась девушка. — Как все. Помнишь, ма, когда я приехала летом, ты увидела у меня шрамы на руке и все допытывалась, что это за шрамы, помнишь?

— Помню.

— Это я так поклялась... Сама перед собой. Но, прости, мамуленька, я тогда не сказала тебе всей правды. Я только сказала, что мы с девчатами силу воли проверяли на горячем утюге. А на самом деле это я свою любовь проверяла, ма!

— Как?

— Вот загадала себе — буду держать руку на раскаленном железе, пока трижды медленно не произнесу: «Полюбила, люблю, буду любить...» А он и не знал об этом! — засмеялась Ляля. — А потом еще... Это было, когда он уходил уже в армию. Сначала они пошли в райком, а оттуда в военкомат... Там они отдали свои отсрочки, которые имели до окончания университета, и на этих документах полковник, говорил Марко, ставил кресты красным карандашом. Я помню этого полковника, мы с Марком видели его в лесопарке второго мая... А потом ребята совсем уходили. Я зашла к нему в комнату в последний вечер. На этажерке лежал ранец, мы купили этот ранец с Марком в универмаге. Ты не представляешь, какой я была в тот вечер, ма! Ты не можешь этого представить... И хотя ничего между нами не было, ничего, ничего, понимаешь, однако именно в тот вечер я словно бы почувствовала себя... женой.

Им стало жарко обеим.

— Вот тогда я поклялась. Где бы ты, говорю, ни был, сколько бы ни был, знай: ничьи руки... не обнимут

меня! Ничьи губы не коснутся моих... кроме мамуськиных!

Мать нежно прижала Лялю к себе. Лежали, опаляя друг друга дыханием.

— Ляля,— неожиданно изменившимся торжественным голосом сказала Надежда Григорьевна, — а знаешь ли ты, что, если бы с тобой что-нибудь случилось, я не перенесла бы этого... Я не смогла бы жить.

— О чем ты, мама? — ужаснулась Ляля.— О чем, скажи?

— О твоих друзьях, Ляля. Они приходят всегда такие задумчивые, такие деловые. Особенно этот, который сегодня был... Сапига. И тот, беспалый. Вы... что-то делаете, Ляля... Вы что-то задумали.

Какой-то миг обе молчали.

— Ты не хотела бы этого, ма? — Ляля взглянула в глаза матери. Мать лежала на спине, и ее большие глаза, кажется, сияли в темноте. — Если бы в самом деле нужно было... для возвращения нашего мира... для счастья всех... Разве ты не благословила бы меня? На все, на все!..

Мать прижала ее к себе и молча поцеловала в лоб.

XIII

Лыжи скрипели по снегу. Отталкиваясь легкими бамбуковыми палками, Ильевский будто взлетал в воздух.

Кругом дымились поземкой белые поля. Теряясь в их просторах, далеко по горизонту виднелись сиротливые, словно бы вымершие села, окруженные высоким частоколом темных садов.

Под вечер Ильевский подходил к совхозу.

Раньше уже Сережке приходилось бывать у тети Даши, и он хорошо запомнил эту местность. Внешне и сейчас здесь словно бы ничего не изменилось.

Амбары, силосные башни, длиннющие корпуса ферм — все осталось после фронта неразрушенным. По дорогам с поля от скирд двигались арбы с сеном — фуражиры возвращались на ферму. В центре хозяйственного двора, на самом видном месте, высилась мастерская, крытая белой черепицей. Строение было открыто всем ветрам, снег на нем не задерживался, надпись, выложенная через всю шиферную крышу красной черепицей, была отчетливо видна еще издали: «Жовтень». Надпись тоже

сохранилась до сих пор. И была, кажется, выразительней и отчетливей, чем раньше.

Тетя Даша жила в маленьком поселке, состоявшем всего из нескольких коттеджей, прилегающих к совхозному кирпичному заводу. Когда-то на этом заводе работал ее муж. Сейчас он служил в Красной Армии, воевал где-то на фронте, а она так и осталась тут, хотя и работала далеко от дома — на птицеферме, построенной посреди степи, чтобы летом для кур было раздолье.

Сережке сподручнее было бы зайти прямо на птицеферму, но он не был уверен — функционирует ли сейчас птицеферма и работает ли тетя, — ведь теперь с утра не можешь знать, что будет с тобой вечером. И потому он решил проскочить прямо в поселок.

Чтобы тетя и ее соседи не подумали, что он, взрослый парень, такой уж мерзляк, Сережка снял из-под фуражки платок, которым мать повязала его в дорогу. Он долго препирался с матерью, не хотел брать платок, мотивируя это тем, что мороз только закаляет человека. Однако мать, настояв на своем, повязала Сережку платком, будто девушку.

Тетю Дашу Сережка застал дома. Она как раз хлопотала у печи, готовила ужин.

— А где Люба? — едва успев поздороваться, спросил парень о сестре.

— Люба на работе.

— Как на работе? — встревожился он. Теперь слово «работа», «попасть на работу» означало почти то же самое, что попасть в концлагерь.

— Устроилась на птицеферме... уже завела себе подруг, не хочет возвращаться в Полтаву, — рассказывала тетка, улыбаясь.— Тут, говорит, легче дышать. Хоть немца не встретишь на каждом шагу и жернова не крутишь: паек мукой выдают... А ты вот так в картузике и хромовых сапожках и примчался?

— Еще и жарко было.

— Жарко ему! Разувайся и лезь на лежанку. Придет Люба — будем ужинать.

— А вы разве уже не работаете на птицеферме? — спрашивал Сережка, разуваясь.

— Давно уже бросила... Пускай молодые бегают к черту на кулички. А я перешла сюда поближе, на ферму, ночной свинаркой.

— У вас все осталось, как было,— удивлялся Сережка, взбираясь на лежанку.— И птицефермы и свиньи!

— Даже коров и то завели! По селам у колхозников забирают в счет налога, а сюда сгоняют. Еще и по масти подбирают: в «Перебудову» гонят только симменталок, а к нам — серых украинских.

— А на мастерской так до сих пор и сохранилось выложенное когда-то — «Жовтень»!

— Сохранилось. Переводчик вроде бы говорил, что нужно снять, да кузнецы воспротивились: дырок, мол, наделаете над головой, и придется зимой работать под открытым небом! А чтобы закрыть дырки, черепицы у них нет... Так и осталось, душу каждому веселит... Для себя они, правда, там, в конторе, уже переиначили название, забыла как. Знаю только, что теперь это уже не совхоз, а как-то еще...

— Госимение, тетя.

— Возможно, и так... И вместо директора — управитель, прямо-таки как при помещичьем прижиме. Но все мы зовем его агрономом,— это бывший наш агроном. Только в конторе, в присутствии шефа, называем управляющим.

— Собака? — спросил Сережка.

— Как тебе сказать... При нем еще терпимо. Поговаривают, что он нарочно согласился стать управляющим, чтобы худшего не прислали и чтоб хозяйство сберечь для наших. Людей не бьет, и на работу без паспортов принимает, и в лагерь еще никого не загнал. При шефе — кричит на рабочих, топочет ногами, а без шефа — человек как человек. Однажды пленные настоящую забастовку устроили — отказались идти в наряд, так он от шефа скрыл и конвоирам сказал, чтоб молчали. Не поймешь: то ли боится наших, то ли в самом деле нашим духом дышит. Говорят,— таинственно зашептала тетя Даша,— как будто к нему частенько партизаны наведываются и приказывают, что и как он должен делать.

У Сережки от этих слов перехватило дыхание.

— Разве у вас есть партизаны?

— А где же их нет? Теперь они есть всюду. На Октябрьские праздники у нас целый митинг состоялся. Сколько народу собралось! Стар и млад... Как будто до войны. Секретарь райпарткома почти час выступал, говорил еще лучше, чем до войны, аж на душе после его речи

полегчало. А за совхозом на всех дорогах в это время партизанские караулы стояли.

— Вот это да! — воскликнул Сережка. — А у нас в Полтаве не было возможности... Скажите, полиция тут есть?

— Недавно поставили... Но она больше возле конторы околачивается, еще возле пленных два лоботряса...

— Собаки?

— Покамест зубов не показывают. Целыми днями где-то самогон лакают. Им, похоже, партизаны тоже сказали, что нужно.

— Повесить бы их! — сказал Сережка с такой взрослой беспощадностью, какой тетка никогда раньше в нем не замечала.

— Им уже и в афишках было предупреждение: «Плепные, готовьте винтовки, а полицаи—веревки!» Придет и на них время... А что уж шефа нашему совхозу дали, такого и свет, пожалуй, не видывал, — продолжала тетка.— Хорошо, что хоть не часто приезжает, а ночевать и вовсе тут боится. Глухомань, говорит. На машину — и в город. Старый, плюгавый, ноги в галифе как соломинки. Джерк-джерк — бормочет, понять невозможно. Хвастает, что Гитлер скоро подарит ему все это имение, то есть наш совхоз, в полную собственность. С землей и с людьми. «Вот тогда,— говорит,— я сам закатаю рукава и возьмусь вести хозяйство».

— А разве он умеет?

— Кто его знает... Сам он отставной офицер, но якобы еще до той войны где-то у него было имение... Постой, где же это... Ага, в Африке! Там, говорит, было.

— В Африке? — насторожился Сережка.— Так это он был плантатором?

— А что это такое, плантатор? Где оно растет?

— Плантатор, тетя Даша... это такое... это такое... что никогда его у нас не будет! — возмущенно воскликнул парень.

Во дворе послышался девичий голосок:

— Лыжи, лыжи!.. Сережкины лыжи! — и вслед за этим в комнату влетела Люба, румяная, с инеем в блестящих кудряшках.— Сереженька! — Она с порога кинулась к брату.— Я твои лыжи узнала! А Марийка говорит: «Давай заберем и махнем в поле!» Только палок нет!.. Ой, какой ты!..— тормошила она брата, заглядывая ему в глаза. — Как же там наша мамуся? Говори!

— Мама как всегда... в порядке. А ты пошла и забыла,— с напускной строгостью отчитывал ее брат.

— Забыла!.. Еще что выдумаешь?!

— А почему до сих пор не приходила?

— Немцев не видела, что ли? — выпалила Люба.— Пойду в Полтаву, когда уже там немцев не будет!

— А разве тут не немцы?

— Да поменьше, чем в Полтаве. Проскочат на машинах по большаку, а сюда лишь изредка за «яйками»... Подкатят к кладовой, выпишут и — ауфвидерзейн!

— Так и есть, — подтвердила тетя, подавая ужин.— Налетят, тут рванут, там схватят — и деру, будто с краденым... А узел как был завязан, так и остается...

— Какой узел, тетя Даша? — спросил Сережка.

— Совхоз наш, рабочие — они как узел. Немцам хотелось бы распустить его на нитки, по-всякому подходят: и так, и сяк, и руками, и зубами,— а не берет... Ну, садитесь ужинать.

За ужином Люба, сверкая черными глазами, похвалилась брату:

— Я хотела на птицеферме диверсию устроить...

— Ты посмотри на нее! — поднял брови Сережка.— Какую?

— Хотела колодец завалить, мусором засыпать.

— Вот глупенькая,— усмехнулась тетя Даша.

— Но Марийка меня отговорила. Это наша соседка, вот через стенку,— объяснила Люба брату.— Она тоже на птицеферме, она и при наших там была...

— Самая лучшая моя ученица,— сказала тетя Даша.— Мария Силовна.

— «...не надо, говорит, Люба, этого делать. Немцы, говорит, были — и нет их, и воды им этой не пить, а нам потом придется копать новый колодец. Колодезный дед Кошка, говорит, съел бы меня за это!..»

— Она в отца пошла такая рассудительная,— сказала тетя Даша.— Отец ее, Сила Гаврилович,— мастер на все руки: и сапожник, и столяр, и стекольщик, все корпуса на ферме остеклил. Предусмотрительный человек! Перед тем как пришли немцы, он все стекла в корпусах почью вынул и где-то закопал до того дня, когда наши вернутся. Теперь окна соломой заткнули. Свинарки мерзнут, а терпят.

— А если бы шеф узнал, погнал бы его в лагерь? — спросила Люба.

— Разве тут один Сила Гаврилович такой?.. Тут почти все... Один части трактора вроде бы затерял, другой камень на мельнице так приспособил, что только отруби свиньям можно молоть. Если бы шеф начал до всего докапываться, ему пришлось бы весь совхоз гнать в лагерь. Потому что каждый — как умеет — сопротивляется. Шеф и рад бы нас всех перевешать, да невозможно: надо же кому-то в имении работать, без рабочей силы им не обойтись.

После ужина тетя Даша собралась в свинарник на ночное дежурство.

— Ты, Люба, хозяйничай тут без меня. Сережку на лежанке положи, он ведь с дороги... Трубу закроешь, дверь заприте. А я пойду уж свиней стеречь, может, пока сало на них нарастет, и наши вернутся...

Оставшись с глазу на глаз с сестрой, Сережка рассказал ей, зачем он, собственно, пришел. Внешне кажущаяся легкомысленной, Люба на самом деле была серьезным и надежным товарищем, умела удивительно честно беречь тайны, и Сережка во многом ей доверялся. И сейчас, польщенная доверием брата, девушка просияла.

— Я позову Марийку. — Она уже хотела постучать в стену, но Сережка задержал ее руку. — Не беспокойся, не бойся, — успокаивала Люба брата, как взрослая. — Марийка совсем, совсем наша! Надежнейшая из надежных! Ты ее еще не знаешь, Сережка! Я б тебе рассказала о ней одну тайну, но это было бы нечестно с моей стороны.— Люба важно поджала губку.

— Если она и в самом деле наша, «надежнейшая из надежных», то какие еще могут быть тайны? — выставил Сережка свои аргументы.

Люба подумала и, вероятно, согласившись с этим, наклонилась к брату и, хотя они были в комнате только вдвоем, зашептала на ухо:

— Она знамя хранит!

— Что? Какое знамя?— Парень ничего не понимал.

— Знамя, настоящее знамя! Ой, как это здорово, Сережка! Я позову ее, пускай она сама расскажет тебе. Это у нее выходит складно, как сказка!

— Сама сначала расскажи.

— Вот слушай. Еще осенью, когда сюда только вступили немцы, на птицеферму к ней зашли двое наших напиться. Оба со шпалами, видно, командиры. Только руки у них все в ранах и лица обожженные. Напились,

поблагодарили, еще и спросили Марийку, как ее зовут. Один подает блокнот, говорит: напиши, как зовут. Потому что они глухие и ничего не слышат. И она написала: Мария Силовна. Это ее до войны весь совхоз так звал по отчеству, потому что она была знатной, ее куры неслись лучше всех... Куры ее любят; когда она идет через двор, вся ферма за ней влет, а некоторые даже на плечи садятся!

— Ты короче,— прервал сестру Сережка.— Ты о знамени говори.

— Вот они напились и пошли степью. Идут себе, не оглядываются, а глухие ж, бедняги, оба, и не слышат, что за спиной у них по большаку уже мотоциклы др-р! др-р! др-р!

— Ну?

— Ну, догнали — и на месте обоих... бах-бах. А Марийка все видела с фермы и, как только немцы поехали дальше, помчалась к командирам. Осмотрела их, думала, что живые, — нет, не живые. И видит: на спине одного из-под гимнастерки, посеченной пулями, как будто кисточка золотая. А это у него в сорочке знамя было зашито! Распорола Марийка сорочку и вынула знамя. А оно насквозь пропиталось кровью, еще теплое и тоже пробито пулями. На нем портрет Ленина вышит и написано: танковый полк!..

Сережка вздрогнул:

— Где оно?

— Не знаю... Не перебивай!.. Она где-то его спрятала, и никто не знает... А командиров Марийка и девчата-доярки похоронили вечером. Обмыли лица водой, перевязали рушниками и там же похоронили.

— Позови ее! — сказал Сережка.

Люба постучала в стену.

— Только ты с нею не очень,— предупредила девушка.— Потому что она и обругать может, дорого не возьмет! У нее и отец,— он теперь ходит стеклить по селам,— всех ругает!.. Каждому в глаза высказывает, кто чего заслужил!..

Через минуту на пороге появилась девушка лет пятнадцати, с косами веночком, бойкая, подвижная, с острым носиком в золотистых капельках веснушек. «Словно в солнечных брызгах!» — подумал Сережка. Под ее ситцевым платьицем едва наметились молоденькие груди.

— Знакомься, Марийка,— обратилась к ней Люба, указывая на Сережку, который стоял босиком у стола,— братишка мой, Сережа.

Босым парень чувствовал себя неловко. Сережа думал, что Марийка моложе и в ее присутствии он не будет стесняться. Она же, стрельнув на него острыми глазенками, ловко и чересчур крепко для девушки встряхнула его руку.

— Вот он принес,— сказала Люба, с гордостью подавая подруге измятую листовку, которую Сережка перед тем достал из сапога.— Читай!

Марийка читала, медленно расцветая.

— Ой, сколько ж тут освобождено! — наивно промолвила она и глянула на Сережку. — Да какие все названия хорошие!

— Если б там еще Полтава! — Люба всплеснула ладошками.

— У меня не одна такая,— с достоинством произнес Сережка.— Я привез их людям. Только... нашим людям, — подчеркнул он, глядя на Марийку. — Как вы думаете, удастся их здесь распространить?

— Такое спрашиваете! — дернула она плечами. — А почему же нет?

— А кто тут у вас из наших... из самых надежных людей?

Марийка на миг задумалась.

— Дядько Михайло,— начала она медленно, с твердым ударением перечислять. — Оникий Петрович, Ванько-водовоз, дед Ки́шка, бригада столяров, девчата Козловских, кладовщик Левко, дед Герасим, Галя Остаповская, тетка Приська, тетка Устя и тот профессор, что к боровам приставлен, скотник, бабка Чайчиха, бабка Миниха, старший конюх, и второй конюх, и третий конюх, и Шура-воспитательница, и все харьковские, что в общежитии, все пленные...

— У меня не хватит, — засмеялся Сережка. — У меня листовок немного.

— Жаль,— серьезно посмотрела на него Марийка.— Жаль. А еще и в колхоз «Красный маяк» нужно, и в «Волну коммунизма», и в «Колос».

— Туда я не поеду,— сказал Сережка.— На этот раз не поеду.

— Вас никто и не просит.— Девушка взглянула на него чуточку свысока. — Думаете, нам это впервые? Нам

не то что афишки, нам харьковские даже целые газеты приносили. Как только принесут, так тато ящик со стеклом под руку — и пошел на села. Там у нас всюду то родичи, то знакомые.

— Теперь родичей стало больше, чем было раньше! — засмеялась Люба, тряхнув черными кудряшками.

— Горе людей роднит,— ответила Марийка, как взрослая.— Давайте мне все листовки, а я уж доведу до ума. Сегодня и доведу.

— Как именно? — поинтересовался Сережка.

— Половину сейчас раздам, в общежитие сбегаю к Лиде Кузнецовой, а половину завтра тато на село понесут.

— Мы вдвоем по совхозу пойдем! — подпрыгнула Люба. — Марийка, ты согласна?

— Как хочешь... Где они?

Люба взглянула в Сережкин сапог:

— Нету!

— Сейчас принесу. Я их в дом не беру, держу во дворе, и вы так делайте: мороз закаляет.

Девчата засмеялись.

Накинув на босу ногу тетины калоши, Сережка вышел в сенцы и через минуту возвратился с бамбуковыми лыжными палками.

— А где же листовки? — удивилась Люба.

Сережка с таинственным видом постучал палкой о диван, и из нее, как затвор из винтовки, показалась тоненькая трубочка листовок. Марийка посмотрела на парня, как на невиданного волшебника.

— Подумать только! — воскликнула она удивленно.

Сережка с довольным видом запрятал трубочку и передал палку Марийке. Марийка взяла бамбук торжественно, обеими руками. Люба тем временем схватила другую палку и, подражая движениям брата, тоже постучала ею о диван.

— И тут есть? Эту я себе возьму!..

— Поставь на место,— приказал Сережка, отбирая у сестры палку. Он достал листовки и, не разворачивая, передал Марийке. Девушка сунула их за пазуху.

— Эти тато понесет в колхозы...

Сережка поглядывал на девушку, переминаясь с ноги на ногу.

— А теперь скажите мне одну вещь, Марийка. — Он подыскивал слова.— Скажите, где... знамя?

Марийка сверкнула глазами на Любу, и Люба залилась румянцем.

— Какое знамя? — спросила Марийка.

— Знамя танкового полка.

Марийка помолчала.

— Не знаю,— наконец сказала она.

— Это неправда. — Сережка посмотрел девушке прямо в глаза.— Вы ж его где-то храните?

— А если б и хранила? — с вызовом подняла голову Марийка.— Так что?

— Я хотел бы вас просить, чтобы вы передали его мне. У меня есть один товарищ, он танкист и, кажется, из этого полка. Он днем и ночью думает об этом знамени.

— Думает!.. Чему же тут удивляться!.. Теперь все о нем думают!.. И наши рабочие — если не один, так другой подойдет и спрашивает меня тайком: в целости, мол?

— Но ведь он танкист из этого полка!..

— Я тоже из этого полка! — сердито выпалила девушка.— Или, по-твоему, из немецкого?

Сережка не знал, что сказать на это.

— Так и не дадите? — неуверенно спросил он немного погодя.

— Так и не дам!

— Она хочет грамоту получить за то, что сохранила! — выпалила Люба.

— Глупая ты,— покраснела Марийка.

— Так скажите хоть, где оно хранится? — настаивал Сережка.— Надежно ли?

Девушка лукаво улыбнулась.

— Закопала в землю, и сама сейчас не найду уже того места, где закопала, и никто не найдет!.. Хожу, и мне кажется, что всюду закопано: и здесь, и тут, и там.

— Как же это так? — простодушно испугалась Люба.— А когда придут наши?

— Тогда найду,— засмеялась Марийка.— Тогда непременно найду!

«Чертенок, а не девушка!» — подумал о ней Сережка.

Девчата, достав из палки листовки, стали собираться. Сережка тоже начал одеваться, но Марийка решительно его остановила:

— Вы не ходите, вас тут еще не знают. Меня-то пустят и ночью, даже если спать легли... Сейчас мы их обрадуем!

— Я готова,— сказала Люба, надев набекрень свою шапочку.

— Пошли, я надену кожушок.— И Марийка уже с порога повернулась к Сережке, задержала на нем взгляд.— Мы быстро вернемся... А когда вернемся — будем петь песни, правда, будем? — Маленькая грудь ее дышала взволнованно.— Хочется душу отвести...

— Хорошо,— согласился Сережка, неожиданно покраснев. На душе у него было так приятно, как никогда еще не бывало.

Девчата, мелькнув юбчонками, быстро выбежали во двор.

Сережка некоторое время стоял посреди хаты и, закинув руки за голову, улыбался. Марийка словно бы оставила в хате свой звонкий голосок, и парень сейчас зачарованно слушал его и не мог наслушаться.

XIV

Вдруг под самыми окнами застучали конские копыта. «Полиция!» — похолодел Сережка, и первое, что он сделал, это, кинувшись к столу, погасил лампу. Он ждал, что сейчас настежь распахнется дверь, полицаи ворвутся в хату и закричат: кто такой?

Запереться? Но разве это поможет? Пусть уж так... Они не могут к нему придраться. Он приехал к тетке, к сестре... Зачем приехал? Привез менять камешки для зажигалок!

Ответы Сережка приготовил еще в Полтаве вместе с Лялей.

Однако никто к нему не ворвался. Из окна было видно, как всадник остановился возле хаты соседа и, не слезая с коня, осторожно постучал в окно. Тихо скрипнула дверь — и на крыльцо вышел высокий мужчина без шапки, наверное, Марийкин отец. Проскочив на цыпочках в сени, Сережка прислонился ухом к щеколде. Но как ни напрягал он слух, кроме сплошного гомона разобрать ничего не мог. Единственное, что ему удалось отчетливо расслышать,— это его собственную фамилию, упомянутую в самом конце беседы. Или, быть может, это ему только показалось?

Всадник вскоре ускакал, а Сережка, пробравшись впотьмах к столу, снова зажег лампу.

Не успел еще как следует взвесить все, что произошло минуту назад, как в сенях раздался стук, и дверь властно отворилась. В комнату, не спрашивая разрешения, вошел высокий кряжистый человек лет пятидесяти. Он был в рабочем фартуке, из карманов которого торчал мелкий столярный инструмент — человек, видимо, только что оторвался от работы. Сережка догадался, что это сосед, тот самый Сила Гаврилович, о котором рассказывала тетя Даша.

Здороваясь, столяр смерил парня с головы до ног суровым требовательным взглядом, потом прошел к печи, уселся на охапке соломы, принялся крутить цигарку.

— Что ж там, в Полтаве, нового? — начал Сила таким тоном, будто Сережка специально прибыл отчитываться перед ним.— Туго?

Сережка собирался с мыслями. Как он должен ответить этому Силе? Было видно, что столяр ворвался сюда не лясы точить, а с определенными намерениями. И, кажется, ему хорошо известно, с какой целью парень прибыл сюда из Полтавы...

Заметив колебания Сергея, Сила подбодрил его:

— Можешь не таиться от меня: я уже читал твои афишки.

— Я и не собираюсь таиться. Я просто мало знаю — кто вы такой.

— Кто я? — Сила вытащил из печки большой уголек, бросил его на свою шершавую ладонь и стал прикуривать.— Кто ж я? — Он, видно, и самому себе хотел ответить на этот вопрос. — Не панского происхождения, не царского роду. Простой себе трудяга. Еще недавно в почете был, право голоса имел, а сейчас не имею и права дышать. Когда-то этот совхоз своими руками возводил, а теперь вот хожу здесь вне всяких законов и без всяких прав: каждый день можно ждать петли на шею. Сравни, хлопец, все, что немец дал мне и что он отнял у меня, и тогда будешь знать, кто я такой и почему вне всяких законов оказался. Хотя вру, что вне всяких... Ведь теперь у нас действуют два закона: один ихний — для виду, для конторы да для полицая; а другой — наш, советский, каким мы жили и живем,— это для нас, для души, для того, чтобы оккупантов уничтожить всех до единого. Ты по какому закону тут появился?

— По нашему,— сказал Сережка.

— А ежели так, то завтра должен поехать со мной в одно место. Недалеко отсюда. Одни люди хотят тебя видеть.

— Какие люди? Может, партизаны? Может...

— Там увидишь,— хмуро оборвал Сила любознательного Сережку.— Следи: под вечер ко мне подъедут санки. Одевайся и выходи. Дарье Дмитриевне и сестре скажешь, что узнал, мол, об одном из своих товарищей-студентов, который тут под боком, на хуторе Яровом, и тебе нужно его навестить. Это ненадолго. Ночью мы вернемся в совхоз.

Сила не спрашивал парня, нарушаст ли это какие-нибудь его планы, согласен ли он, наконец, ехать на этот неизвестный хутор. Столяр излагал это не как собственное предложение, а как чей-то приказ, и Сережка по самому его тону понял, что ехать нужно, что эта необходимость вызвана именно тем законом, по которому он живет.

Сережке хотелось узнать подробности этой поездки, но Сила упорно избегал разговора на эту тему, давая парню понять, что на сегодня хватит и того, что уже сказано.

Встав с места возле печи, столяр медленно подошел к окну, наклонился седой головой к стеклу, прислушался.

— Как там наши девчата «колядуют»? — промолвил он тихо, и его жесткое, заросшее седой щетиной лицо сразу стало мягче.

Только теперь Ильевский понял окончательно, что перед ним стоит не просто рабочий совхоза, а еще и отец юркой, быстроглазой девушки, которую Сережка сам почему-то ждет с нежным волнением. В начале разговора он как-то и не подумал, что Марийка приходится дочерью этому суровому столяру. Наверно, она и штопала сорочку, свободно висящую на широких костлявых плечах. Наверное — она единственная хозяйка в хате, готовит ему пищу, доверчиво советуется с ним, деля на двоих и радость и горе. И уже от одного того, что этот пожилой, хмурый и, видно, нелегкий в жизни человек доводится Марийке отцом, Сережка почувствовал к нему симпатию.

Вскоре Сила, не прощаясь, ушел, оставив после себя в хате тучу махорочного дыма.

Куда он завтра повезет Сережку? Что это будет за разговор? Возможно, это и в самом деле кто-нибудь из бывших его знакомых по институту? Но как быстро им стало известно, что он, Ильевский, уже здесь! Очевидно,

за его деятельностью все время следят чьи-то пристальные глаза. Оказывается, кого-то интересует Сережкина работа, Сережкина судьба. Что это должен быть кто-то из своих — в этом у него не было никакого сомнения. Но кто, кто? К сожалению, это выяснится только завтра. Как долго ждать!..

Девчата возвратились, раскрасневшиеся, возбужденные, запорошенные снегом. Отряхиваясь, они наперебой рассказывали, как удачно все обошлось. Листовки разнесли, передали в надежные руки.

— Наверно, сейчас никто в общежитиях не спит, все читают о победе под Москвой!

— И в «Волне коммунизма», наверное, не спят, мы и туда передали! — радостным голосом рассказывала Марийка.— Это здесь поблизости, колхоз так называется — «Волна коммунизма»... Ой, у меня до сих пор еще в ушах полно ветра! Мы так бежали!..

— С кем же вы в колхоз передали?

— Встретили Сашку Дробота, он к кому-то на коне приезжал...

— Кто этот Дробот?

— Счетовод тамошний, до войны был комсомольским секретарем на хуторе... Честный парняга!

— Честный, говоришь?

— Да говорю же — комсомолец!

— А какой там снег, Сережка, чудный! — щебетала Люба.— Всю дорогу барахтались. Я Марийку как толкну в сугроб!..

— А я тебя? Качала, как сама хотела!

Девчата разделись, забрались, смеясь, на лежанку и уселись, как горлицы, рядышком.

— Ну, а теперь песни петь!

— «Широка страна моя родная!..»

До поздней ночи Сережка напевал с девчатами песни, по которым так соскучился в Полтаве. Здесь, в этом рабочем бараке, посреди занесенной снегом степи, для них словно бы не существовало ни запретов, ни опасностей, ни оккупации. В самом деле, еще никогда парню не было так хорошо, как в эту ночь. В перерывах между песнями Марийка говорила, что его бамбуковая палка годится на древко для знамени, и пообещала принести знамя в Полтаву, но не раньше чем весной, когда земля оттает, потому что сейчас в морозы, она как камень и трудно вынуть то, что спрятано в ней... Весной, весной!..

«Она и сама как Веснянка!» — думал Сережка о девушке, глядя на золотые капельки веснушек, казавшихся ему удивительно красивыми. Веснянка! Не будь здесь сестры, он сказал бы Марийке, что она как Веснянка...

Сказал бы или не сказал бы?

XV

В четырех километрах от совхоза в глубокой балке притаился хутор Яровой, или, по-новому, колхоз «Волна коммунизма». Он раскинулся в стороне от большой дороги, спрятавшись в овраге, как в люльке, и это не раз спасало колхозников от налетов немецких бандитов.

Если другие села, расположенные ближе к дороге, то и дело подвергались жестоким нападениям проходящих войск, которые, налетев с большой дороги, глумились над населением, врывались в дома, переворачивая все в сундуках колхозниц, разбивая пасеки, уничтожая по дворам домашнюю птицу, то в «Волне коммунизма» такие погромы встречались значительно реже. Здесь еще и сейчас во дворах спокойно ходили гуси и утки, бегали поросята, удивляя каждого, кто попадал на хутор Яровой из других сел. Бывший председатель колхоза «Волна коммунизма» оставался и сейчас на этой должности. Он был беспартийный, но хороший хозяйственник, колхозники стояли за него горой, а немецкая администрация поначалу даже заигрывала с такими авторитетными людьми. Немецкие власти, конечно, не знали, что председателя колхозники и уважают именно потому, что он умеет лучше других охранять колхозное добро от оккупантов и блестяще саботирует их мероприятия... Не знало районное начальство и того, что весь хутор, собственно, представляет собой своеобразную партизанскую базу, что здесь в каждой хате выпекается хлеб для партизанского отряда, а в чуланах неделями отлеживаются раненые бойцы.

В этот затерянный в степи хуторок и прибыл сегодня почью Ильевский с Марийкиным отцом. Едва смерклось, за ними заехал, возвращаясь с совхозной мельницы, бойкий мальчишка пионерского возраста. Через какие-нибудь полчаса его легкие, как скрипка, саночки пересекли открытое поле и начали спускаться по безлюдной улочке хутора.

В окнах хат уже вспыхивали огоньки. Женщины закрывали ставни, скликали детвору ужинать. На просторном колхозном дворе возле окованного льдом колодца еще скрипел журавль,— кто-то, запоздав, поил скотину. Тут, во дворе, Сила Гаврилович и Ильевский вышли из саней, поблагодарили паренька, который в ответ только свистнул и проскользнул на своей «скрипке» к конюшне.

Сережка, изрядно промерзнув за дорогу в своем городском пиджачке, спрятал, как в муфту, руки в рукава и, съежившись, молча двинулся за Силой Гавриловичем. Словно бы отделившись на какое-то время от своей плоти, парень увидел себя вроде со стороны сгорбленного, промерзшего и не узнал. Неужели это в самом деле он, Сережка Ильевский, который еще полгода назад ходил в светлые институтские аудитории в белой рубашке с галстуком, в идеально отглаженных брюках, с конспектами в руках? Разве бы поверил он, скажи ему тогда, что пройдет полгода, и он, Сережка, будет брести по темной улочке хутора Ярового с суровым столяром Силой, навстречу смертельным опасностям, и будет интересовать окружающих уже не своей внешностью, привлекательной или непривлекательной, не своими стихами и отметками в зачетной книжке, а прежде всего тем, что ему можно поручить важное дело и потребовать его исполнения. Все это давалось нелегко. Но сейчас на обломках многих привычных понятий вырастало настоящее мужество. Сережка почувствовал, что теперь он не просто Сережка, а молодой подпольщик, участник общенародной борьбы, и в этом его высокое призвание. Поэтому им и заинтересовался Сашка Дробот, поэтому и Сила Гаврилович отнесся к нему с такой серьезностью; и, впервые шагая по улицам хутора Ярового, Сережка твердо верил, что встретит друзей, найдет защиту и помощь в случае опасности.

Хутор оказался довольно большим. Раскинувшись широко в начале оврага, он чем дальше, тем больше сужался, врезаясь острым углом между двумя склонами, и Сергею уже видно было, что далеко внизу, на самом острие угла, загораются огоньки в хатах. За этими огоньками, еще ниже, тянулись балки, покрытые темным лесом.

Чем ниже спускались Ильевский с Силой Гавриловичем, тем виднее было, что, несмотря на довольно позднее время, хутор не спит. В воздухе висел запах вкусного дыма, во дворах кто-то глухо переговаривался, всюду скрипели двери. По улицам сновали вооруженные люди,

то и дело останавливая Сережку и Силу Гавриловича грозными окликами: «Кто идет?» Хмурый Сила отзывался сердитым ворчанием.

Вся нижняя часть хутора была запружена партизанами. Они, видимо, недавно пришли сюда и опять собирались в дорогу. Ладили сани, ковали лошадей, которые стояли, уже запряженные, почти под каждым навесом. Сила Гаврилович был, очевидно, своим человеком среди партизан, патрули узнавали его по голосу и пропускали с приветливыми шутками.

— Да их тут много! — радостно шептал столяру Сережка.

С тех пор как они миновали первый патруль, парню стало легче дышать. Он словно входил в свободный, надежный мир, где можно было не бояться окриков «хальт!», а идти гордо выпрямившись, как когда-то. Здесь можно было снова стать самим собой.

XVI

Пока Сила докладывал в штабе об Ильевском, парню пришлось ждать в просторной накуренной комнате, заполненной партизанами. Присев в углу, Сережа не сводил глаз с этих легендарных людей, которые не раз потрясали своими делами оккупированную врагом область. Раньше Сереже казалось, что все они гигантского роста и разговаривают грозным басом, полным ненависти к врагу. А тут спали вповалку на полу и толпились возле стола обыкновенные люди, молодые и пожилые, одни — в засаленных кожушках трактористов и механиков, другие — в брезентовых тяжелых плащах колхозных ездовых или в черной форме железнодорожников. Не будь при них оружия, можно было бы подумать, что они только что вернулись с мирной работы и решили обогреться, отдохнуть.

Днем это помещение служило, наверное, конторой колхоза. На стенах висели разные распоряжения немецких властей, пестрящие грамматическими ошибками. Никто этих бумажек не трогал, не срывал, никто, кроме Сережки, не обращал на них внимания. А Сереже эти распоряжения, висящие над головами партизан, казались особенно нелепыми, наносными, чуждыми этой жизни.

Из разговора можно было понять, что в комнате собрались не только партизаны. За столом сидели несколько

председателей колхозов. Видно, они не принадлежали к отряду, а прибыли с какими-то отчетами. Вместе с партизанами они оживленно обсуждали введенную в «Волне коммунизма» новую систему учета, которая всем присутствующим очень нравилась своим остроумием. Сережа смог понять только то, что вместо хлеба и скота оккупанты должны были получить от «Волны коммунизма» дулю под нос. Председатели колхозов, конечно, имели образование более низкое, чем Ильевский, но паренек ощущал их явное преимущество. Его приводили в восторг и солидная беседа этих людей, и их спокойствие, уравновешенность. С чувством собственного достоинства, с глубоким знанием дела они серьезно спорили и советовались, ожидая вызова к «хозяину».

«Они и сейчас чувствуют себя хозяевами положения,— думал Сережка.— Как и Сила Гаврилович, они продолжают жить по советским законам... Даже на совещание съехались в этот заметенный снегами хутор, чтобы отчитаться перед «хозяином». Кто же он, этот «хозяин»?» — не терпелось узнать парню.

Вскоре вернулся Сила Гаврилович и позвал Сережку к командиру.

Штаб размещался тут же через сени, на другой половине хаты. Столяр, показав Ильевскому, куда войти, сам остался в полутемных сенях.

— Я тебя тут буду ждать,— бросил он парню вдогонку.

Половину стены напротив занимала карта Полтавщины. Около нее стоял, поставив ногу на стул и опершись на колено локтем, широкоплечий усатый мужчина в темной суконной гимнастерке, туго подпоясанной армейским ремнем. Разглядывая какой-то пункт на карте, он оживленно беседовал с двумя товарищами, сидевшими за столом в шинелях внакидку. Когда Сережка вошел, разговор прервался. Тот, что стоял возле карты, резко повернулся к парню и окинул его взглядом человека, привыкшего принимать посетителей.

Сережка, вспыхнув, чуть было не вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял секретарь обкома партии.

До войны секретарь обкома не раз бывал в институте, однажды он даже выступал с речью на комсомольском собрании. Правда, тогда у него не было этих усов, этой сугубо военной подтянутости, собранности во всей фигуре... Однако кто из полтавчан не узнал бы его и сейчас по

осанке, по улыбке, по характерно прищуренным глазам, умным, проницательным, вызывающим на откровенность...

Когда Полтава впервые услышала, что в области действуют несколько партизанских отрядов, которыми руководит секретарь подпольного обкома партии, фашистские сатрапы начали из кожи лезть, чтобы всячески оклеветать его. Видели, мол, как он промчался в машине на восток, только пыль поднялась... И даже некоторые маловеры поддавались. Сейчас Сережка хотел крикнуть им отсюда: «Смотрите! Вот он стоит в своей полувоенной форме у развешенной карты в прекрасном хуторе Яровом! Стоит и улыбается мне!.. Гляньте в соседнюю комнату, сколько прибыло к нему народа из разных районов области! Пришли отчитаться перед ним, пришли к нему за наукой борьбы! И один из них — я, подпольщик Сергей Ильевский...»

— Это вы привезли сводку? — спросил секретарь, оглядывая возбужденного Сережку.

— Какую сводку? — не понял сначала парень.

— Сводку Совинформбюро.

— А-а... Я.

— Надрожался, наверное, за дорогу? Была душа в пятках?

— Нет... У меня камешки для зажигалок... Меняю, мол...

— Подготовился, значит. — Секретарь переглянулся с теми, кто молча, не снимая шинелей, сидели за столом, и все трое улыбнулись. — Ну, садись, дорогой, расскажи, что там у вас...

И Сережка впервые громко стал рассказывать о том, что до сих пор было под тяжким запретом, на чем, казалось, лежал такой покров, которого никто не мог снять. Парню было даже странно слышать эти тайны, высказанные вслух, без конспирации, и превращенные несколькими репликами секретаря обкома в обыкновенные вещи, в текущую работу. Заседание у Убийвовков, первая листовка-присяга «Непокоренной Полтавчанки», наконец, радиоприемник... Обо всем этом Сережка рассказывал вдохновенно, как о чем-то необычном, исключительном, а секретарь внимательно слушал, изредка переспрашивал.

— Все? — спросил он, когда Ильевский исчерпал свои новости и умолк.

— Все,— краснея, буркнул парень, сразу почувствовав, как мало ими еще сделано...

— Хорошо,— подбодрил его секретарь.— Теперь позволь задать тебе несколько дополнительных,— как говорили у вас на экзаменах,— вопросов...

И тут произошло самое удивительное. Оказалось, что секретарю давно было известно все, о чем он рассказывал. Он знал такие подробности их деятельности, о которых, казалось парню, никто не мог знать, кроме него, Ляли и самых близких друзей. О том, как Сережка был «механиком» в гараже и с каким конфузом его оттуда выгнали... О том, как Сапига пришел к ним «покупать шкаф»... О листовках, спрятанных в бамбуковых палках... Каким-то образом обо всем здесь было известно, и говорил секретарь об этом как бы мимоходом, не подчеркивая своей осведомленности, а лишь высказываясь об их действиях по ходу дела. Одно вызывало у него похвалу, другое — сдержанное осуждение, весьма корректное, но вместе с тем и довольно твердое, исключавшее возможность дискуссии.

А дальше Сережка и вовсе был ошеломлен. До сих пор он думал, что его поездка в совхоз была только следствием его собственного желания и Лялиного согласия. А сейчас оказалось, что поехал он в «Жовтень» не просто проветриться и даже не ради распространения листовок... Здесь были другие, более глубокие пружины... Лишь теперь он узнал о них. Лишь теперь ему стало ясно, что, сам того не подозревая, он ехал сюда с важным поручением, ехал, выполняя приказ. И приказ этот оказался не только требованием собственной совести, не только заданием Ляли и ее друзей, но прежде всего приказом человека, который сидит сейчас рядом с Сережкой. Это было самым поразительным и одновременно самым приятным для парня. Он гордился, что выполнял волю этого человека, волю представителя партии, тем более что эта воля целиком отвечала его личному желанию, его собственной совести.

— Передайте Ляле,— говорил секретарь обкома, уже не улыбаясь, как в начале встречи, — что нужно организовать молодежную группу на заводе «Металл». Это во-первых. Во-вторых, связаться с кригслазаретом. Есть там такой человек — врач Веселовский... Запомните?

— Запомню.

— Веселовский. Он вам кое в чем поможет. В-третьих, придет к Сапиге или к Ляле человек без двух паль-

цев на левой руке, по фамилии Безрукий. Ему вы передадите пулемет.

— Это из отряда товарища Куприяна?

Секретарь обкома на какой-то миг задумался.

— Да, от товарища Куприяна. В дальнейшем вы будете поддерживать непосредственную связь именно с этим отрядом.

— А с другими? А с вами?

— Связь с товарищем Куприяном — это будет связь и с нами тоже. Указания подпольного обкома в дальнейшем будут идти к вам через Безрукого.

— Что же это, мы пулемет отдадим, а сами без ничего останемся, товарищ?.. — заколебался Ильевский, не зная, как лучше обратиться: товарищ секретарь... или товарищ командир.

— Секретарь, он же и командир. И тот и другой приказывают: пулемет передать по первому требованию Безрукого...

— Но мы и сами хотим прийти с ним в отряд!

— Всему свое время, товарищ Ильевский. Пока вам хватает работы в самой Полтаве. Там вы сейчас нужнее.

— Опять листовки?

— Опять. Мы их тут читали. Хорошие, с сердцем.

— Наверное, они по вашему приказу были размножены? — догадался парень.— Мы успели переписать от руки лишь несколько десятков, а в Полтаве вскоре появились сотни! И не от руки, а на машинке.

— Да, вы не одиноки, товарищ Ильевский. Вы только одна из наших боевых застав.

— Но листовки — это так мало! — вспыхнул Сережка.— Нам хочется в бой!

— Подождите, я еще не кончил. Я еще не сказал самого главного, ради чего вы здесь оказались. Пузанов достал ракетницы?

— Достал.

— Ракеты к ним есть?

— А зачем нам ракеты? Ракетой фашиста не убьешь!

Секретарь нагнулся и вытянул из-под скамьи промасленный солдатский вещевой мешок, наполненный чем-то до половины. Потряс им и передал Ильевскому.

— Все-таки возьмите эти несколько десятков ракет. Передадите Ляле. Они вам, думаю, пригодятся. Непременно пригодятся. Просто должны вспыхнуть в небе...

— Когда?

— Узнаете потом... Вот пока и все, товарищ... Сережа.

Секретарь обкома доверчиво положил руку на острое, худое плечо парня.

Сережка, поняв, что пора идти, поднялся. Но как не хотелось ему отсюда уходить! Все тут было до боли родное, тут его принимали как человека, тут он снова почувствовал настоящий вкус свободы. И вот нужно было все оставить и отправиться обратно, в город, где на каждом шагу тебя могут обидеть, унизить, затравить, уничтожить. Но так надо!

Ильевский стоял посреди комнаты и взволнованно смотрел на секретаря обкома ясными, полными слез глазами.

— Сколько бы это ни продолжалось,— голос его срывался от волнения, — год... десять... двадцать!.. Мы все равно никогда им не покоримся, будем всегда бороться!..

Ему хотелось каким-то необычным способом заверить секретаря обкома партии, заверить партию, что он и его друзья будут верными всегда, всюду, при любых обстоятельствах.

— Я не сомневаюсь,— сказал секретарь, словно прочел Сережкины мысли.— И пусть ваша вера никогда не пошатнется. Будет на нашей улице праздник, будет, товарищ Ильевский!

Секретарь обкома крепко обнял юношу.

— Желаю успеха в работе. Передайте привет Ляле и всем друзьям.

Радостно возбужденный, Сережка вышел на крыльцо. Он чувствовал себя окрыленным этой поддержкой, этим надежным доверием. У него словно открылись глаза на подлинное значение своих поступков, своей деятельности. Оказывается, она, эта деятельность, гораздо значительнее, чем он до сих пор думал. Она почти величественна!..

Парень стоял на темном крыльце с мешочком ракет за плечами, а свежий морозный ветер приятно холодил раскрасневшееся лицо.

Пока он был в хате, ветер словно подул из других, теплых краев. В нем уже улавливалась далекая ранняя весна. Казалось странным, что часовой в кожухе еще не заметил этой перемены погоды и, греясь, мягко пританцовывал у крыльца.

Где же Сила Гаврилович? Наверное, забрался куда-нибудь согреть душу...

Через несколько минут двери штаба открылись, и на пороге, освещенный лампой, появился секретарь обкома со своими товарищами. Он уже был в белом кожушке, с автоматом на груди. Разговаривая о какой-то торфартели, они прошли через сени и скрылись в соседней комнате, где их ждали председатели колхозов. И тут как из-под земли вырос перед Ильевским Сила Гаврилович. По запаху было слышно, что где-то его все-таки угостили чаркой.

— Уже? — Столяр внимательно посмотрел парню в лицо.

— Уже.

— Стружку снимал? Взбучку давал?

— Все было! — многозначительно ответил юноша.

Вышли со двора и медленно двинулись хутором. Вооруженных людей вокруг стало еще больше. Собрались, видно, в дорогу. Всюду движение, скрип саней, приглушенный гомон...

Ильевский и его проводник, направляясь в совхоз, уже выбрались в открытое поле, когда снизу, из «Волны коммунизма», одна за другой вылетело несколько групп всадников. Остановившись в разных местах на околице хутора, они оглядывали голубую замороженную степь. Вскоре за всадниками показалась длинная колонна. Люди ехали в санях, шли пешком. Сережке почудилось, что в одной из групп он узнал коренастую фигуру секретаря обкома. Был он в белом кожушке, с автоматом на груди...

Потом колонна, свернув на север, исчезла, растворилась в синеватой ночной мгле.

— Куда они? — обратился Ильевский к Силе Гавриловичу.

— Известно куда: оккупантов громить!

И снова оба зашагали через хрустящую степь, в голубоватую темень, под холодные зимние звезды.

XVII

На другой день Ильевский собирался в Полтаву. И хотя тут, на юру, ему нравилось и тетя советовала остаться, он все же готовил лыжи. Он должен быть в Полтаве, на посту!

Радостно возбужденный, хлопец уже представлял себе, каким тоном доложит товарищам об этой поездке,

о встрече с секретарем обкома, об указаниях, полученных от него. А каким жестом он передаст Ляле партизанский подарок молодым подпольщикам — этот мешочек ракет!

— Ты бы, Сережа, не уходил сегодня,— уговаривала тетя Даша.— Смотри, как снег вихрится по полю. До вечера может подняться такая метель, что и света не увидишь...

— Не беспокойтесь, тетя Даша, это ж совсем рядом! — беззаботно ответил Сережка.— А как бойцы на фронте?

Вдруг тетя Даша остановилась у окна и порывисто прильнула к оттаявшему стеклу.

— Ой, что это с нашими девчатами? Марийка кровью залита!

Сережка вскочил на ноги.

Через двор Люба вела под руку Марийку, а та хватала на ходу пригоршнями снег и прикладывала к распухшему носу, сдерживая кровь. Подержав его некоторое время, она отбрасывала в сторону покрасневший комок и наклонялась за новым. Там, где она прошла, на снегу краснели рассыпанные красные комки.

Ильевский без шапки выскочил на крыльцо.

— Что с тобой, Марийка? — Он впервые, сам того не замечая, назвал ее на «ты».

Прикрывая нос комочком еще не пропитавшегося кровью снега, она взглянула на хлопца из-под платка и засмеялась глазами.

— Ее шеф ударил! — ответила Люба за подругу.

— Давай сюда,— позвала тетя Даша,— у меня есть теплая вода.

— Уже ничего,— сказала Марийка немного в нос.— Остановилась...

Сережка взял ее под руку, и Люба уступила ему место, почувствовав, что так надо. Брат осторожно вел девушку к крыльцу. Марийка на этот раз не смущалась, что парень вел ее под руку, а, наоборот, шагала рядом с ним с достоинством, горделиво, и оглядывалась не без рисовки на подругу.

— Как это случилось? — спросил Сережка в хате у сестры, в то время как тетя Даша возилась около Марийки, прикладывая к носу мокрое полотенце.

— Я там не была,— сказала Люба.— Я спряталась в яслях, в соломе.

— Не ври, — невнятно, в полотенце, сказала Марийка.— Ты все оттуда видела, как мышь из поры.

— Ты, Любка, рассказывай толком,— нервно подгонял Сережка, думая, что все это имеет какую-то связь с листовками.— Рассказывай по порядку.

— Идем мы утром на птицефабрику,— послушно начала Люба,— и вдруг видим: на ферме легковые машины между корпусами. А тут Винько как раз бежит, кнутом размахивает, давайте, говорит, девчата, в кошару, немцы овец на пластинку записывать будут. Вбежали мы, а там уже людей полно: похаживают среди овец шеф с переводчиком, и еще какие-то немцы, и управляющий, и зоотехник, и наши рабочие — свинарки, чабаны, фуражиры. Немцы с какими-то пучеглазыми аппаратами носятся, толкаются, как волки, около овец, что-то лопочут, а переводчик объясняет: будет, говорит, передача, пойдет отсюда по всей Европе. И во Францию, и в Бельгию, и в Голландию, и еще куда-то. Как, мол, быстро восстанавливается на Украине хозяйство без большевиков, под немецким владычеством. Под боком у фронта, мол...

— Где тот фронт! — вздохнула тетя Даша...

— Они и прибрешут... Фронт, мол, рядом, а мы уже управляем, наводим порядок, и Украина счастлива под нашим владычеством.

— Это, наверное, их репортеры,— высказал догадку Сережка.— От радио или кино.

— Поставили они какой-то аппарат,— возбужденно рассказывала Люба,— шеф подошел к нему и произнес речь. Ничего мы не разобрали, только «украинец», «швайнен», «мильхен»... Потом переводчик обращается к чабану и говорит: «Им нужно, чтобы баран забекал».— «Пускай бекнет», — говорит дед-чабан. «Так он не бекает».— «А что я ему сделаю, если он не бекает?» Крутили, вертели того барана, а он ни бе, ни ме. И шеф рассердился, и переводчик тоже. Опять к чабану: «У нас нет времени ждать, мы спешим, нужно, чтобы баран бекнул!» Чабан словно бы испугался, вытянулся в струнку. «Я ж говорю, пускай бекнет,— и смотрит в глаза переводчику.— Разве ж я ему не даю!» А баран вытаращил зенки на шефа и молчит. А шеф на него, и тоже молчит. Тогда один из фашистов разъярился и, не долго думая, сам побаранье: «Бе! бе! бе...» Мы с Марийкой прыскаем в рукав, а немец даже не улыбнется.

— Когда он бекал, на него все овцы смотрели,— хмыкнула Марийка сквозь полотенце.

— Подождите, это еще не все! — воскликнула Люба.— После этого они стали созывать всех и заталкивать в тамбур. Я, как будто меня кто надоумил, прыг в ясли — и притаилась, лежу, в щелочку поглядываю.

— Я тоже в ясли хотела, так он меня за плечо схватил,— сказала Марийка.— «Паненка, сюда!» — кричит.

— Я видела, как и тебя, и деда Левона загребли, и Винька, и доярок, и свинарок, и даже зоотехника прихватили заодно. Согнали в тамбур, выстроили в два ряда, как хор, а впереди против них— тот аппарат, что записывает...

— «Пойте какую-нибудь украинскую, — приказывает переводчик. Все переглянулись между собой и молчат. — Что ж вы, — говорит, — молчите? Разве вы, — говорит, — не знаете украинской песни? Украинский народ любит песни... Начинайте». Все опять молчат.

— А у Наташи слезы кап-кап,— говорит Марийка.— У нее ж такой голос!.. Всегда выводила!..

— Тогда шеф что-то буркнул переводчику, тот протолкнулся и стал между фуражирами. «Хорошо, — говорит, — я сам начну, но кто не будет подтягивать... смотрите мне». И начал.

На вгороді ве-рба ря-а-а-спа...

— И что же? — Серожкины глаза округлились, а черные стрелки бровей испуганно вскипулись вверх. — Подтягивали?

— Подтягивали,— сдерживая смех, рассказывала сестра.— Смотрит шеф, в самом деле рты у всех открываются и закрываются одновременно, как будто тянут все, а слышно только одного переводчика, который ревет, как бугай. Немцы нервничают у своих аппаратов. А шеф тем временем подходит к деду Левону и наставляет ухо к его рту. А потом — шлеп деда по уху. «Ты,— говорит,— симулянт, ты,— говорит,— не поешь». Подходит ко второму, а тот тоже раздирает рот до самых ушей, а звука — никакого! И третий и четвертый — все так, только зевают, как рыбы. Словно хор немых.

— Когда он меня проверял,— сказала Марийка,— я хотела плюнуть в ухо. Такое волосатое... Аж зло взяло!

— Ты тоже только губами шевелила? — спросила Марийку тетя Даша.

— Конечно! Неужели петь для него?.. Все зевают, и я зевала. Он меня за руку как ущипнет, как зашипит: «Ты осель!»

— А дальше что было! Дальше! — Любка восторженно глянула на подругу. Марийка, сверкая глазами из-под рушника, подбадривала ее взглядом.— Шеф быстро заговорил с подбежавшим к нему переводчиком. Тот повернулся к рабочим, льстиво оскалился и переводит: «Это, наверное, старинные песни, и молодежь их уже не знает. Выберите, девчата, сами себе по вкусу, такую, знаете, громкую, широкую, украинскую, ну?» И вдруг,— Люба задохнулась от радостного смеха,— вдруг я слышу Марийкин голос:

Широка страна моя родная...

Горячими увлажнившимися глазами Сережка взглянул на Марийку.

— Неужели? Так прямо и начала?

— Да.

— Ведь только вчера мы тут с тобой пели ее, Сережка! — воскликнула Люба.— Но переводчик не дал ей продолжать. Крикнул что-то шефу, шеф вытаращил глаза и с размаху кулачищем в лицо. Она и упала!..

— Я не упала,— сказала Марийка тихо,— меня чьи-то руки сзади подхватили и поддержали.

— А шеф от ярости аж посинел... Начал без разбора молотить всех кулаком. Даже переводчику чуть не заехал. Смех да и только!.. Потом уселись в машины и ауфвидерзейн в сторону конторы.

— Да не к конторе ехали они, а к пленным,— поправила Марийка.

— Верно, я и забыла, Винько-водовоз рассказывал ведь... Он на бочку и за ними погнался... Шеф, говорит, думал, что если пленные под конвоем, так сразу и споют по его вслению.

— Тоже не пели?

— Стояли, говорят, все, как один, стиснув зубы, никто не раскрыл рта. Тогда шеф приказал со всех снять сыромятные постолы, что он им выдал на той неделе, и гонял по снегу три часа...

— Я ж говорила, что там все наши,— шмыгнув распухшим носом, сказала Марийка.— Это было ясно с самого начала. Как только их пригнали из полтавского лагеря, переводчик спросил, кто перебежчик, то есть сам

перебежал к немцам. «Выйдите, — говорит, — пан шеф даст вам работу, которая полегче».

— И много вышло?

— Ни одного! Стоят и в землю смотрят...

— Сережка,— обратилась к брату Люба,—а это действительно такие аппараты, что и во Франции могут услышать?..

— Что услышать?

— Как Марийка запела «Широка страна моя родная...».

— А что, услышит и Франция...

— Я так и знала! — просияла Марийка.

В полдень Сережка отправился в Полтаву. Снег кружился, срываясь в метель, пел под лыжами, ветер подгонял в спину. Выйдя за околицу, хлопец еще раз оглянулся. Сквозь седую мглу виднелась красная надпись на черепице мастерской «Жовтень».

— Здорово! — сказал Сережка. Уши щипало, мамин платок лежал в кармане.

Потому ли, что задание было успешно выполнено, потому ли, что он вез матери хорошие вести о Любе, о том, как они тут целый вечер веселились, потому ли, что Марийка наплывает на него сквозь снег золотыми капельками,— парень не знал, почему именно, но было так хорошо, что он не шел, а летел на лыжах, слушая поющий под ногами снег. Сейчас Сережка чувствовал и себя веселым, храбрым Уленшпигелем с птицей на плече, с песней на устах. Какие хорошие люди есть на свете!.. И секретарь обкома, и Марийка, и тетя Даша, и Люба, и дед Левон, не захотевший бекать перед немцами... Хлопец хотел бы разговаривать с такими людьми языком песни. Мчался, будто летел, еле касаясь земли бамбуковыми палками, легкими, как крылья.

Ветер усиливался, приближались сумерки, поле седело, превращаясь в пепельно-серое, как взвихрившаяся металлическая пыль.

Из снежной метели — уже вдали от совхоза, навстречу Сережке вынырнула колонна — несколько десятков человек. Люди шли по двое, натянув на уши пилотки, молча подавшись вперед, навстречу ветру. Все были в серых, забитых снегом шинелях, все — босые. Только вооруженные конвоиры шли по бокам в сапогах.

Ильевский, не задерживаясь, пролетел мимо конвоиров, посильнее оттолкнувшись бамбуковыми палками.

Лицо его после этой дикой картины утратило беззаботное выражение ясности и нежности, нахмурилось, затвердело. Выбравшись на большак, засыпанный снегом и заметенный лишь по линии телеграфных столбов, Сережка еще раз оглянулся. Ни колонны, ни конвоиров уже не было видно, — всюду бурлящая пепельная туманность.

Парень мчался вдоль дороги, лыжи шипели, как змеи, столбы бежали навстречу и исчезали за спиной один за другим. Седым, металлическим пеплом вихрилось все — от земли до неба, забивая рот, застилая глаза. А он, стискивая зубы, шел все так же упрямо и быстро, ориентируясь по высоким столбам, а жгучая мысль сама укладывалась в ритмы:

Розлютованим диким звіром
Завиває в степах зима,
Білі ідуть конвоїри,
Біла тьма.
Біла тьма у степу голосить,
Полонених валить з ніг,
Ідуть полонені босі —
Горить сніг.

XVIII

Отбушевало, намело, улеглось.

Стояли белые солнечные морозы.

Небо днем сверкает твердой фарфоровой голубизной, а вечером, при заходе солнца, покрывается румянцем, превращаясь в высокий розовый свод, прозрачный и тонкий, роняющий отблески на снега. Искрометное, радостное мерцание снегов наполняет весь простор между небом и землей еле уловимой игрой чистых красок.

Солнце, спрятавшись за белыми снегами, продолжало жить во всей природе, наполненное звонкостью. Крахмалистый снег звучно поскрипывал под ногами.

В эту пору над Полтавой впервые после долгих месяцев разлуки появился советский самолет. Он шел невысоко, с огромной скоростью и был серебристо-розовый. Для того чтобы Полтава увидела, чей он, самолет немного повернулся к солнцу, как птица, и на блестящем крыле вспыхнула красная звезда.

Люди высыпали из домов и, закинув головы, следили, как он уверенно лавирует между комками-взрывами зенитных снарядов. Сколько жадных взглядов, бесконечно благодарных и радостных, исстрадавшихся, должен был почувствовать на себе летчик, на долю которого выпал этот незабываемый полет! Сколько глаз, полных то печали, то горячей молодой отваги, тянулось в этот момент к нему ввысь!.. На Кобыщанах стояла, закинув назад голову, слушая ровный гул мотора, светловолосая, неизвестная летчику девушка Ляля Убийвовк. Стояла, словно зачарованная музыкой недостижимых далеких миров. На дворе завода «Металл», сжимая в руке измазанный маслом ключ, застыл в напряжении высокий юноша в серой истрепанной шинели. Казалось, его взгляд потянет за собой вверх все тело, и оно, оторвавшись от земли, полетит к серебряной птице, как металлическая стружка к мощному магниту. С Первомайского проспекта, быть может, и вовсе незаметного летчику с высоты, следил за самолетом Ильевский, поворачиваясь на месте, ведя за ним ясный взгляд, как за своей яркой заветной мыслью. Посреди Корпусного сада остановился хмурый Сапига, стиснув крепкие челюсти. Они нервно дергались после каждого опасного для самолета взрыва снаряда. А внизу, на Подоле, плечом к плечу стояли среди толпы соседей Борис и Валентин.

Вся Полтава глядела в небо.

Зенитки учащенно лаяли с аэродрома. А он, подпебесный гость, будто застрахованный желанием тысяч сердец от всякой напасти, шел над городом в самом деле как сокол, упиваясь полетом. Он словно издевался над беснующимися зенитками.

— Уверяю тебя,— толкал Борис Валентина в плечо, не отрывая взгляда от неба,— уверяю, что там сидит в кабине молодой Чкалов! Во всяком случае, чкаловец!.. Ты смотри, что он выделывает! Что он только выделывает! — Кепка Бориса сползла на затылок.

— Дает класс,— соглашался Валентин.— Это «ястребок» новой системы. Впервые вижу такой.

— Уверяю тебя, Валька, что этот чкаловец родом из Полтавы,— высказывал Борис новые догадки о пилоте.— Разве мало наших полтавчан — отважных летчиков! Карташов, Лимаренко, Малеванный,— они еще на Халхин-Голе отличились!.. Не иначе это кто-нибудь из них!.. Представляешь себе, Валька, как здорово ему над родным

городом появиться, пролететь в небе, увидеть и родные кварталы, и сады, и соборы, и памятники?..

— Памятников оттуда не видно,— заметил Валька.

— Тетя Настя! — крикнул Борис через дорогу соседке.— Это не ваш Володя в гости прилетел?

Женщина смотрела в небо как завороженная.

— Может, и мой...

Это был не простой, обычный полет, это был настоящий праздник человеческой удали, молодого духа, возрастающей силы, воплощенный в бесстрашных красивых виражах. В этом парении словно бы уже угадывались будущие воздушные удары по Берлину, предчувствовалась далекая победа.

В этот вечер самолет не сбросил ни одной бомбы. Однако едва ли не больше, чем взрывной силой авиабомбы, немцы были ошеломлены именно этим буйным каскадом радостных виражей, смелой дерзостью неизвестного пилота.

— Ляля, он не летает, он словно бы играет, упивается своим полетом,— шептала Надежда Григорьевна, стоя рядом с дочерью в саду.— Играет, как молодой орленок, который почувствовал собственные крылья и впервые поднялся в небо.

Ляля молчала.

— Мама, это Марко, — сказала она немного погодя, неотрывно следя за самолетом. — Я уверена, что это Марко.

Самолет, покружив над городом, лег курсом на восток, набирая высоту и сосредоточив на себе последние отблески солнца. Взрывы снарядов в предвечернем небе становились с каждой минутой все заметнее.

На другой день Лялю посетил Безрукий. Сразу же после его визита у Ильевского состоялось короткое совещание. Ляля сообщила товарищам, что теперь надо ждать повторных налетов. Надо готовиться к встрече. Такой приказ получен от товарища Куприяна через Безрукого. Готовиться! Встречать!.. Ляля и Пузанов самое важное брали на себя...

В этот день Надежда Григорьевна заметила, что дочь задумала что-то необычное. Не столько заметила, сколько уловила материнским чутьем что-то особенное в Лялином поведении, невольно отмечала тончайшие нервные движения, прорывавшиеся у девушки, когда та складывала салфетку, посматривала в окно, одевалась. Даже ресницы у дочери были сегодня словно настороженные.

— Ты будто перед венчанием,— сказала мать, глядя, как старательно Ляля укладывает волосы.

— Какой же он был, мама, вчера! — восторженно говорила Ляля, не оборачиваясь от зеркала.— Словно прилетел из другого мира — прозрачного, весеннего, смелого...

А впрочем, вся Полтава была в радостном возбуждении после вчерашнего события. Забегал на минутку Сапига, необычно приветливый, крикнул с порога, обращаясь к тете Варе и Надежде Григорьевне:

— Видели?!

— Кто его не видел,— ответила тетя Варя мягче обычного.

Потом Сапига заперся с Лялей в ее комнате, и они около получаса энергично совещались о чем-то. По обрывку случайно (а, может быть, и не случайно) услышанной фразы тетя Варя поняла, что Сапига что-то приносил Ляле и учил этим пользоваться.

— Чему он может ее научить, — жаловалась потом тетя Варя Надежде Григорьевне. — Она и без него ученая.

Вскоре Сапига ушел, а за ним через несколько минут вышла из дома и Ляля. В этот день знакомые видели ее то на Октябрьской, то возле кинотеатра, то под руку с каким-то юношей у центрального городского ресторана, предназначенного только для немцев — nur für Deutsche. Вечерами там собиралась тыловая офицерня.

Лицо Ляли было радостно, с оттенком какой-то счастливой боязливости, взволнованности.

«Не выходит ли она замуж»,— всерьез говорили знакомые, видевшие Лялю в этот день.

Поужинав дома, Ляля снова собралась уходить.

— Если я вдруг задержусь, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Без паники.

Мама подавила вздох. «Не волнуйтесь...» Разве мать может не волноваться? Разве может хоть на минуту она быть спокойной, когда Ляля выходит из дому! А особенно сегодня: дочь обернулась от двери и обвела взглядом комнату, словно прощалась.

Знала бы мать, где сейчас ее Ляля, ее нежная, хрупкая «мамина дочка»!..

Сидит она в подвале разрушенного многоэтажного дома. Под нею холодный покореженный металл и битый кирпич, а над нею — звезды, дрожащие зимние звезды.

До войны Ляля часто бегала в этот дом — здесь жила любимая ее учительница Вера Миновна Кричевская. Теперь от дома осталась только коробка, выгоревшая внутри, занесенная снегом. В подвале, который, наверное, служил жителям в начале войны бомбоубежищем, сейчас был навален разный металлический хлам. Стоя на дне этой заваленной ямы, Ляля смотрела вверх. Клочок звездного неба над головой виделся отсюда как из брошенного, вымерзшего до дна колодца. Звезды, звезды!.. Когда-то изучала вас в обсерватории, рассматривая через телескоп! Не думала не гадала глядеть на вас из такого кирпичного колодца. А вижу вас и понимаю сейчас лучше, чем в обсерватории Харьковского университета!

Тяжелые стены дышали холодом, как вечная мерзлота. Не верилось, что здесь когда-то жили люди, жила белолицая и совсем седая Вера Миновна и Ляля бегала к ней в коротеньком платьице с наивными ленточками в тоненьких косичках. Потом стройной голубоглазой десятиклассницей она приносила сюда с подругами весной цветы, первую синюю сон-траву. А еще позже — студенткой приходила в гости, и комната Веры Миновны казалась ей будто меньше, чем раньше, и сама Вера Миновна казалась меньше. Она не знала теперь многого из того, что знала Ляля, девушка жалела старую добрую учительницу. Вера Миновна боялась отстать от науки, жаждала «идти в ногу» и задавала своей ученице такие вопросы по астрономии, которые Ляле казались детскими. Однако девушка скрывала это от учительницы и отвечала ей всегда серьезно, терпеливо и как можно яснее. Часто Вера Миновна просила девушку что-нибудь продекламировать, и Ляля читала:

Богатство потерять — немного потерять.
Честь потерять — потерять многое.
Утратить мужество — утратить все.
Тогда лучше было бы не родиться.

И учительница, глядя на нее, взволнованную, сверх меры углубленную в чтение, говорила:

— У тебя, Ляля, чувство долга всегда было самым сильным чувством. Вообще в своем классе я это у многих из вас замечала...

— Вы замечали, Вера Миновна? — смеялась Ляля.— А кто же нас воспитывал именно такими? Разве не вы научили нас относиться с презрением к тем, кто хочет жить

беззаботными мотыльками? Разве нет и вашей доли в этом, Вера Миновна?..

Кто знал тогда, глядя на нее, жизнерадостную десятиклассницу или уже студентку, во что выльются впоследствии эти мысли о чувстве долга? Кто знал, что на дне разрушенного дома, где жила ее учительница, в этой заброшенной яме, будет стоять она с холодной ракетницей, зажатой в руке?

Сдвинув берет, как будто он мог задержать долгожданные звуки, Ляля прислушивалась к небу. А оно молчало, до ее слуха долетали лишь глухие звуки бравурной музыки из ресторана.

«Как там Леня устроился? — думала она с некоторой тревогой.— Хотя бы ничего не случилось, хотя бы все обошлось!..»

После той ночи в саду на Кобыщанах Ляля не только не сердилась на Леонида, а наоборот, он стал для нее еще лучшим другом. Возможно, девушке и в самом деле немного льстило, что она вызывала такое сильное чувство к себе. А главное, что в ту ночь своим благородным отречением от нее, желанной, во имя другого Леонид сразу вырос в Лялиных глазах. Она хорошо знала, чего все это ему стоит, однако Леонид, встретившись с нею на следующий день, держался так, словно между ними ничего не произошло или, по крайней мере, он обо всем забыл. Больше они к этому не возвращались, хотя Леня опять провожал ее ночью. Ляле было приятно, что она ошиблась в Леониде. Раньше, по правде говоря, она считала беспечного танкиста не очень щепетильным в таких вещах. И сейчас она радовалась, что Леонид сразу и до конца понял ее. В то же время она немножко сожалела, что это кончилось так сразу и нельзя теперь спорить с ним, отстаивая самое заветное.

В то время когда Ляля думала о Леониде, он — по другую сторону ресторана — сидел, вытянув ноги, на дне забытого среди развалин водопроводного колодца. Он тоже прислушивался к небу и ничего не слышал, кроме звуков разухабистой музыки, доносившейся к нему, будто из могилы. Ноги у Леонида закоченели в изношенных сапогах, хотелось курить, как в окопе. Казалось, что стоит затянуться — сразу согреешься.

«Как там Ляля? — думал он.— Наверное, пришла в туфельках... Конечно, в туфельках. Если бы это у нас дома, я обул бы ее в пимы. Она, пожалуй, и не знает, что

такое наши сибирские пимы!.. Поскорей бы уже летели!»

А высота, испещренная звездами, молчала.

«Почему они не летят? — думала Ляля, с горячим нетерпением вглядываясь в звездное небо.— Ну, почему они не летят?.. Да разве же у них одна Полтава? Быть может, именно в эту ночь они летают над Харьковом или где-нибудь над Бобруйском...

Но все же... Почему они не летят?»

Ей хотелось крикнуть отсюда: «Летите же, родные, летите!.. Летите среди высоких звезд. Не сбейтесь с курса в темном поднебесье, услышьте мой голос и летите прямо на меня! Не думайте о том, что будет со мной!..»

Неизмеримая космическая глубина глядела на нее спокойными холодными звездами.

В этот вечер никто не прилетел.

На следующий — тоже.

Но Ляля и Пузанов были на своих местах и в третий вечер. Они стали более опытными и, отправляясь дежурить, одевались теплее, дежурили почти спокойно, не волнуясь, как поначалу. Будто выстаивали свои часы на посту. Леонид ухитрялся даже закуривать в своей яме, дымя в рукав, Ляля об этом и не знала. «Будем дежурить хоть месяц,— думала девушка с холодной твердостью.— Когда-нибудь дождемся. Непременно дождемся!»

И именно в этот вечер они дождались.

Вначале Ляля подумала, что где-то далеко гудит автомобиль. Потом стало слышно, что гул идет не от земли, а падает с вышины, с неба. Будто сдержанно загудели-зазвенели морозные звезды от перенапряжения.

Звонко ударили зенитки. Сквозь их трескотню гул приближался, рос, охватывая небо над городом, и вместе с нарастающим ровным гулом крепло в Ляле чувство бесстрашия, юношеской дерзости. Хотелось выскочить из своего укрытия, предстать перед всем городом: «Я вызывала эту грозу и жду ее, и она идет!»

И вдруг гул, как бы слившись в единый свистящий поток, ринулся с высоты вниз и рассыпался громом. «Над Южным вокзалом!» — радостно подумала Ляля, и почти одновременно загрохотало в противоположном конце города. «Над аэродромом!» — догадалась Ляля и, отскочив от стены, высоко подняла руку с ракетницей: моторы, кажется, ревели над самой головой. По темному небу пробежала узкая тень, закрывая звезды, и снова за нею

вспыхнули те же самые звезды, словно еще ярче. Ляля выстрелила из ракетницы, подумав, что острая бомба, весом в полтонны или в тонну, наверняка сейчас влетит в этот короб-колодец, и высоченные тяжелые стены рухнут, рассыплются вдребезги, и от нее самой не останется следа. «Наверняка!» — подумала она и выстрелила снова.

Как только первая ракета взметнулась, шипя, в высоту, загибаясь над рестораном, с противоположной стороны, ей навстречу, вспыхнув, взлетела другая, и они, словно обнявшись в вышине, рассыпались слепящим сиянием. Сотни глаз увидели это сверкающее объятье над Полтавой, яркую вспышку ракетных огней, будто взорвались звезды, осветив несколько кварталов города. На некоторое время стало светло, как днем.

«Мы хоть там обнялись с тобой!» — подумал Леонид.

Не видела этого только Ляля из своего глубокого убежища. Третья ракета вспыхнула уже на излете. После этого Ляле стало казаться, что ракеты, со свистом взмывающие в небо, почему-то и летят и вспыхивают слишком медленно,— она услыхала, как пронзительный визг нарастает у нее над головой, врезаясь в самые стены воющим звуковым острием. Небо потемнело, сейчас рухнут стены, все взлетит в воздух. Она закрыла лицо руками и кинулась вслепую куда-то в угол, спотыкаясь о куски металла и уже чувствуя на себе тяжесть обвалившихся стен. И в то же время у нее было необычайно легко на сердце, и она ни о чем не жалела. Если бы она могла вызвать разрушительную силу во сто крат большую — вызвала бы, не колеблясь.

Задрожали стены, осветилось небо, ударил гром где-то совсем близко. «Наверное, в ресторан! Вот оно — попадание...» — промелькнуло в сознании девушки. И рев моторов, и скороговорка зениток, и грохот могучего взрыва — все было неимоверным, мелькающим, обрушилось хаосом, как бурное бушующее сновидение.

Грохот затих, все успокоилось сразу, только моторы, удаляясь, ревели как будто еще сильнее, разъяренные боем.

Ляля выскочила из ямы и бросилась бежать вдоль стен, маневрируя между ними, как в запутанном лабиринте. О, этот лабиринт она хорошо знала!..

Горячий, тошнотворный, как яд, запах взрывной волны наполнял воздух, на снегу полыхал отблеск близкого пожара. Ляля подбежала к забору и, скользя вдоль него,

оглянулась. Разрушенный ресторан пылал. Он стал ниже, осел, крыши на нем уже не было.

Гул моторов, стрекот зениток отдалялся. И в это время над рестораном неожиданно взвилась еще одна... вторая! третья ракеты!

«Что он делает? — ужаснулась девушка, пробегая вдоль заборов и между деревьями и оглядываясь на ракеты широко раскрытыми от восторга глазами.— Что он делает, сумасшедший?..»

Уже на Кобыщанах в условленном месте — в саду — ее догнал запыхавшийся Ленька с ракетницами в обеих руках, в расстегнутой шинели.

— Ты зачем столько палил? — накинулась на него Ляля, сияя глазами.— Ведь вроде и так угодило?

— Прямое попадание! — выкрикнул Ленька.— Только мне еще хотелось, прости, Ляля... Думал: пусть еще вернутся и трахнут так, чтобы только воронка осталась! Чтоб вода выступила на том месте, где сидела их джаз-банда! Мне эта джаз-банда за три вечера все кишки вымотала!

— Хорошо, что так обошлось, как это хорошо...

По Фрунзенской со звоном пролетела немецкая пожарная команда.

Пожары пылали над Южным вокзалом, над аэродромом и в центре города. Словно вырастая из-под земли, перекликались багровыми полотнищами огромные знамена.

— Новый танковый полк,— сказал Леня, глядя на озаренный пожарами город.

Он с благодарностью подумал о девушке Марийке из совхоза, которая, по рассказам Сережки, до сих пор представлялась ему поэтическим образом из легенды.

Всю ночь до самого утра команды немцев вытаскивали из развалин ресторана трупы офицеров.

Утром похоронная процессия растянулась по всей Гоголевской — от памятника до фонаря, на котором недавно был повешен подросток в армейских ботинках. Хоронили на немецком кладбище, открытом с этого дня в Полтаве.

Аккуратно размеренное кладбище было, как и ресторан, только для оккупантов: nur für Deutsche.

А живым еще долго по ночам грезились буйные огненные ракеты, что стремительно рвались в небо навстречу летящим братьям и, обнявшись, снопами света рассыпались над городом, освещая улицы и кварталы, как днем.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

С утра в лесу шел бой. Стрельба слышна была во всех окружающих селах. Женщины-солдатки, которые из-за отсутствия скота сами впрягались в бороны, останавливались посреди пахоты и, отпустив шлеи, тревожно прислушивались.

— Хотя бы выскочили. Хотя бы спаслись.

Солнце пригревало, от земли шел пар. Дыхание весны катилось все увереннее — теплое у земли и холодноватое под голубым небом.

Немцы все туже прижимали отряд товарища Куприяна. Они наступали с левого берега Ворсклы, стремясь оттеснить его к горе за рекой, а там уничтожить или забрать в плен. Немцам помогали полицаи, собранные ради этой операции из нескольких районов — Великобогачанского, Санжарского, Шишацкого и из самой Полтавы. Все подгорье на правом берегу Ворсклы, покрытое лесом и кустарником, изрытое за долгие годы кручами, трещало и дымилось. Немцы пустили в ход не только пулеметы и автоматы, они палили по глинистым кручам из ротных и батальонных минометов. Казалось, что после долгого затишья тут снова открылся фронт.

А из всего отряда в живых остался лишь один — товарищ Куприян.

Его верные друзья по оружию, которым он еще утром отдавал боевые приказы, навеки полегли на крутых склонах.

Без шапки, с кашне на шее, в простом пиджачке на меху, командир отряда тяжело ступал по дну глубокого оврага, по руслу которого навстречу ему, с горы, неслись

мутные воды последних снегов. Слежавшиеся пласты почерневшего снега еще задержались на теневом склоне оврага. Снег был рыхлый, поздреватый, словно источенный жуком-древоточцем.

Внизу, за спиной командира, весь лес гудел от беспорядочных криков наступающих, от треска стрельбы. Пули впивались в мокрую глину оврага. Командир отряда иногда поглядывал на косогор рассеянно и безразлично. Он не пригибался, не прибавлял шагу. Лишь когда многоголосая погоня, приближаясь, становилась особенно угрожающей и визгливой, он поднимался по склону, припадая к земле и цепляясь за нее руками, изредка посматривал вниз из-за своего естественного бруствера. Немцы шли рядами, раскинувшись по всей круче, стреляя на ходу вслепую. Командир отряда, не торопясь, целился и давал несколько одиночных выстрелов. Кто-то из передних хватался за грудь, крики вокруг взрывались еще сильнее. Куприян снова спускался на дно оврага и продолжал идти с автоматом под мышкой, будто с листом бумаги, свернутым в трубку. Он спокойно смотрел вперед сухими воспаленными глазами. Зачесанный назад чуб лежал на голове будто прилизанный — видно, шапка командира месяцами не снималась ни днем, ни ночью. А сейчас Куприян снял ее, словно направляясь к трибуне.

Все его товарищи остались внизу. Последними пали бригадир совхоза «Жовтень» Платон Рудченко и инструктор райкома партии Андрей Бутко, первый его помощник. Пуля попала Бутко в затылок, когда они уже поднимались по этому оврагу. Бутко, весь в глине, не вскрикнув, упал на дно ручья, и вода закипела вокруг. Товарищ Куприян запомнил, как суровое лицо Бутко словно отбеливалось на глазах.

Шум приближается, идет по пятам.

Который теперь час?

Командир отряда медленно вынул из кармана тяжелые кировские часы. Циферблат раздроблен пулей. Когда же это случилось? Как будто бы ни один выстрел не задел. По крайней мере, он ничего не почувствовал. Который же час?

Солнце поднимается все выше и выше. Наверное, оно еще не в зените. До вечера далеко. Как высоко ходит солнце весной!

Только бы удалось перебраться на северный склон горы! Он спустится в яр и вновь выйдет к Ворскле.

Не доходя до стана третьей бригады артели «Парижская коммуна», он перейдет реку вброд. Немцы, конечно, не знают этого брода. Им придется искать лодки, и задержка неминуема. До вечера он успеет дойти до базы лесничества. А что, если речка так разлилась в половодье, что никаких бродов нет и в помине? Тогда он пойдет прямо в артель «Парижская коммуна», и там ему дадут лодку.

В «Парижской коммуне» у него много друзей. Участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки Ганна Олешко. Ее шестнадцатилетний сын Павлик был у него в отряде. Она еще не знает, что Павлика уже нет.

Голоса немцев слышны совсем близко. Командир отряда поднимается над стеной кручи и видит, как они ползут за ним по склону, будто саранча. Беспорядочные выкрики команд, неутихающий треск выстрелов. Судя по всему, преследователи его не видят. Слева десятка полтора гитлеровцев осторожно пробираются к другому рву, держа наготове гранаты с деревянными ручками. Ниже, за извилистым поворотом, они сбиваются в кучу, разглядывают что-то. Видимо, наткнулись на Бутко или на кого-нибудь другого из погибших бойцов отряда.

Командир отряда долго целится в эту группу и делает один за другим два выстрела. В сплошном реве его выстрелы почти не слышны. Немцы растерянно смотрят, как упал один из них и другой. Они не могут понять, откуда по ним бьют. Не знают, куда прятаться, откуда подстерегает их опасность. Растерянно топчутся на месте, вытягивая, будто гусаки, свои головы во все стороны. Один указывает рукой куда-то вниз, в заросли. Командир отряда опять нажимает крючок. Но выстрела нет. Он нажимает снова. Все.

Патроны кончились.

Скользя, он спускается к ручью и снова бредет навстречу бурлящим потокам. Вода быстро слизывает глину с его сапог.

Кто же примет парашютистов, если отряд перестанет существовать? Они выбросятся ночью в степи на землях совхоза «Жовтень», где был в начале войны временный аэродром. Они будут надеяться, что их встретят друзья.

...Командир и он же боец, один автомат и ни одного патрона.

Со всех сторон бьют по взгорью, взрываясь среди голых деревьев, мины. Наступающие обстреливают склон,

словно командир отходит не один, а вместе со всем отрядом.

А разве это не так? Почему же тогда, оставшись один, он не чувствует одиночества? Все утро его не покидает твердая, неодолимая уверенность в том, что это еще не конец. Ведь остается на востоке огромная Красная Армия, остаются другие отряды, в частности тот, который сейчас ведет бои в Гадячских лесах вдоль железной дороги. В каждом районе действуют подпольные организации. В одной только Полтаве их несколько. Одна из них — группа «Непокоренная Полтавчанка». По заданию сверху он до сих пор организовывал и направлял ее деятельность. Эта группа постепенно превратилась в часть его собственного отряда, стала одним из его многочисленных ответвлений, раскинувшихся во все стороны: эта ветка распустилась, расцвела в самой Полтаве... Как теперь они будут работать? Ведь не пойдет уже больше к ним Безручий с подробными указаниями и инструкциями... Его убили еще на рассвете на том берегу Ворсклы. Успеет ли эта группа снова связаться с подпольным обкомом непосредственно? Не натворят ли тем временем молодые горячие головы каких-нибудь неисправимых промахов?

Кроме того, парашютисты... Они спустятся в районе действий отряда Куприяна, спустятся, надеясь на него. А тут... А тут из всех, кто был об этом предупрежден, остался он один... Если погибнет здесь, уйдут вместе с ним в землю все связи. Не успел передать в другие руки. Смогут ли товарищи после него сомкнуться, заполнить его место в строю? Сейчас это тревожило и мучило командира больше всего. В конце концов, самым существенным для него было не то, что он погибнет. Сколько таких, как он, секретарей райкомов гибнет в это время в армии на поле боя! Он тоже — солдат Отчизны, и отдать за нее жизнь ему не жалко. Ему только очень горько от сознания, что, видимо, придется оставить дела незаконченными. Так ему раньше бывало горько каждый раз, когда перед отпуском не успевал управиться с делами, которым не было конца-краю. Тогда он мог передать их второму секретарю, а сейчас кому передаст? Кого пошлет в Гадячские леса, кого в Полтаву? Идя по оврагу, он всерьез был обеспокоен тем, что за свою несвоевременную смерть может получить выговор от товарищей. Правда, они потом во всем разберутся, все взвесят...

Достал из бокового кармана маленький, как бумажник, пистолет, вынул на ходу магазин, проверил, заглядывая в отверстия. Отверстия пусты, патроны поблескивают медью лишь в верхних дырочках. Их всего три.

Овраг становится мельче. Командир отряда иногда оглядывается и отсюда, с высокого склона, видит далекое заречье Ворсклы. Солдатки с боронами на поле, кое-где коняга, как на старинной гравюре. Дымится земля до самого горизонта. Плывет, клубится прозрачная, белесая мгла. В эту пору в поле уже выехали бы тракторы с сеялками. На степных просторах то тут, то там виднелись бы полевые будки трактористов. Вон той полевой дорожкой ехал бы на своих бегунках председатель «Новой жизни» Кравченко. Прошлой весной они на бюро записали Кравченко выговор за медленные темпы весенней вспашки. Сейчас Кравченко лежит там, внизу, где и Рудченко, где и Андрей Бутко, и его уже, наверное, нашли немцы. Обыскивают, заросшего, не стриженного четыре месяца. Откровенно говоря, можно было бы ему тогда и не записывать выговор...

Дышат поля за Ворсклой, дрожит на горизонте прозрачное марево. Мерцают, как в светлой воде, колхозные молодые лесополосы. Что было бы здесь через десять, двадцать лет! Какие машины к тому времени уже загремели бы здесь по весне! Эти молодые лесополосы уже превратились бы в зеленые рощи. И на этом склоне, по которому он поднимается, уходя от погони, можно было бы разбить виноградники, весь склон обращен к солнцу. И упрямый Кравченко ехал бы полевой дорогой не на бегунках, а на легковой... И, быть может, не критиковал бы его секретарь райкома за некоторый дедовский консерватизм и за стычки с агрономом.

Солнце припекает, крик усиливается, шум приближается уже с трех сторон. Внезапно впереди, за поворотом оврага, засвистели разрывные пули и что-то бултыхнулось в воду. Держа пистолет на взводе, командир отряда остановился, глядя вверх вдоль склона оврага. Прислонившись плечом к круче, он спокойно выжидал.

В это время внизу, у него за спиной, тоже послышалось тяжелое бултыхание многочисленных ног. Бредут. Бредут. Бредут. Огляделся. Никого. Шлеп, шлеп, шлеп. И вдруг увидел первого. Он высунулся из-за рыжего выступа оврага, запыхавшийся, потный, по пояс в грязи. Увидев командира отряда — на фоне глиняной стены,

в измазанной глиной одежде, казалось, он вышел из нее во весь рост, — немец подался на шаг назад, вскидывая автомат.

— Сдавайсь! — крикнул он.

— Сдавайсь! — послышалось одновременно и спереди. По дну оврага, разбрызгивая воду, рысцой, запыхавшись, с раскрытыми ртами приближалась целая группа.

Командир отряда стоял, заложив руки за спину, выжидая, пока они подбегут ближе. Потом порывисто выбросил руку вперед на уровень глаз и выстрелил в грудь первому и тому, который появился следом.

Оба сели, загребая руками рыжую муть.

— Сдавайсь! — снова прозвучало сзади и откуда-то сверху, с кручи.

Оставался последний патрон. Последний, который солдат имеет право оставить себе.

Командир отряда приставил пистолет к виску.

Прозвучал выстрел — и Куприян повалился в воду, головой навстречу весеннему говорливому потоку, который, бурля, бежал и бежал с горы.

Ласковая вода словно бы причесывала длинные пряди его волос, смывала с лица многодневную усталость.

II

Об уничтожении партизанского отряда куприяновцев немцы раструбили на всю Полтаву. Бургомистр Галанин по этому случаю устроил банкет. Уверял, что теперь господа немцы и служащие бургомистрата могут спокойно охотиться на зайцев и лисиц по всему Полтавскому гебиту [1].

Как только прошел слух о разгроме отряда за Ворсклой, организация «Непокоренная Полтавчанка» распространила по городу листовки, призывая не верить оккупантам, не верить, что отряд товарища Куприяна уничтожен.

Молодые подпольщики в самом деле некоторое время не могли, не хотели себе представить, что весь этот партизанский отряд ликвидирован. С нетерпением ждали Безрукого. Ждали день, ждали два, а он не приходил. Так и не пришел.

---

[1] Гебит — область *(нем.)*.

Это означало, что трагедия в самом деле произошла и связь с отрядом товарища Куприяна оборвалась навсегда. Перед организацией встал вопрос, как быть дальше. Главный отряд в это время совершал рейд вдали от Полтавы, в северных районах области, и связаться с ним сейчас было не так просто. Попробовать опять через совхоз? Но однажды прибежала Люба Ильевская и рассказала, что за связь с партизанами оккупанты забрали несколько семей и вывезли неизвестно куда. Арестован и Марийкин отец, а сама Марийка прячется у односельчан.

Надо было немедленно принимать меры. Леонид предложил, чтобы вся их группа шла в лес, «на простор». На этот раз его поддержала и Ляля.

— Мы заменим погибший отряд,— говорила она на последнем заседании.— Мы возьмем имя товарища Куприяна и будем действовать от его имени. Пусть все думают, что секретарь райкома действует до сих пор.

— Надо поддержать веру в людях! — воскликнул при этом Серга. — Спасти народ от неверия!

— Не надо его спасать! — рассердился вдруг Сапига, вызывая удивление товарищей. —Народ не нуждается в этом!.. От этого он спасен не нами и задолго до нас. — Сапига встал, взволнованный.— Разве мы, подпольщики, могли бы сейчас привить эту веру людям, если она не жила в них еще с наших, советских времен?!

Было решено выходить в «гоголевские места», в Диканьские леса. Все понимали чрезвычайный характер этого шага, понимали и то, что малейшая оплошность может стоить жизни многим. Надо было самым серьезным образом все предусмотреть, ко всему подготовиться. Сапига, как человек военный, разработал подробный план выхода.

Первой должна выйти группа военнопленных из кригслазарета во главе с врачом Веселовским. Они заберут с собой все наличное в организации оружие, в частности и второй пулемет, собранный Пузановым с помощью рабочих завода «Металл». За это время ядро организации должно было подготовить себе смену в городе, передать явки и надежные связи. Одновременно решено послать кого-нибудь из Полтавы через фронт, чтобы связаться со штабом партизанского движения.

Сделав все это, подпольщики основного ядра во главе с Лялей Убийвовк также покинут Полтаву и направятся в «гоголевские места». Там они встретятся с группой Веселовского уже для совместных действий.

Таков был план. Как только он был одобрен, Ляля пошла в кригслазарет к Веселовскому.

Еще осенью немцы обнесли колючей проволокой помещение бывшей детской поликлиники на улице Фрунзе и устроили там госпиталь для советских военнопленных, кригслазарет.

Обслуживающий персонал госпиталя состоял частично из штатских, работавших в поликлинике до войны, частично из самих военнопленных, имеющих медицинское образование.

Через санитарок, которые развлекали белокурую единственную дочь врача Убийвовка еще совсем маленькой, Ляля познакомилась зимой с Веселовским — руководителем подпольной группы в лазарете.

Военврач третьего ранга Веселовский, командир медсанбата одной из танковых частей, раненный и взятый в плен под Полтавой, сначала сам был брошен в этот лазарет для «лечения». Конечно, тут никто никого по-настоящему не лечил. Раненые лежали в грязных палатах, гнили заживо. И все-таки здесь было несравненно лучше, нежели в общем лагере военнопленных, расположенном на краю города в бараках. Там все время свистели палки — в госпитале их не было. Там люди, не помещаясь в бараках, ютились прямо во дворе, под открытым небом, — здесь была крыша над головой. Там затаптывали людей насмерть, толпясь у котлов с баландой, — здесь баланду разносили санитарки.

В первые дни своего пребывания в госпитале Веселовский познакомился с одним раненым, лежавшим с ним рядом. Этому раненому еще наши успели наложить на ноги шины. Так он и попал в плен. Неудачно наложенные, шины сейчас буквально врезались, въелись в тело. Нечеловеческая боль жгла его днем и ночью, пилила тупыми ножами постоянно, не отпуская ни на миг. Когда привезли Веселовского, раненый уже не кричал. Он порвал голосовые связки и теперь только хрипел. Начальнику госпиталя, флегматичному баварцу, до этого было мало дела.

Веселовский решил снять ему шины. Сам едва передвигаясь на локтях, он подполз к товарищу и стал привычно разрывать бинты, которыми были привязаны шины. Вдруг он почувствовал удар сапогом в спину. Оглянулся: над ним стоял начальник госпиталя.

— Медик? — спросил немец.

Пришлось признаться.

— Медик.

Тут же баварец назначил его «главным хирургом» кригслазарета.

Главного хирурга за ворота тоже не выпускали, но тут, внутри, он получил, однако, некоторые, хотя бы относительные, права.

Ляля, расспросив о Веселовском у санитарок, которые не могли нахвалиться своим врачом, сказала, что училась в Харькове с какой-то Веселовской, — не его ли это дочка? За небольшую взятку вахтеры пропустили девушку в госпиталь, и она познакомилась с самим Веселовским, отцом выдуманной подруги. С тех пор Ляля каждую неделю, а иногда и два раза в неделю приходила в кригслазарет. Начальник госпиталя как-то этим заинтересовался и спросил хирурга, что это за девушка так часто ходит к нему с какими-то книжками и продуктами. Веселовский объяснил, что это университетская подруга его дочери. Она, мол, носит ему, Веселовскому, Чехова и Джека Лондона, а больным — еду, потому что она филантропка. Баварец успокоился. К тому же на все, что его здесь окружало, и на филантропов в том числе, он смотрел сквозь пальцы.

Через одну из санитарок Веселовский также был связан с отрядом товарища Куприяна и по его указанию создал подпольную группу в кригслазарете — в самом немецком аду. В состав группы вошел и тот раненый, которому врач в свое время снял шины. Спасенный им — как выяснилось позже — был политрук-артиллерист Явор.

Зимой смертность в лазарете особенно увеличилась. Усилия, которые Веселовский прилагал, чтобы спасти товарищей, помогали только частично. Помещение не отапливалось. В метель коридор засыпало снегом. Кормили вонючей, несоленой баландой — дважды в сутки по полулитра. Больные и раненые умирали десятками. Живых от мертвых начальник госпиталя отделял таким образом: заходил утром в палату, где на полу вповалку лежали пленные, тех, кто покрылся инеем, оставлял,— это живые,— а тех, на которых инея не было, приказывал вывезти. Мертвые не покрываются инеем. Так была спасена, кстати, раненая медсестра Галя Королькова, за судьбу которой Ляля особенно волновалась. Веселовский заранее снял с нее иней, а охрана, вывозившая трупы, отвезла Королько-

ну к одной из Лялиных знакомых, получив за это двух кур.

Предполагалось, что весной, как только пленные, члены подпольной группы кригслазарета, более или менее окрепнут и встанут на ноги, им будет устроен коллективный побег. Веселовский уверял, что до весны их раны заживут.

III

Весна наступила.

Ляля пришла в кригслазарет под вечер. Ни начальника госпиталя, ни санитарок уже не было. Только охрана стояла на дверях да пленные стонали в палатах.

Веселовский жил в конце темного коридора, в комнате, которая служила одновременно и жильем, и перевязочной, и аптекой. Заплесневевшие, влажные стены, куча гипса в углу, кровать, топчан, зарешеченное окно над ним с разбитыми стеклами. Когда Ляля вошла, врач что-то читал, стоя в белом халате на коленях в постели и прижавшись лбом к самой решетке. Уже вечерело, и света в комнате не хватало.

— Добрый вечер, Лука Дмитриевич,— поздоровалась Ляля, переступив порог. Каждый раз, когда она заходила в эту конуру, у нее жгучий мороз пробегал по коже.

Врач повернул к ней свою широкую, как лопата, бороду.

— Здравствуйте, Ляля, — и встал девушке навстречу. Врач был невысокого роста, и борода его казалась непропорционально большой в сравнении со всей фигурой.— Прошу садиться... — Он развел руками: где же сесть. С брезгливой грустью глянул на топчан, полный клопов. — Садитесь на тумбочку.

Девушка стояла напротив зарешеченного окна в глубокой задумчивости, словно о чем-то напряженно вспоминая.

Густые сумерки легли на землю, на темный, огороженный проволокой двор с конюшней в противоположном конце. Только над конюшней высокое небо еще оставалось светлым, почти белым, освещенным последней умирающей краской заката, который угасал где-то справа, невидимый из окна. Ляля, освещенная этим небом, стояла

совсем бледная и, кажется, не замечала в этот миг ни двора, ни неба, ни самого Веселовского.

— Ляля, почему вы такая? — спросил врач.

Девушка повернулась к нему, страдальчески подняв брови, будто узнавая его.

— Что случилось?

— Случилось,— тяжело сказала она.— Случилось, Лука Дмитриевич.

Врач сдвинул на лоб очки с единственным надтреснутым стеклышком, расправил широкие плечи.

— Что именно?

— Погиб отряд товарища Куприяна.

— Что-о-о-о?

— За Ворсклой... погиб.

— Весь отряд?

— Надо думать, что так.

— Не может этого быть,— заходил врач по комнате.— Это невозможно!

— Что невозможно?

— Чтоб весь отряд. Кто-то же остался.

— Остались... мы с вами,— сказала Ляля.

— Я же говорю, что остались... Невозможно, чтоб его не было. Надо создавать самим!

— Ради этого я и пришла, Лука Дмитриевич. Есть постановление нашей организации: оставить Полтаву, уйти в леса.

Врач остановился посреди комнаты.

— Наконец, — облегченно вздохнул он. — Наконец! — И ударил ногой по своему топчану.— Как уже хочется, Ляля, вдыхать, вдыхать не это... а лесной воздух!

— Первым выйдете вы, ваша группа. Сможете?

— Когда?

— Хоть завтра.

Врач с минуту помолчал.

— А ножницы?

— Ножницы и махорку вам передаст завтра утром санитарка Паша.

Веселовский подумал.

— Завтра ночью мы и выйдем.

— Явор сможет?

— Явор еще в гипсе. Но я сниму ему гипс. Я, собственно, нарочно держал его в гипсе, чтобы не перевели в концлагерь.

— Кучеренко сможет?
— У Кучеренко еще раны гноятся. Но сможет.
— Жарков?
— Сможет.
— Обгаидзе?
— Сможет.
— Ивакин?
— Сможет.
— Вы? — улыбнулась Ляля.
— О, этот сможет,— повторил Лука Дмитриевич, и глаза его утонули в морщинках — так широко и добродушно расцвел он в ответ Ляле.
— Вы уже выбрали место?
— Об этом не беспокойтесь, Ляля. Мы старые стрелянные воробьи. Я изучил каждую колючку на этой ограде. Вон там, посмотрите, возле конюшни, есть желобок, видите?..
— Не вижу.
— Как же так? Я — близорукий, и то вижу. Желобок под оградой. Если перерезать самую нижнюю проволоку, то можно выползти, даже не подкапывая землю. До войны, правда, я не пролез бы там, брюшко было солидное, а теперь пролезу.
— Как охрана? Кто стоит завтра ночью?
— Карл и Франц.
— Какие они на посту?
— Карл ничего. Все время мурлычет про Лили Марлен. А Франц — более внимательный. Его всегда ставят на входе.
— Надеетесь, что Карл не заметит?
— Надеюсь.
— А если заметит?
Врач зажал в руке бороду, задумался.
— Если заметит, то, конечно, без предупреждения всех... прикончит на месте.
Оба помолчали.
— На всякий случай,— сказала Ляля,— мы выставим своих. Они всю ночь будут следить за охраной... Так что вы не волнуйтесь.
— Не буду,— согласился Веселовский.— Я привык надеяться на лучшее. Только бы не случилось это под проволокой. Если погибать, то хоть по ту сторону проволоки, на свободе.

— Нет, пусть лучше этого не случится, Лука Дмитриевич. Пусть все пройдет счастливо.

— Будем надеяться. А дальше?

— Потом выйдете прямо к Шведской могиле, Сапига и Пузанов будут ждать вас. Там все уточните окончательно и заберете оружие. Правда, на всех не хватит, но все, что есть, вы возьмете.

— Дай нам до леса добраться, Ляля,— горячо прошептал Веселовский.— Добудем и на всех. Соединимся с другими отрядами, пойдем рейдом по всей Украине!

Лука Дмитриевич молодым движением сбросил очки, как что-то ненужное, и, подняв голову, прищурившись, задержал взгляд на разбитом оконном стекле.

— Весна,— сказал он.

Сквозь разбитое окно тянуло свежестью, веяло на врача запахом весенних лесов, словно затянутых лиловой дымкой, если смотреть издали, а с близкого расстояния — радующих глаза каждой набухшей почкой. Неужели и впрямь через сутки или двое закончится это прозябание в четырех заплесневевших стенах и начнется настоящая жизнь, достойная человека?

— Весна,— повторил он.— Весна.

— Желаю вам,— сказала Ляля и стала прощаться.— Желаю, чтоб все закончилось удачно.

— Спасибо, Ляля.

— Здесь мы уже больше не встретимся с вами... товарищ Веселовский. До встречи — там. На просторе!

Девушка крепко сжала его руку. Врач, щурясь, смотрел на нее, окутанную сумерками, бледную.

— Что вы так смотрите, Лука Дмитриевич?

Веселовский промолчал.

— Вас беспокоит, что завтра может случиться неудача? Не думайте об этом... Действуйте решительно, смело. Наши всю ночь будут следить за охраной.

— Нет, Ляля, я не об этом думаю. Я смотрю вот на тебя и думаю о всех вас... о молодых.

— Что ж вы думаете?

— Счастливы мы, Ляля! Счастливы мы, старшие!.. Тем счастливы, что воспитали себе помощь и смену — такое поколение... такой полк! Это же совсем молодой, совсем новый и, вместе с тем, уже вполне боеспособный полк! Надежный, умный, честный... Пусть иногда недостаточно опытный, пусть иногда слишком горячий и потому не застрахованный от промахов молодости, но

главное — верный, верный... С такой сменой можно уверенно глядеть в завтрашний день родины. Надежные руки будут творить ее судьбу...

Веселовский проводил девушку до часового.

Пропуская Лялю, часовой, как всегда, пристально заглянул ей в руки. Она расстегнула сумочку, достала пачку сигарет.

— Битте, Франц...

— Данке шён, Ляля.

Девушка покраснела, а Франц, привычно взяв сигареты, козырнул уже за ее спиной. Часто ей приходилось давать разным людям взятки, крупные и мелкие, но никак не могла привыкнуть к этому. Смущалась, будто не сама была в роли дающей, а, наоборот, принимала подачку.

Оказавшись за воротами, девушка облегченно вздохнула. Воздух был пронзительно свеж. Земля, схваченная вечером легким весенним заморозком, слега похрустывала. В канаве вдоль шоссе чуть слышно журчала вода, за день натопленная солнцем из остатков снега.

IV

Кого послать через фронт?

Сначала Ляля хотела идти сама. Но товарищи единодушно возражали. Ляля, стройная, заметная девушка, неминуемо должна была привлечь внимание, вызвать подозрение. Да и присутствие Ляли было теперь здесь крайне необходимым.

Решили, что через фронт пойдет Галина Королькова.

После того как подпольщики спасли ее «из мертвых», Королькова скрывалась некоторое время у одной из Лялиных знакомых, поправляя здоровье, а, окрепнув, вскоре была привлечена к подпольной работе. Охотно и горячо она бралась за любые поручения организации, несколько раз расклеивала по городу листовки.

Королькова обладала многими такими качествами, которые, безусловно, должны были помочь ей во время перехода линии фронта. Маленькая, черноглазая, бойкая, с волосами в накрученных кудряшках, она, соответственно принарядившись, легко могла сойти за харьковскую мещаночку, разбитную и несколько легкомысленно-ветреную особу.

— Бетреной ей легче всего будет прикинуться,— пошутил Серга,— потому что она и впрямь-таки с ветерком в голове...

Острая на язык, с грубоватыми манерами и в то же время с умением козырнуть той культурностью, какую Сережка называл «нахватанной», Королькова имела, кажется, все данные, чтобы обвести вокруг пальца немцев и собачников-полицаев, привяжись они где-нибудь по дороге.

Товарищи не сомневались в ее преданности делу. Медсестра, фронтовичка, раненная в бою, она ненавидела вонючих оккупантов какой-то почти физиологической ненавистью.

Когда Ляля предложила ей эту миссию, Королькова, не колеблясь, дала согласие. Сапига от имени организации написал письмо в штаб партизанского движения и детально проинструктировал Королькову, как и к кому обратиться после перехода через линию фронта.

Некоторое сомнение у Ляли вызвало то, что Галя, как ей казалось, была недостаточно «подкованной» и идейно закаленной. Королькова верила, что наши придут. Но верила не потому, что усматривала в этом какую-то неизбежность, железную закономерность, а просто потому, что ей очень этого хотелось, потому что «немцы сидят уже всем в печенках и будь они прокляты».

Но на Лялины сомнения в отношении Корольковой никто из товарищей не обратил особого внимания. Не было времени для раздумий. Нужно было действовать, и действовать немедленно.

В конце концов, Ляля не настаивала на своем, и Галю решили послать. Это было самой роковой ошибкой молодой подпольной организации. Не оборвись к этому моменту связь с партийным руководством, не погибни в неравном бою с врагами товарищ Куприян — и молодые подпольщики наверняка не совершили бы этой ошибки.

В солнечный весенний день Ляля провожала Королькову за город. Все время обходя центр, они прошли тихую улицу Розы Люксембург, пересекли Октябрьскую и оказались на глухой Сенной.

В центре города Ляля старалась не появляться. Оккупанты, раздраженные тем, что их призывы к молодежи добровольно ехать в Германию позорно провалились, теперь наглели с каждым днем. Охота за молодежью стала обычной полицейской операцией. Несколько раз устраи-

вались неожиданные облавы на базаре, в Корпусном саду, в кинотеатре во время сеанса. Всех задержанных гнали под конвоем прямо на вокзал. Там на скорую руку пропускали через комиссию, которая плетками выгоняла из толпы явных инвалидов. Здоровых заталкивали в вагоны, наглухо запирая за ними тяжелую дверь. Среды стали теперь черными днями. По средам во всем гебите проводили набор. В эти дни села Полтавщины плакали навзрыд.

Ляля вывела Королькову за город, на Коломацкий шлях. Он уже подсох на солнце и слегка курился, истертый в пыль тысячами босых ног многострадальных горемык. Кажется, теперь все сразу стали бездомными, кажется, вся Украина пустилась в странствия, меряя свою землю босыми ногами, не находя пристанища в этом горьком бесконечном походе.

Первые весенние травы вылезли острыми зелеными щетками по бокам дороги. С грохотом мчались на фронт один за другим тяжелые немецкие грузовики, набитые солдатами. Путники, впряженные в тележки, как китайские рикши, шарахались от тяжелых машин на обочины.

— Смотри же, Галка,— в последний раз напоминала Ляля Корольковой,— не очень отклоняйся от основного маршрута. Кое-где, конечно, придется обходить посты, но больших крюков не делай. Ты же знаешь, с каким нетерпением мы будем ждать...

— Красноград все-таки придется обойти,— серьезно заметила Королькова.— И Сахновщину тоже.

— Возможно, ты уж там сама гляди. Но я говорю про основной маршрут.

— Об этом не волнуйся. Вообще не волнуйся.— Галина посмотрела на Лялю круглыми, как терн, глазами. — В последнее время ты стала как будто холоднее со мной.

— Это тебе так показалось, Галка...

— Не говори! Я ведь помню, как ты относилась ко мне тогда, когда вызволила из лазарета. Я, Ляля, по гроб жизни не забуду, что ты спасла меня от смерти! — с чувством сказала Королькова, глядя в землю.

— Мы вызволяли не просто тебя, Галка,— мягко заметила Ляля,— мы вызволяли прежде всего... нашу фронтовичку.

— И будь уверена, Ляля, что вы спасли настоящую фронтовичку. Вдребезги разобьюсь, лишь бы только выполнить твое поручение.

— Не мое, Галка, а наше.

— Пусть наше. Ты всегда ко мне придираешься, Ляля, к каждому слову. Ты такая придира!.. Как ты можешь! Ты этим замучаешь своего будущего мужа,— сказала Галка в шутку, но с такой долей серьезного многоопытного убеждения, что Ляля невольно покраснела, хотя и была старше.

— Не замучила бы. — Ляля ласковым взглядом окинула маленькую пышнотелую Королькову. — Остался бы только в живых...

— Ох, эти мужчины! —воскликнула Галка. — Ты с ними будь осторожна.

— Почему я? А ты?

— Я любого из них вокруг пальца обведу, Ляля. Я их уже изучила. Мне бы только платье шикарное — тогда ничего не страшно... Говорила ли я тебе, как меня на прошлой неделе в саду зацапали? «Гебен зи папир, паненка?» Паненка сделала ему улыбочку, повела бровью — «дома забыла, майн либен...». Отпустил, болван.

— Но на бровь не всегда полагайся, Галка, — сказала Ляля, сразу став серьезной.

— А на что же с ними полагаться? У меня больше ничего нет.

— На сердце полагайся. На свое советское сердце.

— Опять тебя это волнует,— обиделась Королькова.— Будто я какая-нибудь... перекати-поле. Да я ночами, как кошка, буду идти, а днем по бурьянам змеей проползу. И не я буду...

— Как я тебе завидую,— призналась Ляля.— Через несколько дней ты увидишь наших... Нашего бойца, в нашей шинели, в наших обмотках, с нашей звездой на шапке! Какая ты счастливая, Галка!

— Я просто не выдержу! Разорвусь от радости!.. Неужели это будет?

— Расскажи им все про нас!.. Передай привет, каждого поприветствуй! — Ляля подумала о Марко. — Расскажи, как народ здесь ждет их!

— Все расскажу, Ляля! А оттуда я самолетом к вам прилечу. С парашютом прыгну!..

— Хорошо, ждем, Галка! Только смотри, чтоб твой парашют раскрылся. Не растеряйся на лету.

Они попрощались.

Пройдя несколько шагов, Королькова вдруг оглянулась. Ляля стояла на месте, взволнованная, простоволосая. Маленькие часы блестели у нее на руке.

— Который час?

— Полдвенадцатого.

Королькова как-то жалобно, совсем по-детски улыбнулась.

— Это я так спросила, Ляля. Просто так... Мне хотелось еще раз услышать твой голос. Потому что мне без тебя... как-то боязно. Вот прошла семь шагов — стало боязно.

Брови у Ляли вздрогнули.

— Но это пройдет,— поспешила заверить Галка.— Только не поминай меня лихом, Ляля. До свиданья.

— До свиданья.

Королькова, сняв на ходу туфли, пошла по обочине дороги, держа туфли в руках, поблескивая яблоками тугих икр. Походная серая сумка плотно лежала у нее на спине. Удаляясь, она несколько раз оглянулась, чтоб помахать Ляле рукой. Но Лялино легкое платьице синело уже далеко, Ляля ни разу не оглянулась на ушедшую. После прощания она не любила оглядываться.

На Сенной она неожиданно столкнулась с Коломойцевым. Озабоченный, он куда-то спешил с винтовкой на плече. Повязка на рукаве замусолена, давно не стирана.

— Привет, Убийвовковна! — фамильярно поздоровался он.

— Привет.

— Ты расхаживаешь по городу, как по собственному огороду,— заговорил полицай, вытирая пот рукавом.— Не советую так храбриться. Потому как сегодня у нас везде такой ералаш, такой ералаш!.. Загоняли!..

— Что за ералаш? — равнодушным тоном спросила девушка.

Коломойцев, оглянувшись вокруг, зашептал, как заговорщик:

— Из кригслазарета двенадцать человек дали деру!.. Ночью перерезали проволоку и — поминай как звали.

— Как же это? — подняла брови девушка.— А куда охрана смотрела?

— Ох, уж эта охрана!.. Взяли вахтеров, которые проморгали!..

— Посадили?

— То же мне — наказание!.. Если б это наш брат проморгал, так из него сразу б душу вытрясли. Только его и видели! Тут вот и не наш промах, и то с ночи покоя нет...

Начальник зубов повыбивал!.. Ну, говорит, бегите, как борзые, разыскивайте!.. А где их найдешь? Скажи, где?

Девушка с напускным сочувствием смотрела на Коломойцева.

— Разве и в самом деле найти нельзя? — простодушно спросила она.— Где-то они все-таки есть?

— Есть! Ищи ветра в поле! Еще и след махоркой посыпали — собаки чихают, не идут. Может, если бы все взялись, и нашли бы... А так беглец вскочил в первую попавшуюся хату — и нет его. Ведь нас люди как увидят за квартал, сразу же молнией летит: берегись! Один другого предупреждают, как о нечистой силе... Ну, будь здорова, я побежал...

— Беги.

Ляля шла, наклонив голову, и не могла сдержать улыбку.

V

Дома кипела работа. Весна звала на улицу, никому не сиделось в помещении. Двор, подметенный утром Константином Григорьевичем, был чист, как перед праздником. Мать и тетя Варя вскапывали сад. Ляля тоже взяла лопату и присоединилась к ним.

— В наше не вклинивайся, — предупредила тетя Варя,— занимай отдельный участок. Увидим, сколько ты сделаешь.

— Давайте соревноваться!

Мама тихо смеялась, не отрывая от дочери своих глубоких, ласковых глаз, обведенных темными кругами.

Ляля охотно взялась за работу. Под упругим натиском ноги лопата легко врезалась в жирный чернозем.

Сад пробуждался после зимы. По стволам оживающих деревьев поднимались неудержимые весенние соки. Казалось, можно услышать, как они гудят, приглушенно и нежно, словно раковина, наполненная шумом моря. Ляля приблизилась к яблоньке, под которой был закопан ящик с книгами, с ее пионерским галстуком, со всем самым дорогим... Остановилась и задумалась. Когда же можно будет откопать? Земля дышала влажным приятным теплом, ласкала девушку своим нежнейшим дуновением и молчала... Земля, землица! Почему ты только дышишь,

почему не говоришь? Годы студенчества, девичества, все самое лучшее — тут в тебе, в твоей груди... Ты же лишь знойно и сладко дышишь, а не говоришь...

— Уже наработалась? — сказала тетя Варя, увидев, что девушка остановилась.

— Не трогай, Варя, ее,— попросила мать.— Пускай постоит.

Мать, видимо, понимала настроение дочери.

— Мама, посадишь под этой яблонькой цветы? — сказала Ляля.

— Почему я должна сажать? Ведь это ты всегда сама делаешь...

— Может, и я посажу.

— Там помидоры хорошо растут, — заметила тетя Варя.— Теперь не очень цветами увлекайтесь. Огородов не дадут.

Вдруг из-за соседних домов, с Кобеляцкой, долетела песня, необычная и ошеломляющая в эту рабочую пору — на мотив «Раскинулось море широко»:

Раскинулись рельсы далеко,
На них эшелоны стоят...

Все сразу воткнули лопаты в землю и бросились за ворота.

— Сегодня ведь среда!

По Кобеляцкой мощеной дороге, в которую упиралась через несколько домов тихонькая, покрытая травой улица Гребинки, ехали подводы.

...Вывозят в Германию немцы
С Украины наших ребят...

Подводы ехали медленно, как длинная похоронная процессия. Одна за другой, одна за другой... Впереди — немец на тачанке, прямой, неподвижный, как будто аршин проглотил, за ним на арбах, на возах среди мешков и корзин тесно сидела молодежь.

— Из Мачех,— сказала тетя Варя.— Или из Санжар. На станцию.

Девчата и хлопцы, несмотря на жару, были в зимнем: в теплых платках, в пиджаках, взятых в далекий каторжный путь.

Прощайте, зеленые парки,
Мне в вашей тени не гулять...

Сидели на возах, обнявшись, голова к голове, спустив за грядки ноги. Не пели, а голосили — слышно было даже в самых дальних белобоких кварталах Полтавы.

Я еду в Германию хмуру
Свой век молодой коротать...

Песня слагалась вперемежку из русских и украинских слов, видно, она была создана сообща молодыми русскими и украинцами, которых постигло одно и то же горе.

Прощай же, родной городишко,
И ты, дорогая семья...

Рыдал высокий девичий голос. Полицаи с белыми повязками на рукавах брели по бокам колонны, как понурые псы. Мостовая неумолчно грохотала, кричала камнем и железом.

Нам слез не забыть материнских
И хмурые лица отцов,
Которые нас провожали,
Как будто живых мертвецов...

Ляля стояла словно немая. Лицо стало похоже на белый камень. Исчезла за углом дома последняя подвода, а Ляля все стояла, слушая, как песня, заполнив весь тракт, уходит в глубину города, вонзается в него, как нож.

Небо было чистое, голубое. Ласточки купались в солнечных лучах.

— Ляля, ты плачешь? — со страхом взглянула на дочь Надежда Григорьевна, хотя у нее самой глаза были полны слез. Ляля отвернулась.

— Это от солнца, ма...

Они вернулись в сад и снова взялись за лопаты. Копали мрачно и молча, как поденщицы.

Внезапно за садами, на шоссе, куда свернула колонна, затрещали выстрелы. Кто-то пронзительно закричал.

По садам уже разносился топот множества ног, треск веток. Вдруг из-за соседского сарая выскочила растрепанная девочка и ловко перепрыгнула через забор в сад Убийвовков. Грубый шерстяной платок сполз на затылок, как башлык.

Девочка взглянула на женщин, на Лялю, оглянулась и выдохнула:

— Фу-у!..

Облупленный от весеннего ветра нос оросился потом, и личико было в золотых веснушках, словно обрызганное солнцем.

Тетя Варя с несвойственной ей стремительностью метнулась к погребу, открыла двери:

— Марш сюда!

Девочка мгновенно очутилась в погребе, словно нырнула в землю. Тетя Варя заперла дверь, посмотрела в ту сторону, откуда выскочила девочка, потом остановила взгляд на Ляле и улыбнулась, молодо, задорно. Ляля радостно кинулась ей на шею. В это время из-за сарая выскочил запыхавшийся грузный полицай. Он подбежал к ограде, остановился.

— Не пробегала тут девка? — крикнул он, обращаясь к женщинам в саду.

— Пробегала,— спокойно ответила тетя Варя. Ляля оторопела.

— Кудой же она пробегла?

Тетя Варя махнула рукой куда-то вверх, над садами, где с криком пропосились ласточки.

— Туды...

Полицай, закинув голову в небо, посмотрел, куда показала ему тетя Варя.

— Куды?

— Туды,— снова махнула она в неопределенность.

Он постоял какой-то миг, словно колеблясь, и тяжело затрусил дальше через соседские сады. Он не слышал, как вслед ему рассмеялись женщины — весело, искренне, от души.

Вечером беглянка сидела в доме Убийвовков и ужинала, рассказывая о себе.

— Подумаешь,— говорила она, — это нам не впервой. Я третий раз вот так вырываюсь. Только чемодана жалко. Придется родичам четвертый мастерить.

— Так что же, твоя одежа пропала? — обескураженно спросила тетя Варя.

— Что я — глупая, чтобы одежду брать? Мы в чемоданы солому да кирпич кладем. Лишь бы тяжелые были. Не очень-то холуи поживятся.

— Сегодня там кого-то убили, — грустно сказала Надежда Григорьевна.

Девочка помрачнела.

— Каждый раз кого-нибудь убивают. Редко когда без этого обходится.

— И ты не боишься? — спросила Ляля, сверкая глазами.

— Страшновато, особенно первый раз, но что поделаешь?.. Лучше уж пусть убьют, чем в неволе жить!

Женщины не скрывали своего восхищения. Константин Григорьевич смерил девочку удивленным взглядом:

— Да ты чья такая?

— Людская!

— И не скажешь?

— И не скажу!

Все рассмеялись.

— А мы видели днем, как вас везли по Кобеляцкой,— сказала Ляля.

Девушка повернула маленькую головку с уложенными на затылке толстыми косами.

— Жалко было нас? — простодушно спросила она.

— И жалко, и очень, очень больно. Неужели, думаю, вот так и будут петь до самой могилы и не воспротивится никто? Простите, что я так про вас подумала.

— Прощаю,— серьезным тоном сказала девочка.— Про нас многие так думают. С песнями, мол, на каторгу идут. А мы спокойно сидим да песни поем лишь до первого крутого поворота. Сами же план имеем наперед — где и как!.. Как только садов много —шурх, и нету!.. А хлопцы сговорились ночью на станции из полицаев души вытрясти. А почему не вытрясти?.. Кто как может, так и трясет!..

Когда совсем стемнело, Ляля провела девочку садами на кобыщанскую окраину, в поле. Девочка уверяла, что ей нужно только «до поля», а там она уже сама попадет, куда захочет.

— Жарко тебе,—сказала Ляля, кивнув на расстегнутый кожух, когда они стали прощаться.

— Жарко.

— А ты сними...

— Э, не сниму,— ответила девочка.— Вы бы знали, что это за кожушина!

— А что же это за кожушина?

— О... В ней такое что-то зашито... что никогда мне в ней не тяжело!.. Будто крылья имею!

Попрощавшись, девочка легко зашагала босиком через пригородные сады. «Идет, как сама весна,— подумала о ней Ляля, вслушиваясь в легкое шуршанье удаляющихся шагов.— Будто Веснянка ходит».

VI

Вернувшись домой, но еще не поднимаясь на крыльцо, Ляля вдруг остановилась и прислушалась. Где-то, словно бы за синими крутыми горами, загремело. Молодо, властными перекатами, как первый, очень далекий весенний гром.

Не помня себя Ляля взлетела на крыльцо и вбежала в комнату.

— Вы тут сидите и ничего не слышите! — радостно закричала она.— Гремит же!..

— Что гремит?

— Фронт!

Все выбежали вслед за нею во двор. Стали прислушиваться, но никто не слыхал никакого грома. Сейчас даже Ляля не слыхала его.

— Это, Ляля, тебе просто почудилось,— сказала тетя Варя.

— Как же почудилось, если гремело наяву!.. Да еще так раскатисто, вольно!.. Словно все небо заполнило!..

— А может, это и правда уже первый гром загремел,— неуверенно сказал Константин Григорьевич, оглядывая горизонт на востоке. Но весь горизонт был усеян звездами.— Или, может, далеко где-нибудь бомбили...

— Бомбят не так,— возразила Ляля.— Я же говорю: по всему горизонту, перекатами, как-то пластично...

— В какой стороне? — спросила мать.

— Как будто там, над Мерефой, над Харьковом или даже над Богодуховом. Вот — тс-с!

Где-то, стороной, высоко шли самолеты. Прожекторы заметались по небу. Световые колонны поднимались, падали, вновь возникали уже в другом секторе неба.

— На Кременчуг,— определил Константин Григорьевич, прислушиваясь к высокому рокотанью моторов.

Вдруг Ляля схватила мать за плечо:

— Ты видишь, мама? Видишь, во-он они проплывают, как светлячки...

— Вижу... Впрочем, нет, это звезда... Ага, вижу, вижу...

Гул постепенно стих, прожекторы погасли, из конца в конец землю накрыла звездная темнота.

— Пора спать,— напомнила тетя Варя и стала подниматься по ступенькам. За ней пошел Константин Григорьевич. Мать ждала Лялю.

— Ты идешь, малышка?

— Мамочка, я еще немного подышу. Какая ночь!

Оставшись одна, Ляля снова прислушалась. Неужели действительно это обычная бомбежка? Но ведь гул раскатывался по всему горизонту!.. Интересно будет спросить завтра, не слыхал ли еще кто-нибудь из товарищей. Товарищи!.. Где сейчас Веселовский и вся группа? Где они сегодня будут ночевать? В степях ли, в лесах или оврагах... Девушка представила себе, как через несколько дней они соберутся уже всем отрядом. Осунувшийся Сапига с потемневшим от усталости лицом сядет на пень и заговорит, чеканя слова: «Нам нужна такая диверсия, чтоб потрясла город!» Сережка будет стоять удивленный, как в незнакомом царстве. А Леня? Леня, этот врожденный лесовик, совсем там расцветет... Лука Дмитриевич будет хитровато усмехаться в бороду. Ночью они выйдут к железнодорожному полотну и примутся за работу. Первый немецкий эшелон, идущий на фронт, загремит под откос с катастрофически исчезающим ревом дерева и металла. Отряд товарища Куприяна действует! Они возобновят связь с подпольным обкомом, получат указания, свяжутся с другими отрядами... Силы их будут расти с каждым днем... К ним придет отчаянная молодежь, спасаясь от мобилизации, в отряд волыотся беглецы из смертельных кригсгефангеперлагерей [1]. Настанет время, когда они почувствуют себя настолько окрепшими, что ударят общими силами на Полтаву!.. Отряды народных мстителей в городе!.. Перебьют всех оккупантов и предателей, поднимут над городом красное знамя. Такое высокое, чтобы коснулось туч, чтобы видно было его всем, всем. Знамя бессмертного танкового полка! Тогда и Марко увидит его оттуда, издалека, и догадается, что это — она!

Окружающие сады уже превратились в призрачные леса, полные таинственного гомона, засад, паролей, команд. Небо свисало над нею звездами, как развесистая яблоня цветом.

Ляля присела на крыльце и загляделась на небо. Звездная высь давно уже перестала быть для нее только красивым зрелищем. Однажды восприняв его с точки зрения науки, как развернутую бездонную книгу космоса, она уже не могла воспринимать его иначе. Теперь оно было наполнено для нее красотой гигантской лаборатории,

[1] Лагеря военнопленных.

красотой мечты о будущей работе, открытиях и откровениях.

Бывало, летом в такие погожие ночи Ляля работала. С каким вдохновением работала она в такие ночи! С вечера брала свечу с абажуром, карты звездного неба и забиралась на крышу. Расстелив карту, склонялась над нею, просиживая иногда далеко за полночь.

— Что там наша Наталка-Полтавка возле дымаря всю ночь сидит? — обращалась тетя Варя к Надежде Григорьевне.— Не гадает ли на Петра?

— Пускай гадает,— улыбалась мать.

Иногда Ляля тащила за собой на крышу и отца.

— Папа, неужели ты не любишь, не понимаешь неба? — с упреком обращалась она к отцу, который, сидя на крыше, жаловался, что простудится здесь на сквозняке. — Ты только посмотри! В какой бы конец неба мы ни направили свои телескопы, куда б ни обратил свой вооруженный глаз астроном,— всюду безбрежность! Такая безбрежность, такой бескрайний простор,— представить трудно!.. Без конца, без края... Сколько бы ни летела мысль — все равно не будет предела, только новая и новая глубина вселенной... И вся она наполнена звездами, солнцами, похожими на наше солнце, целыми роями звезд... И как бы глубоко мы ни проникали в этот космический океан, все равно из мрака, который его окружает, перед нами без конца будут возникать все новые и новые светила!..

Отец постепенно проникался Лялиным настроением, забывал о насморке и уже с интересом смотрел то на небо, то на свою дочь. Озаренная зеленоватым сиянием абажура, взволнованная и порывистая, со сверкающими, какими-то отрешенными глазами, она казалась ему в это время словно бы не его ребенком.

— Если ты станешь астрономом, Ляля, ты, наверное, действительно откроешь что-нибудь новое,—говорил он, в душе искренне гордясь дочерью.

Дочь же готова была до утра делиться с ним теоретическими познаниями, своим звездным богатством. Константин Григорьевич с горечью признавался себе, что слишком мало во всем этом понимает.

— Изучение новых звезд, папа, — объяснила девушка,— дало нам метод определения расстояний вплоть до экстрагалактических туманностей, а изучение туманностей, связанных с этими звездами, открыло перед нами

те свойства атомов, какие еще не наблюдались в земных лабораториях. Возможно, эту тайну атома в значительной мере можно будет постичь именно оттуда, из туманностей... Ты понимаешь теперь, что значит работать в космических лабораториях!.. А тебя удивляло, почему я пошла именно на физмат и именно на астрономическое отделение!

При этом Константину Григорьевичу вспомнилось, как он повез Лялю после окончания десятого класса в Харьков выбирать вуз. Уважая волю отца, девушка терпеливо ходила с ним по разным институтам, которые ему нравились, хотя втайне задолго до поездки обдумала и твердо решила, куда будет поступать. Отцу очень хотелось, чтобы Ляля поступила в медицинский, и она послушно шагала за ним знакомиться с медицинским — сначала в первый, потом во второй. Этот второй особенно нравился старому врачу, потому что Константин Григорьевич сам имел его диплом, полученный в тридцатых годах. До революции Константин Григорьевич из-за материальных недостатков мог стать только фельдшером. Институт он закончил уже в советское время, пожилым человеком.

— Ну, как тебе? — спрашивал он Лялю, показывая ей свой институт.

— Не люблю резать, папа,— капризно морщилась она, осматривая лабораторию.

Тогда они шли в строительный.

— Здесь больше подходит учиться ребятам, а не девушкам,— заявила Ляля, упорно думая о своей заветной мечте.

— Ну, тогда иди в киноактрисы, как тебе советовали подруги,— сердился Константин Григорьевич.

Лялины подруги все время твердили, что с такой фигурой, как у нее, с ее грациозностью дорога только в кино. Но своенравная девочка думала о своем.

И только когда они с отцом вошли в университетский корпус на улице Свободной Академии, Ляля сказала откровенно:

— Отсюда я уже никуда не пойду, папа.

Теперь, в мрачные дни оккупации, Ляля нередко вспоминала радужное харьковское лето 1938 года, когда она, опьяненная светлыми замыслами, радостная от множества заманчивых возможностей, ходила по институтам, заглядывая в распахнутые перед ней двери. День открытых

дверей! Заходи, учись! Тысячи юношей и девушек из колхозов и городов, из рабочих и шахтерских поселков имели возможность тогда вот так заглядывать в свое собственное будущее, выбирая самую желанную из многочисленных прекрасных дорог в жизнь, в науку. Сколько поэзии, сколько солнечного пения ощущала она сейчас в тех давнишних юных путешествиях по харьковским вузам.

Новый громовой раскат оборвал ее воспоминания. Вновь ей показалось, что весенняя, молодая гроза бушует уже совсем рядом. Ляля вскочила. На западе от Полтавы — впервые на Западе! — висели в небе яркие гирлянды.

Самолеты бомбили Кременчуг.

VII

День ухода из города приближался. Две трети задуманного плана были осуществлены. Группа Веселовского без приключений выскользнула за городскую черту и достигла лесов за Ворсклой. Королькова пробиралась все дальше по намеченному маршруту, Ляля с товарищами заканчивала последние дела в Полтаве. В эти дни они редко виделись, с утра до вечера занятые своей работой. Неотложных дел оказалось вдруг столько, что думалось, никогда не управиться. В эти же дни Борис и Валентин сложными путями узнали, что на Подоле существует еще одна подпольная организация, состоящая преимущественно из девчат. Сорока и Серга должны были перенести к ним радиоприемник и установить на новом месте в погребе. На заводе «Металл», согласно указаниям секретаря обкома, также была создана нелегальная группа, в которой работали даже подростки. Ляля передавала свои явки тем, кто оставался в городе, знакомила между собою людей, которые должны были знать друг друга в лицо. Работа требовала строжайшей осторожности и конспирации, но закончить ее хотелось как можно скорее. Лес звал каждую ночь, ребята наяву грезили весенними тропами, с нетерпением ждали дня выхода.

Сережка Ильевский вдруг заметил, что Полтава стала для него невыносимой. Он и не подозревал, что ему могут осточертеть многие, казалось бы, вечные ценности. Он утратил вкус даже к природе. В эту весну словно бы

и солнце светило более тускло, родные парки раздражали его, и загородные рощи, зеленые, как детство, вызывали лишь боль. Когда Сережка видел где-нибудь в саду оккупантов, бродивших в одних трусах около машин, он проникался ненавистью даже к этому саду. «Но в чем же повинен сад?» — спохватывался парень через некоторое время. «Проклятые, проклятые! — шептал Сережка об оккупантах.—Как они нас грабят, проклятые! Грабят даже души!.. Парки, и улицы, и красоту весеннего дня— все забрали у меня, все отравили, все стало чужим!»

И Сережка писал в эти дни:

Как гляну — на всю округу
Проклятого немца гнет.
Уже он мою подругу
Папенькой пахально зовет.
Не пыль под ногою фрица —
Он жизнь мою в землю вбил,
Я не могу напиться
Из речки, где немец пил!
Как мне любоваться садом,
Где он загорает в трусах?
Я жить не могу с ним рядом,
Жить буду я или враг.

Хмелея от бунта собственных чувств, он воочию представлял, как возвратится вскоре в Полтаву грозным народным мстителем.

Чтобы на остающиеся в городе семьи не обрушились репрессии, нужно было уйти незаметно и как-то оправдать свое отсутствие. Валентин и Борис уже раззвонили по всему Подолу, что едут в Славянск за солью. Рассказывали, что какой-то их приятель, достав где-то пуд крестиков, поехал с ними в Славянск и сделал там чудесный «гешефт». Он вернулся оттуда с вагоном соли. Сразу стал богачом, миллионером. Ребята делали вид, что его легкие миллионы не дают им спать. Ильевская говорила соседкам, что отправит Сережку на лето в совхоз, пускай там, как босой апостол, пасет телят, — может, избежит набора. Сапига должен был выехать на периферию, как будто по делам Красного Креста, с тем, чтобы не вернуться. Ляля распускала слух, что в Мариуполе, возвратившись из плена, живет ее жених Марко, она, мол, получила от него записку через сотни рук, заменявших теперь почту. Следовательно, думает с наступлением тепла идти к Марку пешком. Леня должен был просто поблагодарить свою бабусю за все заботы и, без особых объяснений,

уйти куда глаза глядят, как тысячи людей, которые бродят теперь по дорогам.

Наконец пятого мая, управившись в основном с делами, они встретились днем за городом и окончательно решили выходить завтра, в ночь с шестого на седьмое.

Наступило шестое мая.

В этот день Константин Григорьевич по привычке встал на рассвете и, закурив, вышел на крыльцо.

Сад был в цвету. Он расцвел как всегда неожиданно, почти за ночь. Еще вчера распустившиеся цветы виднелись лишь кое-где, а сегодня белая пена затопила голые ветки и плескалась уже у самой ограды. У врача защемило сердце. Удивительное дело: в эту весну чем красивее были утра, тем острее боль вызывали они.

Просыпается окраина. Мальчишки-пастушки гонят по улице коз на пастбище. Звонко кукарекает где-то петух. А за садами небо с каждой минутой становится все светлее и светлее... Чудесное утро!

Не одна юная полтавчанка залюбуется первым вишневым цветом, который свадебной фатой покрывает окраины... Весна, весна, как безжалостно прекрасна ты в эти тяжелые дни! Сколько пахучего яда несешь ты своим белым цветением, своими белыми, до боли острыми рассветами!.. Махнув бело-розовым крылом, словно кричишь и манишь былым угасшим счастьем.

Константин Григорьевич идет в сад и, задрав голову, присматривается к ветвям, снимает гусениц.

На кухне хлопочет неутомимая тетя Варя. Что-то ворчит под нос, расстроенная, что вчера получили непропеченный пайковый хлеб и он за ночь стал как камень. Разве можно есть этот суррогат?.. Еле передвигается по комнате Надежда Григорьевна в теплом джемпере с укутанной шеей. Ее мучают гланды.

Ляля еще не выходила из спальни. Она лежала в постели, улыбаясь, с закрытыми глазами, с наслаждением ощущая, как все тело, каждый мускул, наливается молодой силой. В последний раз она нежится в этой постели. Завтра придется спать не раздеваясь, в своем ворсистом лыжном костюме или, быть может, и вовсе не придется... Как воспримут родные то, о чем она хочет сказать за обедом? Наверное, посмотрят на нее, как на сумасшедшую, а мама первая поймет все. К вечеру у нее уже будет готов рюкзак с продуктами, с одеколоном и зубной щеткой. В добрый путь.

— Ляля!

Девушка вздрогнула. У изголовья стояла перепуганная тетя Варя. Она так бесшумно вошла в мягких тапочках, что Ляля не слыхала ее шагов.

— Ляля! Немцы!

Девушка мгновенно села на постели:

— Где?

— На кухне... И в гостиной... Господи!.. Обыск...

Ляля торопливо вынула из-под подушки какую-то бумажку и ткнула ее тете Варе в руку. Тетя, словно ждала этого, молча сунула бумажку за чулок и огляпулась на закрытую дверь.

— Одевайся... Они сейчас войдут!.. Ляля, дитя мое!.. Они пришли за тобой!

Глазами, полными слез, тетя Варя смотрела на Лялю, словно извиняясь за горькое известие, с которым вошла. На ее осунувшемся лице доброй монахини было написано: «Уж лучше бы язык мой отсох, чтобы я не могла передать тебе, Ляля, такое страшное известие».

— Я одеваюсь...— девушка искала платье,— я сейчас... Пусть не входят, пусть...

Тетя Варя, сгорбившись чуть не до земли, с трудом пошла в переднюю.

Через несколько минут из спальни вышла Ляля, в платье, причесанная. Спокойное лицо ее еще горело нежным румянцем сна.

Три немецких солдата энергично делали обыск, торопливо и беспорядочно раскидывая вещи, будто воры в чужой квартире. Константин Григорьевич и жена смотрели на их работу почти безучастно, будто солдаты и в самом деле хозяйничали не в их, а в чужой квартире. Один из них открыл верхнюю крышку пианино и провел пальцами по натянутым струнам. Струны недовольно загудели. К подоконнику привалился красношеий толстяк в штатском, видимо, переводчик, и молча смотрел в сад. У книжного шкафа, широко расставив ноги, стоял худощавый офицер в форменной фуражке и, развернув одну из карт звездного неба, внимательно разглядывал ее. Ляля успела заметить, что это была карта южной части неба, не видимой в наших краях.

— Астроном? — спросил он Лялю, окинув ее мутным взглядом. Казалось, он спал с открытыми глазами.

— Астроном,— ответила Ляля.

Подошел переводчик. Офицер заговорил с ним по-немецки. Ляля почти все понимала.

— От этого и вся беда,— говорил офицер,— от этих звездных карт. Порядочные немецкие девушки готовятся стать прежде всего матерями, женами, призванными вырастить новое поколение солдат для нашего фюрера. А у них фрейлейны лезут в астрономию, в звезды, которые видны только за экватором. Зачем это женщине?

— Вот здесь и коренятся все преступления против рейха,— сказал переводчик тоже по-немецки. Ляля делала вид, что не понимает их.

И вновь почему-то припомнились слова Гете: «Богатство потерять — немного потерять. Честь потерять — потерять многое. Утратить мужество — утратить все! Тогда лучше было бы не родиться!» Известны ли эти строки офицеру и переводчику? Нет, наверное...

— Она у вас единственная? — обратился переводчик к Надежде Григорьевне, которая не сводила с Ляли горячих потемневших глаз.

— Единственная,— тихо ответила мать переводчику. Тот посмотрел на Константина Григорьевича.

— Единственная,— сказал и врач.

Тетя Варя выбежала вперед и с какой-то неумелой предупредительностью заглянула в глаза переводчику, словно хотела разжалобить его.

— Единственная,— сказала и тетя, хотя ее и не спрашивали.— Единственная...

Ляля чуть не застонала.

В комнате резко запахло эфиром. Один из немцев натолкнулся в шкафу на бутылку и откупорил ее, проверяя содержимое. Офицер, который до сих пор, казалось, спал с открытыми глазами, вдруг зашевелил ноздрями и бросился к шкафу.

«Эфироман»,— подумал Константин Григорьевич. Он предложил бутылку офицеру, и тот, спрятав ее в карман, шумно поблагодарил.

Обыск закончился.

Мать достала из гардероба демисезонное пальто Ляли.

— Доченька, накинь...

— Не нужно, ма,— спокойно посмотрела на нее дочь.— Я скоро вернусь. Это какое-то недоразумение.

Переводчик усмехнулся толстыми губами.

— Накинь, Ляля,— настаивала мать, подавая пальто. Ляля уступила.

— Не волнуйся, ма. — Она погладила мать по голове, словно маленькую.

Мать поцеловала ее долгим, соленым от слез поцелуем.

Из комнаты вышли все, не закрывая за собой дверь. Впереди шли солдаты, потом Ляля с отцом, потом офицер с переводчиком. За ними вышла мама и последней — тетя Варя. Выходя, она зацепилась за двери, как будто они были ей незнакомы. Комната осталась пустой, наполненной запахом эфира.

Ляля ступила на крыльцо и невольно задержалась. Несмотря на такую рань, было уже совсем тепло. Солнце только что взошло. Весь сад стоял перед девушкой словно покрытый легкой морской пеной. Будто всю ночь грохотала гроза, штормом бушевало море, а сейчас волны отхлынули и остались только бело-розовые, пронизанные солнцем шапки ароматной пены на яблоньках и грушах. Ляля искала глазами яблоньку, под которой лежал ее клад, но сейчас яблоньку трудно было отличить от других деревьев, она исчезла в сплошном цветении, в розовых дымчатых клубах, наполнивших утренний сад.

На веранде офицер закурил с переводчиком и велел идти..

— Не провожайте меня,— попросила Ляля родных.— Я скоро вернусь.

Она стала медленно спускаться по ступенькам.

Ступила раз и остановилась.

Ступила второй и ласково оглянулась на родных.

Ступила третий раз и глянула на сад.

С каждой ступенькой белый сад прыгал вверх, подрастал. Ноги, как намагниченные, прилипали к родному крыльцу.

Сделала еще шаг, и сад еще чуть-чуть поднялся над нею, и уже солнце закрылось прозрачными пенными шапками. Над землей дымились розовые клубы, сад стоял по пояс в этом ярком душистом дыму.

Еще ступенька...

Будто входила в новое бытие, в белые чистые владения вечности.

VIII

Когда через некоторое время Убийвовки всей семьей пришли к воротам тюрьмы, там уже стояла толпа. Было много знакомых. Разговорчивая, бойкая мать Бориса Сер-

ги. Отец Сапиги, насупленный, сердитый, с палкой. Ильевская...

Как стало известно, этой ночью проводились аресты в разных районах Полтавы. К одним подъезжали на машинах, других брали без шума, чтобы не вспугнуть ревом моторов.

— Плохо то,— говорил старый Сапига,— что брала не полиция, а полевая жандармерия. Значит, дело серьезное.

Власьевна рассказывала, как забрали ее Леню. Жандармы приехали на рассвете. Человек десять... Выставили посты под окнами и во дворе. Когда заходили к нему в комнату, то впереди толкали Власьевну, боясь, что Пузанов будет отстреливаться или набросится на них. Револьвер у него действительно нашли, но он почему-то не воспользовался им. Власьевна, заливаясь слезами, уверяла, что это Леня ее пожалел и из-за нее пошел в острог... Лучше б уж стрелял, зачем ей, старой и немощной, бродить по свету? А Леня, смотришь, и спасся бы!

— Теперь ко всем деткам пришли родные,— голосила Власьевна,— а к нему, горемычному, ни отец, ни мать не придут!

— Ой, не голосите, Власьевна, ради бога,— остановила ее Ильевская.— Его родители не пришли — не близкий путь из Сибири,— зато посмотрите, сколько к нему сбежалось полтавчан с передачами!

Действительно, Леопиду принесли передач больше всех, со всего квартала.

— Что же им давать? — зашла речь о взяточниках.— Кур не берут, гусей не берут....

— Болячку бы им, иродам.

— Только золото! Переводчик сказал: «Только золото».

Тюремный переводчик из фольксдойчей, который почему-то называл себя Иваном Ивановичем, был знаком с Константином Григорьевичем. Как-то зимой врачу довелось вылечить жену «Ивана Ивановича», сердечницу-истеричку. Теперь Константин Григорьевич решил этим воспользоваться. Через охранника он вызвал переводчика к воротам и, пообещав взятку, попросил рассказать о Ляле. Переводчик уверил, что ни ей, ни другим ничего особенного не угрожает. В худшем случае отправят в Германию с очередным эшелоном. Все якобы произошло из-за радиоприемника, обнаруженного где-то на Подоле у молодых людей. Лялю, очевидно, допросят и отпустят

домой, если попросить хорошенько. Кое-кого из радистов высекут, как сопляков. А кое-кто, как, например, Пузанов, наверное, загремит в рейх...

Таковы были первые сведения. Константин Григорьевич, конечно, рассказал про все родственникам арестованных, собравшимся здесь, и они сразу приободрились. Надежда Григорьевна посветлела, взяла мужа под руку и в изнеможении оперлась на его плечо. Почему-то при взгляде на нее ему живо припомнилась неяркая красота льна, освещенного тихими лучами предзакатного солнца.

Тетя Варя держала в зажатой ладони свои девичьи золотые серьги.

Неожиданно разговор оборвался. Со скрежетом открылись тюремные ворота. На улицу медленно выехал крытый грузовик и покатил по Фрунзенской к центру.

В машине, у заднего борта, сидели часовые с автоматами наготове, а в глубине было много молодых ребят.

Надежда Григорьевна сразу заметила Лялину золотую головку.

— Ляля!

— Мама! — ответила Ляля звонко, почти весело.— На допрос!..

— Сережа! — крикнула Ильевская, поднимаясь на цыпочках, вытягивая шею.— Сереженька!

Его, маленького, не было видно, и Ильевская не могла угадать, из-за чьей широкой спины раздался звонкий и бодрый голос сына:

— Я здесь, мама!

Валентин не выглянул, стыдясь родительских нежностей. Лохматый Ленька Пузанов в расстегнутой гимнастерке широко улыбался прохожим.

Машина набирала скорость, люди, толкаясь, побежали следом. Кто-то споткнулся, кто-то случайно перевернул бутылку с молоком, и оно, просачиваясь через самодельную пробку, крупными белыми каплями падало на мостовую.

— Не бегите,— задыхаясь, сдерживал женщин старый Сапига.— Раз на допрос — значит, на Комсомольскую.

Впереди всех бежали Сорока с женой.

Грузовик в самом деле свернул на Комсомольскую, где в помещении десятой школы, в которой учились Ляля и Сережка Ильевский, располагалась теперь полевая жандармерия.

У школы машина остановилась. Первыми на землю спрыгнули часовые, загрохотав коваными сапогами. Потом соскочил Леонид, за ним легко выпорхнула Ляля, держа пальто на руке, простоволосая, жизнерадостная. Выскакивали другие арестованные, подхватывая друг друга на лету.

— Сережа,—обратилась Ляля к Ильевскому с какой-то особенной сердечностью,— ты узнаешь нашу школу?

Сережка взглянул на двухэтажный дом, высоко обнесенный проволокой, и ничего не ответил.

Арестованных почему-то повели не через парадный вход, а через школьную сторожку, в которой Ляля за десять лет учебы не была ни разу. Поэтому ей вдруг показалось, что это вовсе не их школа. Однако, как только они прошли сторожку, Ляля сразу узнала длинный коридор. На одной из дверей еще висела давняя табличка: «VI «А». Ляля оглянулась на Ильевского, шагавшего за нею:

— Помнишь, Сережа?

Немец прикрикнул на нее. В глазах Сергея дрожали слезы.

Свернули по коридору направо. Двери всех классов были закрыты. VII класс, VIII класс, IX класс — словно во сне проносилось перед Лялиными глазами. При взгляде на эти таблички сердце ее рвалось из груди. Однако, шагая вслед за товарищами, она старалась казаться почти беззаботной. Приблизившись к одной из дверей, конвоир дернул ручку, словно хотел вырвать ее с косяком: заходи.

Это был кабинет биологии. Когда-то в торжественные дни здесь происходили общешкольные собрания, малыши и старшеклассники выступали с инсценировками, читали стихи. Теперь комната была пуста — ни столов, ни стульев, ни гербариев под стеклом. Лишь кое-где по голым стенам висели покрытые паутиной таблицы и пособия по ботанике. Хорошо знакомый Ляле леопард по-прежнему настороженно крался в нарисованных джунглях. Пузанов посмотрел на зверя, чему-то улыбнулся и завел во весь голос:

Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой!

Конвоир пригрозил певцу автоматом.

Вскоре появился переводчик, молодой, франтоватый, в синей шелковой рубашке с засученными до локтей

рукавами; он объявил всем арестованным, что, во-первых, ждать придется до тех пор, пока господин следователь не вызовет, и, во-вторых, не просто посиживать, а встать на колени в шахматном порядке и не сметь разговаривать друг с другом.

— Почему на колени? Я не буду стоять на коленях,— заявила Ляля переводчику и оглянулась на товарищей.

Все возмущенно зашумели. Борис взволнованно сыпал словами: то, что от них требуют молчания,— это еще понятно. Но встать на колени? Почему не просто сидеть, а именно стоять, да еще в такой унизительной позе?.. Наверняка их хотят заставить презирать друг друга, вызвать отвращение к своему бессилию.

Ляля не столько разумом, сколько интуицией поняла, что именно в этом смысл наказания, и молниеносно решила, что пусть ей хоть сию же минуту отрубят голову,— на колени она не встанет.

— Придется помочь! — с угрозой сказал переводчик.

— Не имеете права,— ответила Ляля, хотя хорошо знала, что ни о каких правах тут вообще и речи быть не может. — Это незаконно!

— Мы будем жаловаться! — крикнул Борис высоким голосом, задиристо глядя на переводчика.

А куда жаловаться — и сам не знал. Все стояли тесным кругом, исподлобья глядя на переводчика. Пузанов презрительно мерил его взглядом, держа кулаки наготове.

Переводчик немного подождал, потом круто повернулся и вышел.

— Фолькс,— процедил Сапига презрительно,— дойч.

Через минуту в зал четким шагом вошел офицер, совсем еще молодой, весь словно выутюженный, с блестящим пробором на лысеющей голове. Переводчик, щенком вбежавший за ним, ткнул пальцем в Лялю. Офицер молча посмотрел на девушку. Глаза у него были светлые, красивые, как два синих сорняка на обочине проезжей дороги. Ляля спокойно выдержала взгляд этих холодных глаз.

Прошла минута, другая... Что же будет?

Ничего не сказав, офицер направился к двери. Следом за ним выскочил в коридор и переводчик. А через несколько минут солдаты с грохотом втащили в зал несколько расшатанных, сломанных парт. Леня весело сел на переднюю. Ляля — рядом с ним.

— Будем изучать философию,— объявил Пузанов.— Время есть!

Конвоир, стоящий у двери, прикрикнул на него.

Ляля оглядела арестованных. Кроме своих, знакомых, здесь были какие-то убитые горем хлопцы, заплаканные деревенские девчата... Видно, немцам попалось немало таких, которые и слыхом не слыхивали о подпольной работе. По крайней мере, ни Ляля, ни ее товарищи никого из них не знали. И наоборот, многих активных участников подполья не видно было ни здесь, ни в тюрьме. Похоже, никого из заводской ячейки и подольской группы не арестовали. «Это значит,— подумала Ляля,— что они брали нас наобум, на всякий случай и ничего еще не знают наверняка». Ей стало легче.

Снова вошел франт переводчик и, рисуясь, остановился у порога.

— Елена Убийвовк!

Все посмотрели на Лялю. Она встала из-за парты, и глаза ее сразу потемнели.

— Иду.

IX

От следователя Ляля вернулась примерно через час. Не залитая кровью, не растрепанная, не в изорванной одежде. Однако товарищи, едва увидев ее на пороге, почувствовали, что случилось что-то непоправимо страшное. Глаза ее потухли, лицо стало серым, осунувшимся. И сама она ссутулилась, чего никогда не замечалось за ней раньше, и платье повисло так, словно она вдруг сразу похудела. В изнеможении Ляля опустилась на свою парту и, немного помолчав, шепнула Леониду:

— Королькова предала.

Ужасная новость переходила из уст в уста:

— Королькова предала!

Для Ляли это был самый тяжелый удар из всех, к каким она себя готовила. Вся чистая вера в людей, в их «божественные черты», как выразился однажды Борька Серга, должна была выдержать сейчас это испытание или рассыпаться в прах. Включаясь в подпольную работу, Ляля, как и каждый из ее товарищей, задумывалась над тем, что рано или поздно могут схватить, пытать, издеваться. Она представляла самые страшные истязания, однако у нее ни разу не возникло мысли, что немцы в силах сломить кого-либо из подпольщиков. Вообще

разве возможно сломить настоящего человека? Его можно только убить— сечь или задушить, и, по правде говоря, Ляля не очень и удивилась бы, если бы фашисты решили поступить с ней именно так.

Она знала, что такое фашисты. Но сломить!..

И тем разительнее для нее был этот удар.

Когда ее ввели к следователю, возле стола стояла Королькова.

Она сделала шаг навстречу Ляле, протянула распухшие, изуродованные руки.

— Ляля!

Лялю будто парализовало.

Неужели это Галка? Неужели это ее руки?

— Ляля!..

Ляле хотелось закричать от страха и кинуться вон из комнаты. Галка...

Собственно, это были только остатки того, что когда-то называлось Галкой Корольковой. Даже зимой, когда ее вывозили из кригслазарета, она не выглядела такой страшной, как сейчас — после пыток. Стояла какая-то перемолотая, истолченная, будто ее затянуло в трансмиссию, долго вертело и било и только сейчас выбросило сюда, к столу. Запухшие глаза едва виднелись сквозь щели, лицо — в багрово-синих кровоподтеках, вместо рук с распухшими, неестественно толстыми пальцами — сплошные раны. Если бы не эта прическа с локонами и не эта пышная грудь, Ляля, возможно, совсем не узнала бы Королькову, смотревшую прямо на нее.

— Ляля,— прошепелявила еще раз Королькова беззубым ртом и бессильно заплакала.

Ляля дрожала, собираясь с силами.

За столом, что-то записывая, сидел тот молодой офицер, который приходил усмирять бунт и велел внести парты. Рядом стоял переводчик, положив руку на стол, и злорадно улыбался. На всех его пальцах, кроме большого, посверкивали кольца. Даже на мизинце был перстень. У окна стоял другой офицер с зеленоватым лицом, в большой фуражке, казавшейся надутой. Офицер все время гримасничал, словно у него были непрерывные рези в животе.

Переводчик, обращаясь к Корольковой, показал на Лялю:

— Это она посылала тебя через фронт?

Королькова обливалась слезами:

— Ляля... Не проклинай меня... Что со мной сделали, Ляля... Я все рассказала...

Переводчик приблизился к Корольковой, и она инстинктивно подняла распухшие ладони, будто защищаясь от удара. Переводчик заложил руки за спину:

— Повторяю: это она посылала тебя к Советам?

Королькова жалко съежилась.

— Я сама пошла.

— Кто организовал радио? — неожиданно гаркнул стоящий у окна немец, не прибегая к услугам переводчика.— Радио?

Королькова посмотрела на офицера с животным ужасом:

— Она...

— Кто писал прокламации?—спокойно спросил через переводчика немец, сидевший за столом.

— Она...

Когда это было сказано, Ляля внезапно почувствовала себя тверже. Им все известно, но и ей сейчас многое стало понятно. Все версии, догадки, сомнения исчезли сразу, остался один вывод, молниеносный и точный. Она смотрела на Королькову молча, с равнодушием превосходства. Не возмущение, не гнев, а глубокое презрение к Корольковой ощутила Ляля в этот момент очной ставки. Не ненависть, а скорее отвращение вызвала в ней Королькова. «Жалкая! —подумала Ляля, постепенно бледнея и словно бы костенея вся.— Мерзавка!»

— Кто устроил тебе побег из лазарета?— перевел фольксдойч.

Королькова вся затряслась, будучи не в силах сдержать рыдания. Наверное, она вспомнила, как зимой товарищи спасли ее из мертвых.

— Ляля... Ляля!.. Я ничего не хотела... Я ничего не хочу!.. Я хочу одного — умереть, умереть!.. Умереть вместе с вами...

Ляля прищурила глаза.

— Вместе с нами? — спросила она почти саркастически.— Ты этого недостойна.

Офицер впился в Лялю глазами. Королькова так и застыла с раскрытым ртом. В кровавых деснах не было ни одного зуба.

Королькову немцы захватили случайно. Избегнув не одну опасность, ловко пробираясь между постами и патрулями в прифронтовых селах, она действительно сумела

подойти к самой линии фронта. И лишь в последний момент, уже при переходе прифронтовой полосы, на нее наткнулась немецкая разведка и схватила как шпионку. В тот момент, когда Королькову вели в штаб, она еще успела выбросить письмо. Но один из немцев заметил его и подобрал. Это было начало провала. Остальное из нее выбили немцы в полевой жандармерии в Мерефе, где ее пытали двое суток подряд. Тут-то она и назвала известные ей фамилии, и предательницу срочно отправили в Полтаву по этапу.

После очной ставки Лялю больше ни о чем не спрашивали и сразу увели.

«Что ее заставило заговорить?» — с болью в сердце думала Ляля. Сознательно выдать организацию Королькова, бесспорно, не хотела. В этом отношении у Ляли не было никаких сомнений. Так что же тогда? Неужели только физические муки? Действительно, то, что с нею сделали, ужасно. Возможно, и ее, Лялю, ждет нечто подобное... Но разве боль невозможно преодолеть? Неужели в человеке нет ничего более высокого и сильного, что могло бы сдержать крик измученной плоти? Может быть, Королькова надеялась спасти свою жизнь? Но она не настолько наивна, чтобы так обманываться. Она должна была знать, что малодушие никогда никого не спасало. Жандармы выжмут ее до конца, будто лимон, и потом выбросят прочь. Даже сейчас они, кажется, смотрят на нее с презрением. Ляля вспомнила, как Галка сказала тогда на дороге: «Боязно! Прошла без тебя семь шагов — и стало боязно!..» Возможно, если бы с Корольковой всегда шел кто-то сильнее ее и постоянно был ей примером, возможно, этого бы и не случилось... Возможно, тогда бы она и до самой смерти — при любых пытках — сумела держаться как следует...

«Ну что же,— вздохнула Ляля,— что случилось, то случилось. Но как быть дальше?»

Теперь ей стало ясно, что и о ней жандармам известно вполне достаточно, чтобы вынести приговор, и у Ляли хватило мужества смотреть на вещи трезво. Вместе с тем Ляля убедилась также, что жандармы знают лишь то, что сказала им Королькова. А ей было известно далеко не все. Она, например, ничего не знала о связи организации с партизанами и другими подпольными группами в Полтаве. Значит, жандармы лишь догадываются о подлинном размахе работы, поэтому они и нахватали вместе с участ-

ликами подполья столько случайных людей. «Спасать всех, кого еще можно спасти,— подумала Ляля.— Сохранить жизнь тем, кто еще на свободе, и они продолжат дело».

— Выгораживать! — шепнула Ляля Пузанову. Пузанов передал товарищам:

— Выгораживать кого только можно!

Вошел переводчик и объявил с порога:

— Сергей Сапига!

Сапига поднялся, темнея:

— Есть.

X

Началась смертельная борьба. Ее напряжение напоминало рукопашную схватку. Утром все чувствовали себя как перед боем. Вечером уставали, как бойцы, которые выдержали на протяжении дня несколько вражеских атак.

В восемь часов утра арестованных везли из тюрьмы в школу. Допрос в школе продолжался до пяти вечера. После этого их опять везли в тюрьму и размещали на ночь в камерах. Родные, выстаивая целыми днями на улице, с первого взгляда узнавали черный фургон, в котором перевозили их сыновей и дочерей. У заднего борта все в той же заученной позе сидели вооруженные мрачные конвоиры.

С каждым разом в грузовике оставалось все меньше и меньше людей. Из всей массы арестованных часть была сразу признана не имеющей непосредственного отношения к делу и переведена в концентрационный лагерь.

Кое-кого совсем отпустили, а некоторых — из самых младших — передали на биржу для отправки в Германию.

Наконец их осталось шестеро. Они очень скоро привыкли к распорядку дня, который выполнялся с неуклонной немецкой методичностью.

Подкупленный родителями тюремный переводчик «Иван Иванович» устроил так, что машина утром и вечером останавливалась на несколько минут у тюремных ворот. В это время арестованным можно было передать продукты, белье. Убийвовки принесли своей дочери даже пододеяльник и наволочки, однако Ляля взяла себе лишь несколько простыней и маленькую подушечку с вышитым

цветком. На этой подушечке она любила в детстве баюкать куклу.

Эти рейсы из тюрьмы в школу и обратно были единственными светлыми минутами в жизни арестованных. Благодаря попустительству часовых, которые совершенно не обращали на них внимания, узники имели возможность разговаривать и советоваться более открыто, чем в школе, в кабинете биологии. Эти рейсы превращались в своеобразные боевые летучки, где подводились итоги дня и намечалась тактика для предстоящей встречи со следователем, выявлялись рифы и опасности. На одном из таких совещаний Ляля высказала мысль, что нужно спасти кого-нибудь из шести. Товарищи молча переглянулись между собой, каждый, возможно, подумал о себе, но взгляды всех почему-то в конце концов остановились на Ильевском. Идея, очевидно, всем понравилась, однако обсуждать ее пока что не стали.

В первые дни на допросах почти не били. А теперь все чаще конвоиры приводили от следователя под руки то одного, то другого и бросали через порог измятого, измученного, как будто побывавшего под колесами машины. Вальку били по голове обломками изуродованного радиоприемника, и его курчавый чуб свалялся в кровавую корку.

Сегодня втолкнули в биокабинет истерзанного Сапигу. Он, как старик, доплелся до своей парты, сел, свесил на грудь голову и злобно, по-солдатски, выругался, не стыдясь девушки.

— О чем спрашивали?

— Требовали назвать соучастников.

— Опять?

Потом приволокли Бориса в разорванных штанах, и Валентин, у которого было две пары брюк, стянул одну. Общими усилиями натянули на Борьку. Для него они оказались слишком широки. Борис глянул затекшими щелочками глаз и горько пошутил:

— Широки, как Черное море...

Все засмеялись.

— Что от тебя хотели?

— То же самое: назвать соучастников.

Его не спрашивали, как он пытался выкрутиться. О том, что говорили товарищи на допросах, не допытывались. Об этом узнавали по глазам. Когда кто-нибудь из них, возвращаясь от следователя, появлялся на пороге,

пять пар глаз задавали один и тот же вопрос, и глаза отвечали каждый раз одно и то же.

Сережа Ильевский сидел на задней парте, задумчиво бренча петлей оторванной крышки. На белом лбу двигались тонкие стрелки бровей. По этим тонким стрелкам можно было безошибочно угадать, когда Сережка особенно сосредоточен, а иногда — и о чем именно он думает. Ему никак не удавалось скрыть свои мысли.

Сережку, как обычно, вызвали последним. Когда переводчик входил с издевательской улыбкой на лице, все знали, что он пришел за Ильевским.

— Поэт! — выкрикивал переводчик.

Сережка вначале не отзывался, но товарищи убедили его, что тут нечего стыдиться, даже наоборот. Теперь Ильевский на выкрик «поэт!» отвечал:

— Я.

Сегодня перед тем, как идти на допрос, он попрощался за руку с товарищами. В последнее время так поступали все, ибо не знали, вернутся ли с допроса живыми. Только Валентин не прощался, делал вид, что ему все нипочем, краснея и уверяя товарищей, что он живучий и от побоев не умрет.

Когда Сережку выводили, все провожали взглядом его худощавую спину в ситцевой старенькой рубашке, заправленной в брюки, его тонкую шею с глубокой ямкой посередине.

Ильевского товарищи особенно любили, относясь к нему с шутливой нежностью, как к младшему брату. Время, которое они просидели под арестом, еще более укрепило их чувства. Какой-то необычайно родной стала для товарищей его детская картавость, задумчивые, словно удивленные глаза, и даже стихи Сережи, не менее детские и наивные, казались теперь шедеврами настоящей поэзии. Между собой друзья держались с подчеркнутой грубоватостью взрослых, но Сережку каждому из них хотелось приласкать, как маленького, положить руку ему на плечо или погладить его непокорный, давно не стриженный чубчик.

Особенно радовались тому, что не ошиблись в Сережке. Здесь, в неволе, они до конца поняли, какой сильный дух жил в его хрупком теле. Сережка словно возмужал и даже окреп физически. Взгляд его черных глаз сверкал дерзким вызовом. В движениях исчезла суетливость, он ходил неторопливо, по-матросски, вразвалочку.

И сейчас, когда Ильевского увели на допрос, товарищи сразу заговорили о нем. Спасти! Спасти во что бы то ни стало!

Флегматик часовой сидел у порога, налаживая свою зажигалку и прислушиваясь к шагам в коридоре. Начальников своих он узнавал по походке и, заслышав их шаги, тут же спохватывался, но, когда проходили другие, даже ухом не вел и арестованными не интересовался.

— Мне кажется, его можно выгородить,— говорила Ляля, кивнув вслед Сереже.— Он самый молодой, и на вид... совсем не похож на подпольщика...

Эта мысль понравилась всем.

— Ему известны все связи,— с трудом произнес Сапига: у него были рассечены губы.— Он свяжется с лесом...

— А потом,— тихо добавил Валентин,— он знает, где закопаны протоколы... Когда вернутся наши, он за всех отчитается.

Сережка в самом деле был чем-то вроде летописца подпольной организации. Всю несложную ее документацию вел и хранил именно он.

— Хоть одного сберечь,— сжимал до хруста пальцы Боря Серга, будто речь шла лично о нем.— Хоть одного!..

— Будем выгораживать во всем,— убежденно шептала Ляля.— Брать на себя все, что только возможно!..

— Шкет, мол,— улыбнулся распухший от побоев Ленька.— Ничего не делал и не мог делать... Не получил ни одного серьезного поручения.

— Но ведь Королькова рассказала немцам о его стихах?— спохватился Борис.

— Пустая забава,— отмахнулся Ленька.— Главное, что мы ни в чем не могли бы довериться такому шкету.

Спасти, спасти!.. Как сразу стало легко на душе! Как будто, спасая товарища, каждый из них в какой-то мере обретал желанную свободу и оставался в живых. Вся сила их сердец была сейчас безраздельно отдана Сережке.

А его втолкнули через порог избитого, окровавленного. Ленька вскочил и помог ему добраться до парты. Ляля подала ему платок.

— Вытрись, Сережа...

Парень неторопливо вытирал кровь с лица, а в глазах у него прыгали дерзкие неугомонные чертики. Их не было, когда он шел на допрос.

— Что с тобой, Сережка?

— Декламировал...

— Как декламировал?

— Очень просто... Они заладили: декламируй и декламируй, что ты о нас писал... Ну, тут я и дал им!

— Сережа!..

— Смотрю прямо на них и бросаю им в лицо:

Как же судить меня может
Этот фашистский сброд?
Гордо был век мною прожит,
Я не служил у господ!
За марки я не продался,
Под силой шею не гнул...

Часовой-конвоир гаркнул: «Замолчать!»

— Вот здорово! — шепотом воскликнул Серга.

— Можно было бы и без этого,— мрачно заметил Сапига, думая, что Ильевский сам себе навредил.

— И что же они? — смеялся Пузанов.

— Они бьют, а я читаю, они топчут, а я читаю... «Фанатик! — кричат.— У него большевизм в крови!»

Сережка с гордостью окинул взглядом товарищей. Все они были чем-то омрачены. Переглядывались за его спиной.

— Чего вы перемигиваетесь? — рассердился парень.— Когда я рад, вы всегда перемигиваетесь!..

По коридору застучали сапоги, часовой вскочил на ноги, крикнул на арестованных и спрятал в карман зажженную сигарету. Сапоги простучали мимо. Солдат все еще стоял, будто деревянный, а в кармане у него словно дымился фитиль. Казалось, он вот-вот должен взорваться и улетучиться.

Все предполагали, что на сегодня хватит, что их вскоре повезут на ночь в тюрьму, как вдруг вошел растерянный переводчик и опять, второй раз за день, позвал Убийвовк на допрос.

Ляля попрощалась с товарищами, поправила прическу и пошла. А через полчаса в комнате следователя прозвучал пистолетный выстрел. У товарищей перехватило дыхание.

— Стреляют...

Выстрелы глухо звучали один за другим с одинаковыми паузами. Конвоир насторожился.

— Товарищи... Расстреливают! — шептал Серга одними губами.

Прислушивались, окаменев. Они уже не надеялись увидеть Лялю.

Однако она вернулась. Вернулась белая как степа, с помутневшими глазами. Но не избитая, не искалеченная. Даже прическа лежала таким же аккуратным венчиком, как и тогда, до вызова.

— В чем дело, Ляля? Что за выстрелы?

Ляля в изнеможении села за парту и некоторое время не могла вымолвить и слова.

— Допрашивал какой-то новый... Фу, мерзость... Поставили к стенке — думала, все... Стали стрелять вокруг головы...

— Гады! — воскликнул Серга с ненавистью.

— А я молчу. У самого плеча — молчу, ниже — молчу... Всю обстрелял, до самых ног, вышла, как из рамы... Оглянулась — и свой силуэт узнала на стене.

Ее глаза потускнели, словно туманом их застлало.

— Мы думали, что тебя убили! — воскликнул Серга.— Вот паникеры!

Девушка вяло улыбнулась.

— Пусть... хоть силуэт оставила на стене... Родной школе на память.

На следующий день Ильевского допрашивали последним. С допроса он возвратился крайне возмущенным. Его детские губы мелко дрожали. Не обращая внимания на часового, который смотрел от двери на арестованных будто в пустоту, Ильевский набросился на товарищей.

— Вы зачем меня грязью обливаете? — сердито закричал он.

Товарищи удивленно переглянулись, словно ничего не понимая.

— В чем дело, Сережа?

— Я вас спрашиваю, зачем вы грязь на меня льете? — Сережка чуть не плакал от возмущения.— Мне все известно!.. Мне следователь показал ваши пасквили!.. Чем я провинился?.. Я делал все, что мог!..

Ляле стало нестерпимо жаль Сережку. Он стоял перед ними худощавый, возмущенный, страшно обиженный. Судорожно стискивал тонкими пальцами ремешок на глубоко запавшем животе.

— Сережа, сядь,— тихо попросила Ляля.— Так нужно, Сережа.

— Зачем мне это нужно? Зачем? У меня тоже мама, сестра.— Голос Сережки дрогнул.— Я не хочу, чтобы они... Чтобы когда наши придут...

— Сереженька, нужно... Нужно, чтобы ты остался... хоть один...

— Почему я? — вскипел парень.

— Не кричи.

— Почему именно я? Почему не ты? Почему не Ленька? Почему не Борис? Почему не другой?

— Про них не поверят.

— Не поверят? А про меня поверят? На Ильевского лей, что хочешь, и все поверят!..

— Я не то хотела сказать...

— Замолчи! После этого... После этого ты мне не друг!

Ильевский отвернулся к степе, чтобы скрыть от товарищей слезы.

— Сережа... Мальчик ты наш...

— Не хочу с тобой разговаривать. Не обращайся ко мне!

— Мы не из жалости, тезка,— сказал Сапига, сочувственно глядя на понурившегося Ильевского.— Это нужно, и мы все вместе решили...

— А что обо мне подумают? — накинулся на него Сережка.

— Кто?

— Как кто? Наши!

Сапига не знал, что ответить.

— Сядь, Сережка,— сказал Пузанов, беря Ильевского за руку.— Успокойся, дружище.

Сережка сел.

— Мы не тебя одного,— утешала Ляля.— В последний момент, когда все уже будет окончательно видно, мы... все, возможно, набросимся на них... Задержим на какой-то миг, а тем временем, у кого сил побольше, будет бежать... Может, Ленька...

— Сравнила! — сердито поднял голову Ильевский.— Значит, тогда — кто покрепче, а сейчас — кто послабее? Так получается? А может быть, я тоже... покрепче?!

Все невольно улыбнулись. Сережка сердито засопел. Потом и сам вдруг просиял, улыбнулся.

— Все равно они вам не поверят, — убежденно заверил он. — Капитан сказал, что большевизм у меня в крови!..

XI

На ночь арестованных отвозили в тюрьму и разводили по камерам. В мужских камерах было полно узников, попавших в руки немцев по разным подозрениям. Борис попросился в одну камеру с Валентином, но лишь заработал подзатыльник. Их посадили отдельно, с незнакомыми людьми. Разлучили всех.

Ляля сидела в одиночной камере, не догадываясь, что это устроено по протекции подкупленного «Ивана Ивановича». Когда она впервые вошла в эту клетку с зарешеченным окном, на нее дохнуло смрадом и гнилью погреба. Ей показалось, что она не выживет до утра, задохнется от недостатка воздуха. Однако постепенно привыкла, приспособилась, посмотрела на свое жилье глазом аккуратной хозяйки.

Вытерла тряпочкой влажные, покрытые зеленоватой плесенью стены, сняла паутину под потолком. Потом добилась, чтобы ей дали ведро воды и тряпку. Засучив рукава, подобрав платье, Ляля энергично принялась мыть пол. Работала до сумерек. Утром, пользуясь свободным временем перед казенным завтраком, встала на спинку кровати, дотянулась до окна и носовым платочком начала протирать стекла. Часовой со двора без предупреждения выстрелил в стену у самого окна. От неожиданности Ляля чуть не упала. Через некоторое время, осторожно следя за часовым, она торопливо протерла еще одно стекло. Так, наконец, она протерла все окно, теперь в камере стало гораздо светлее.

Когда ей передали из дому постель и флакончик с духами, Ляля освежила затхлый воздух камеры и застелила матрац чистой простыней. После этого камера стала несколько уютнее. Ляля оглядела свое тесное жилье, вычищенное и прибранное, и осталась довольна своей работой. Наконец — в чистом.

Она органически не терпела никакой грязи.

Однажды вечером в тюрьму привезли новую партию арестованных и стали размещать по камерам. К Ляле втолкнули одну из жертв. В сумерках трудно было рассмотреть лицо, и Ляля увидела у порога только закутанную голову и коротенькую юбчонку.

— Как тут у вас хорошо,— сказала новенькая, когда часовой запер за нею дверь.— Как славно пахнет! Сиренью! — И приблизилась к Ляле.— Здравствуйте!

Ляля была поражена: такой знакомый голос! Где она его слышала? Приглядевшись поближе, она оторопела от радостного удивления: перед нею стояла босая, раскрасневшаяся Веснянка.

— Откуда ты? Как попала?

Девушка пристально посмотрела на Лялю.

— А-а, это вы? Вы тоже тут?

Ляля засмеялась.

— Почему тоже?

— Да просто так.

Девушка по-хозяйски осмотрела камеру, подошла к кровати, застеленной белой простыней.

— Это вы тут спите? — с уважением спросила она Лялю. — Культурно... А где же мне приткнуться?

Она огляделась по сторонам.

— Уляжемся вдвоем,— сказала Ляля.— Кстати, давайте познакомимся.— Она подала руку.— Ляля...

— Ляля? Как чудно! Будто ребенка...

— А тебя как?

— Угадайте.

— Знаешь, как я тебя мысленно называла?

— А как?

— Веснянкой.

— Ой, как здорово! Так и зовите!

В коридоре ударили в рельс.

— Что это? — удивилась Веснянка.

— Сигнал к снам праведным.

— А мне не хочется!

— Хочешь не хочешь — ложись. Обязательно.

— Антихристы! — воскликнула Веснянка, снимая платок и раздеваясь, словно она была дома.

Ляля тоже разделась.

— Вы не бойтесь, я чистая,— предупредила девушка Лялю.— У меня ничего такого нету.

Ляля улыбнулась:

— Ну и хорошо.

Дежурный загляпул в «волчок», проверяя, все ли улеглись.

Девчата устроились на жестком матраце, накрылись простыней. Маленькой Лялиной подушки не хватало на двоих, и головы лежали вплотную, одна к другой.

— Это у вас одеколон или духи пахнут? — спросила девочка.

— Духи.— Ляля достала из-под подушки флакон и, открыв, протянула Веснянке.— Правда, замечательно пахнет?

— Ага... Ночной фиалкой... или сиренью...

— Это особенный запах,— сказала Ляля таинственно.

— Где вы их взяли?

— Передача из дома. Мама и тут меня балует.

Ляля, понюхав, плотно закрыла флакон, положила его под голову и легла.

Сверху, сквозь решетку, в камеру глядели высокие звезды.

— Гляньте, Ляля, стекла в окне вроде бы синие?

Ляля вздохнула:

— Это, Веснянка, синяя ночь плывет мимо нас...

— Ой, какая ночь...

Лежали ровно дыша.

— Так за что ты попала, Веснянка?

— За то, что и остальные. Все собралось разом: и то, что от Германии убегала, и то, что куры плохо несутся! Кладовщик наш набрехал в конторе, что я, мол, яички краду, а ему не сдаю. До войны, говорит, куры неслись с утра до вечера, а теперь им как позашивало!

— Саботаж?

— Да выходит так... А почему о себе молчите? Мне тоже хочется знать, за что вы здесь.

— И мы, как и все,— сказала Ляля.— За все разом: и радио слушали, и листовки писали, и... многое другое...

Удивленная Веснянка приподнялась на локте:

— Так вот вы какие? Может, это я ваши листовки читала?

И, близко наклонившись к Ляле, прикоснулась к ее плечу. Ляля стиснула зубы.

— Больно!

— Что это? — ужаснулась девочка.— Вас били?

— Тут всякое бывает, Веснянка.— Ляля вздохнула и умолкла.

— Так вот вы какие,— медленно повторила девушка.— И много ж вас тут?

— О, Веснянка, нас тут целый полк!..

— Полк! — восторженно прошептала девушка, как будто обращаясь к самой себе.— Танковый полк...

— Какой танковый? — удивилась Ляля.

— А тот, что под Полтавой погиб в прошлом году... Это я о нем вспомнила...

— Откуда ты знаешь об этом?

— Слышала... У нас все слышно...

— Постой, ты из какого совхоза? Случайно не из «Жовтня»?

Девушка помолчала, кажется, улыбнулась в темноте.

— Из «Жовтня».

— Ты Любу Ильевскую там знаешь?

— Любку еще б не знать!.. Мы с нею дружим. Сейчас она пошла в Полтаву, потому что брата у нее забрали.

— Тогда мне все про тебя известно!

— Что известно?

— Это ты хранишь знамя?

— О! А вы откуда знаете?

— От Сережки.

— Ой, Сережка! А где он сейчас?

— Он с нами.

— Тут?

— Тут...

Девчата помолчали.

— А он хороший, Сережа. Не правда ли? — немного погодя как-то с опаской спросила Веснянка.

— Хороший.

— Вы его... любите?

— Люблю.

Веснянка мигом привстала на постели.

— Любите?

— Да чего ты, Веснянка? Ты, наверное, тоже... любишь? Ты, может быть, влюблена?

— Не знаю,— шепотом ответила девушка.

— Так вот в чем дело! — улыбнулась Ляля.— Не бойся. У меня есть... мой. Другой.

— Где?

— Там... воюет...

Веснянка опять легла и успокоилась. Ляля обняла ее горячее, словно налитое тело, гибкие, сильные мышцы ощущались сквозь полотняную жесткую сорочку.

— Ой, жарко! — засмеялась Веснянка.

— А я бы и замуж пошла, — помолчав, вдруг совершенно серьезно сказала Веснянка.— Только б наши вернулись да жизнь наладилась. А я бы пошла. Чего тянуть...

Ляля беззвучно смеялась.

— Что ж тут смешного, Ляля? Некоторые мои ровесницы уже повыходили... Семейных пока не берут в

Германию, так они и давай все жениться. Ой, сколько девчат и хлопцев жизнь себе испортили! Или нелюбимую берет, или за нелюбимого идет, за первого встречного... Не поверите, пятнадцатилетние — и те женятся. Бывает, что вместе зарегистрируются в управе, лишь бы староста ихний знал, а вместе и не живут. И смех и грех!.. Я так не согласна.

— А за кого бы ты пошла, Веснянка?

— У меня есть, есть, Ляля! Такой... хороший хлопец. Только вы его не знаете!.. Я и сама тоже как-то... вроде бы не знаю.

— Как же это так?

— А так, вроде вижу и не вижу, снится не снится, чудится не чудится... Вот словно бы иду полем, а вокруг жито, как море, и совхоз наш белеет черепицей, и солнце с неба припекает. И вдруг слышу, зашумело что-то, словно крылья, глядь — орлиные, а это он откуда-то выплывает, летит ко мне... Лето, а он почему-то на лыжах летит, а лыжи на солнце сверкают, как золотые; и палки у него в руках тоже золотые, и машет он ими, как крыльями! Останавливается против меня, смотрит, а потом пальцем меня по носу — щелк! «Ишь, говорит, нос как облупился на солнце!..» А я в жито бегу, бегу, колосья шумят за мной, а я думаю: это он гонится, летит, подлетает... Дух у меня перехватывает, бегу дальше, падаю и лежу, не шевелясь... И уже стихло все и никто не гонится... Все в сладком мареве, жито млеет, земля пышет теплом, а я лежу и зубы стискиваю, чтоб не разреветься. И сама не знаю, почему мне хочется плакать...

— Это тебе снилось, Веснянка?

— Нет, это не снилось, это я так... не знаю.

Девушки лежали на спине, глядя на высокие звезды, мерцавшие за окном.

— Почему это так,— начала после паузы Веснянка напевным голосом, — что, когда смотришь на звезды, они начинают как будто притягивать к себе, и ты растворяешься в этом мерцании? Почему это?

— Это только кажется...

— Вы учили про звезды?.. Чего вы молчите?

— Я только ими и занималась, Веснянка! — ответила Ляля с горькой печалью. — Только ими — звездами и их жизнью.

— Разве они живут?

— Живут, живут, Веснянка... Даже если какая-нибудь угаснет, то все равно живет еще много-много лет... И светит нам...

— Как же это?

— А так...— Ляля умолкла. Через некоторое время она повернулась на бок, лицом к девушке. — Ты не сердись, Веснянка, что я к тебе пристаю... Но все-таки скажи — где же ты прячешь знамя? И что с ним будет — ведь оно там, а ты здесь? Кроме тебя никто не знает о нем?

— Знают,— уверенно ответила Веснянка.— Я только сначала никому не говорила, на одну себя надеялась... То в земле, то в кожухе хранила... А когда пытались в Германию отправить, трижды убегала из-под автоматов и тогда открылась... Самым надежным. Теперь оно у всех совхозных девчат под охраной.

— Мы хотели его поднять над Полтавой,— призналась Ляля.— На самом высоком доме или на самом высоком дереве в Корпусном саду.

— Вот здорово! — восторженно воскликнула Веснянка. — А убежим! Только бы в эшелон попасть, а там я знаю, что надо делать... Наши хлопцы рассказывали: надо разобрать пол в вагоне! Клянусь, удерем!

— Удерем,— взволнованно ответила Ляля.

— И Сережка с нами?

— И Сережка...

— Тс-с! — Девушка вдруг насторожилась, привстала и подняла обнаженную руку.— Вы слышите?

— Что такое? — Ляля тоже села и прислушалась.

Веснянка вдруг соскочила на пол и приникнула к полу.

— Идите сюда!..

Ляля, как и она, опустилась на пол и прижала ухо к влажной доске.

— Слышите?

Пол еле уловимо дрожал и гудел, словно глухая басовая струна. Верное, гудело где-то под ним, в недостижимой глубине. Будто скрытое море глухо волновалось и бурлило в недрах земли.

Ляля мгновенно вскочила на ноги и кинулась к стене. В соседней камере сидел Леня Пузанов. Она начала быстро и нервно выстукивать:

— Гудит, гудит. Слушай, гудит...

Веснянка смотрела на Лялю ошеломленно, не понимая, что она делает.

Вдруг противоположная стена отозвалась таким же лихорадочным стуком.

Стучал Ильевский. Зимой на подпольных занятиях он так и не овладел как следует техникой тюремного перестукивания. Поэтому его трудно было теперь понять. Он очень переживал из-за этого, а товарищи, которые иногда с ним перестукивались, чувствовали себя так, будто разговаривают с заикой.

Сейчас Сережка стучал особенно беспорядочно, и у него выходило только какое-то: «ма... ма... ма...»

— Кто это стучит? — спросила Веснянка у Ляли, перебежавшей уже к Сережкиной стене.

— Ильевский.

— Сережка?

Ляля кивнула.

Веснянка изо всех сил забарабанила кулаками в стену, прижалась к ней головой.

Часовой стукнул прикладом в дверь, выругался.

— Сережка! — прижавшись лбом к стене, горячо шептала девушка. — Это я, Марийка, это я!..

— Он тебя слышит,— утешала Ляля Веснянку, беря ее за руку и мягко отстраняя от стены. — Слышит, слышит...

Девушки стояли, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. В длинных сорочках они были похожи сейчас на двух разведчиков в маскхалатах, притаившихся в темноте.

Звезды светлели в высоком небе за решеткой. Густая синева стекол становилась прозрачной. Наступало утро.

А внизу, в глубине, что-то гудело и гудело.

XII

Если бы в эту ночь Ляля могла не только слышать гул, прокатившийся под Полтавой, но и видеть источник этого гула, то увидела бы...

Где-то в России, западнее Нового Оскола, стоят среди ночи стрелковые батальоны, слушая боевой приказ. На темной опушке леса, возле безмолвных тяжелых танков, выстроились молчаливые танковые экипажи. Они тоже слушают боевой приказ.

В лесной тишине послышалось шипение ракет.

В наступление!

Синеет утреннее небо, чистое, как первый рассвет на земле. Лес шумит листвой необычайной красоты и яркости, как первая зелень на земле! Просыпаются птицы, поет весенняя кукушка, и ее звонкий голос слышен на весь мир.

В наступление!

Ударит артиллерия, поднимутся самолеты, пойдет кругом вся земля, с небом и голосистыми кукушками, станет сплошным удушливым смерчем, все утонет в грохоте и клубящемся дыме. Завтра Совинформбюро сообщит о весеннем наступлении Красной Армии, в сводках появится новое — Харьковское направление, и весть о нем молнией облетит мир.

Прозвучит команда, и танковые экипажи привычно сядут в машины, и одну из них поведет Марко Загорный. Ворвется ли он в Большую Михайловку, или Маслову Пристань, или Корчу, или Белгород — все равно! Он придет туда, где ждут стонущие в неволе сестры, братья, матери... «Довольно страданий, родная, довольно!..»

Машины выйдут на исходные рубежи. Каждый вспомнит самое дорогое, Марко вспомнит Полтаву, плывущую где-то белой яхтой в зеленом море садов, вспомнит светловолосую девушку, и механик-водитель нажмет на стартер.

Взревут моторы, грозные машины двинутся в майский рассвет, облепленные молчаливыми пехотинцами. Глаза их устремлены вперед, затворы спущены с предохранителей, пластмассовые медальоны бессмертия — в карманах.

Стрелковые батальоны второго эшелона, ожидая своей очереди, будут лежать на лесистой опушке, провожая глазами машины с десантниками.

Неумолчный грохот разбудит горы и долины, чистый горизонт затянется дымом, танки рванутся от леса зеленой низиной.

Населенный пункт, таинственный и настороженный, совсем близкий и бесконечно далекий! Не знаем твоего имени, но ты родной до глубины души, потому что хатки, которые смотрят на нас, возводились нашими отцами и белились нашими матерями!..

Все ближе выплывает из рассветной мглы безымянный населенный пункт, «юнкерсы» разрывают небо, свистят

косые бомбы, низвергаясь на зеленый луг, бьют из населенного пункта пушки и тяжелые минометы — навстречу!

Исчезает зеленая низина, проваливается в клубящемся дыму, немецкие артиллеристы беснуются, потому что из-за дыма им не видны советские танки, самолеты засыпают балку бомбами. Горький дым, волны ядовитых газов, как в отравленном море.

— Не видать, — скажет сквозь зубы один из тех, кто окопался на опушке, ожидая команды.

— Вот они! — скажет другой, более зоркий, разглядев в глубоком дыму первый танк, а за ним и другой, третий, — танки сражаются в долине на самых тяжелых участках, мины взрываются на броне, оставляя пятна копоти там, где сидели десантники.

Тем временем новая группа танков с грохотом вырывается из лесу, вновь набирает десанты и мчится в дымную вьюгу, что ревет-бушует над лугом, когда-то зеленым и ровным. Тяжелые машины, надрываясь, одолевают гибкую трясину, солдаты сыплются с них и, пригибаясь, бегут вперед. Взрыв — все вокруг разлетается в клочья, раздаются стоны, кровавой росой покрываются высокие травы.

Исчезает за дымами населенный пункт, оставаясь только на карте, водитель прижимается лбом к триплексу [1], и в узкой смотровой щели перед ним качаются, словно плывущие по волнам, сады и хаты.

Потом все исчезнет, провалится, останется только непроглядный дым. Едкая рыжая тьма,— ночь, такая неестественная после восхода солнца...

«Не видать»,— подумает кто-нибудь на опушке, ожидая своей очереди.

А из леса тем временем вырвется третья группа танков, и танкисты, яростно бранясь, поведут их в рыжую взвихрившуюся тьму следом за первыми.

И тогда по команде встанет весь батальон, ожидающий на опушке, встанет и тот, кто первым сказал «не видать», и, сжимая винтовки, все кинутся вслед за машинами по высоким красным травам, сбивая кровавую росу.

Будет трудная атака, бойцы, пригибаясь, будут исчезать за танками в адском грохоте, в смерчах огня, в рыжей непроглядной мгле.

Это будет первый день майского наступления 1942 года.

---

[1] Триплекс — специальное пуленепробиваемое стекло.

XIII

Переводчик «Иван Иванович» под строгим секретом сообщил Лялипому отцу, что на следующей неделе всех заключенных повезут эшелоном в Киев. То же самое — и также «строго секретно» — он сказал и родным остальных подпольщиков. Это было похоже на правду, потому что наступление под Харьковом разворачивалось в полную силу и в Полтаве уже начиналась лихорадка, так называемый «второй побег». В первый раз оккупанты бежали из Полтавы в феврале, когда советские войска взяли Барвенково и другие города. Теперь немцы опять засуетились в панике.

Для того чтобы спасти от отправки Лялю и ее товарищей, «Иван Иванович» предложил выход, который он считал единственно возможным. Он посоветовал родным встретиться с арестованными молодыми людьми и уговорить их признать себя виновными, покаяться, в частности отречься от того, что они были в комсомоле.

Переводчик уверял, что молодым людям вредит их «фанатическое упорство», раздражающее начальство; если же они послушают его совета, то наказание — с учетом их молодости —бесспорно будет значительно смягчено. Все закончится тем, что ребят отстегают розгами, а девушки заплатят штраф. И тогда можно будет подумать о том, как откупиться от эшелона.

С ведома своего начальства переводчик устроил в жандармерии свидание, на котором родители должны были убедить детей и уговорить их немедленно покаяться.

В назначенный день Лялины родители празднично оделись, Константин Григорьевич взял жену под руку, и они вышли из дому, поддерживая друг друга. Тетя Варя проводила их за ворота. Она все время сокрушалась и ворчала.

— Как же вы будете ее уговаривать? — допытывалась она. — Признать себя виновной! В чем? Что ненавидит фашистов? Что комсомолка? Не понимаю, от чего тут нужно отрекаться...

Константин Григорьевич и мать не возражали. Так молчком и ушли.

Грохот фронта был слышен в Полтаве даже днем.

Теперь полтавчане каждый день видели на улицах что-нибудь такое, чего еще вчера не было. Появились неуклюжие железные ежи. Восточные окраины торопливо

опоясывались противотанковым рвом. Через город все чаще проносились машины с беглецами.

Первыми драпали фольксдойчи, новоиспеченные бургомистры, переводчики, полицаи, овчарки-переводчицы — всякий сброд, который, услышав гул фронта, мгновенно бежал из прифронтовых районов и прятался в тылу. На дорогах их встречали предприимчивые немцы, отбирали награбленное, отпрягали коней, а тем, кто сопротивлялся, неохотно выпускал вожжи из рук, давали в морду. В общем, как говорится, вор у вора дубинку украл...

По селам было приказано косить зеленый хлеб. Ни у кого рука не поднималась на такую работу. В совхоз «Жовтень» шеф пригнал собранных со всего района полицаев и перехваченных на дорогах беглецов. Пока гудело — косили; как только ветер начинал дуть в другую сторону и гул, отдаляясь, затихал, шеф приказывал прекратить косьбу. Бросали косы и садились пить вонючий самогон. Сколько раз менял направление ветер, столько раз брались за косы и снова бросали.

Ничто лучше не характеризовало шаткость, неустойчивость оккупационного режима, как эта постоянная нервозность, эти сплошные приливы и отливы. Когда положение немцев на фронте улучшалось, в тыловые города, в том числе и в Полтаву, налетали, как воронье, разные искатели легкой наживы. Вся эта шваль принюхивалась, приглядывалась, примерялась, однако все время держа нос по ветру. И именно этот сброд был тем самым чувствительным флюгером, по которому сразу можно было заметить, какой ветер дует. Лишь только немецкая военная машина начинала трещать и разваливаться — сброд заполнял дороги, испуганно озираясь, расспрашивая о переправах через Днепр.

Так было и на этот раз.

— Побежали крысы с корабля,— говорил жене Константин Григорьевич, когда они шли через центр, где немецкие патрули задержали на перекрестке тачанку, в которой сидел какой-то крикливый, растрепанный комендант и его переводчица. Господина чиновника нещадно хлестали по морде.

Чем ближе подходили к десятой школе, тем медленнее шла Надежда Григорьевна. Несколько раз споткнулась и, схватившись за сердце, остановилась передохнуть. Ноги сразу увязли в горячем, размякшем на солнце асфальте.

— Душно,— изредка произносила Надежда Григорьевна.— Душно, Костя...

Свернула за угол, на зеленую Комсомольскую и наконец увидели школу. На вышках, под грибками, маячили часовые. Окна верхнего этажа были открыты, немцы сидели на подоконниках, подставив солнцу голые спины. Там жила охрана.

Убийвовки, медленно ступая по асфальту, молча смотрели на Лялину школу. Сколько раз они ходили сюда на родительские собрания, на елки, на школьные вечера. Константин Григорьевич активно работал в обществе «Друг детей». Теперь, обнесенная проволокой, школа была непохожа на прежнюю, словно из нее вынули душу и вставили вместо нее эти омерзительные голые спины.

Перед зданием толпились родственники арестованных. Платки матерей и теток белели вдоль всей улицы под каштанами, рябые от теней и солнечных пятен.

На парадном крыльце уже стоял знакомый толстый переводчик в сорочке с манишкой и, увидев Убийвовков, сразу же повел их внутрь здания. Десятиминутное свидание состоялось в одном из пустых классов.

Конвоир ввел Лялю. За эти дни она стала еще тоньше и грациознее. Сдержанно поздоровалась с родителями, взяла мамину руку и уже не выпускала ее до конца свидания. Лицо девушки было ясное, озаренное спокойствием и уверенностью. Мать почувствовала, что дочь не нужно ни утешать, ни уговаривать. И она и отец забыли, для чего, собственно, шли сюда, забыли о советах переводчика.

— Ляля,— сказала мама,— а наши близко...

Константин Григорьевич начал оживленно рассказывать о мордатом коменданте, которого патрули только что избивали на перекрестке. Получалось довольно смешно. Ляля с некоторым напряжением улыбалась краешком губ под неотрывным взглядом матери. Уже в первую минуту встречи мать подумала о последней минуте, о расставании. И до конца свидания ее не отпускала эта ужасающая мысль.

— Говорят, что наши уже в тридцати километрах от Харькова,— весело рассказывал Константин Григорьевич дочери.— Если так и дальше пойдет, скоро будут в Искровке или в Чутово.

— На улицах поставили какие-то пугала,— добавила мама.— «Ежи» или как они называются, Костя?

— Это не «ежи», это уже паника,— пошутил Константин Григорьевич.

Не успели и опомниться — десять минут пробежали. Родители попрощались с дочерью довольно спокойно, словно вручали ее судьбу надежному и близкому человеку, как это бывает после свадьбы: теперь она принадлежала не только им. Как будто, оставаясь дочерью, она вступала в свою, одной ей понятную жизнь.

Вышли на улицу.

Под деревом мать Бориса перешептывалась о чем-то с матерью Валентина. Увидев Убийвовков, Сорочиха подозвала их:

— Ну что? Виделись?

— Виделись,— тихо промолвила Надежда Григорьевна.

— Что же вы ей сказали?

И врач и жена одновременно подумали: о чем, собственно, они говорили? И были искренне удивлены, лишь сейчас уяснив себе, что все десять минут свидания говорили только о панике в городе и о приближении наших войск.

— Чего же вы молчите? — смотрела на них мать Бориса.— Или на самом деле уговаривали?

Надежда Григорьевна с упреком посмотрела на нее:

— Какая же мать захочет бесчестить свою дочь?

— А вы уже виделись со своими? — спросил Константин Григорьевич.

— Виделись,— басом ответила мать Валентина.

— И как решили?

— Хлопцы просили передать напильник и веревку, что-то замышляют.

— Как вы думаете, «Иван Иванович» передаст? — поинтересовалась мать Бориса.

— Большой негодяй,— сказал врач о переводчике, глядя вдоль улицы.— Нельзя перед ним открываться в таких вещах... А посмотрите-ка, кто это идет? Кажется, Сапига...

— Ну да... Тоже на свидание.

Старик Сапига, опираясь на палку, подошел к школе и остановился против окон. Постоял некоторое время молча, хмуро глядя на дверь, повернулся и вновь медленно зашагал по улице.

— «Уговорил» сына,— горько улыбнулась Сорочиха.

Из парадного вышла Ильевская и присоединилась к остальным.

— Как Сережка? — ласково спросила Надежда Григорьевна.

— Ой, не спрашивайте! Совсем искалечили ребенка...

— Ну, а как же с советом? — не без ехидства спросила мать Серги.

Ильевская вдруг оживилась, измученное, осунувшееся лицо ее со следами былой красоты стало необычайно приятным и добрым.

— Какая из меня советчица,— заговорила она грустно.— Думала я, думала о том, что переводчик нам говорил, да так ни до чего и не додумалась. Ну как это возможно уговаривать их каяться? Перед кем? В чем? И слов не нашлось, чтобы такое передать Сереженьке. Куда ни кинь, всюду клин. Никак не выходит. Не сложу таких слов, да и только.

— А Сережка что говорил?

— О, Сережка! «Мама, говорит, да еще так ласково,— Ильевская глубоко вздохнула, — честь человека превыше всего!»

XIV

Через три дня Константину Григорьевичу принесли на работу письмо от Ляли [1].

«Папа, родной! — писала она. — Ты мужчина и должен перенести все, что бы ни случилось, как мужчина. У меня один шанс из ста выйти отсюда.

Я пишу не сгоряча, а хорошо все обдумав. Духом не падаю, надежды не теряю до последней минуты. Однако, если я погибну, помни, вот мое завещание: мама, верно, не переживет моей смерти, но ты должен жить и бороться.

Отсюда, из самого фашистского логова, я особенно ясно вижу, какое все это подлое, изуверское варварство. И я счастлива тем, что и свою посильную долю честно вложила в то, чтобы освободить от него людей. Мы сделали немного, но мы искренне жаждали сделать гораздо

[1] Письма Ляли Убийвовк хранятся в Полтавском историческом музее. *(Прим. автора.)*

больше для освобождения соотечественников, для освобождения Родины. Мы были ей верными в жизни и умрем, не совершив предательства.

Товарищи все бодры и держатся прекрасно. Никто из нас не жалеет и не пожалеет никогда, что отказался от «покаяния», за которое нам было обещано сохранить жизнь. Мы гордимся вами, нашими родителями, что ни у кого из вас во время свидания (которое было разрешено вовсе не из гуманности) не повернулся язык, чтобы «уговаривать» нас и толкать на путь «покаяния» и «отречения» от комсомола. Да и что бы нам дало это «покаяние»? Унижение и обесценивание всей предыдущей жизни, а от смерти все равно не спасло бы. Мы боремся за свою жизнь иным путем и уверены, что сделали правильный выбор. Наша жизнь — в наших убеждениях, в нашей чести, в нашей чистоте перед Родиной, перед партией, которая воспитала нас такими.

За это идти на смерть не страшно, и я чувствую себя спокойной. Каждое это слово — завещание.

Целую вас всех от всего сердца.

Привет друзьям».

На обратной стороне постскриптум:

«Хочу, если не будет выхода, погибнуть от собственной руки, поэтому заклинаю тебя, папа, твоей любовью ко мне — принеси мне — и сегодня же — опий, у нас дома есть в бутылке, ровно столько, сколько это нужно... Помни, что пишу, все обдумав, и преждевременно ничего не сделаю. Передай и будь молодцом. Маму пока не волнуй».

Прочитав письмо, врач постоял некоторое время возле своего стола, потом вышел из пункта «Скорой помощи» и направился домой.

Как только он вошел, Надежда Григорьевна сразу же угадала, что случилось что-то непоправимое. Лицо Константина Григорьевича было серое, как земля.

— Что с тобой, Костя? Ты с работы?

Он молча прошел к своему шкафчику с медикаментами, остановился перед ним, постоял. Жена и тетя Варя не сводили с него глаз. Потом врач медленно взял бутылку с опием и, ничего не говоря, пошел с нею во двор.

— Куда ты, Костя?

Женщины кинулись за ним следом.

Константин Григорьевич подошел к лежавшей посредине двора колоде, на которой рубили дрова, еще раз посмотрел на бутылку и неожиданно изо всех сил разбил ее о колоду.

Осколки сверкнули на солнце, разлетелись в разные стороны.

— Один из ста! — выдохнул врач.

Женщины подумали, что он сошел с ума.

Вдруг распахнулась калитка, и во двор вбежали две девочки лет по десяти. Они подали Константину Григорьевичу обрывок газеты, на котором Лялиной рукой было написано:

«Передайте белье, духи, мыло, белые туфли, носки, белое платье».

Ни подписи, ни даты.

Девочки сказали, что Ляля выбросила записку из машины. Константин Григорьевич передал записку жене. Не спросил девочек, чьи они, и те так и убежали за ворота.

Надежда Григорьевна прочла письмо и на миг зажмурилась, будто у нее потемнело в глазах. Потом снова подняла темные ресницы и, выпрямившись, направилась к крыльцу.

Собрав все, что просила Ляля, родители понесли узелок в тюрьму.

Передачу не приняли.

На следующий день утром переводчик «Иван Иванович» сухо сообщил врачу: всех заключенных, в том числе и Лялю, ночью вывезли эшелоном на Ромодан.

Это казалось правдоподобным. Кто-то где-то видел, что ночью арестованных гнали колоннами на станцию. На допрос в этот день не возили, охрана разгоняла родных, не разрешала им собираться у ворот.

А вечером по городу пронесся радостный слух, что минувшей ночью в лесах, где-то возле Яресек или даже ближе, партизаны во главе с секретарем обкома остановили эшелон и освободили сотни узников. Полтава ждала, что вот-вот на окраине тайком начнут появляться первые освобожденные: Убийвовки надеялись, что ночью белокрылой ласточкой стукнет в окно родного гнезда Лялина рука...

Тем временем уже перед заходом солнца из ворот тюрьмы выехала черная автомашина под усиленной охраной эсэсовцев. Вначале она вроде бы двигалась к 10-й

школе, но в центре неожиданно свернула налево, мимо Корпусного сада на Октябрьскую. По Октябрьской немцы гнали на запад скот из прифронтовых районов. Круторогие волы брели опустив головы, трудно дыша, их глубоко запавшие бока вздымались. Недоеные коровы ревели от боли, роняя молоко на каменную мостовую. Закрытая автомашина, медленно пробиваясь через стадо, повернула на Пушкаревскую площадь.

Был конец мая, сады отцвели, и земля под деревьями стала белой. Высокий кузов машины, цепляясь за ветви пахучих акаций, стряхивал белый дождь лепестков. Машина пересекла немощеную безлюдную Пушкаревскую площадь и помчалась по Пушкаревской улице, ровной и широкой, обсаженной с обеих сторон столетними развесистыми дубами. Минуя кладбище, Пушкаревская улица выходила на загородные пустыри, заканчиваясь полем. В эти ворота, распахнутые из города в степь, видны были далекие склоны, расчерченные геометрически правильными рядами садов — начинались земли пригородных колхозов. Чистое, по-весеннему высокое небо утопало в волнах золотого заката.

На кладбище дети пасли коз. Увидев черную большую машину, они взобрались из любопытства на могилы и стояли, как столбики. Возле рва, где до войны был красноармейский тир, машина вдруг вздрогнула и остановилась. Открыли задние дверцы, и на землю стали выскакивать озабоченные эсэсовцы с автоматами. За ними один за другим спрыгнули на землю пятеро юношей. Они пожали друг другу руки и поцеловались по-юношески крепко и неуклюже. Последней появилась золотоволосая высокая девушка в расстегнутом легком пальто, в белом платье, в черных модельных туфлях на босу ногу. Солнце било ей прямо в глаза, и она щурилась. Девушка тоже попрощалась со всеми юношами за руку и, не стесняясь, поцеловалась с ними, как с братьями. Увидев маленьких пастушков, она ласково им улыбнулась. Лицо у нее было чистое, она прощально помахала детям рукой, как на перроне вокзала, но один из эсэсовцев рявкнул на нее, и тогда двое юношей — один чубатый в гимнастерке, туго подпоясанный широким ремнем, другой маленький, чернобровый, красивый — взяли девушку под руки, и все спустились в ров.

Незаглушенный мотор дышал горячо и прерывисто.

Через секунду на дне обрыва поднялась страшная возня, послышались крики, затрещали автоматы. Внезапно оттуда вылетел, как из-под земли, чубатый юноша в расстегнутой гимнастерке. Он весь был в крови. Она струилась отовсюду — с лица, с плеч, с рук. Дети закричали и бросились врассыпную. А он, пригнувшись, словно шел в атаку, кинулся через кладбище, перепрыгивая через могилки и глядя прямо перед собой на огромное заходящее красное солнце, словно летел к нему. В это время из рва, тяжело дыша, выскочили два эсэсовца,— в измятой одежде, испачканные глиной, без фуражек, —и стали целиться из автоматов чубатому вслед. Солнце слепило им глаза, они, выстрелив, видимо, промахнулись, потому что чубатый еще продолжал бежать. Немцы застрочили снова,— очереди были длинные, страшно длинные,— дети завизжали в разных концах кладбища. Чубатый упал. Эсэсовцы побежали к нему, еще раз выстрелили в него, в неподвижного, и, схватив за руки и за ноги, поволокли в ров.

Через некоторое время немцы вылезли из рва и, сердито отряхиваясь, пошли к машине. Забрались в фургон, автомашина развернулась и направилась к городу. Над кладбищем расплывался пороховой дым. А на могилках снова показались босые пастушки, как живые памятники. Они провожали черную машину пылающими глазами, полными детской острой ненависти, самой непримиримой, самой глубокой ненависти в мире.

Потом они собрали своих коз и торопливо погнали на Кобыщаны.

А на следующий день вся Полтава забелела листовками, в которых сообщалось о расстреле группы комсомольцев возле кладбища. Одни листовки были напечатаны на машинке, а другие переписаны ученическим почерком. И на всех одна и та же подпись: «Непокоренная Полтавчанка».

Этой ночью в доме Убийвовков никто не ложился спать. Однако ни душераздирающих стонов, ни рыданий соседи врача не услышали. На столе горела лампа, двери были открыты. Из сада доносились запахи ночных цветов.

Все будто окаменели в своем горе.

Сидели по углам и молчали. Не глядели друга на друга, избегали взглядов. Такими и застали их поздние гости.

Они вошли неслышно, в распахнутые двери, как в свой дом. Их было двое: один — приземистый, бородатый,

другой — молодой, стройный, с жестким взглядом. Оба с черными немецкими автоматами. Тетя Варя посмотрела на них с нескрываемым презрением. Она подумала, что это полицаи явились арестовать всю семью.

Гости поздоровались, и бородатый обратился к Константину Григорьевичу:

— Мы — Лялины друзья.

Константин Григорьевич пристально посмотрел на них.

— Она передавала вам привет,— глухо сказал врач, думая о письме дочери.

— Я Веселовский,— продолжал бородатый.— Мы надеемся, что Ляля была в числе тех, кого спасли из эшелона. Мы еще не знаем ничего определенного...

Надежда Григорьевна строго всматривалась в него печальными сухими глазами.

— Лялю расстреляли.

Веселовский резко повернулся к Надежде Григорьевне:

— Как расстреляли?

— Сегодня. На закате солнца. В бывшем тире... Вместе с товарищами.

Веселовский переглянулся со спутником. Оба они были глубоко потрясены.

— Быть может, это еще...

— Нет, это точно...

Константин Григорьевич вышел с гостями во двор.

Небо было беспокойное, рассеченное прожекторами. Самолеты гудели высоко над городом, и не верилось, что где-то в полях стрекочут кузнечики, на далеких озерах квакают лягушки... Ночные цветы дышали горькими ароматами, сад тускло поблескивал росистой листвой, словно выкованной из тонкой стали.

— Знакомьтесь,— обратился Веселовский к врачу и указал на своего товарища: — Политрук Явор.

Явор молча и горячо пожал руку врача.

— Мы к вам с неотложным делом,— продолжал Веселовский.— Мы принимали сегодня посланцев с Большой земли, и один из парашютистов в темноте попал на дерево и сильно поранился. Очень ценный человек. Мы приехали за медикаментами. Вы можете нам помочь?

Убийвовк минуту молчал, как будто раздумывая.

— Я сам поеду с вами,— сказал он и, повернувшись, быстро пошел в дом.

Ни жена, ни тетя Варя не спрашивали его, куда он собирается. Они знали, о чем писала Ляля в последнем письме отцу. Подали ему дорожный плащ, старенький «земский» саквояжик с лекарствами, продукты. Константин Григорьевич попрощался и вышел.

У ворот стояла тачанка, запряженная парой вороных. Кони рванули с места, и тачанка, мягко покачиваясь, словно поплыла в ночном воздухе.

XV

Проводив Константина Григорьевича, сестры не пошли в дом. Они не заметили, как очутились в саду, под яблонькой, где были закопаны Лялины сокровища. Взялись за руки, чего давно уже не было, и дали волю слезам, чего давно уже не случалось — с самых юных лет.

— Не плачь, Варя...

— Ты сама плачешь... не надо, Надюша...

Утешали они друг друга и снова заливались слезами.

Яблонька склонилась над ними, и усеянная цветами земля обвевала их ночной свежестью. Все на свете сдвинулось с места, пошло вверх тормашками — что-то утратило всякий смысл, всякую логику, другое, наоборот, приобрело неожиданную целесообразность. Эта синяя ночь, и цветы, и этот неумолчный соловьиный щелк, и кипучее весеннее брожение в садах — все сейчас ранило их душу, все утратило прежний смысл, и они чувствовали, что теперь и самим им жить нужно по-новому.

— Как ты думаешь, Надя, Костя вернется? — спрашивала сестру Варвара Григорьевна.

— Не знаю, не знаю, ничего не знаю!.. Знаю только одно, что он выполнит ее завещание...

— Почему она только ему завещала?.. Почему, Надя?.. Почему нам не завещала?..

— Не знаю, Варя... Но разве мы тоже не выполним ее завещание?..

— Выполним,— шептала тетя Варя,— мы тоже выполним...

— Разве не могло бы все быть иначе,— говорила Надежда Григорьевна. — Совсем иначе... Чтоб мы сидели вот так же, а она возвращалась от друзей... Тихо вошла в сад, сорвала розу...

Вдруг поблизости в самом деле послышался легкий шорох.

Сестры испуганно вскочили.

— Здравствуйте!

Перед ними, улыбаясь, стояла Веснянка. У Надежды Григорьевны перехватило дыхание.

— Кто это? — с трудом выговорила тетя Варя.

— Разве вы меня не узнаете? — непринужденно заговорила девушка, сдерживая улыбку.— Это же я, та, что сидела у вас в погребе.

Тетя Варя подошла к Веснянке и внимательно оглядела ее с головы до ног: босая, в короткой юбочке... с прутиком вербы в руке. Запах болотных трав, степной полыни, казалось, принесла с собой девушка.

— Ты откуда? — наконец спросила тетя Варя.

— Из эшелона,— шмыгая острым носом, ответила Веснянка.

— Из какого эшелона?

— Разве вы не слыхали? Нас же партизаны отбили около Яресек. Говорят, у них командиром сам секретарь обкома. Как налетели из лесу, и с той стороны, и с этой!.. Охрану перестреляли, паровоз под откос, а нам скомандовали: бегите! Мы кто куда — по лесам! Волюшка вольпая!

— И дома еще не была?

— Нет. Прямо к вам. Мне Ляля наказывала, как только вернусь, к вам забежать.

— Где ты видела Лялю? — встрепенулась Надежда Григорьевна.

— Мы в одной камере сидели. Когда нас выводили на станцию, она мне наказала. А их оставили в тюрьме, всех шестерых...

— Как она себя чувствовала? — опять спросила Надежда Григорьевна, замирая.

— Вы за нее не волнуйтесь: жива, здорова и унывать не собирается. Она, наверное, в следующий эшелон попадет — их тоже отобьют. Леса прямо гудят от партизан!..

Женщины молчали, сдерживая рыдания. Врожденное материнское чувство подсказывало им, что этой девочке не надо говорить о казни.

— Какая она была в последний раз... когда ты ее видела? — спросила после паузы мать.

— Спокойная... Знаете, такая спокойная, что мне даже как-то не по себе стало. Словно ей известно все-все,

чего другие еще не знают. И смотрит... Я такого взгляда ни у кого не видела. Как будто и сквозь стены все видит. А что, к ней не пускают?

— Нет,— сказала мать.

— Напугались, потому и не пускают. Боятся восстания заключенных.

— А предательница тоже в тюрьме осталась? — спросила тетя Варя. Уже после первого Лялиного письма, в котором та сообщила об измене Корольковой, тетя Варя поклялась: едва негодяйку выпустят, она выследит ее и убьет собственными руками.— Или, быть может, эту негодяйку партизаны отбили вместе с вами?

— Ее уже не отобьют,— успокоила Веснянка.— Ей уже капут. Сама удушилась в камере.

— Как удушилась?

— Рушник на спинку кровати — и вся песня. Собаке собачья смерть.

Тетя Варя вздохнула.

— А что Ляля говорила... в последний раз? — спросила Надежда Григорьевна.— Вспомни... Ну, что-нибудь! Только не выдумывай. Хоть бы одно словечко.

Веснянка задумалась.

— Ой, как она говорила!.. Я и передать не сумею. Все чудно как-то... Словно бы и не мне, а всем говорит... Встанет почью и ходит-ходит по камере, а потом вдруг: «Люди! Я люблю вас, люди...»

Надежда Григорьевна закрыла лицо руками, прислонилась к стволу. Яблонька осыпала ее холодной росой.

Тетя Варя сидела прямо на земле, скорбно прислушиваясь к темному притихшему небу.

— Уже не гудит,— сказала она как бы самой себе.

— Это не с той стороны ветер,— возразила Веснянка. — Переменится — и опять загудит.

Надежда Григорьевна, с трудом передвигаясь, подошла к девушке, положила руку ей на голову, заглянула в глаза:

— Оставайся у нас. Не уходи... Оставайся жить...

— Нет. — Веснянка энергично замотала головой. — Не могу. Приходить буду, а навсегда не могу.

На заре сестры провожали Веснянку. Вышли на околицу. Осыпанные обильной росою луга казались седыми. Стоило шагнуть — и на траве оставался ярко-зеленый след.

— До чего хорошо! — воскликнула Веснянка.— Шла бы и шла, покуда сил хватит! А знаете, я уйду в леса! К партизанам подамся.

Тетя Варя и Надежда Григорьевна молча шагали рядом. Так они и шли к розовеющему востоку, а за ними в утренней синеве утопал белый Подол и вздымался высокий собор на крутой горе. В заречной голубоватой дымке утопали леса, начинавшиеся здесь и тянувшиеся вдоль Ворсклы через всю Полтавщину до Днепра.

Под ногами зашелестел-задвигался рассыпчатый береговой песок. Еще не было видно реки, спрятавшейся в берегах, но она уже чувствовалась по свежести и прохладе.

Приблизившись, голубой лес превратился в зеленый, его малахитовые ущелья на том берегу полнились птичьим гомоном. Зеленый мир, умытый росой, пробуждался, щелкал, высвистывал, и громкое эхо повторяло сказочное богатство ладов и звуков. Кукушки куковали так чисто и звонко, будто касались клювами чарующих клавишей неба.

Восток разгорался все ярче; пестрая, радостная музыка, наплывая из зеленых глубин, словно бы обнимала Веснянку.

— Ух! — восклицала Веснянка, ступая упругими, омытыми росой ногами. Ее мокрые, исхлестанные травами колени покраснели. — Ух!..

Так они и шли, ни о чем не говоря между собою, ибо не было в человеческом языке слов, способных передать эту утреннюю симфонию пробудившейся природы.

Остановились на высоком берегу и, поглядев вниз, замерли от удивления. У самой Ворсклы на вылизанном волной влажном песке лежали десятки людей. Юноши и девушки, бородатые дядьки и тетки с кошелками, приготовленными, видно, на базар. Как раз в этом месте был брод, через который из-за Ворсклы добирались в Полтаву по всяким делам и на базар.

Надежда Григорьевна узнала кое-кого среди лежавших людей. Старик Сапига, мать Бориса... Мать Валентина...

Веснянка застыла, как удивленная горная козочка на крутом обрыве.

— Пьют? Нет, не похоже...

Солнце вот-вот должно было взойти, небо в верховьях реки загорелось гигантским костром, и вода, покрытая низкой белесой дымкой пара, вспыхнула румянцем.

— Слушают! Они слушают! — вдруг выкрикнула девушка и, спрыгнув вниз, побежала к берегу. Сестры, скользя и зарываясь ногами в сыпучий песок, спустились за ней.

В последние дни гул фронта отдалялся, будто угасал. Полтавчане его теперь не слышали даже ночью. Боевые рубежи переносились все глубже на восток, куда отступала Советская Армия, обливаясь кровью в тяжелых боях. Далекий фронт слышался лишь на рассвете, в утренней тишине, а чуткая водная гладь, вытекая откуда-то из-за Белгорода, несла на своих волнах еле уловимый гул битвы.

Из-за этого и приходили утром сюда на берег.

Веснянка упала грудью на песок, прижалась ухом. Надежда Григорьевна и тетя Варя опустились неподалеку от нее на колени, потом прилегли и тоже приникли к земле, как к чуткой мембране. Где-то в верховьях, в глубине России, еле слышно гудело, и дрожь, охватывавшая тело земли, замирая, передавалась сюда.

Проходили долгие месяцы.

Во второй половине сентября 1943 года оккупанты начали жечь Полтаву. План разрушения города был тщательно разработан. Ничто не было забыто, все охватывалось его сатанинским планом: городские поликлиники и школы, вокзалы и жилые кварталы, знаменитый исторический музей, построенный в стиле украинского барокко, и такие же дома, украшенные по фасадам художественной цветной керамикой. Все это подлежало уничтожению, должно было сгореть дотла. На месте степного города-красавца, окруженного заводами и вокзалами, разросшегося пышными садами и парками, дьявольский план предусматривал на кручах правого берега Ворсклы огромный дикий пустырь, заваленный смрадным пеплом и обгоревшими руинами.

Моторизованные, щедро снаряженные команды факельщиков рассыпались по городу. К объектам, которые могли загореться не сразу, была подвезена солома. Кроме того, между кварталами все время курсировали машины с горючим. Вспыхнули пожары, загремели взрывы в разных районах города. Наиболее крупные объекты подрывали аммоналом.

Одновременно началась охота на людей. Стреляли без предупреждения в первого попавшегося, кто имел несчастье оказаться в поле зрения — факельщики заметали следы своей преступной работы.

21 сентября на улицах не было видно ни одной живой души. Жители попрятались в погреба, ютились по окраинам, уходили в леса и овраги за Ворсклу. Среди опустевших кварталов метались лишь дьявольские фигуры факельщиков, выжигавших город, охотящихся на его последних жителей.

И все-таки кто-то в городе руководил народным сопротивлением. Трижды поджигали оккупанты музей, и трижды неизвестные «злоумышленники» тушили огонь. Казалось, все было пусто и безлюдно, но каждое утро в разных районах города оккупанты подбирали на мостовой своих факельщиков-мотоциклистов, валявшихся с размозженными черепами. Во дворы немцы боялись заходить по одному — появлялись лишь целыми командами. Поджигали с опаской, пугливо озираясь вокруг.

Высокий густой дым окутывал город. Земля, дома и даже деревья пропитались зловонным запахом тола и гари. Дышалось с трудом. Ночью на десятки километров было видно, как горит Полтава. Небо над нею казалось жуткой багровой раной. А тем временем по всем дорогам и без дорог шли с востока полки Второго Украинского. С фронтовых аэродромов поднимались эскадрильи, которые вскоре получили наименование Полтавских.

По Коломацкому шляху, от Чутово, от Искровки на максимальной скорости мчались мощные «КВ» с десантами. У них было задание с ходу ворваться в город со стороны Южного вокзала и, не задерживаясь, форсировать Ворсклу.

Командиром экипажа одной из первых боевых машин, вошедших в город, был гвардии лейтенант Марко Загорный.

Совхоз «Жовтень» все эти дни жил напряженной, полной тревог жизнью.

Однажды шеф примчался с переводчиком на своей легковой машине и, не заезжая в контору, покатил в поле. Он подъезжал к пахарям и сеяльщикам и, не вылезая из машины, приказывал бросать работу. Разве они не слышат, как гремит за спиной?.. Кажется, впервые за последние годы крестьяне возвращались с поля задолго

до захода солнца! Подростки верхом на конях, с радостными выкриками скакали по усадьбе, таская за собой тяжелые катки, словно готовили дорогу сказочным долгожданным гостям.

Под вечер над землями совхоза пролетел немецкий самолет и с бреющего полета поджег скирды сена. В окружающих селах уже рыскали команды факельщиков. В совхозе они еще не появлялись. Шеф заявил в конторе, что он их сюда не пустит. Он не потерпит паники, ибо в последнюю минуту все еще может измениться: он уже ученый, а в случае чего управится и сам — не правда ли?

— Верно, верно, пан шеф,— поддакивали присутствующие.

Разве он не видит, что и пан управляющий, и все рабочие госимений за эти годы привыкли к нему, оценили его заботы, так зачем же ему специальные команды? Любимый народом руководитель может отдавать любые распоряжения, и они немедленно будут выполнены. Вот живой пример: он приказал бросить работу — и все замерло. Прикажет наоборот — и все оживет. Не так ли?

— Конечно, конечно,— ответили подчиненные.

Однако шеф и на этот раз не остался ночевать в совхозе, а куда-то уехал. В степи горели скирды, в окружающих селах пылали ветряки на холмах, и их охваченные пламенем крылья вертелись под ветром.

А у совхозных конюшен тем временем сошлись и пахари, и сеятели, и подростки-погонщики выводили коней, разбирали сбрую. Управляющий агроном вместе с представителем от партизанского отряда стоял возле своей тачанки и раздавал бригадирам наряды, словно это было с утра, а не на ночь глядя. Сеяли всю ночь, пока не зашла луна, и засеяли столько, сколько никогда не успевали за день. На рассвете мальчишки с катками неторопливо возвращались в имение. Кони, утомленные ночной работой, были в мыле, от них валил густой пар. Утром снова приехал шеф с какими-то офицерами, наверное, чинами из сельскохозяйственной комендатуры. Имение будто вымерло.

Мельница остановилась, стояла мастерская, не трещали триеры возле зернохранилища...

Только ферма еще жила. Захватив из конторы управляющего, шеф прикатил с офицерами на ферму. Не только длинные корпуса, но и весь двор, примыкающий к

пим, был забит измученным, ревущим от голода скотом. Животных согнали со всех соседних госимений, чтобы отсюда отправить на переправу к Днепру. Блеяли овцы, визжали свиньи, мычали коровы. Теперь тут были не только серо-украинские, но и швицкие, и красно-степные, и симменталки.

Шеф приказал управляющему собрать всех рабочих фермы, выделить им в помощь людей из полевых бригад и, не теряя времени, под командой пана зооотехника гнать скот к Днепру. Офицеры подсчитали коров, свиней и овец и записали количество голов в свои блокноты.

Начали созывать рабочих. Свинарки, доярки, чабаны явились послушно, с продуктами в узелках, с палками в руках. Старики вызывались идти хоть на Страшный суд, и их послушание в такое тревожное время просто растрогало шефа. Мальчишки сели на коней, девчата отправились пешком. Вскоре стада тучей заполонили степь и побрели на запад, окруженные молодыми горячими всадниками.

Ферма вымерла, корпуса опустели, управляющий-агроном стоял опечаленный. Шеф с палочкой в руке ходил по пустым корпусам, заглядывал в ясли с остатками корма и горько плакал. Пану шефу было жаль имения. Сколько надежд погибло, сколько замыслов!..

Вечером машины с офицерами, поднимая за собой пыль, промчались в город, а неподалеку от совхоза, возле хутора Ярового, в глубокой балке спокойно паслись разномастные стада и чабаны с герлыгами прохаживались вокруг них, готовые ждать своих хоть до Страшного суда.

Всю ночь в совхозе снова сеяли. В зернохранилище горел свет, и кладовщик по списку раздавал рабочим посевное зерно на сохранение. Женщины разносили его котомками по домам. Шоферы загоняли грузовые автомашины в кукурузу. На складе горючего закапывали в землю бочки с бензином. До самого рассвета никто в совхозе не ложился спать.

А наутро снова прикатил шеф. Он был явно растерян и обезоружен — грохот пушек слышался совсем рядом, почти за спиной. По большаку мимо совхоза тянулись на запад тесные колонны вражеских машин. Советские спаряды то и дело ложились между ними.

Шеф подкатил прямо к мастерской, где собрались кузнецы, столяры, слесари, механики. Среди них стояли и незнакомые, новые люди, которых раньше в совхозе не

было видно. Если бы пан шеф как-нибудь заехал в полтавские леса, он бы наверняка увиделся с ними раньше. Но он как мог избегал этой встречи, и поэтому лица пришельцев не насторожили его. Впрочем, ему все здесь казались незнакомыми,— рабочая масса, одним словом. Переводчик шепнул управляющему, что пан шеф приехал уничтожить имение.

Шеф, соскочив с машины, позвал переводчика и направился с ним к открытой настежь мастерской, не обращая внимания на молчаливую толпу рабочих. Рабочие расступились, а потом и сами вошли внутрь — посмотреть, что будет делать шеф.

А он присел на корточки возле кучи стружек и достал спички. Переводчик поспешно собрал со станков паклю, промасленное тряпье и тоже достал спички. И в этот миг — почти одновременно — два кузнечных молота с размаха опустились на головы пана шефа и переводчика.

А несколькими часами позже из степи в окружении отчаянных мальчишек-всадников прискакала верхом всем знакомая веснушчатая девчонка и, вне себя от восторга, сообщила, что на большаке уже нет никого, а в поле, за кукурузой, появились первые наши!

— Какие же они из себя?!

— Словно и не уходили! Только все в погонах и с медалями!

— Говорят, Полтаву единым духом освободили!..

— Может быть,— сказал дед-чабан, который в свое время отказался блеять по-бараньи.— Единым духом — это еще как может быть! Дух, я вам скажу, великая сила!..

— Освобождена единым духом!

Так говорили жители.

Так говорили потом бойцы Второго Украинского. Воспоминание об этом бое они донесли до берегов Дуная, до стен Золотой Праги.

Было так. Вечером советские части, выбив немцев с Южного вокзала, заняли первые кварталы. Город еще корчился в огне пожаров, окутанный дымом и гарью. Немецкие арьергарды, стреляя вслепую, сдерживали наступление, пока остатки их войск, наталкиваясь на свою застрявшую технику и отступающие части, уползали по разбитому снарядами Кобеляцкому тракту.

Женщины и дети еще сидели в погребах, жадно прислушиваясь к доносившейся перестрелке; еще метались

по темным дворам, перетаскивая горячие пулеметы, отчаявшиеся фашисты, как вдруг среди багровой тьмы, клубящейся удушливыми дымами, как позывные великого радостного мира прозвучали слова, усиленные громкоговорителем:

— Поздравляем граждан Полтавы с освобождением!

И сразу во всем городе будто утихла стрельба, и только эти слова звучали в угарном дымном воздухе...

Группа танков, зайдя немцам с тыла, прорвалась к городскому парку, и на самом высоком дереве кто-то установил рупор. Кто был он, этот танкист, что влез на дерево под трассирующими пулями, чтобы обратиться к городу в самый разгар боя?

— Поздравляем граждан Полтавы с освобождением!

Услышав могучий голос у себя за спиной, фашистские арьергарды в панике бросали последние рубежи.

А мощный громкоговоритель, как вестник иной, новой жизни, гремел и гремел в городском саду, приветствуя освобожденных людей мажорными маршами.

Полтава — Киев,
1947—1949

ТАВРИЯ

РОМАН

Ранними веснами, когда на заболоченном Полесье еще не принимались сеять, когда на Суле, на Псле и на Ворскле, распускаясь первым, нежнейшим цветом, сияли былые вишневые сады,— над открытыми степями юга проносились страшные черные бури. По всей степи, от Ногайска до Каховки, встречали их с молитвами, с хоругвями. Многолюдные крестьянские процессии выходили в тучах пыли навстречу стихии, падали на колени, молили, чтоб утихло.

Страшный суд творился тогда среди голых, беззащитных таврических степей. Жгло травы, заметало колодцы, с корнем из-под ног у людей вырывало посевы.

Голосили хоры в полях, в отчаянии метались люди среди черной вьюги. А возле тех, кто стоял на коленях, мгновенно наметало барханы пыли.

Трудно было двигаться, не видно было, в какую сторону креститься. На восток? Но где тот восток? Как раз оттуда и надвигалось самое страшное, мрачное, бушующее. Секло, как градом, сбивало с ног, непроглядной сухой мутью бушевало повсюду — от земли до неба. За сплошными тучами сорванных, подпятых на воздух летучих грунтов стояло посреди неба солнце, маленькое, мрачное, тусклое, как при затмении. От неестественных дневных сумерек становилось жутко всему живому. Тревожно ревел по селам скот, завывали собаки, птицы на азовских берегах прятались в норы. И только люди метались среди туч в полях и напряженно бились над ними иссеченные песком хоругви.

Потом, когда затихало, степи — полосами через целые уезды — лежали опустошенные, как бы прикрытые серым смертельным пеплом. Крестьяне принимались отгребать

лопатами песчаные наметы от своих облупленных мазанок, как зимой отгребают на севере снег. Взбудораженное море по всему побережью выбрасывало на песок остатки разбитых во время шторма рыбацких суденышек.

Еще азовские женщины оплакивали погибших мужей-рыбаков, еще запыленные чабаны разыскивали в степях разметанные бурей отары, а по всем шляхам, по свежим следам урагана, словно черные его янычары, уже неслись на Каховку многочисленные, по-ярмарочному одетые наниматели из помещичьих экономий и столыпинских хуторов. Со звоном вылетали на гладко выметенные бурей тракты грациозные таврические тачанки, разрисованные ради праздника красными яблоками по черному лаку. Как на праздник, как за добычей, спешило отовсюду в Каховку хищное степное воронье.

На тачанках, в шарабанах, фургонах, верхом... Хоть камни с неба, а на весеннего Николу надо быть там!

На весеннего Николу в Каховке открывалась знаменитая «людская ярмарка» — новый невольничий рынок, снабжавший рабочей силой весь юг страны. Из приморских степей, из Крыма, даже с далекой Кубани съезжались сюда наниматели.

Батраки валом валили из северных губерний. Добирались, кто как мог. Висли на поездах, спускались в дубах и батрацких чайках по Днепру через бушующие грозные пороги, а больше всего — проверенным способом — пешком. Брели, согнувшись под тяжестью узлов, изможденные, худые, почерневшие от обжигающих встречных ветров, пробиваясь в Каховку, как в землю обетованную.

Не спрашивали их в селах — куда? Грех спрашивать об этом несчастных. Издали видно: в Каховку на ярмарку.

Шли за сотни верст полтавские, киевские, черниговские, братаясь по дороге с курскими, воронежскими, орловскими... Шли, разбивая ноги в кровь, неся неугасимый огонек надежды в глазах. Где же та Каховка? Скоро ли она покажется на золотых днепровских песках?

После черных бурь, в погожие, залитые солнцем дни плыло перед ними весеннее марево. Пожалуй, нигде не было таких красивых миражей, как на юге, в безводной степи. Словно чистые, неугасимые мечты, струились они по целым дням, не приближаясь, не отдаляясь, серебристыми реками поперек сухих батрацких дорог...

I

Каждую весну поднималась криничанская голытьба на заработки. Во многих хатах в великий пост матери шили своим сынам и дочерям на дорогу батрацкие торбы. Пришло время и старой Яресьчихе взяться за это горькое шитье. Шила дочери Вусте, что была уже на выданье, а Данько́ — самый младший — привязался, заладил в одну душу:

— Пошейте и мне!

Сжалось у матери сердце. Куда он пойдет такой, кто его возьмет? Только тринадцатый год парню — волу до рогов не достанет...

— Дойдешь ли ты, сынку, в ту таврическую даль?

— Пошейте, мамо. На край света дойду!

Подумала, посоветовалась с дочерьми да с соседями — почему и в самом деле не пошить? Разве мало ходит на заработки таких, как Данько? В конце концов чем не погонщик? Сметливый, расторопный, веселый... Прохарчится лето в людях, еще и на домашнюю бедность что-нибудь принесет... Пусть идет! Пусть с малых лет привыкает к батрацким странствиям, которых ему — рано или поздно — все равно не миновать.

Из года в год, одно за другим, поколения криничан топтали весенние тропы на юг. Как голодные птицы, пускались они в простор по своим привычным, хорошо изученным батрацким маршрутам. Шли чаще всего за речку Самару, в синельниковские степи, а там уже и разбредались кто куда на все лето, до первых осенних заморозков.

Этой весной партия сезонников подобралась большей частью из молодежи, свежей, крепконогой, готовой идти хоть до самого моря в поисках лучшего найма. Решили не рассыпаться, как раньше, по самарским хуторам, не останавливаться в колониях, а пробиваться дальше, в глубь Таврии, достичь Каховки, легендарной батрацкой столицы.

Через ярмарочных людей — то из Голтвы, то из Репетиловки, то из Турбаев — все чаще докатывались о Каховке разные слухи: одни хулили ее, другие, наоборот, уверяли, что только в Каховке настоящие вольности, что там дают за человека то, чего он стоит. Правда, Каховка была где-то на краю света, из глухих Криничек дороги

туда толком никто не знал, но разве это преграда для молодых? Язык доведет! Доводит же паломников до Киева, доведет и сезонников до Каховки!

Наслушавшись от взрослых разговоров о Каховке, Данько щедро окутывал ее дымкой собственных ребячьих мечтаний. Каховка представлялась ему белым, веселым городом-ярмаркой, в пышной зелени, в каруселях, в весенних цветистых радугах, под которыми каждому везет, под которые стоит лишь ступить, как в карманах у тебя зазвенят легендарные таврические червонцы. Сквозь надпечное оконце, еще разрисованное морозом, Каховку можно было видеть какой угодно. Пролизав языком наледь на стекле, Данько видел свою Каховку городом счастья, где все люди ходят в новых сапогах, где вместо ячменных лепешек едят булки да куличи и никто никого не обижает... Каховские вольности, о которых слыхал паренъ, рисовались ему как неограниченная свобода,— в ней он уже чувствовал туманную, неосознанную потребность — этим больше всего манила его Каховка. Не будет там ни сельской расправы, ни податей, ни кутузки, не будет проклятых кулаков Огиенко и господских приказчиков, к которым мать ходит вязать за шестой сноп.

Трижды на дню виделась Даньку вымечтанная им Каховка. Захмелел, забредил ею парень. Считал дни, босиком выскакивал по утрам на Псел послушать, не трещит ли, не ломается ли лед. Хоть бы скорее пригрело солнце по-весеннему, тогда торбу на плечи — и айда в ту вольготную обетованную Каховку!

Осенью Данько должен вернуться из Каховки богачом. Если сестра надеется заработать там за лето на корову, то он заработает, по крайней мере, хоть на теленка. В доме он единственный мужчина, и его обязанность — заботиться о достатке семьи. Пусть он порой еще схватывает от матери подзатыльник, он уже заслужил и соответствующее уважение как хозяин двора. В сочельник, когда криничанские старики выходят звать Мороз ужинать, мать и Вутанька посылают на улицу и Данька.

— Мороз, Мороз, иди к нам вечерять! — зовет он баском, наравне с самыми уважаемыми стариками села. В этот вечер Данька сажают в красный угол, на сено, и он первый пробует кутью. Мать и сестра терпеливо, торжественно ждут, пока юный хозяин благословит праздничный ужин.

Отца своего Данько помнит плохо, но видит его во сне, чаще всего на лодке, в тихий, звонкий предвечерний час, когда отец выезжал, бывало, ставить вентери и пел песню о турбаевской Марьяну́ше. Поет весело и смело, мощным чудесным голосом, кричичанские дядьки грустно слушают его, стоя у плетней, а урядник грозит ему с берега... Если кто-нибудь из кулацкой детворы осмеливается теперь дразнить Данька тем, что его отец был будто бы разбойником, то таким Данько сразу дает отпор. Нет, не стыдится он своего отца, и если на сельских престольных праздниках кто-нибудь незнакомый спросит его, чей он, то парень с дерзкой гордостью отвечает, что он сын Яресько Матвея. Это действует как выстрел.

Настороженность у одних, искреннее уважение и восторг у других вызывает отцовское имя. Знают его во всех окрестных селах, известно оно по Пслу и по Хоролу до самой Сухорабовки и славных Турбаев.

...Глубокой осенью девятьсот шестого года самосудом был казнен в Кричичках Яресько Матвей. В ненастную ночь, в ноябрьскую стужу вооруженные дробовиками богатеи вывели его за село, привязали к крылу ветряка, пустили на волю стихии:

— А ну поднимайся, Яресько, лети за черные тучи, догоняй свою бунтарскую правду!..

Глухо гудели в ту осень леса вдоль Псла, озаренные сполохами пожаров, каждую ночь рдели тучи над экономиями по Запселью...

Потом потемнели леса, осталась Яресьчиха с тремя детьми: две дочери и сын, по-домашнему Данько, по святцам — Данило. Старшая — Мокрина — была девка на выданье, меньшая — Вустя — годилась кому-нибудь в няньки, а Данько мог разве только гусей пасти, да гусей у Яресьчихи не было.

Рос парнишка, как гусенок на воде, без особого присмотра, некому было с ним возиться. Вустя все лето нянчила чужих детей, а мать с Мокриной не вылезали из поденщины. Когда Данько стал терять молочные зубы и с нетерпением ждал настоящих, попыталась было Яресьчиха пристроить его пастушком к богачам. Повела его к резным крылечкам, под железные крыши, предлагала то одному, то другому, но никто не захотел брать.

— Исподлобья он у тебя глядит, Мотря... Отцовским нераскаявшимся взглядом.

— Да нет, это он только перед вами почему-то такой... Дома, бывает, что-нибудь как выкипет, так всех насмешит...

— Видны уж его выдумки: отцовским кресалом забавляется... Ишь игрушку себе нашел!

Забраковали богачи Данька. Однако вскоре он сам нашел способ помогать семье: с наступлением весны промышлял рыбой, а осенью ходил с ровесниками по лесам Запселья и драл хмель с деревьев.

Как-то после покрова Яресьчиха, вернувшись вечером из экономии, с удивлением узнала, что ее сын уже школьник: пошел и сам записался в школу.

— Где ж тебе, сыпку, теперь обувку брать?

— Не беспокойтесь, мамо... Только бы учитель позволил босиком входить в класс. Я и босой зиму перебегаю!

Две зимы пробыл Данько в школе, а потом мать сказала:

— Хватит, не на что книжки покупать. Читать, писать научился, а в попы все равно не выйдешь...

Через два года выдала Яресьчиха Мокрину за молодого кучера в лесничество. Сидя в красном углу, вооруженный колючей куделью, продавал Данько сестру. Кинул жених серебряный полтинник на тарелку, думал — на том и сойдутся, но парень, насупившись, потребовал за сестру такой выкуп, что гости ахнули.

— Этот умеет постоять за сестру!

— Требует, как за царевну!

Развеселившись, гости сообща стали упрашивать Данька, чтоб не упирался, чтоб не оставил Мокрину век сидеть в девках... Сама Яресьчиха слез наглоталась вволю на дочерней свадьбе: горькой она была. Вместо настоящего отца однодневный «отец» хозяйничал за столом, званый, свадебный...

Выдала одну Яресьчиха и не успела огляпуться, как вторая вошла в пору, надо было и для Вусти о приданом заботиться. В свои семнадцать весен Вустя была красавицей, пела в церковном хоре, да так, что парубки даже из соседних сел, вдруг став удивительно богомольными, каждый праздник толпами набивались в криничанскую церковку. Но что соловьиный голос Вусти, если скрыня пуста? Всю зиму в хате жужжали прялки, тарахтел станок, а полотен в скрыне не прибавлялось — все на сторону, все кому-то... Где взять, как нажить?

Выход был один: в Таврию на заработки.

Надеждами на Каховку согревалась теперь хата Яресьчихи. Вечерами, при каганце, под монотонное жужжанье прялок думы вдовы летели в далекий степной край, куда вскоре направятся ее дети в бурлацкой ватаге.

II

Вначале предполагали добираться в Каховку по воде, наняв в складчину дуб где-нибудь на Днепре, как делали это иногда сезонники из других полтавских сел. Но очень скоро выяснилось, что далеко не каждый из криничан в состоянии внести свой пай на лодку. После тщательных подсчетов договорились идти пешком:

— Подошвы свои, не купленные!

Быть вожаком, или, как их еще называли, атаманом, согласился Нестор Цымбал — вечный батрак, добродушный криничанский неудачник, единственное богатство которого состояло в куче детей, мелкой и голопузой династии Цымбалов; среди них было два одноименца: Степан первый и Степан второй. Сбились кумовья со счету, когда несли крестить самого последнего, нарекли наугад Степаном, и только потом выяснилось, что один Степан уже лежит в люльке, спокойно пуская пузыри.

Были у Цымбала свои слабости, над которыми каждому в Криничках разрешалось посмеиваться. Завзятый голубятник, он мог часами бегать с ребятней по селу за голубями, улюлюкая в небо, спотыкаясь о каждое бревно. Однако Нестор обладал и неоспоримыми для вожака достоинствами. Пожалуй, никто лучше, чем он, не знал всяких батрацких обычаев и правил, усвоенных им за долгие годы батрацких скитаний. Пожалуй, никто не умел лучше, чем Нестор, при соответствующих обстоятельствах намолоть сорок бочек арестантов, а это имело немалое значение при переговорах с жуликами приказчиками.

Слоняясь зимой по окрестным ярмаркам, Цымбал внимательно прислушивался к разговорам и приносил потом в Кринички всякие новости о южных краях. Именно из его уст услыхали впервые в Криничках притчу о каком-то репетиловском батраке, якобы сильно разбогатевшем в Таврии — если верить прасолам — просто... на воде. Вот как может повезти человеку! На радостях за неиз-

вестного счастливца Нестор в тот день одним духом выпил возле монополькн четвертинку и, разойдясь, грозил в сторону панской экономии, что останется она, дескать, без поденщиков, потому что всех он, Цымбал, поведет в этом году в Каховку, пусть-ка пан за ними вдогонку скачет, пусть попробует их в Каховке нанимать.

— В Каховке мы станем в десять раз дороже! — выкрикивал Цымбал на выгоне возле мельниц до тех пор, пока наконец подосланные матерью цымбалята не потащили его за руки домой.

Для криничанских молодаек была одна неясность в Несторовской притче об удачливом решетиловце. Как это можно наживаться на воде? Или в тамошних колодцах и вода какая-то особенная, дорогая, панская?

Данько воспринимал это по-своему: счастливый, чудесный край, где даже вода может приносить человеку доходы!

В Кринички на воде еще никто не разбогател, хотя Псел протекал под боком и родники били из-под круч на каждом шагу. Больше того, именно от обилия воды криничане терпели порой настоящее бедствие. В иную весну Псел, выйдя из берегов, затопляет всю нижнюю часть села, и плывут тогда по улицам челны-душегубки, причаливая к перелазам, заходя прямо во дворы. Стон стоит тогда над селом, тревожные переклики катятся над водами. У одного половодье последнюю охапку сена утащило, у другого хату размывает. Трудно голыми руками крестьянину бороться с капризной речкой. У кого есть родственники на горе, тот перебирается на время с детьми к ним, а большинство не трогается с места, терпеливо пересиживая лихую годину в своих раскисающих ковчегах. Хлеб и домашний скарб — на чердак, детей — на печь, от стола до порога настелют доски, не топят, не варят еды, так и живут, пока речка не утихомирится, пока вода не спадет.

Наделал шума Псел и этой весной. Неожиданно разлившись ночью, залил в погребах картошку и квашенину, утопил кое-где в загонах овец. Хаты на нижней улице из белых сразу стали темно-серыми, мрачными, раскисли до застрех. Все утро крик стоял над селом. В школу, которая очутилась вдруг на острове, набилось полно людей с подушками, ягнятами и телятами.

Как раз во время разлива сезонники выходили в дорогу. Сбор был назначен на выгоне, у тех самых ветря-

пых мельниц, где когда-то кулачье подняло на крыле своего непримиримого врага Яресько Матвея, мстя ему за то, что он якшался с кременчугскими бунтарями и тайно читал крестьянам афишки против царя.

На восходе солнца в душегубках подплывали к выгону отходники в сопровождении матерей, детей, родственников. Навзрыд плакало село. Далеко над рассветными порозовевшими водами стлались материнские причитания.

Первым, как и подобало вожаку, появился на выгоне высокий, долговязый Нестор Цымбал со всем своим выводком и беременной женой. Вслед за ним потянулись к месту сбора Яресьчиха с дочерью и сыном; супруги погорельцы Персистые, отправлявшие свою старшую дочь Олену; безродные, забитые сестры Лисовские, обе с таким румянцем во всю щеку, что странным казалось — откуда он мог взяться у них, вскормленных на ячменных лепешках и на квасе. За Лисовскими спустилась с подгорья пышногрудая сельская красавица Ганна Лавренко в сопровождении своих дядек — Оникия и Левонтия Сердюков, которые лишь в последний момент присоединились к уходящим; каждому из них было уже за сорок, но они считались почему-то парубками. Последним приплыл со своими друзьями Федор Андрияка, отчаянный сорвиголова с разодранной губой: каждое лето он дрался на сельских престольных праздниках с хуторским кулачьем, иногда и сам падал замертво, оглушенный шкворнем, так что приносили его потом старой Андриячихе на рядне. Сейчас Федор с друзьями тоже прибыл на выгон как на праздник: навеселе, с песнями.

Никого, однако, не веселили сегодня их песни. Всхлипывали матери. Испуганно жались к Цымбалу его цымбалята, слушая утешения матери, что принесет, мол, им батько осенью из Каховки корову в узелке... В задумчивости сидел Цымбал, наблюдая, как бегают его Степаны — Степан первый и второй — по выгону, уже босиком, пуская с ладони божьих коровок.

— Куда божья коровка полетит — в той стороне и Каховка!

Будто в последний раз смотрели, не могли наглядеться загрустившие батраки на родное село, на его садки и вербные шатры левад, охваченных уже первым весенним светло-зеленым туманцем... Утро быстро светлело, наполнялось блеском солнца, неба, воды. Стояли в воде

разбухшие надпслянские леса. Сверкало половодье на огородах тихими зеркальными плесами. Перебивая запах раскисшей глины хат, могуче тянуло отовсюду крепкими запахами весны, свежих вод, набухших вербных почек... Пьянящий сочный дух шел от живой, распаренной земли, а высоко над выгоном уже перелетали на север вереницами птицы, звонкоголосые, чуткие, весенние...

— Опи домой, а вы... из дому! — причитали матери.

Умылась слезами и измученная Яресьчиха, очутившись со своими возле огиенковского ветряка. Заклятое, мученическое место! Здесь у нее забрали мужа, и здесь же должна она расстаться с сыном и с дочерью, живьем отрывая их от сердца.

— Отца замучили и вас на край света гонят,— тужила Яресьчиха, поправляя котомки на детях.— Чтоб им и Таврия и перетаврия, окаянным... Не для них, загребущих, растила я вас, ночей не спала...

— Мамо, не надо,— горько успокаивала Вустя.— Не в неволю идем, не навек же!..

Понурился, сгорбился Данько, как старик. Потускнели на миг его юные, светлые мечтанья. Все меркло в сравнении с матерью, измученной горем, изможденной, самой милой, самой лучшей из всех людей на свете... одна она такая, и нигде второй такой он не найдет!.. Не стыдясь людей, припал к патруженной руке матери, поцеловал — впервые в жизни.

А в верхней двери своего ветряка стоял Митрофан Огиенко с сыновьями и, глумливо усмехаясь, смотрел, словно пан, с балкона на прощанье отходников. Когда в лямки мешков стали впрягаться сестры Лисовские, вечные огиенковские поденщицы, не утерпел хозяин, зацепил:

— У своих, значит, надоело, к чужим подадитесь? В татарщину за длинным рублем? Ой, глядите, девчата, не прогадали б!

— Вряд ли,— ответила снизу за Лисовских Вустя.— Уж горше похлебки, чем у вас, дядя Митрофан, верно, нигде не варят.

— Ну, идите, идите... Там вам наварят. Боюсь только, что еще не раз вспомните.

Чья-то добрая палица просвистела в этот момент в воздухе, громко ударила в огиенковский балкон. Отшатнулся хозяин, побледнел.

— Это ты, Андрияка? Попомни ж...

— Попомню!

С тем и пошли криничане — медленно, угрюмо, вытянувшись цепочкой, в край, откуда все эти дни с весенним криком высоко летели перелетные голодные птицы.

III

И вот идут они теперь день за днем навстречу неведомой Каховке. Далеко за бродами, за паромами остались родные Кринички, залитые до краев весенней полой водой.

От Псла и дальше за Самару Цымбал вел партию уверенно, бодро — не раз бывал он в этих краях,— а как вышли дальше в степи, то и атаман помрачнел, перестал шутить, подавленный величием незнакомых просторов. На привалах все чаще отводил душу словами лирницких, слышанных на ярмарках песен.

Як став брат наймепший, пішій-піхотинець, на полівку
ізбігати,
На степи високі, на великі дороги розхідпії...
Нема ні терпів, ні байраків, ніяких припапаків!

Вместо беленьких, парядных полтавских сел пошли другие, редкие степные селения, голые, как бубен, неуютные, ободранные сквозными ветрами. Низкие и рыжие мазанки вросли в землю, как арестантские этапы, придавленные сверху плоскими глиняными крышами, на которых растет бурьян...

— Почему не делаете повыше? — обращались девушки к местным крестьянам.— Почему соломой не покрываете?

— Разве здесь солома удержится? — мрачно отвечали степняки.— Ветры у нас вечно...

Чем глубже в степь, тем мрачнее становятся криничане, тем острее чувствуют свою бездомность. Безлюдная, безводная земля вокруг утомляет взор своим однообразным, неприветливым простором. Где те рощи и сады пропали, куда те речки растеклись?

Дóма в это время Псел, переполнившись, заливает огороды, размывает хаты, а тут ни пруда, ни озерка в поле...

Земля и небо. Сухие ветры летят и летят навстречу. Идешь и за весь день деревца нигде не увидишь, хворостину не из чего выломать. Если б не запаслись дома

палками, нечем было б сейчас даже от собак отбиваться... А сколько их, клыкастых, растревожили криничане за эти дни!

«Заботу» о собаках, особенно самых злющих — хуторских, охотно брал на себя Данько, которому страх как нравилось поднимать на хуторах шумную кутерьму. Шагая с палкой впереди группы, он дерзко заглядывал в кулацкие дворы, готовый, казалось, схватиться хоть с волком. Но то, что развлекало отчаянного парня, для девушек было мукой, пытками. Неумело отбиваясь от обезумевшей собачни, испуганно пробираясь сквозь неистовый собачий лай, они вырывались из хутора, как из пекла. И даже здесь, очутившись снова в безопасной светлой степи, осыпанные со всех сторон мирным звоном певучих жаворонков, они еще долго не могли перевести дух. Раскрасневшиеся, со слезами на глазах, они прежде всего торопливо осматривали свои юбки — целы ли, будет ли в чем показаться на Каховской ярмарке. Кто знает, может, оборванных там и вовсе не захотят нанимать?

— Вы икры берегите, а не юбки,— поучал девушек Цымбал.— Потому что если укусят, то пиши пропало: много не пройдешь.

— Отбиваться надо, а не прятаться друг за дружку,— напускался на девушек Данько.— Не визжи, не мотай перед ними подолом, а норови палку всадить в глотку, чтобы аж клыки треснули!

Девушек мало утешали такие советы. Испуг проходил, но еще долго оставалось на душе тяжелое, обидное чувство батрацкой своей бесприютности. Чем они в конце концов провинились перед богом, что, покинув близких и родных, вынуждены идти куда-то с котомками за спиной, дразнить чужих собак? Разве от добра идут они сейчас по белому свету? Черная, беспросветная нужда выгнала их из родных домов. С детства каждая работала не жалея сил. Совсем еще тоненькими ручонками, какими только в куклы играть, скручивали они толстые свясла на поденщине. Еще не было видно их, подростков, в высокой конопле, а они, ловкие, уже угорали там, в густых горячих зарослях, доставая для кого-то дерганцы. Не ленивыми выросли, любую работу умеют делать эти девичьи руки: свяжут сноп — будет как узелок; выведут нитку — зазвенит струной; вышьют рушник — гореть будет на нем, как живая, ветка калины. Столько успели за свои семнадцать весен переделать, что, кажется, озолотиться

могли б! А где оно, это золото? Все ушло на подати, да на долги, да за аренду. В чужих сундуках лежат их полотна, а они, бесприданницы, сидят сейчас на краю дороги, грызут свои каменные батрацкие сухари, смоченные слезами. Кара? Но за что?!

А в степях воды не допросишься, ночевать не достучишься. Редкие таврические села переполнены сезонным людом, в каждом дворе непременно застанешь ночлежников. У бедняков еще, правда, встретишь сочувствие, а в богатые дворы, к хуторянам, хоть и не стучись. Никого не пускают под свою черепицу, боятся, что будут курить парни ночью, красного петуха пустят...

На что уж Нестор был мастер просить, но и ему сплошь и рядом показывали дорогу дальше: не верили хуторяне, что его ребята не курят.

Хорошо хоть, ночи были теплые да не весь прошлогодний курай собрали крестьяне на топливо, можно было подстелить под бока.

— Это еще ничего,— рассуждал в таких случаях Цымбал.— Мы хоть на земле, на курае отдыхаем, а как же тому голубю, который иногда всю ночь протрепыхается в небе, держась только на собственных крыльях?.. Бывает, выпустишь их под вечер, а они на радостях пойдут вверх такими винтами, что уже едва видны в небесах. Шея заболит за ними следить... Ставишь тогда корытце с водой и, присев возле него, смотришь, как в зеркало... Полное корытце синевы небесной!.. А в ней где-то глубоко-глубоко мотыльком трепещет маленькая точка: это он и есть, голубь!.. Особенно с молодыми хлопот не оберешься. У нас сумерки под лесом, а он и не думает спускаться, потому что ему там вверху светло... Когда спохватится, то в Крыничках уже темень, уже и голубятню не найдет... Должен тогда там и ночевать, в небе, держась на крыльях с вечера до рассвета...

Бывало так или это просто придумывал Нестор, лежа на колючем курае, но после его историй всю ночь Даньку снились голуби. Легко было парню в их компании, сам будто взлетал птицей в высоту, набираясь сил для нового дня... А утром опять, как бесконечные серые полотна, разворачивались вдаль большие шляхи-дороги.

Шляхи, шляхи... Были они по-весеннему топкими вначале, стали кочковатыми, колючими потом, а сейчас перетерлись в пыль под неисчислимыми батрацкими подошвами. Маленькими казались люди среди этих необозримых

просторов. Роились возле степных колодцев, муравьями темпели на шляхах, двигаясь отовсюду в одном направлении — к солнцу, на Каховку. Иногда другие группы обгоняли криничан, иногда, наоборот, сами криничане обгоняли путников, отдыхавших на обочине... Все такие же измученные, оборванные, разморенные далекой ходьбой... Некоторые с тыквами для воды, с рубанками через плечо, с косами.

Как-то на девятый день путешествия обогнали криничане партию своих полтавских земляков-опошнянцев. Эти тоже тащились в Каховку на ярмарку. Со скрипом, на возах, на волах везли в Каховку свои прославленные изделия, звонкую и яркую посуду, известную всей Полтавщине своей красотой и мастерской художественной росписью.

— Так, говорите, земляки, не святые горшки обжигают? — весело задирал опошнянцев Андрияка.

— Разучились уже святые,— в тон ему отвечали земляки.— Теперь нам это дело передоверено...

— Ого!

— А ты думал!

Девушки на ходу, как лисицы, заглядывали в возы, осторожно вынимали из половы посуду, брали в руки на пробу.

— Боже, как хорошо!

— А узоры!

— А звон!

Глаза вбирали в себя расписанные цветастыми узорами миски и тарелки, тонкие глечики и макитры, крученые куманцы и веселые барыльца... В Криничках хорошо знали опошнянскую посуду, и сейчас не одна девушка тайком вздохнула, любуясь ею. С такой посудой у каждой связывалась мечта о счастливом замужестве, о сладких семейных заботах, о достатке в хате, в которой сама хозяйкой... Но будет ли так, осуществится ли когда-нибудь? Может, навек по чужим краям, по людским ярмаркам, покуда и косы поседеют и краса увянет...

— Не продавайте, дяденьки, пока я не разбогатею,— просила опошнянцев Ганна Лавренко.— Все у вас тогда закуплю!

— Ой, долго ждать, пожалуй, придется, дивчино... К тому времени мы лучшую сделаем.

— Не надо мне лучшей, придержите эту! — горячо упрашивала Ганна, и трудно было понять, шутит она или

говорит серьезно.— Разве мое счастье так уж далеко закатилось? Чует душа — где-то близко оно!..

Поскрипывали ярма, медленно катились возы, навевая на девушек невеселые думы. Вскоре криничане оставили земляков позади, ушли, тая надежду на лучшие времена...

Чем дальше в степь — реже попадались колодцы. Все сильнее страдали криничане от жажды. Пока дойдешь от села к селу, от колодца до колодца, во рту пересохнет. Хуторяне и колонисты охотились за людьми и, перехватывая сезонников на каховских шляхах, соблазняли их в первую очередь водой.

— Нанимайтесь к нам, люди добрые! — зазывали они.— У нас вода не гнилая, будете свежую пить все лето!

Нестор охотно вступал в переговоры, подробно расспрашивал об условиях, о цепах на сезон.

— Мало, мало,— упрямо вертел он головой,— мы большего сто́им!.. Гляньте, какие девчата, какие хлопцы! Как на подбор, как перемытые!

И вел своих «перемытых» дальше — глотать дорожную пыль.

Густо, до блеска загорели криничане в дороге, опаленные сухими встречными ветрами. Одну лишь Ганну Лавренко солнце почти не тронуло. Защищалась от него девушка, как могла, спасалась, будто от лютого врага. Всю дорогу шла, закрывшись платком до самых глаз, старательно оберегая лицо от солнца. Кровь с молоком, нежные лепестки яблони — вот какие у нее были щеки. Дома, превозмогая нестерпимую боль, Ганна каждое лето срывала загар горькими жгучими молочаями, зимой умывалась хлебным квасом, а весной росами, чтоб только быть белой, белее всех панночек из экономии! Почему-то уверенная в том, что именно нежная кожа лица больше всего придает девушке красоту, Ганна ради этого всю дорогу задыхалась под платком, готовая претерпеть любые муки, лишь бы не открыться солнцу.

Открывалась лишь вечером, когда зной спадал.

— Ха! Панночка в свитке! — не раз пытался досадить ей Данько. — Не успела сухарь изгрызть, уже перед зеркалом вертится!

«Панночка в свитке» не обращала внимания на это. Что этот мальчишка понимает! У других полные сундуки полотен, а у нее, кроме красоты, ничего нет. За другими

стоят отцы в чумарках, с волами и коровами, а Ганна своего даже не помнит... Говорят, будто она девичья дочь, прижитая матерью с лесником... Кто за нее заступится, кто позаботится? Не дядьки ли Оникий и Левонтий, которые бессовестно объедают ее всю дорогу? Сама должна позаботиться о себе, о единственном своем девичьем богатстве. Может, как раз этими тонкими бровями, этим лицом удастся ей когда-нибудь привлечь свое беспридапное счастье. Панночки от нечего делать заботятся о своей красоте, а для нее красота — и приданое, и единственная защита в жизни.

Легко им быть белыми в светлицах, попробовали б уберечься здесь, на ветрах, под беспощадным ливнем солнца... Хоть бы тучка появилась на небе, хоть бы дождик пробился... Но здешние люди, кажется, испокон веков не видели туч, не знают, что такое дождь...

Вода! Вокруг нее в этих краях все разговоры, из-за нее ссорятся, на ней богатеют, она считается здесь основой благополучия.

Впервые поняли здесь криничане страшную силу и власть воды. Впервые услышали, что водой торгуют, что за нее люди убивают друг друга, что в села бочками доставляют ее за много верст...

«Пить!» — молил весь край, изнемогал от жары.

«Пить!» — шелестел иссохшими губами сезонный люд на шляхах.

У хуторян все колодцы на замках. В некоторых селах устраивают под водосточными трубами специальные цементированные ямы-бассейны для дождевой воды: на несколько месяцев делают запасы.

— Да разве можно на такой воде жить?

— Мы уже привыкли... Летом, когда отстоится, становится чистая, как слеза... Правда, нагревается сильно и головастики разводятся, но они на дно оседают...

— И пищу на ней варите?

— И пищу варим... Только в борщ надо луку и чесноку побольше, чтоб затхлость перебить... А пьем ее, как водку: залпом, не нюхая.

Так здесь жили.

Вместо воды только ее призрак — чистое, прозрачное марево изо дня в день дразняще струилось над степью. Вот-вот, кажется, догонят его, припадут к нему, утолят жажду... Обманные лживые реки! Близкие, почти ощути-

мые бегут и бегут под солнцем, то исчезая на мгновение, то возникая вновь...

— Есть и нету. Куда оно девается? — удивлялся Данько, не в силах оторвать глаз от марева.— Дядько Нестер, как бы до него дойти, как бы его догнать?

— Эх,—вздыхал Нестор— на крыльях к нему надо лететь, парень. Да и догонишь ли!

Девушки, обливаясь от жары потом, вспоминали криницы, оставленные дома, свою полноводную речку...

— Если бы наш Псел да мог бы потечь сюда за нами...

Как-то во время короткого отдыха, лежа навзничь у дороги, Данько задремал. Что это был за сон, чарующий, незабываемый! Приснилось ему весеннее половодье в Криничках, затопленные кудрявые левады, белые расцветшие вишняки по пояс в сияющей, праздничной воде... И сам он, Данько, плескаясь, бредет с ребятами по счастливым ясным водам, и голуби Цымбала стайкой вьются над ним, и волна льнет к нему ласковая, теплая, ускользающая, а он пьет ее всласть, пьет и никак не может напиться...

Сестра Вустя разбудила его, и парень какое-то время с удивлением смотрел на ее большие, тоскливые глаза, на ее губы, обожженные ветром...

— Вставай, пора идти...

Потом сестра отошла в сторону, и на том месте, где она стояла, как продолжение сна, открылось небо, сухое, высокое, капустного цвета, а посреди него — птица, висящая неподвижно, распластавшая над степью серые могучие крылья. Дома Данько никогда не видел таких огромных птиц, они водятся, видно, только в степях... Ястреб это или какой-нибудь другой гигантский хищник? Птица висела прямо над парнем, будто целилась ему в грудь, в самую душу.

Данько порывисто вскочил, охваченный чувством тревоги.

— Ты! — погрозил парень палкой хищнику.— Я тебе не мышь!

Птица, плавно взмахнув крыльями, спокойно поплыла стороной над степью.

— Орел-могильник,— пояснил Цымбал.

— Почему могильник?

— На высоких степных могилах — курганах — он чаще всего садится...

— Если б мне ружье...

Привычно подцепив палкой мешок, Данько перекинул его — на батрацкий манер — через плечо.

Пить хотелось нестерпимо. Все, казалось, пересохло, горело у него внутри.

Двинулись, и марево опять задрожало впереди, как вчера, как третьего дня. Настоящие реки такие, как Псел или Ворскла, Орел или Самара, через которые довелось Даньку переправляться, были где-то далеко, как в детстве. Вместо них потекли ненастоящие, призрачные, лукавые, сотканные из горячего степного воздуха. И хотя парень смотрел на них с жадностью, он уже не верил им.

Измученные жаждой, девушки все чаще роптали: завел их Цымбал, наверное, на край света! Исчезли реки, не растут деревья. Небо где-то раскололось и свистит навстречу голыми палящими ветрами. Изо дня в день. И нет им, неутихающим, никакой преграды среди открытых, беззащитных равнин.

Где же та заповедная Каховка? Скоро ли вынырнет она из-за горизонта живой голубизной своего Днепра, могучим разливом не миражных, а настоящих вод, к которым можно припасть?

Даже Данька, которому Каховская ярмарка дома мерещилась трижды за день и который до сих пор верил в свою батрацкую звезду, пожалуй, сильнее, чем любой из криничан,— даже его в последнее время все чаще стали одолевать тревожные раздумья и сомненья. В самом деле, кончится ли когда-нибудь эта безводная дорога? И вообще, существует ли на свете она, его вымечтанная счастливая Каховка? Что, если это тоже всего-навсего мечта, степная сказка, батрацкая легенда?

IV

Глиняная, полузанесенная песками Каховка, ничем не примечательное, заштатное местечко Таврической губернии, во время ярмарки превращалась в город со стотысячным населением, становилась буйной столицей всего Юга.

За несколько дней до открытия ярмарки Каховку уже трясла лихорадка. С утра до ночи скрипели под окнами возы, ржали кони, лопотали торговки, стучали по всему местечку топоры плотников. Как из-под земли вырастали рундуки, балаганы, карусели.

Всюду шум, гам, толкотня... Мещанские дворы полны постояльцев. На пристани и у трактиров, прислушиваясь к гомону батрацких толп, уже кружатся нездешние, важно надутые стражники, которые приезжают на ярмарку раньше всех, вместе с конокрадами.

Днепровский берег под кручей быстро заселяется сезонным людом. От главной пристани и до самых плавней снует вдоль воды растревоженный людской муравейник. Те, кому не хватает места у воды, устраиваются наверху, на кручах, захватывают холодок под конторами нанимателей, в закоулках между магазинами или просто оседают вдоль улиц, под известняковыми, серыми, будто из костей, заборами.

Со стороны степи каховские окраины были уже как в осаде. Словно навалилась откуда-то орда кочевников и, разметавшись, встала под местечком. Все здесь перемешалось: чумацкие мажары и телеги старообрядцев, татарские арбы и немецкие фургоны, конокрадские дрожки и грациозные таврические тачанки... Сколько хватает глаз, стоят таборами в песках приезжие, белеют палатки и шатры, торчат, как мачты в высохшей гавани, поднятые в небо оглобли.

А с трактов катится и катится новый ярмарочный прибой. Со звоном проносятся тачанки, обгоняя вереницы пешеходов, которые мрачно бредут по обочине вдоль дороги. С величественным спокойствием выплывают из-за горизонта, словно из глубины веков, круторогие серые волы — одомашненные потомки могучих степных туров. Кое-где покачиваются над ними еще не привычные для глаза высокие горбатые верблюды, как бы неся с собой на Каховку дыхание далеких безводных пустынь.

Под вечер накануне ярмарки по Мелитопольскому тракту въехал верхом в Каховку и Савка Гаркуша, молодой приказчик из фальцфейновской Аскании. Въехал, как всегда, не один, а с приятелями, толстомордыми сынками повотроицких хуторян. Расступались перед Савкой каховские лавочники, знали его норов. Ухмыляясь, перегнется с седла, и, как бы шутя, так вытянет нагайкой вдоль спины, что только взовьешься.

— Свербит разве? Ха-ха-ха... Какой же ты, казаче, тонкокожий!..

Едет Гаркуша, картинно откинувшись в седле, привлекая взгляды раскормленных каховских бубличниц...

Маленький, но бравый: манишка во всю грудь, сизый смушек на голове, глаза с хищноватыми раскосинами, как у татарина из-за Перекопа.

Знают бубличницы, где будет фальцфейновский приказчик желанным гостем, в чьи ворота завернет его усталый конь. Экономия имеет в Каховке свою собственную контору, но Савка редко ночует там. На время ярмарки он предпочитает арендовать себе окно на площадь в доме солидного каховского прасола Лукьяна Кабашного. Оттуда, как из засады, будет настороженно подстерегать приказчик ярмарочную добычу, пересиживая жгучий обеденный зной в холодке, в то время как под окном у него будут шумно толпиться батрацкие атаманы — грудь нараспашку, размахивая своими пропотевшими, выпоротыми из засаленных шапок паспортами...

Клок сена висит на воротах у Лукьяна, бочки холодного кваса стоят у Лукьяна в погребах. Нацедит квасу Настя, веселая наймичка деда, напоит гостя из собственных рук, пока будет шаркать старый Кабашный с костылем по двору.

Гудит, клокочет растревоженная Каховка. Сидит дед Кабашный на завалинке, равнодушно слушает, как звонят к вечерне. Большой колокол на каховской колокольне треснул, и звук он издает короткий, дребезжащий, не такой, как когда-то. Не идет старик к вечерне, сидит, словно еретик, на завалинке, положив бороду на костыль. Неможется прасолу. В молодости плечом приподнимал мажару с солью, а теперь... Постепенно изменяют силы, с каждым днем разрушается его ширококостное, кряжистое тело. Вот так подкралась старость... Слабы стали руки, плохо носят ноги, неповрежденным осталось только зрение — взгляд у старика пристальный, тяжелый, неподвижный, как у степного ястреба, который видит свою добычу с поднебесья...

Видит, но схватить уже не в силах! Чужими возами заполнился двор, равнодушные к деду хозяйчики в чумарках ходят по двору с прасолами под руку, шушукаясь, сговариваясь, нацеливаясь на завтрашний день. Без Лукьяна рассчитывают выгоды, без Лукьяна замышляют какие-то сделки.

Его время уже прошло. Ухаживать за приезжими поручил распутной своей любовнице Насте, а сам досиживает жизнь на завалинке, насупленный, обрюзгший, безнадежно больной водянкой.

С дедов-прадедов живут Кабашные в этих местах. Был у них когда-то самый большой в Каховке заезжий двор. В Бериславе держали для чумаков собственные паромы... Просторно было тогда Кабашным. Дикие кони — тарпаны — еще водились в здешних степях, табунами проносились мимо Каховки на водопой... Еще отец Лукьяна держал на конюшнях пойманных диких жеребят, стараясь их приручить, но так ни одного и не приручил: то погибали, то, вырвавшись, с седлами исчезали навсегда в степи... Что это были за времена! Паромы приносили неслыханные прибыли, по три шкуры можно было драть с чумаков за перевоз... Весной, направляясь на крымские озера за солью, тысячами сбивались они у бериславской переправы со своими скрипучими мажарами, в полотняных штанах и рубахах, густо пропитанных дегтем, чтоб чума не пристала... Широкий Днепр перед ними, полноводный — на руку Кабашным! Вплавь не переплывут его чумаки и домой порожняком не вернутся: что запросишь, то и должны платить... Позже, когда появилась пароходная компания и отбила у паромщиков перевоз, перенесли Кабашные всю свою деятельность в Каховку. Стали прасолить, торгуя лошадьми и другим товаром...

Однако очень грешным, видно, было наследство Кабашных, не пошло оно Лукьяну в руки: вылетело в трубу.

Не знаешь, кого сейчас и упрекать: то ли предков, то ли черную бурю, то ли самого себя, за то, что не доверял банкам, а прятал деньги по старому обычаю в дымоходе, за вьюшкой, придавив камнем сверху... Как-то во время черной бури, проносившейся над Каховкой, прибежала к Кабашному соседка-перекупщица:

— Одолжите, дядько Лукьян, червонец до завтра, с процентом верну!..

Искусила, шельма, его тем процентом. Не было близко червонца, полез Лукьян в свой тайник... Кто же знал, что эта разиня за собой дверь не прикрыла как следует? Ветер оказался проворнее Лукьяна, словно только и ждал, когда старик снимет камень с денег... Дунуло из-за спины, потянуло в трубу, засвистело по-черному — закружились ассигнации Лукьяна по ветру где-то над Каховкой... Лови!

Кое-что удалось перехватить, а об остальном хоть и не спрашивай: каждый божился, что не подбирал. Жаловаться? Но кому? Судиться? Но с кем? С ветром, человече, не посудишься!

Затаил с тех пор Кабашный злобу на каховских торговцев: несло его ассигнации как раз в их сторону, кружило их больше всего между лавками, над ярмарочной площадью. Не один там погрел руки, загребая чужое, как свое собственное... Иного, правда, Лукьян и ждать от них не мог: сам стоял на том, что в Каховке человек человеку волк.

Непоправимый то был удар. Зачахла после этого случая Лукьяниха, похоронил вскоре, а сам с горя загулял, стал ездить по монастырям, пьянствовал с монахами, завел себе любовниц...

Старея, строил всякие химеры, все чаще мудрствовал: не удастся ли как-нибудь вернуть утраченное. Не подать ли, к примеру, жалобу на высочайшее имя? Разве не могли бы там пожалеть его? Разве не он в девяносто пятом ходил вместе с Кириллом Гаркушей по Каховке впереди разъяренной толпы, усмиряя врагов трона, утверждая тяжелой рукой православие?! Летит вдруг из столицы к губернатору казенная бумага — возместить Лукьяну сыну Свиридову Кабашному все его убытки, понесенные из-за стихии, предоставить ему льготы... Хотя бы в виде исключительного права на торговлю водой по всему Крымскому тракту!

Немало наживаются некоторые степняки на воде. У кого хороший колодец, тот и господствует. Хочет — торгует сам, хочет — сдает в аренду за большие деньги. Главное — выбрать бойкое место, чтоб дорога не дремала ни днем, ни ночью, чтоб другой воды поблизости не было. Кирилл Гаркуша, давний приятель Лукьяна, угадал, где ему угнездиться. Вырыл колодец у самого тракта, и уже выросли у него от того колодца и хутор, и ветряк, и добрый гурт овец...

За такими мыслями застал Кабашного Савка Гаркуша, крестник Лукьяна. Хитер этот похожий на татарина Савка, но учтив: соскочив с копя, за руку здоровается со стариком, передает от отца поклон.

— Расседлывай, заводи,— покряхтывает Кабашный, довольный вниманием.

— Есть куда?

— Твоему, Савка, всегда место найдется.

— Спасибо, Лукьян Свиридович... Но со мной еще дружки!

— Поместим и дружков. Где они?

— Послал по одному делу. Сейчас будут.

Пока Савка ставит коня, Настя выносит из дому кувшин с водой, печатное мыло, рушник. Глаза Насти возбужденно блестят, играют Савке навстречу.

— Становитесь здесь, Саввочка, я вам солью.

Щедро сливает Настя, расплескивает.

— Не дорожите вы здесь водой,— замечает Савка, отфыркиваясь.— А у нас в степи... каждую ночь крадут. Отбоя от них нет.

— От кого нет отбоя? — заинтересовавшись, подходит поближе к гостю старик Кабашный.

— Воду, говорю, крадут крестьяне из экономских колодцев... Уже и объездчиков новых выставили — все равно не страшатся... Особенно там, в Присивашье.

— Видно, солоно едят, оттого много пьется,— оживившись, пошутил дед.— Соль у них там хорошо родит, на Сивашах.

Скомкав рушник, гость медленно вытирает им свое крепкое, скуластое, словно из кирпича, обожженное лицо, растирает крутой, налитый кровью затылок, топчется перед дедом, приземистый, мускулистый, как годовалый бычок. Вот-вот, кажется, бодпет деда головой в бок.

— Солоно или не солоно — это нас в конце концов не касается. У нас, сами знаете, каждая капля на учете: своим гуртам еле-еле хватает.

— Известно, в степи... Вода на вес золота.

— Вот именно.

— Мать-водица — всему, всему царица... Ну, проходи в дом, Савка...

Лукаво перемигивались заезжие под возами, наблюдая, как ведет Кабашный молодого приказчика в дом. Там, в горницах у Насти, место Гаркуши. Кивнет кто-нибудь вслед, слегка кашлянет, подмигнув соседу, да и то, чтобы Гаркуша не заметил. Кому охота связываться с Гаркушей и его компанией? У старика ястребиный взгляд — пусть сам за своими любовницами смотрит.

— Жарко у тебя, Настя,— заметил приказчик, очутившись в комнате.

— Сегодня во всей Каховке жарко,— виновато улыбнулась Настя.— Печи день и ночь топят, жарят и шкварят, всякие крендели пекут... Чтоб до конца ярмарки хватило.

— Ты тоже напекла?

— А я что? Разве заработать не хочу?

— Кто чем может, тем и промышляет,— пояснил Кабашный.— Вы — людьми, цыгане — лошадьми, а мы уж... хоть кренделями.

— Не прибедняйтесь, Лукьян Свиридович!

— Не прибедняюсь, Савка, но и с вами, молодыми, тягаться мне уж не под силу... Подкосило меня раз и навсегда.

— То-то и беда наша, что деньги в кубышке держим, банков боимся. Вместо того чтоб самим ими заправлять... Правда, банки тоже иногда вылетают в трубу.

— Да пусть уж... Вылетел бы, да не один.

— Конечно, вместе веселее,— улыбнулся Насте Гаркуша и отошел к своему откупленному у деда окну.

Дед, наказав Насте готовить ужин, тоже вскоре подошел к окну, выходившему прямо на ярмарочную площадь, уже людную, растревоженную, окровавленную вечерним солнцем.

— Не комнату смеха строят? — заметил Гаркуша.

— Нет на них управы,— сказал Кабашный, как бы оправдываясь.— Принесла их нелегкая чуть ли не под самые окна с теми кривыми зеркалами.

— Это ничего,— благодушно ответил приказчик.— Будет людно, а где людно, там и доходно. Разве не так?

Уже и сейчас на площади косяками ходили приметные среди прочего люда сезонники. В заплатанных свитках, худущие, сгорбленные, с давно не стриженными чубами, торчавшими из-под брылей и помятых шапок... Толпились возле еще не достроенной комнаты смеха, заглядывая друг другу через плечи, вытягивая худые, жилистые шеи — где-то там устанавливали для них большие кривые зеркала.

— Ну, уважаемые земляки,— весело промолвил Гаркуша, имея в виду сезонников,— какими вы себя там видите, в зеркалах? Что касается меня, то я уже вижу вас... по десятку на веревочке!

— И сколько ж таких десятков думаешь в этом году нанизать? — спросил Кабашный.

— Мне маловато перепало... Двести чубов поручено пригнать. А всего Фальцфейны будут набирать больше трех тысяч.

— Вот это куш,— причмокнул старик.— Три тысячи... А говорили, будто ваш паныч из Америки машин много выписал, на машины хочет переходить...

— Машины своим порядком... Сам паныч махнул в Америку с шерстью, выберет и машины на месте... Правда, знатоки наши подсчитали, что для хозяйства живая каховская «машина» пока что выгоднее, чем фабричная.

— Еще бы не выгоднее... Хорошего сезонника, Савка, ничем не заменишь... А какие на него затраты? Сущие гроши... Ишь сколько приплыло!

— Будет, будет улов, Лукьян Свиридович. Будем брать их завтра голыми руками!

— И с каждой весной все больше... Расплодилось народу — деваться уже ему некуда.

— Пусть размножается — найдем дыры!

— О, не говори, Савка... Скоро их столько будет, что и земля не прокормит... И нас с тобой проглотят... Великий мор надвигается на нас, Савка. В Писании прямо сказано...

— Что там Писание. Не верит ему наш паныч.

— Доучился!

— А что ж... Все европы прошел, а теперь еще и Америку пройдет.

— Думаешь, Америка его научит, как черные бури обуздать, как дожди вызвать?

— Может, и научит.

— А я тебе скажу, Савка, что все это кара божья. Все грешные, на всех ее пошлет, а начнет с нашей Таврии. Да иначе и быть не могло, потому что содом у нас тут, сборище всяких еретиков... Там басурман, там духобор, там немец-лютеранин. Кому здесь стоять за православие? Потому с нас и началось... Бураны, засухи, недороды, вода пошла вглубь. Были когда-то в степи и реки и озера, а где они сейчас? Попрятались, повысохли, мертвые пески надвигаются...

— Это потому, что земля стареет, Лукьян Свиридович.

— Кара, Савка, кара... За грехи наши ниспослано все это на нас. Зимой снега не увидишь, летом — бездорожье египетское. В давние времена тут, говорят, леса шумели, а сейчас, куда ни глянь, пустыня до самого моря светится. Также птица и зверь... Еще на моей памяти сайгаки, тарпаны в степях водились, а сейчас где они? Где байбаки, что свистели по всей степи? Неспроста они покинули Таврию, первые гибель почуяли...

— Тарпанов колонисты уничтожили,— возразил Савка.— За то, что их кобыл покрывали.

— Колонисты колонистами, а кара карой... Ну, пропу к столу.

Только сели, как ввалились два приятеля Савки, те, которых он посылал по какому-то делу.

— Чего же вы стоите, лоботрясы? — обратился Гаркуша к приятелям, которые, мрачно поздоровавшись, переминались с ноги на ногу у порога.— Садитесь... Это Гнат, сын Ивана Сидоровича Рябого, а это Андрущенко Тимоха с горностаевских хуторов, — отрекомендовал Савка приятелей, когда они, погремев стульями, наконец уселись за стол.— Ну, есть?

— Есть...

«Лоботрясы» добыли из карманов черные пузатые бутылки и молча выставили их на стол.

— Ты меня обижаешь, Савка,— запротестовал Кабашный, веселея.— Разве ж у меня не такая? Может, скажешь, у деда водой разбавлена?

— Это перцовка, Лукьян Свиридович... Задолжал мне здесь один человек... Садись и ты, Настя,— распорядился Гаркуша, наливая чарки.— Чувствуй себя с нами не наймичкой, а хозяйкой в хате... Итак, за то, чтоб хорошо ярмарковалось... Будьмо!

V

Ходит, раскрасневшись, Настя вдоль стола, убирает объедки, меняет посуду, касается как бы нечаянно дедова крестника своей пышной грудью. Савкины плечи словно не чувствуют этих прикосновений. Не до баловства ему сейчас. Сидит над жареным поросенком, глушит, не пьянея, чарку за чаркой, разглагольствует.

Самое большое наслаждение для Гаркуши за столом — чтоб дали ему всласть наговориться, чтоб было кому его слушать и чтоб сидели при этом у него по правую и по левую руку покладистые поддакиватели. Здесь все это было. Правда, Гнат заикается уже больше обычного, а второй подручный, Андрущенко, растрепав кудри, все нахальнее подмигивает посоловевшими глазищами в сторону Насти. Зато старик Кабашный слушает гостя серьезно, как на суде.

— Случается, к примеру, оказия в Каховку ехать, сезонников набирать,— говорил Гаркуша, обращаясь главным образом к деду.— Что нам скрывать — доходная, зо-

лотая поездка. Магарычи, хабаренция и всякое такое прочее... Каждый рвется поехать. Помощники управляющего — эти само собой, их право. А когда доходит очередь выбирать в поездку приказчика, тут и начинаются споры... Как только не старались они опозорить, оттереть меня в этом году! «Савка и смушки тащит, Савка и фураж уполовинивает, возами к отцу на хутор возит...» Ничто не помогло. Управляющий, конечно, тоже рад бы меня в ложке воды утопить, но остерегается, знает, что паныч Вольдемар дорожит Гаркушей...

— То-то и оно,— проскрипел дед, празднично поблескивая при свете лампады своим вспотевшим черепом.— Покровительство — великое дело.

— Верите, я и сам иногда удивляюсь, за что меня паныч так выделяет среди других приказчиков,— продолжал Гаркуша.— Если подумать, так что я для него, для нашего степного миллионера? Фальцфейнову шерсть знает весь мир, в Сенате у него рука... Что ему, казалось бы, от Савки Гаркуши, от этого гречкосея, от которого дегтем разит, который реверансов не умеет делать? Однако ценит, держит на виду...

— П-потому, что ты у нас г-голова, — заикаясь, льстит Гаркуше Гнат Рябой и мрачно лезет целоваться.— Д-дай я тебя чмокну.

Савка слегка отстраняет приятеля:

— Не дыши на меня луком. Будь здоров!

И, допив свою чарку, Савка с хрустом заедает ее луком.

— А зачем он в ту Америку подался? — спрашивает Настя о папыче.—Родственники у него там или, может, любовницы?

— Угадала, Настя,— улыбнулся Гаркуша.— У Фальцфейнов с Америкой давняя любовь. Водой не разольешь.

— У них там тоже ярмарки есть? — поинтересовался дед.

— Еще какие! Человеческий товар у них издавна в ходу. Они себе вместо сезонников негров-арапов навезли на кораблях из Африки, столько нагребли, что на весь век хватит... А в руках как умеют держать! Со своими они не цацкаются, как мы здесь. Чуть что — петля на шею и на дерево, вот и весь разговор.

— У нас для того и дерева путного нету,— пошутил Андрущенко и, поймав Настю за локоть, стал усаживать ее рядом с собой.

— При таких обычаях и дурень каши наварит,— опять заговорил приказчик.— А нашего тут пока уломаешь, семь потов с тебя сойдет. Не зря паныч Вольдемар старается подбить себе таких, как я. Думаете, нет у него здесь своего расчета? Знает, что Савка умеет подойти к сезоннику, сумеет стреножить его... На ярмарке не до реверансов, здесь как раз Савкин деготь подавай! В Каховке ему и присказка пригодится, и шутка поможет. Поеду — наберу за такую цену, что другие потом глаза вылупят. А все потому, что я сам гречкосей, с людьми не гордый. Знаю, с какой стороны подойти, по какой струне ударить... «А, полтавчане! Братцы! Земляки!»

Распалившись, Гаркуша произносит последние слова таким тоном, будто стоит уже где-то на площади посреди толпы батраков. Гнат Рябой, который, видимо, задремал, при восклицании Савки вскочил как ошпаренный:

— Кто? Где? Какие земляки?

Захохотала добродушно вся компания.

— Не кидайся, казаче,— успокоил Гната Кабашный.— Здесь не те земляки, что тебе мерещатся.

— Были раньше и у меня промахи,—продолжал Гаркуша, — но батько, спасибо им, научили, как надо ярмарковать... Теперь я держу линию не на мужиков, а больше на девчат и на подростков. Набираешь их за полцены, а работу спрашиваешь, как со взрослого мужика. Молодые, дешевые, здоровые, сил у них хватит, сумей только вытянуть. И бунтарей среди них меньше. Покапризничают, покричат, а чеченцами пригрозишь — и замолкнут.

— Почем же вы девчат набираете? — спросила Настя, поводя спиной, как от щекотки.

— За красоту — червонец надбавки! — выпалил Андрущенко.— Паныч только Савке доверяет горничных набирать...

— Тимоха, не спотыкайся,— оборвал его Гаркуша, который давно поджидал случая осадить приятеля, слишком уж распоясавшегося. Думает, наверное, что Гаркуша не замечает, как он, втиснув Настю между собой и соседом, то и дело пристает к ней с чаркой, чтоб пила, и как она иногда, сдерживая смех, дергает плечом, будто кто-то ее тайком щекочет. Все замечал, все запоминал Гаркуша, не собираясь ничего прощать... Но всему свое время.

— Скажите, какие же служаночки ему нравятся? — поинтересовалась Настя.— Чернявые или белявые?

— Определенно не такие, как ты,— буркнул дед,— потому что иначе давно была б уже там.

— Ну да, чтоб динамит подложили! Это ж правда, что у вас там какую-то дивчину насмерть завалило? — обратилась Настя к Гаркуше.

— Да это тот придурковатый Густав придумал... На что другое, так у него десятой клепки не хватает, а на это хватило.

— Из-за ревности все?

— А из-за чего другого? Горничную Серафиму наметил себе, а Фридрих Эдуардович отбил ее у него... Ну, Густав и решил им подстроить. То ли динамиту, то ли чего другого подложил, только весь флигель, в котором они легли, в воздух среди ночи подняло.

— Подумать только,— вздохнул Кабашный,— брат на брата из-за девки пошел!

— Вся Аскания проснулась от грохота. Сбежались сторожа, пожарники, а подойти боятся: может, еще рваться будет? Потом все-таки кинулись, вытащили из-под обломков голого Фридриха Эдуардовича, стали откачивать...

— А дивчина все там? — ужаснулась Настя.— Пана откачивают, а ей что — пропадать?

— Кто же знал, что она там... Уже когда пана откачали, признался он, что и девушка была с ним, сказал, чтоб искали... Вытащили, да поздно! Зато уж и повелел он похоронить ее с почестями, белый камень поставил с золотыми буквами... И родителей вызвал, полсотни овец им отвалил, чтоб молчали... Теперь поехал куда-то в Швейцарию лечиться.

— А Густаву что?

— Заслали в отцовский Дорпбург, живет теперь там вурдалаком.

— А говорили, что его в желтый дом отправили...

— Собирались, но потом на семейном совете решили, что много шуму будет, еще больше опозорятся.

— Позора боятся,— задумчиво промолвила Настя.— Белым камнем откупились... А что дивчине век укоротили, то ничего...

— Брат на брата,— снова покачал головой Кабашный и, помолчав, обратился к Гаркуше: — Ты мне вот что, Савка, посоветуй... Что, если подать прошение на высочайшее имя?

— Это по тому делу?

— По тому же.

— Гм, тонкая пряжа, Лукьян Свиридович, тонкая. Вряд ли что выйдет.

— Я многого не прошу... Пусть бы предоставили льготу пробивать колодцы до Перекопа... Ведь стоял я за веру, за батюшку царя... А то разве мыслимо: с потрохами вылетел в трубу.

Андрущенко, не удержавшись, коротко хохотнул под стол, будто чем-то подавился.

— Ишь смеются сейчас, как над блаженным... Смейтесь, заслужил!

Притих Тимоха, почувствовав себя неловко.

— Плакать здесь надо, а не смеяться,— неожиданно озверел Гаркуша.— Это как раз нас и губит! Мало того, что другие над нами смеются, давайте мы еще сами над собой.

— Простота,— сокрушенно покачал бородой Кабашный.

— Арапником надо выбивать из нас эту простоту! Нерасторопные, темные, недружные мы... Готовые капиталы, вместо того чтоб в дело вкладывать, в дымоходы затыкаем... Девок щекочем да затылки чешем, а другие тем временем нас на четвериках обскакивают!

— Ну, положим,—буркнул Тимоха, развалившись на стуле, как в тачанке.— У кой-кого из нас тоже четверики, как огонь...

— Дурень ты божий,— криво усмехнулся Гаркуша.— Слышишь звон, да не знаешь, где он... Сестра моя книжки из «Просвиты» выписывает, послушали б вы ее. Вся наша история там описана. Раздарила наши земли Екатерина графам да князьям, своим полюбовникам... И немцам, и грекам, и перегрекам — всем досталось, только нам, коренным, не попало!

— Так уж и не попало? — ехидно заметила Настя.— Кажется, есть где коня попасти...

— Помолчи! — прикрикнул на наймичку дед,— не твоего ума дело...

— Говорили когда-то батько: «Вырастай, Савка, большим псом, потому что маленькая собачка — до конца дней щенок». Так оно и есть... Они полжизни по столицам да по заграницам, а мы тут должны с отарами, с чабанами, с черными бурями... Из седла не вылазишь, плетки из рук не выпускаешь, сколачивая им богатство. Разве ж не

осточертеет? Неужели нам до самой смерти вот так все на побегушках быть у других, жить под чужими вывесками!..

Речь Гаркуши внезапно оборвалась на самой высокой ноте из-за досадного недоразумения, которое произошло на том углу стола, где между Андрущенко и Кабашным, разомлев, сидела Настя: Тимоха, дав под столом волю своим ручищам, вместо Насти спьяну ущипнул за колено деда.

— Настя,— возмутился дед,— не собаки ли завелись у нас под столом? То все по ногам топтались, а сейчас уже кусаются...

Гаркуша, разъярившись, поспешил выставить Тимоху за дверь,

— Поди на копей погляди... Понял?

Кое-как удалось замять конфуз.

Настя сидела пристыженная, сердитая, готовая к ссоре. Только Гнат Рябой спокойно дремал, клюя носом в тарелку.

— Трое братьев нас на один хутор,— вернулся погодя Савка опять к своему.— В гору растем, а вширь... Тесно уже нам становится!

— Так скажите своему Вольдемару, может, подвинется,— ужалила приказчика Настя.— У них же сто тысяч десятин.

— Придет время, Настя, и скажу, и подвинется. А может, и совсем с места сгоню!

— Дай боже нашему теляти...

— Ты у меня посмейся... Прорежутся и у нас зубы, дай срок... Не всегда нам у чужих в приказчиках ходить. Еще приеду я в Каховку не кому-нибудь нанимать сезонников — себе сотнями набирать буду... А сейчас только и слышишь, то Фальцфейны, то Штиглицы, то Аскании, то Дорнбурги, а где ж наш рундук, где Украина, я вас спрашиваю?

— Ох, если б услыхал паныч, что его приказчик замышляет!

Гаркуша на мгновение растерялся. Простое предположение Насти немало обеспокоило его.

— Ты, Настя, гляди,— как-то сразу протрезвел Савка.— Что слыхала, то забыла. Ясно?

— Об этом, Савка, не тревожься,— вмешался старик.— Это она с жиру сегодня бесится...

Гаркуша успокоился, но разговор после этого уже не клеился.

Вскоре в дом ворвался Андрущенко, растрепанный, встревоженный.

— Слыхали стрельбу?

— Какую стрельбу? — с ненавистью посмотрел на приятеля Гаркуша.

— Пальба где-то внизу, возле пристани... Будто из револьвера садят!

Компания притихла.

— Из револьверов, говоришь? — поднялся дед.

— Как будто... Шум, и собаки брешут.

— Это, наверное, опять фабричных ловят,— высказал догадку старик.— Повадились из Херсона наших пильщиков бунтовать. В страстную пятницу сотские уже совсем было схватили одного, да... удержать не смогли. Сами пильщики и матросы отбили.

— В Конских плавнях у них маевка была,— сказала Настя злорадно.

— Что-что? — переспросил Гаркуша.— Маевка?

— Это у них праздник весенний такой,—объяснил Кабашный.— Выезжают на лодках в плавни, вроде погулять среди зелени, пиво попить... А потом сразу выбрасывают красную хоругвь и речи под ней говорят...

— Опять, значит, поднимают голову,— нахмурился Гаркуша.— Мало им в пятом крови пустили... Так в стороне пристани, говоришь?

— Где-то там... И собачня брешет...

Вышли вместе во двор, стали прислушиваться. Храпели под возами заезжие, лошади хрупали сено. Никакой стрельбы уже не было, местечко спало. Чуть-чуть выступали из темноты силуэты окружающих площадь домов, магазинов, амбаров. Кое-где светились на столбах керосиновые фонари, отбрасывая слабые отсветы на землю. Всюду, куда достигали их тусклые отблески, земля была устлана народом. Разлегшись на свитках, подложив под голову узлы, вповалку спали сезонники.

Неожиданно прогудел на Днепре пароход — басовито, грозно, заставив Гаркушу вздрогнуть.

— Это какой?

— Херсонский...

И снова воцарилась тишина. Было тепло. Спала Каховка, разметавшись под звездами, под Млечным Путем, проходившим прямо над ней.

VI

В первые дни криничане ходили по Каховке, как в чаду. Голова кружилась от нестихающего шума этого вавилонского столпотворения. Выкрикивали водоносы, пиликали шарманки, ржали кони, охрипшими голосам перекликались наниматели... Все сливалось в горячий, одурманивающий гул...

В торговых рядах — горы товаров. Не было, кажется, такой вещи на свете, которую нельзя было купить на той огромной ярмарке. Штуки самых ярких материй развертывались перед глазами ошарашенных батраков. Огромными белоснежными пластами таяло на кулацких возах сало. Груды лакомств, диковинных кавказских фруктов и ароматных крымских табаков проплывали перед ошеломленными северянами. Новехонькие гармоники и резные ярма, посуда и упряжь, переливающиеся, как волны, шелка, косы самой лучшей стали — всего было вдоволь в этой переполненной, по-южному яркой Каховке, все горело на солнце, дразня иссушенное жаждой воображение, возбуждая страсти. Бери, покупай, если только есть на что!

Однако не очень разгонялся покупать сезонный люд, больше ротозейничал, бесплатно пользуясь зрелищем многочисленных ярмарочных соблазнов.

Признак безработицы тревожил людей, вынуждал атаманов все время держаться настороже. Народу силища сошлась этой весной в Каховку, никогда еще, кажется, не сходилось столько... Давно уже прошли те времена, когда сезонники были здесь нарасхват, когда, написав мелом цены на своих потрескавшихся пятках, они могли по целым дням отлеживаться в холодке, ожидая более или менее приличного найма. Придет паниматель, пусть посмотрит сначала на пятки, а зря человека не тревожь, не буди, — он, может, наперед высыпается за все таврические ночи, что придется недосыпать летом...

Прошли те золотые времена. Раскалились ныне каховские пески, не улежишь на них спокойно: жгут. Толпами ходят атаманы за приказчиками... А нанимателям того только и надо: всюду, словно сговорившись, предлагают одинаково ничтожные цены.

Временами то в одном, то в другом месте поднимается драка, сами сезонники публично чинят расправу над теми, кто, пренебрегая обычаями батрацкого товарищества, соглашается наниматься за бесценок. Если сам не умеешь

дорожить собой, так тут гуртом научат, кулаками разъяснят, чего ты стóишь. Жестоко бьют несчастных, споенных приказчиками новичков. Чтоб не лез в ярмо за полцены, чтоб не сбивал тем самым цену другим!

Криничанам в Каховке удалось осесть на берегу Днепра, у самой воды. С ними соседствовала большая артель батраков, прибывших откуда-то с Орловщины. Между обеими партиями быстро установились добрососедские, дружеские отношения. Орловцы, которые уже не впервые приходили на Каховскую ярмарку, охотно делились с криничанами опытом, предостерегая их от возможных промахов. Имея таких соседей, криничане сразу почувствовали себя в Каховке более уверенно.

— Надо держаться этих людей,— убедительно говорил своим Нестор Цымбал после знакомства с орловцами.— Они бывалые, с ними не пропадем.

Ощущая потребность в добром совете и поддержке, Нестор быстро побратался с вожаком орловцев —приветливым бородачом лет пятидесяти, которого все называли Мокеичем. Курени, стоящие рядом, общая батрацкая доля и веселые характеры— все сближало их. Особенно нравилось Цымбалу в Мокеиче то, что на него как будто совсем не действовала общая лихорадочная тревога, что в своих лаптях и истлевшей рубахе он ходил по ярмарке с таким видом, словно звенели у него в кармане веселые червонцы. Силой веяло от Мокеича, от его распахнутой загорелой волосатой груди. Не уступал дороги богачам на ярмарке — сами они обходили его. А где проходил широкоплечий Мокеич, там легко мог протиснуться и сухощавый, жилистый Цымбал.

Криничанские девушки, очутившись в Каховке, вначале совсем было оторопели перед этим взбудораженным ярмарочным морем. Боялись отходить далеко от берега, а если и отходили, то не иначе как крепко взявшись за руки, чтоб не потерять друг друга, не заблудиться в толпе. Встревоженные страшным, никогда не виденным наплывом безработных людей, они порывались наняться немедленно, за любую цену. Им казалось, что Цымбал действует слишком вяло, рассудительно, что за своими разговорами он все прозевает, оставит их без работы. Без работы на все лето! Об этом даже подумать страшно. Куда им деться тогда, что с ними будет? Мокеич брал Цымбала под защиту.

— Не горячитесь, девчатки, не дергайте своего атамана,— спокойно сдерживал он сезонниц.— В первый день всегда так, мы уже знаем этих живодеров. Они нарочно панику нагоняют, мутят воду, чтоб удобнее было в ней карасей ловить...

— А что, если совсем на работу не станем? — встревоженно воскликнула старшая Лисовская.— Гляньте, сколько рук ищут сегодня работы! И какая же это работа нужна, чтоб хватило на всех!

— Имейте выдержку, девчата! — весело твердил Мокеич. — Нас сюда сошлись тысячи, но ведь и им тысячи нужны!

Стали постепенно успокаиваться, подбодрились девушки.

— В самом деле, разве это конец? — первая повеселела Вустя.— Не станем на срок — поденно пойдем куда-нибудь... Ведь устроились наши ребята бревна из Днепра таскать... Нагонят и на нашу долю плотов,— закончила она шуткой.

Федору Андрияке и его приятелям действительно посчастливилось: лесной пристани дополнительно потребовалось некоторое количество грузчиков для срочных работ, и криничанские парни, без колебаний метнувшись вместе с орловцами на зов, попали в число отобранных. Пусть хоть на день, хоть на полдня, зато свежий, уже каховский заработок!

Девушки тем временем привели себя в порядок у воды, припарядились в воскресное.

— И охота вам была эти наряды в узлах тащить,— удивлялся Нестор, не без удовольствия осматривая своих умытых, посвежевших криничанок, которые в белых вышитых сорочках, в аккуратно залатанных сапожках павами прохаживались возле воды.

По крайней мере, хоть в этом повезло криничанам: вода своя. Хорошее, выгодное было место там, где они поставили свои курени, в одном ряду с сотнями других батрацких куреней, тянувшихся, сколько хватало глаз, по берегу — то больших, то меньших, сложенных из нарезанных в плавнях прутьев ивняка, покрытых где серяками, где армяками, а где заплатанными свитками... Особенно выгодным было это место сейчас, в нестерпимую ярмарочную жару. Наверху, где-то на песках, за ведро воды деньги дерут, а здесь пей бесплатно, плескайся сколько хочешь.

Данько Яресько, добравшись до воды, сразу кинулся купаться, жалея, что не захватил из дому рыбачьи снасти, а то мог бы еще и рыбы наловить.

Прекрасно было здесь, на Днепре! Широко, на много верст, раскинулся он, спокойно проплывая под солнцем к морю. Празднично сверкают чайки над небесно-чистой водной равниной, белеют парусники, снуют шаланды, подходят плоты... Несметная сила воды, чистой, свежей, сладкой, течет и течет куда-то к морю. Богат ею Днепр, богаче любого царя. Вся ярмарка, изнемогая от жажды, черпает из него пригоршнями, кружками, тысячами ведер, а в нем воды нисколько не убавляется — полные берега! Самые ловкие пловцы не могут достичь дна в его холодных глубинах. Как хорошо, что принадлежит он всем, одинаково приветливый и щедрый для каждого... Купаются в нем птицы, купаются люди, далекие плавни лежат на воде, распустив по волнам свои весенние, пышнозеленые стебли... В глубину — глубокий, в ширину — широкий... Чуть виден его противоположный берег с мрачными ветряками на холмах, с золотыми маковками бериславских церквей.

Каждый пользовался Днепром по-своему. Тот гнал по нему плоты, тот купался, а Ганна Лавренко смотрелась в него, как в зеркало, вместо разбитого в дороге. Сидела на кампе, наклонившись над водой, любовалась собой, вдевала в уши серебряные ландыши сережек.

— Что ты, Ганна, все прихорашиваешься, не женихов ли ждешь? — спрашивал Цымбал. — Хоть бы одну удалось выдать, может, на свадьбу позвала б, чарку поднесла...

— Отвяжитесь вы, дядько Нестор, не стойте тут...— досадливо отмахивалась Ганна.—Без вас есть кому над душой стоять.

Правду говорила Ганна: было кому стоять у нее над душой. Она имела в виду своих дядек — Оникия и Левонтия Сердюков, тех самых, которыми в Криничках матери пугали детей и с которыми она пришла на заработки. Черные, заросшие, мрачные, как два разбойника, они и в дороге держались в стороне от других криничан. Недолюбливала Ганна своих дядек, но вынуждена была слушаться их во всем: мать, провожая ее в Каховку, передала братьям полную власть над нею, поручила им беречь девушку от всяких напастей. За дорогу дядьки достаточно опротивели Ганне. Не раз стыдилась она перед односель-

чанами за своих нелюдимых опекунов, за их скаредность и даже за их огромные потрескавшиеся пятки, растоптанные от дальней ходьбы.

Очутившись в Каховке, Сердюки вдруг проявили неожиданное проворство, показав, что не такие уж они простоватые, какими раньше казались криничанам. Метнулись в один конец, кинулись в другой, вернулись вскоре с кучей нужных новостей, оживившиеся и уже как будто не такие черные. Порывшись в своих мешках и проверив, все ли на месте, кинулись опять куда-то наверх и через полчаса вернулись запыхавшиеся и не с пустыми руками: принесли в полах «яблоки» — сухие конские кизяки,— заблаговременно позаботились о топливе на вечер. Ссыпав это добро возле шалаша, отозвали племянницу в сторону, забормотали, как заговорщики.

— Тут есть где денежки зарабатывать,— говорил Ганне Оникий.— Тот самый решетиловский наймитюга, о котором болтал когда-то Нестор, в самом деле мог здесь сбить капитал...

— А чего же... Наши ребята уже, видите, устроились грузчиками на лесную пристань.

— Что там ребята,— энергично возразил Левонтий, который вообще не терпел Андрияку за его насмешки.— Повытаскают бревна — и опять без работы... Тут если б ведра раздобыть и заделаться на время ярмарки водоносом... Что ни ведро — то и пятак! Наверху там только и слышишь: «Кому воды, кому воды!»

— Я этого не умею,— отрезала Ганна, догадавшись, куда гнут дядьки.

— Научилась бы, Ганна! Здесь стыд отбрось. Здесь куй, пока горячо! Подумай только, какой дурняк попадается: возле Днепра Днепром торгуют...

— Дядя Оникий, я сказала: хотите — торгуйте, а я не могу.

— Ладно, воля твоя, только видишь... ведер нам не на что купить,— поддержал Оникия Левонтий.— Мы уже советовались между собой... Что, если бы ты продала свои сережки? Зачем им в ушах торчать? Один блеск и лишняя приманка для цыганчат: где-нибудь в тесноте они их у тебя с мясом вырвут.

— Не вырвут.

— Лучше, когда наторгуем, другие тебе купим.

— Не надо мне ваших других... Это у меня от крестной память.

— Какая здесь может быть память, Ганна? Это же ярмарка, здесь всех забудь, все пускай в оборот!..

— Хорошей науке вы меня обучаете...

— А ты как думала? Где идет торг, там нет ни брата, ни свата... Каждый о себе думает!

— Ну и думайте... Вы о себе, а я о себе!

— Не кипи, Ганна, мы дело тебе говорим... Глянь, сколько девчат без сережек ходят и ничего, живут...

Девушка, видать, окончательно вышла из себя. Сложила руки на груди, презрительно прищурилась:

— Господи, долго вы меня еще грызть будете? Отцепитесь, а не то, ей-ей, прямо в глаза плюну!

Впервые Ганна так резко разговаривала с дядьями. Почувствовала вдруг, что здесь, в Каховке, она может смелее вести себя с ними, меньше внимания обращать на их опекунскую власть.

Если каждый живет здесь только сам для себя, не заботясь о других, если нет перед жестокими законами ярмарки ни брата, ни свата, так почему она должна кого-то слушаться, позволять кому-то, пусть даже и родственникам, обманывать себя? И легче ли ей будет оттого, что ее обманут не чужие, а родные люди? Какие могут быть родственные отношения на этой ярмарке, где всех и все продают, где никто никому не доверяет!

Не удалось дядьям оставить племянницу без сережек, обернуть девичье украшение на свои делишки. Получив отпор от Ганны, Сердюки попытались было выманить капитал у самого младшего из сезонников — у Данька Яресько. Знали они, что при деньгах парень, имеет за душой серебряный полтинник, тот самый, который достался ему в свое время на свадьбе как выкуп за сестру. Несколько лет берегла Яресьчиха в скрыне на самом дне сыновнее серебро. Достала его только в день проводов, торжественно положила мальчику в руку:

— Это тебе, сынку, на счастье...

И вот теперь Сердюки вспомнили о том полтиннике. Покружив некоторое время вокруг парня, дружно приступили к нему с двух сторон:

— Одолжи...

Данько в ответ дернул головой, засмеялся:

— Не могу! Это ж мне на счастье!

Сестра Вустя, услыхав переговоры, налетела сразу, напустилась на Сердюков:

— Стыдились бы выманивать у мальчика последнее! Не слушай их, Данько, не давай... Лучше побеги, разменяй в рядах и хоть бублик себе купи!

— Что бублик! — вмешался в разговор Нестор.— Это такое: кругом объешь, а середину выбрось... Чего-нибудь более существенного надо. Я б на твоем месте добрый ломоть ржаного хлеба умял с горячим борщом...

Данько решил, не теряя времени, воспользоваться этими советами. В самом деле, не солить же ему свой капитал! Все впроголодь да впроголодь. Надо ж хоть раз когда-нибудь наесться вволю! Было, правда, как-то неудобно менять монету, данную ему на счастье, но, с другой стороны, разве не счастье после постной дороги, после сухарей и лука, от которых у него уже живот присох к спине, наглотаться наконец вкусной горячей еды, набраться сил, без которых человека ветром собьет в этой бурлящей Каховке! Конечно, Данько не такой, чтоб истратить свои деньги только на себя, он и сестре что-нибудь купит...

— Что тебе купить, Вустя?

— Мне... Мне лучше сдачу принесешь.

— Ладно.

Заложив полтинник за щеку, Данько вприпрыжку кинулся ярмарковать.

— Смотри ж не заблудись! —крикнула вдогонку сестра.

— Если собьешься,—громко добавил Цымбал,—сразу смотри, где Днепр, в ту сторону и пробивайся!

Взобравшись на кручу, парень на мгновенье застыл, пораженный. Что здесь делалось, что творилось! Шум, гам, жаркая адская теснота...

Широко раскинулась ярмарка — конца-края не видно.

Вот цыган расхваливает какую-то клячу:

— Добрая кобыла! День бежит — три дня лежит! Море перескочит — хвост не замочит!

А с другого конца доносится:

— У Попівці люди по копійці, а в Перекопі — по копі!..[1]

Вся ярмарка плывет, движется, торопится куда-то, как на пожар. В неудержимом движении бушует взволнованное людское сборище; без конца двигаясь неведомо куда,

---

[1] В Поповцах народ по копейке, а в Перекопе — по полтине *(укр.)*.

обливаясь потом, захлебываясь сухой пылью... Как безумные, толпятся люди, толкаются, налетают друг на друга, сослепу пробираясь зачем-то дальше вперед, растекаясь во все края, и в то же время их никак не становится меньше; вся ярмарка, многолюдная, шумливая, остается на месте, кружась, словно в бешеном танце, на этих раскаленных песках, под этим высоким, разогретым куполом неба.

Оторопев, стоял парень на высоком берегу, не отваживаясь броситься стремглав в страшный людской круговорот, который, заполнив площади, улицы, огороды, равнодушно топтал Каховку, шагая по ней, как по бесконечному заколдованному кругу. Что им всем до Данька? Если зазеваешься, тебя в одно мгновенье сомнут, затопчут, даже не заметят. Возбужденные, распалившиеся, о, если бы они могли посмотреть на себя со стороны! Куда они торопятся, куда спешат, обгоняя друг друга? Разморенные зноем, очумевшие от собственного крика, они сами уже хотели бы, кажется, вырваться из этой толкотни, облегченно вздохнуть, но какая-то сила не отпускала их отсюда — они как бы обречены были ярмарковать до конца, до полного изнеможения.

VII

Солнце жгло, как в пустыне. Ослепительный воздух, прозрачный, чрезмерно наполненный светом, больно резал глаза. Со звоном в ушах, со страхом в сердце стоял Данько с глазу на глаз с ярмарочной растревоженной Каховкой. Наконец, собравшись с духом, он метнулся в плывущую толпу, вошел, как иголка в сено.

Пожалуй, в тесноте ему оттоптали бы ноги, но на его счастье большинство здесь было таких же босых, как и он сам. А босой босому не страшен! Остерегаться надо было только богачей, ярмарочной знати, которая носила сапоги с подковами на подборах.

Вскоре Данька прибило, словно волной, к неподвижной, застывшей в напряжении группе людей, которые, горбясь, плотно окружили какого-то страшного на вид одноглазого рябого верзилу.

— Получай утешение, если в кармане деньги есть! — стоя посреди толпы, то и дело выкрикивал одноглазый хриплым басом.— Десять проиграет, один выиграет, на-а-а-летай!

Проскользнув между столпившимися, Данько неожиданно очутился возле рулетки.

Некоторое время он внимательно следил за игрой. Очень интересно было здесь. Со свистом вертелся разрисованный круг, отчаянно позвякивало серебро и медь, дружно проявляла свои чувства нависшая над рулеткой толпа, смеясь над неудачником и хором приветствуя того, кому повезло.

Рулетка постепенно увлекла Данька. Вначале ему было просто интересно следить за игрой, угадывать, кому посчастливится, а кому нет, а потом, поняв сущность игры, он грешным делом подумал, не испытать ли самому это рискованное, отважное наслаждение? Конечно, здесь легко проиграть, но ведь можно и выиграть!

«Один-разъединственный раз. В шутку. Для пробы,— говорил он мысленно, словно спрашивал у кого-то разрешения: не то у матери, не то у сестры, не то у самого себя.—Раз—и больше не буду. Просто так, чтобы проверить свое счастье!»

В самом деле, взрослые ведь играют, некоторые уже одалживают друг у друга, ставят последнее, почему же ему нельзя? Игра притягивала его, как таинственная пропасть, все больше искушая опасностью и риском. Глядя на проигрыши и выигрыши других, Данько постепенно проникался почему-то уверенностью, что ему повезет.

«А, будь что будет!»

Тут же разменяв полтинник, Данько поставил свою долю на кон. Решительность парня развеселила взрослых.

— Ну-ка, ну-ка, докажи,— подзуживали его со всех сторон.— Получай, человече, утешение... Отсюда либо паном, либо без штанов уйдешь!

Засвистел диск, залопотало по металлическим зубчикам гусиное перо, тоненькое и легкое, как Даньково счастье. И парень и все присутствующие приумолкли, посапывая, напряженно следя за движением пера.

— Один выиграет, десять проиграет! — зловеще каркнул рябой над самой головой парня.

Стоп!

Данько вначале не поверил собственным глазам...

Выиграл!!

Ошеломленный, стоял и молча смотрел на чудесное перо, которое как бы чувствовало, где надо было остановиться. Радость Данька была так искренна, так чиста и наивна, что она передалась другим присутствующим,

и даже его противники, которых он только что обыграл, не злились на свою неудачу.

— Забирай выигрыш,— сказал хозяин рулетки, но Даньку еще и сейчас не совсем верилось, что вся куча денег, лежащих на кону, отныне законно принадлежит ему. Не дождавшись, пока парень придет в себя, хозяин рулетки сорвал с него картуз и, свалив туда медяки и серебро, сунул все это счастливцу в руки. Картуз был тяжелый.

— Еще играешь?

Данько подумал, что отказаться сейчас от игры было бы нечестно.

— Играю,— ответил он глухо.

Азарт присутствующих нарастал. Данько, растрепанный, лопоухий, одеревеневший от напряжения, стоял с картузом в руке перед рулеткой и ясно чувствовал, как где-то под рубахой, за худыми ребрышками трепещет его сердце.

Завертелась рулетка, зазвенело перо, ахнули хором присутствующие: второй раз выиграл Данько!

— Э, так это счастливчик! — воскликнул один из игроков, подозрительно оглядев парня.— Нам с ним играть не с руки!

Качнулась толпа, зашумела, посыпались шутки, в которых, кроме веселья, слышались и удивление и страх:

— Берегитесь, хлопцы, счастливец среди нас!

— Ну-ка, где он, покажись!

Задние протискивались вперед, чтоб хоть взглянуть на необычного, редкостного для Каховки счастливца. А он, зажимая картуз, стоял возле рулетки, худющий, смущенный, в своей вылинявшей полотняной рубашечке и таких же штанишках, выкрашенных домашним способом — бузиной. Роса выступила у счастливца на облупленном широком носу, на выгоревших висках русой, давно не стриженной головы. Ничем вроде не приметный парнишка, обычный сельский пастушок — тонконогий, гибкий, как лоза, с ушами, прочно отдавленными картузом, с непокорным вихром на темени... Такой незавидный и такая легкая рука у него!

— Забирай! — показал на выигрыш рябой.

На этот раз Данько, осмелев, уже сам сгреб в картуз свою выручку.

— Еще играешь?

Еще б не играть! Теперь только и играть... Но не успел Данько объявить о своем согласии, как чья-то рука цепко, по-батрацки, схватила его за шиворот, и знатный игрок мгновенно очутился за толпой, сопровождаемый взрывом общего хохота.

— Надо, парень, и меру знать! — прозвучало ему вслед.

— Удирай лучше, пока не поздно!

— Тут, брат, везет-везет, да и перекинет!..

Сконфуженный, застыл в стороне Данько, выслушивая насмешливые назидания незнакомых сезонников. Но пережитый конфуз нисколько не уменьшил ощущения сказочной радости, переполнявшей его. Верил и не верил своему неожиданному счастью, не зная, как ему поступить со своим выигрышем. То сжимал, то снова раскрывал картуз, чтоб убедиться, что его казна на месте, что все это настоящее.

Что он теперь сможет купить? Ржаного хлеба? Борща? Бубликов? Все может, всю ярмарку закупит! Но нужно сначала рассортировать выигрыш, отделить серебро от меди, надежно рассовать в разные места... Часть в карман, другую за подкладку картуза, а остаток — узелком в платочек и за пазуху... Он теперь богач, ему надо остерегаться ярмарочной публики, особенно уркаганов. Но пусть только попробуют вырвать у него добычу! Руки перегрызет, а свое, законное, не отдаст.

Приводя в порядок свою казну, со счастливой настороженностью оглядываясь вокруг, Данько заметил поблизости подростка своих лет, который, видимо, уже некоторое время внимательно следил за ним. Внешне парнишка ничем не напоминал уркагана. Стоял одиноко, аккуратненький, чистенький, тонкобровый, в форменной тужурке и форменном картузике с кокардой, на которой были изображены крест-накрест коса и грабли. Почему грабли? Почему коса? Никогда Данько не видел ничего подобного на кокардах. Безусловно, парнишка этот не из босяков, скорее он похож на гимназиста. Но почему он так внимательно, с тоской в глазах следит за Данько? Что ему нужно?

— Ты чего? — с вызовом обратился к парню Данько.

Густо загоревшее, по-девичьи красивое лицо незнакомца дрогнуло в горьковатой усмешке.

— А что?

— Чего смотришь, спрашиваю?

— Глаза есть, вот и смотрю.

— Может, выиграть охота?.. Так иди, играй, там никому не запрещается.

— Играл уже я... раньше тебя,— снова горько усмехнулся парнишка.

Это заинтересовало Данька.

— Проигрался?

— Невезучий я... Да здесь и редко кому везет... Ты вот один, пожалуй, счастливый объявился на всю Каховку... Дважды подряд...

— У меня рука легкая, — уверенно пояснил Данько. — Я бы еще играл, да побоялись, не дали... За ушко да на солнышко! — засмеялся он счастливо.

— Это они тебя пожалели... А я трижды подряд прогорел. Зарекся — больше не играю.

Ребята помолчали.

— Что это у тебя за кокарда? — ближе подошел к собеседнику Данько.

— Эмблема нашей школы... Я в агрономической школе учился... Двенадцать верст отсюда по Мелитопольскому тракту.

— Закончил уже?

— Не закончил, а так... Наладили меня... Должны были выпустить агрономом, да передумали: агрономишкой выпустили. Наниматься пришел.

— За что же тебя?

— Да ну его,— махнул рукой агрономишко,— долго рассказывать...

Данько вдруг пожалел ровесника.

— Слушай, давай пообедаем! Может, я и твои деньги выиграл... Знаешь, где здесь борщи продают?

— Как не знать... Можем пойти, покажу.

Вскоре ребята, пробившись сквозь толпу, очутились на широком песчаном пустыре, где под открытым небом кипели подвешенные на треногах котлы, а рядом, под кустами, раскинулись самые дешевые батрацкие рестораци в виде узеньких засаленных столиков, за которыми обедал непритязательный ярмарочный люд. Те, кому не хватало мест за столиками, а таких было большинство, устраивались с мисками прямо на песке, не отходя далеко от котлов.

Как вкусно здесь пахло! Какие борщи кипели, танцевали над кострами, стекая наваристыми красными потеками по котлам! Дородные торговки похаживали возле

них с половниками, словно казаки с пиками. Слонялись поблизости и собаки, бездомные, ласковые, тихие, те, что смотрят на каждого заискивающе, не бросаются со злым урчанием, как хуторские цепные... Все тут нравилось Даньку. Стоял, втягивая широкими ноздрями запах вкусной поджарки, глотая то и дело набегавшую голодную слюну.

— Здесь у них на выбор,— объяснил Даньку его новый знакомый.— Можно заказывать или порцию, или «от пуза». Порция стоит три копейки...

— А «от пуза»?

— Это — гривенник.

Данько решил есть «от пуза».

Получив плату вперед, тетка налила ребятам по полной миске, дала по доброму ломтю паляницы. Присев неподалеку под чахлым кустом ивняка, зажав миски между колен, ребята дружно принялись уплетать.

Данько хлебал так, что и за уши его не оттянуть: соскучился по горячей пище. Новый приятель Данька вначале залюбовался, глядя, как тот артистически работает: откусит паляницу, взглянет на кусок (большой ли еще?) и пойдет молотить с прихлебом, прищелкивая языком, раздувая ноздри, энергично двигая крепкими челюстями. Проглотит хлеб, опять откусит и опять покосится на кусок — много ли осталось. Не часто, верно, видит этот полтавчанин кусок паляницы в своих руках...

Но и сам новый товарищ Данька не очень-то отставал. Даром что дует в ложку каждый раз, а уже выхлебал миску до половины... Непривередливые попались торговкам едоки. Муху заметят — выплеснут. Песок трещит на зубах — перетрут и песок!.. Еще бы не трещать здесь песку: ветер гуляет над пустырем, крутит в воздухе пылищу и ярмарочный мусор, заносит в миски и торговкам в котлы, чтоб больше было.

Опьянел от еды Данько. Сидел, и даже покачивало его. Должен был отдохнуть, прежде чем браться за добавку... Может, и довольно уже, но ведь заказал «от пуза»!

Вспотели оба, жарко. А оттого, что кухарки подкладывали поблизости под котлы камыш, становилось еще жарче.

Утолив первый голод, ребята разговорились. Хрупкий агрономишка, расстегнув тужурку и отказавшись от добавки, неторопливо рассказывал о себе. Зовут его Валерик, фамилия Задонцев. Родом он из Гурьевки, из при-

морского рыбацкого поселка, который, между прочим, славится тем, что из него вышло много первоклассных матросов и капитанов для Черноморского флота. Во всех портах мира знают гурьевских капитанов.

Очень туманно помнит Валерик своих родителей... Мать его была дочерью отставного боцмана, выучилась в городе на фельдшерицу и, приехав в Гурьевку работать, вышла там замуж за простого рыбака. Работая фельдшерицей, она в свободное время помогала мужу, нередко даже выходила с ним на баркасе в море, далеко за Тендру. Валерик был еще совсем маленьким, когда над их краем пронеслась черная буря страшной силы. Много гурьевцев погибло тогда в море. Погибли и родители Валерика.

Так он осиротел.

Несколько лет жил у своего деда, работавшего на маяке, а потом, когда земство открыло в степи под Каховкой агрономическую школу и стало свозить туда сирот со всей Таврии, очутился и Валерик в числе школьников, будущих агрономов (ибо, как известно, помещикам Юга нужны не только темные батраки, но и батраки образованные, интеллигентные). Правда, с малых лет он мечтал стать капитаном дальнего плавания, но быть агрономом — это тоже хорошо. Именно от агрономов он впервые услыхал, что с черными бурями человек может бороться, и решил посвятить этому всю свою жизнь. Учился только на высокие баллы, лучше всех тех ябедников-своекоштников, приказчичьих сынков, которые только и знали, что бегали к смотрителю с доносами на других.

К счастью Валерика, среди учителей школы подобралось немало честных, неподкупных людей, прекрасных агрономов, которые умели привить своим воспитанникам любовь к науке, и с некоторыми во время практических занятий где-нибудь в степи или на опытных делянках можно было поговорить обо всем открыто, душа в душу, и услышать от них такое, чего в классах никогда не услыхать.

Но за это начальство невзлюбило школу, возненавидели ее и окружающие хуторяне, называли рассадником крамолы. Вместо агрономов она, дескать, снабжает Таврию одними агрономишками-недоучками с волчьими билетами... Земство уже не радо было, что открыло ее на свою голову. В последнее время повадились в школу жандармы, делали обыски в общежитиях и даже на кварти-

рах у некоторых преподавателей. В прошлом году нашли у старшеклассников под матрацами запрещенные книжки и листовки, напечатанные на тайной машинке, которая называется гектограф... Вот шуму было! Одним — волчьи билеты в зубы, и катись на все четыре стороны, других, во главе с преподавателем истории, под конвоем повезли в Симферополь.

— А этой весной докатилось и до младших,— рассказывал Валерик.— Узнало начальство через какого-то навуходоносора, что группа воспитанников собирается в воскресенье на Днепр вроде купаться, а на самом деле на маевку в Конские плавни. «Ах вы ж, казанские сироты! Земство вас воспитывает, кормит, одевает, а вы все в лес смотрите? Захотелось вам митинговать с каховскими пильщиками? Ну идите ж, митингуйте всю жизнь!..» Пришлось уходить... Так я очутился в Каховке,— невесело закончил Валерик.

Его рассказ заинтересовал Данька. С раскрытым ртом слушал он своего опального приятеля. Черные бури... Села, которые дают капитанов для всего света... Митинги... Маевки!.. Обо всем этом Данько слышал впервые, не все было ему до конца понятно, однако своей необычностью и полутаинственностью еще больше очаровывало парня, а Валерик, только что выплеснутый из той среды, представал пред ним сейчас в новом свете, почти в героическом ореоле.

— Я еще никогда не видел черных бурь,— признался Данько.— У нас их не бывает.

— Лучше б их никому не видеть,— вздохнул Валерик по-взрослому.— Это так страшно! Будто ночь вдруг наступает среди дня, каганцы надо в домах зажигать... Гудит, рвет, мечет...

Стали серьезными юные батраки, задумались над судьбой хлебороба. Невдалеке от них обедали с водкой какие-то мужики, которые, видимо, только что получили за себя задаток. Их шумный разговор невольно привлек внимание ребят.

— Ох, не прогадать бы нам, — жаловался один из компании, пожилой, изможденного вида крестьянин. — Кабы нам этот смех да после боком не вышел!..

— Завел: «Если бы да кабы...» — недовольно сказал другой, оборванный, как арестант. — Теперь пятиться поздно, увязли.— И стал пробовать на зуб только что купленную косу.

— С чем ждать? — вмешался корепастый парень с засученными по локоть рукавами.— Сухари вышли, махорки ни крошки, ветер в карманах гуляет... Да и непохоже на то, чтоб завтра наш брат дороже стал!

— А если дождь? — снова заговорил тот, который боялся прогадать. — Дай сюда дождя — цены сразу подскочат!..

— Да будет вам! — принялся утихомиривать их сухощавый веселый старичок, опускаясь на колени перед бутылкой.— Дождь, он издавна глухой: не идет, где просят а идет, где косят... Давайте лучше разговеемся вот этой каховской, чтоб срок нам без напасти отбыть, а больше в нем и вовсе не быть!.. Так, ребятки? — подмигнул старичок Даньку и Валерику, заставив их смутиться.— За ваше счастье, сыпочки, за ваше будущее...

Собутыльники старика молча посмотрели в сторону ребят и снова принялись за свое.

— Интересно, что нас ждет? — промолвил погодя Данько, начисто облизывая по домашней привычке ложку после еды.— Может, когда мы вырастем, цены на нас будут вдесятеро выше?

Валерик загадочно улыбнулся:

— Может, тогда уже совсем не будет людских ярмарок, этих невольничьих рынков.

— А как же?

— А так,— засмеялся Валерик, сверкнув своими мелкими, как белые искры, зубами.

Тетка крикнула, чтоб поскорее возвращали миски.

Обед можно было считать законченным. На закуску Данько заказал еще по кружке воды и, напившись, почувствовал себя прекрасно.

— Ты знаешь,— доверчиво обратился он к товарищу,— я тебя вначале чуть было не принял за уркагана.

Валерик покраснел, но не обиделся.

— Тут их хватает... Во время ярмарки сюда даже одесские добираются...

— А сам ты их видел?

— Ого, сколько раз...

Данько выразил желание посмотреть на ярмарочную босячню, о которой он немало слыхал на берегу. Узнав от товарища, что это нетрудно сделать, он ощупал свои капиталы, надежно рассованные по тайникам, и решительно поднялся:

— Покажи!

— Только с ними надо быть настороже... Это такая публика, что на ходу подметки рвет...

— Ну, мне за свои подметки бояться нечего,— засмеялся Данько, подняв вверх босую костлявую ногу. — Пошли!

У этой ярмарки была своя быстрина, свои водовороты, и тихие заводи, и лиманы. В одной из таких заводей — в душном тупике, где вскоре очутились наши герои, — стояли рядами парусиновые, похожие на маленькие карусели грибки, а под ними за столиками чаевничали, спрятавшись в тень, местные воротилы, захожие монахи, торговцы и барышники. Они, правда, больше пьянствовали, нежели чаевничали, однако самовар для вида шумел на каждом столе.

— По нашему обычаю пьют водку до чая! — выкрикивал, обращаясь к торговкам, какой-то осоловевший усатый барышник, потрясая бутылкой над самоваром.

— Ты! Тише там,— разморенно усмирял его становой пристав, который, расстегнув мундир, солидно чаевничал неподалеку за отдельным столом.

Господин пристав тут же чинил суд и расправу. То и дело стражники выхватывали из ярмарочной гущи и подводили к нему то пойманных с поличным карманников, то залетных аферисток, то самоуверенных херсонских жуликов, державших себя с приставом свободно, почти запанибрата. Странные, забавные разговоры происходили между ними и господином приставом!

Выслушав, как полагается, донесение стражника о сущности вины того или иного мошенника, пристав останавливал на виновнике свой тяжелый оловянный взгляд.

— Ну-с, ты! — начинал пристав распекать преступника.— Попался уже... Наколобродил... Красный теперь?

— Нет,— отвечал тот спокойно.— Не могу краснеть, ваше благородие. Сегодня — синею.

— Ах ты, подлец, еще и не хочешь? Шутить со мной падумал? Красней, говорю тебе!

— Господин пристав, рад бы! Я для вас, сами знаете... Завтра покраснею, а сейчас разрешите синеть...

Поспорив, померявшись упрямством, они неожиданно быстро мирились.

— Ладно,— говорил пристав.— Синей, черт с тобой... Но помни: завтра не покраснеешь — в тюрьме сгною.

И, утершись рушником, давал стражникам знак этого отпустить и подводить следующего.

— С ума они сошли, что ли? — вполголоса спрашивал оторопевший Данько своего приятеля.— По-какому они разговаривают? Ничего не понимаю!

Оглянувшись, Валерик тихо пояснил:

— Господин пристав требует у него «красненькую», то есть десятку, а тот дает только «синенькую» — пятерку...

Данько засмеялся. «Вот это суд!» — подумал он, незаметно отходя от этого места, потому что, как ему показалось, некоторые торговки, собственницы самоваров, уже и на них стали поглядывать подозрительно. Такие толстухи, чего доброго, могут и его ни за что ни про что схватить и потащить на расправу — «синеть» и «краснеть»!

Коротко посовстовавшись, ребята нацелились на карусель.

Яркая, летящая, полная музыки, она уже давно привлекала внимание Данька, манила, звала к себе издалека. Как же не манить, как же не пленять! Карусель была настоящей вершиной этой огромной, необозримой ярмарки. В сиянии, в цветистом сказочном вихре мелькали там люди, летая на волнах музыки. Весь день летели они куда-то, как гордые, счастливые птицы, летели стремглав, оставаясь в то же время на месте.

Впервые в жизни Данько получил возможность испытать такое дорогое, редкое, неземное наслаждение. Видели бы его кричпчанские ровесники, как он, вольная птица, гуляет сегодня в Каховке! Играет на рулетках, обедает «от пуза», огромная, в звоночках, в бахроме, карусель — к его услугам... Он может сесть на коня или на лебедя, летать на нем хоть до вечера, и никто его не сгонит, и никто на него не накричит, потому что он уже сам себе господин!

Ребята выбрали себе пару добрых больших коней с красными гривами. Очутившись высоко над толпой, Данько на мгновение почувствовал, что он и босой, и нестриженый, и лопоухий, и что штанишки на нем куцые (полотно село от дождей), и что крашенная бузиной рубашка истлела у него на плечах, там, где пролегали лямки от мешка. Конечно, для такого торжественного случая и одежда полагалась какая-нибудь другая, дорогая, необычная — как у запорожцев, что ли. Однако никто на Данька и на его вид внимания не обращал, другие сезонники, которые толпились здесь, тоже были не в шелках, да и он сам скоро забыл о своей внешности.

Музыка уже играла, ретивый карусельный конь уже летел, и Данько, забывая обо всем и обо всех, в увлечении пришпорил его босыми запыленными ногами.

У Данька перехватило дыхание от неизведанного доселе полного счастья... Мелькало перед глазами движущееся море людских голов, поблескивало где-то далеко внизу сверкающее крыло Днепра, а навстречу полотняной истлевшей рубашонке с музыкой и ветерком, с нежным чарующим шуршанием летело небо праздничным голубым шелком.

VIII

Ночевать Данько затащил Валерика на берег, к своим. Разве там места не хватит? Разве подстелить нечего? Круча — под голову, Днепр — в ноги, а небом накроются!

По нраву пришлись ребята друг другу, решили не разлучаться — наниматься на сезон вместе.

В этот день вся ярмарка наблюдала, как заходит солнце. Может, «за стену»? Может, закат предскажет дождь этой жаждущей, забытой богом земле?

Но солнце, как и вчера и позавчера, снова садилось на сушу, опускаясь в мглисто-кровавое гнездо где-то за плавнями, за голыми заднепровскими холмами.

Вздыхали люди, стоя на каховских кручах, овеянные сухим багрянцем ярмарочной пыли. Было удивительно и страшно: столько дней с утра и до ночи свистят из-за горизонта ветры, но ни одной тучки не могут пригнать на таврическое небо. Освещенное закатом, оно было и сейчас от края и до края пустынно-чистым.

По дороге к своим Данько купил несколько связок бубликов и обвязался ими крест-накрест. Хотел угостить сестру, одарить девушек — пусть знают, что он гуляет сегодня.

К криничанам Данько явился героем дня. У Сердюков руки задрожали, когда парень зазвенел своим капиталом.

— Где ты... Данило... откуда?

— Угадайте,— дразнил их Данько.

— Казну ограбил или черту душу продал?

— Ни казны не грабил, ни души не продавал. В рулетку выиграл!

Это окончательно доконало Сердюков.

— Такая даровщинка!

— Счастливый ты у нас, Данько,— щебетали девушки, похрустывая бубликами.— В сорочке родился!

Подсчитали Даньковы медяки, их оказалось довольно много: около четырех рублей. Посоветовавшись с сестрой, парень решил, что завтра же пошлет свой выигрыш матери в Кринички.

— Порадуем маму: пусть знают, что не умерло в Каховке наше счастье!

Формальности, которые надо было выполнить на почте, Валерик брал на себя.

Валерик понравился криничанам.

— Какой хорошенький мальчик,— сказала Ганна Лавренко при встрече.— Жаль только, что загорел сильно, почернел, как цыганенок. А может, ты и в самом деле цыганенок?

Валерик вспыхнул.

— Он агрономчик,— объяснил Данько, считая, что тем самым возвеличивает друга.— Видите, кокарда? Он в агрономической школе учился... Пол-«Кобзаря» на память знает!..

— Девчата, гляньте! — воскликнула вдруг младшая Лисовская.— Кого-то бьют!

Драка происходила неподалеку, за орловскими куренями, люди со всех сторон уже сбегались туда. Побежали на шум и криничане.

На берегу, у самой воды, ватага разъяренных сезонников-киевлян жестоко избивала пожилого сутуловатого крестьянина, своего атамана, который якобы продал их сегодня за магарыч, пропил с нанимателями в трактире. Никто не заступался за предателя-вожака. Наоборот, некоторые из толпы, в том числе и Сердюки, выкриками подзуживали парней, чинивших расправу. Валерик тоже считал, что односельчане карают вожака по заслугам, но сама по себе сцена вызывала у него ужас и отвращение.

Тяжело было смотреть, как вожака топтали в песке, как он отползал к воде на четвереньках, помятый, окровавленный, еще как бы не веря, что его отпустили живым, оглядываясь на своих преследователей затравленным, одичало-виноватым взглядом. Дотянувшись до воды, он припал к ней и стал жадно, по-собачьи хлебать.

— Вот, дядя Нестор, смотрите... Не пропейте нас,— обратилась Ганна Лавренко к Цымбалу, когда криничане возвращались к своим шалашам.

Нестор, неожиданно обидевшись, ответил бранью на ее неуклюжую шутку, за которой чувствовалось и серьезное предупреждение.

Солнце закатилось, но было еще светло. По всему берегу сновали люди, встревоженно гудели толпы сезонников. Еще с полудня среди них то в одном, то в другом месте стали появляться днепровские матросы, грузчики и какие-то энергичные парни в кепках, призывая батраков держаться дружнее, противопоставить нанимателям свою силу. Их призывы еще больше подогревали общее возбуждение, царившее в толпах сезонных рабочих. Было от чего волноваться: совсем ничтожные цены выставили наниматели в этот первый день ярмарки.

— Круговой сговор у них! — звучали возмущенные голоса.— Пользуются тем, что нас много пришло, за бесценок хотят набрать!..

— Проучить их надо, людоедов! Они против нас сговариваются, а мы разве не можем против них?!

Грозное дыхание батрацкого берега постепенно докатывалось и наверх, к конторам нанимателей. По берегу стали все чаще расхаживать мобилизованные на время ярмарки сотские с бляхами на груди. Им было приказано выявлять и по возможности вылавливать «подстрекателей», но они возвращались наверх ни с чем, насупленные, уверяя, что подстрекателей найти невозможно, потому что их покрывает весь берег.

С заходом солнца пронеслась по шалашам весть о том, что на лесной пристани собирается совет атаманов Каховки. Кто созывает его, было неизвестно, но всем батрацким вожакам предлагалось немедленно явиться на сбор, где они смогут посоветоваться и сообща решить, как им держаться на ярмарке завтра.

Это было уже нечто новое, неслыханное для Каховской ярмарки.

Нестор Цымбал вначале даже немного растерялся: идти или не идти на совет? Никогда еще ему не приходилось принимать участие в таких важных (и, надо думать, опасных) сходках. Что из этого выйдет и кто все это затеял? Фабричные и грузчики с пристани поговаривали, что сходка будет иметь для сезонников немалое значение, что там якобы должна выступить с речью какая-то учительница из Херсона, как говорят, «правдистка». Что это за правдисты и какая у них вера? Стоять за правду? Неужели есть еще где-то на свете люди, которые могут

сочувствовать простому народу, думать о каких-то несчастных криничанах? Неужели действительно кому-то не безразлично, за какую цену Цымбал со своими впряжется в сезонное ярмо?

Сомнения обступили Нестора. Когда защищают имущих — это понятно: это выгодно. А кому какая выгода от криничан, чтобы вдруг ни с того ни с сего брать их под защиту?

Мокеич уже собрался идти и ждал только Нестора, а тот все еще мялся, застряв в своем шалаше, разыскивая среди торб вчерашний день. Девушки взволнованно подгоняли его, требовали, чтоб шел, если зовут.

— Мокеич идет, другие атаманы идут, и хлопцы наши где-то там, на пристани... Чего же вам бояться? — горячо подбадривала вожака Вустя.— Чем вы у нас хуже других? Ну, довольно вам стоять тут на карачках, светить заплатами на весь Днепр!

— Погоди, Вустя, дай подумать...

— Дорогой подумаете, а не в курене! Вылазьте, а не то вытащим...

Цымбал вылез, почесал за ухом.

— Давай, давай, земляк! — весело подгонял его Мокеич.— Без тебя схода не начнем.

Девушки, перемигнувшись, подхватили своего атамана под руки, шутливо толкнули его вперед:

— Идите! Не отвиливайте... Вас вон Мокеич ждет!

Несколько молодых матросов, проходивших в это время мимо криничанского куреня, тесной группой остановились поблизости, наблюдая с веселым любопытством, как девушки воюют со своим атаманом, выталкивая его на сход.

— Так его, девчата, так, поддайте старику паров! — смеясь, подзуживал девушек приземистый лобастый матросик в бескозырке.— Пусть идет и постоит за свой интерес! Не дрейфь, атаман, ложись на курс, коли что — мы поддержим! — И, повернувшись к товарищу, который стоял рядом с гармонью через плечо, матросик добавил: — Ударь, Леня, марш атаманам, чтоб с притопом пошли!

Вустя не отрываясь смотрела на матроса, которого только что назвали Леней. Какой богатырь! Стоит среди товарищей, как красавец дуб среди маленьких дубков... Как будто уже видела его где-то, как будто уже давно ждала этой улыбки, этого юношеского задумчивого взгля-

да, удивительно близкого ее сердцу... Может, он когда-нибудь приснился ей?

— Ну сыграйте же! — не сдержавшись, попросила матроса Олена Персистая и весело, нетерпеливо повела плечом.

Леня слегка развернул свою новехонькую гармонь, и она обратилась к Вусте живым, проникновенно-чарующим голосом. Между тем Цымбал решил, что музыка в его честь.

— Иду уже, иду! — засуетился он и, сдвинув шапку на затылок, сказал Мокеичу: — Так тому и быть, Мокеич, не отстану от тебя... Куда одна нога — туда и другая.

Пошли атаманы, двинулись и матросы вдоль берега, неся свою музыку другим девчатам.

Что-то похожее на ревность шевельнулось в сердце Вутаньки.

Вот-вот скроются за куренями матросы,— может, никогда и не встретит их. Стало почему-то так тоскливо на сердце!..

Словно догадавшись, о чем думает девушка, гармонист оглянулся на ходу, улыбнулся. Кому он улыбнулся? Девушки радостно переглянулись: кому?

— Вутанька, ох приглянулась ты матросу!

Вустя стояла в задумчивости. Верно, никогда уже больше им не встретиться, так и разминутся навсегда в шумной, многолюдной Каховке, но за эту прощальную улыбку она будет всегда благодарна ему. Хоть это останется с нею, хоть эта улыбка, похожая на стремительную весеннюю ласточку, которая, словно заблудившись, с разгона влетела девушке прямо в душу...

Пошли атаманы. Жаль было в эту минуту Даньку, что он не атаман, что его не зовут и даже будто бы не пускают туда маленьких... А как хотелось ему пойти вместе с атаманами на лесную пристань, послушать, как они там будут держать совет против нанимателей!

Однако скоро его внимание было привлечено другим. Где-то за Днепром, ниже Берислава, неожиданно рассыпался в небе праздничный фейерверк. Ганна Лавренко первая заметила его и восхищенно ахнула при виде такого дива.

— Ой, гляньте, сколько светляков в небе! Девчата, вы видите? Белые, зеленые, красные... Что это такое?

— В Казацком бенгальские огни пускают, — спокойно объяснил Валерик, ничуть не пораженный роем

разноцветных светлячков, казавшихся маленькими на расстоянии, какими-то мелкими на фоне еще светлого Днепра и непогасшего неба.— Наверное, именины у князя, а может, просто так развлекаются... У них там управляющий немец Шмидт, он все и выдумывает... Он для своих батраков даже намордники придумал.

— Как это — намордники? — повернулась к Валерику Вустя.— Намордники на людей?

— Ну да... Из парусины и таких планочек. Прилаживается по выкату шеи и завязывается крепким шнурком. Это для тех, которые работают осенью на сборе винограда, чтоб не ели дорогих сортов.

— А как же, если пить, к примеру, захочется? — поинтересовался Оникий Сердюк.

— Если пить надо, то идете к приказчику, он развяжет... А когда напьетесь — опять завяжет.

Ужаснулись девушки, услыхав, что кроется за панскими светляками.

— Умерла б, а не надела! — сказала Вустя возмущенно.

— Подумаешь, какая важная! — мрачно заметил Оникий.

Спасаясь от комаров, густо звеневших над головами, принялись раскладывать костры. Вдоль берега запылали огненные купины, запахло кизяковым дымом. Развели костер и Сердюки. В их мешках нашлось даже несколько сахарных бурачков, которые они тащили от самых Криничек и собирались сейчас испечь на ужин.

— Интересно, какого размера эти намордники? — конопатясь у огня, рассуждал Левонтий Сердюк.— Может, он не на всякую морду налезет?

— Это Шмидт предусмотрел,— усмехнулся Валерик.— У него их, говорят, полная кладовка... И на большого и на малого, всех размеров там есть...

— Сгорели б они все! — сказала Ганна Лавренко.

— Зачем все? — возразила Вустя.— Один намордник надо бы приберечь... Такой, чтоб пришелся на самого Шмидта.

— Верно,— поддержала Вустю Олена Персистая.— Сам придумал — сам пусть и носит!

— Как теленок! — засмеявшись, добавил Данько.

Представив себе вдруг панского управляющего в виде теленка в наморднике, вся компания развеселилась, беззаботно зазвенел девичий смех, привлекая к костру

людей из соседних партий — любителей повеселиться. Молоденький бакенщик, который зажег бакены и проплывал мимо, свернул в этом месте и ткнулся своей лодочкой в береговой песок.

— Можно, девчата, прикурить от вашего огня?

— А чего ж... Огня не жалко...

— Тоже бакенщик — без спичек!..

— Или у вас фонари сами собой зажигаются?

— Конечно, сами...

Улыбаясь, парень достал из кармана спички и стал закуривать. Постепенно с шутливого разговора перешли снова на Таврию, на условия найма и жизни сезонного люда.

— К Шмидту, девчата, не становитесь, — предупреждал бакенщик,— но и к тем, что в чумарках, тоже не торопитесь... На хуторах вам будет еще хуже, чем в имениях. В экономии хоть воскресенье есть, хоть ночью не заставляют работать, а у кулаков и по ночам, как в пекле. Он и сам не успет, и другому не даст. Особенно в жниво: днем в поле до седьмого поту выжмет, а наступит ночь — заставит на току при луне каменные катки таскать, молотить до зари или намолоченное веять...

— Кругом живодеры,— переговаривались девушки.— Кары на них нет...

— А новички,— разохотившись, продолжал бакенщик,— как раз чаще всего и попадают в ловушки к хуторянам. Потому что при найме он ходит по Каховке, как лис, своим, родным перед вами прикидывается. С тем пошутит, а с тем чарку выпьет, полтавские песни споет. Ну, думают, это свой, у него будет легче... Не верьте! Потому что он такой только до тех пор, пока к себе на хутор не заманит, пока резное ярмо не наденет, а тогда уже будет прижимать хуже татарина, все ваши песни забудет!

— Таких мы хорошо знаем,— вставила старшая Лисовская.— От резных ярем и сюда удрали.

— А у татар как? — допытывались Сердюки. — Какие у них харчи? Правда, что они сала совсем не потребляют?

— И к татарам лучше не попадать,— оттолкнувшись от берега, крикнул парень,— и в монастыри не нанимайтесь...

— Боже, — с болью воскликнула Ганна, — к кому же нам тогда наниматься? И здесь печет, и там горячо!..

Притихли, задумались кричичане. Небольшой был у них выбор!

Разгорался костер, меньше становилось комаров. То здесь, то там уже звенели первые батрацкие песни, постепенно нарастая, будто раскачиваясь. В одних слышалась печаль, тоска по дому, в других, наоборот, прорывалось что-то молодецкое, радостно-грозное, неудержимо рвущееся ввысь... Пели русские, украинские, молдавские песни. Людей в сумерках почти не было видно, и только по множеству костров и по песням можно было догадаться, как много их, обездоленных, собралось здесь, на берегу Днепра. Заслушались девушки, а некоторые и сами стали тихо подпевать...

Данько тем временем нашел себе интересную забаву: надумал перескакивать, как на Купалу, через огонь, вызывая своим баловством недовольство Сердюков.

— Куда тебя несет? — ворчали они, шарахаясь от огня, когда парень, разогнавшись с обрыва и едва коснувшись земли у самого костра, пружиной взлетал в воздух и перепрыгивал через огонь, легкий, весь облитый ярким пламенем, как чертенок.

— Брось эти шутки,— не без тайного любования братом сказала Вустя.— Сожжешь свои хромовые, как тогда с тобой быть?

— Не сожгу,— весело отвечал парень, повыше засучивая штанины.— Ну-ка, давай и ты, Валерик, попробуй. Это совсем не страшно. Только ботинки сними, да штаны подверни, да разбегись хорошенько...

Неожиданно где-то в районе лесных складов пронзительным хором залились полицейские свистки. Группы сезонников настороженно повернулись в ту сторону. Что случилось? Почему свистят?

Весь берег загудел, поднялся на ноги.

— Совет атаманов разгоняют!

— Не имеют права!

— Выручать!

Самые храбрые с шумом двинулись к месту тревоги. Данько и Валерик стремглав бросились на свистки.

Когда они прибежали к лесной пристани, от плотов как раз отчаливал освещенный фонарями парусник; вдоль борта выстроилось несколько казаков с обнаженными саблями, а за ними, между поднятыми парусами, стояла высокая растрепанная женщина с бледным, очень взволнованным лицом. Она сопротивлялась. Разъяренные казаки, видимо, пытались утихомирить ее, с руганью и угрозами толкали женщину, а она всякий раз опять вы-

рывалась. И на фоне парусов, гневная, вдохновенная, устремлялась на берег, запруженный атаманами, грузчиками, пильщиками и только что нахлынувшим батрацким людом.

— Вот как они с нами расправляются! Слова не дадут сказать! — сбращалась она к людям. — Но не сдавайтесь! Вас много, вы — сила! Держитесь организованно, и они с вами ничего не поделают!..

На берегу уже началась потасовка. Команда стражников, наступая от причаленных плотов, с хрипом лезла на людей, оттискивая их от берега, надсадно требуя: «Разойдись!» Некоторые стражники уже побывали в Днепре, и это им, мокрым, забрызганным грязью, еще больше придавало злости. Они лезли сослепу, беспрерывно свистя, били нагайками кого попало.

— На Лепе нас расстреливают, в Каховке нами торгуют! До каких пор это будет? Доко-оле? — взывала женщина с парусинка, который уже удалялся к обозначенному бакенами фарватеру.

Растревоженная толпа, отхлынув к лесным складам, вдруг уперлась, не поддаваясь дальше, обороняясь от ненавистных держиморд. В ход пошли доски, брусья, пылающие факелы... Данько, вскарабкавшись с Валериком и другими подростками на гору кругляков, тоже не замедлил ввязаться в общую суматоху, донимая стражников со своей труднодоступной позиции едкими, глумливыми насмешками.

— Эй ты, свистун! — крикнул он вниз дородному стражнику, который, раздувая толстые щеки, в самом деле рассвистелся внизу больше других.— Гляди, глаза на лоб вылезут!

Стражник, задетый, видимо, за живое, вдруг полез на бревна.

— Ты на кого «тыкаешь», сопляк? — хрипел он снизу.— Не видишь, что царь меня пуговицами утыкал?

Данько, конечно, не имел желания попадаться в лапы такому медведю и, юркнув с Валериком в темноту, через минуту поднялся уже на другом конце бревен, легко балансируя на них.

В конце концов стражники, выбившись из сил, решили, видимо, на все это махнуть рукой. Изредка пересвистываясь, они потянулись обратно к берегу, и шум стал спадать.

Освещенный парусник тем временем отплывал все дальше и дальше, вниз по Днепру. Данько, стоя с Валериком на бревнах среди толпы, восторженно следил за ним. Смотрел и наглядеться не мог! Есть, оказывается, люди, которые ничего не боятся и смело, всенародно упрекают власть имущих, заступаясь за таких, как он. Что они с ней сделают, куда отправят теперь?.. А как она смотрела на Данька, как рвалась через обнаженные сабли к нему, взволнованная, бледная, но непокоренная, бесстрашная, как мать, защищающая своих детей. Вырывала из глубины своего сердца удивительно правдивые, запрещенные всюду слова и бросала их прямо в сердце Даньку, словно те зерна при обсыпании на Новый год.

— Валерик, это она и есть, учительница из Херсона?

— Она не просто учительница, Данько... Боевая! Это, видно, настоящая революционерка, правдистка!

— Куда они ее упрячут теперь? В острог, в Сибирь?

— Наверное... А может, товарищи вызволят...

— Если бы!.

Не только Данько и Валерик — весь берег в это время следил за парусником, и люди были возбуждены до предела. Они выхватывали из костров пылающие головни и, назло стражникам, размахивали ими, приветствуя арестованную правдистку.

...Устроившись с Валериком среди криничан, лежавших вповалку, подстелив под головы каховские кручи, Данько долго не мог уснуть в ту ночь.

Смолкли последние голоса. Богатырски захрапел Федор Андрияка: он весь вечер болтал с орловскими ребятами, с которыми вместе таскал бревна из Днепра, вместе купал стражников возле плотов и сговаривался идти завтра вместе выбирать гармонь. Вот уже притих и Нестор Цымбал, перестав хвалиться перед соседями, как он сегодня якобы осмолил факелом усы какому-то настырному сотскому. Все затихало вокруг, погружалось в дремоту, а ребятишки, до предела взволнованные бурными событиями вечера, все еще вертелись под Даньковской свиткой, никак не могли уснуть. От Днепра тянуло свежей прохладой, плавни молодо пахли весной, звезды струились с небесной высоты тонким голубоватым светом. Размеренно плескалась внизу днепровская волна, где-то в камышах покрикивал коростель.

То, что пережили в этот вечер Данько и Валерик, еще больше сблизило и сроднило их.

Революционерка!

Это слово звучало для обоих как «орлица», было в нем что-то могучее, безгранично прекрасное, такое, что встречалось до сих пор разве только в песнях... И вот они видели ее сегодня вблизи, слушали ее жадно, когда она обращалась ко всем, и как бы к ним в отдельности, через ненавистные казачьи сабли...

Сейчас, после встречи с ней, обо всем, даже самом сокровенном, можно было говорить свободно, искренне, по-человечески, никого не боясь, открываясь друг другу с полным доверием, с каким-то облегчением. В наплыве откровенности Валерик признался товарищу, что и сам он в школе был причастен к кружку, собиравшемуся тайно на квартире у молодого преподавателя истории Глеба Афанасьевича Введенского. Как и эта женщина, Введенский был, видно, тоже правдистом, потому что твердо стоял за трудящийся люд, и даже газета, которую он давал читать кое-кому из воспитанников, называлась «Правдой»... В прошлом году забрали его симферопольские жандармы; наверное, зазвенел уже Глеб Афанасьевич кандалами в Сибирь, но те семена, которые он посеял среди учеников степной школы, живут, набухают и рано или поздно взойдут!

У Данька уши вытягивались от напряженного внимания, с которым он слушал товарища. Броненосец «Потемкин», Ленский расстрел, газета «Правда», выходящая где-то в далеком Санкт-Петербурге... Обо всем этом он слышал впервые, перед ним как бы наяву вставал рассвет, и новый мир раскрывался перед сельским парнем во всем своем сказочном величии... Какие-то особенные, бесстрашные, небудничные люди действовали там, в этом незнакомом мире, и все они были похожи на эту сегодняшнюю женщину, отважную и правдивую, и все носили гордое имя революционеров и готовились к революции, в которой Даньку слышалось что-то героическое, крылатое и вместе с тем грозное, тревожное, как набат среди ночи в Криничках. И днепровский парусник, и факелы вдоль берега, и гул криничанских колоколов, бьющих на сполох, — все это перекликалось, сплеталось между собой в распаленном ребячьем воображении, в призрачном мареве первой полудремоты, навеянной размеренным переплеском волн... Постепенно звездное таврическое небо затянулось пылающими тучами, по-осеннему застонали где-то леса, а он, еще совсем маленький, припав с сестрами к

окну, смотрит туда, где пылает Псел. Тревожно бьют колокола, шумит освещенный заревом пожаров лес, а мать всхлипывает, потому что отец где-то там, в бунтарских ночах, в кровавом зареве Заречья...

IX

На следующий день криничане нанялись.

Даже легче стало на душе: уже не будут стоять на распутье, не будут биться в сомнениях, отныне их дорога определена. Теперь, когда их спрашивали, не наймутся ли, говорили с достоинством, что нанялись, когда спрашивали куда, Цымбал коротко отвечал за всех:

— В Новые Искания.

Почти все другие партии тоже нанялись в этот день, к тому же за довольно сносную цену: вчерашний совет атаманов, хотя и разогнанный полицией, все же напугал нанимателей, сказавшись в какой-то мере на общей ярмарочной ситуации. Самый факт созыва совета был серьезным предостережением. Тревога среди нанимателей усилилась еще и оттого, что кто-то из батраков распустил по ярмарке слух, будто в Каховку с часу на час должны прибыть наниматели с Кубани, которые, кстати сказать, не раз уже перехватывали у таврических помещиков рабочую силу. Достоверность этих слухов никто не брался проверять — не до того было напуганным приказчикам. Каждый торопился обеспечить сезонными рабочими прежде всего себя, чтоб и в самом деле не оказаться в дураках.

Набор батраков происходил в этот день не совсем обычно. Необычным было хотя бы то, что утром никто из батрацких вожаков не побежал наверх к конторам нанимателей, пришлось самим нанимателям спускаться к Днепру, вести переговоры на месте. Это уже кое-что значило! Одно дело, когда ты, запыхавшись, бегаешь за приказчиком или, напрягая все жилы, тянешься к его окну, и совсем другое дело, когда он сам, как ищейка, спешит к тебе на берег, а ты стоишь с приятелями-атаманами у воды, спокойно куришь и поплевываешь...

В числе первых нанимателей появился в это утро на берегу и Савка Гаркуша в сопровождении своей поредевшей свиты, состоявшей сейчас, собственно, из одного Гната Рябого.

Об Аскании среди сезонников, особенно среди молодежи, впервые пришедшей в Таврию, уже ходило много разных слухов. Одни ругали, даже не побывав там, другие — с чужих слов — хвалили. Удивительное будто бы имение, ничем не похожее на другие таврические экономии. Среди безграничной голой степи вдруг, словно из марева, встает перед вами роща, но это не мираж, а настоящая зелень зеленеет, настоящие дубы шумят под степными ветрами... В этой роще — вода свежая, артезианы бьют, черные лебеди в прудах плавают, райские птицы поют в листве!.. Правда, заморские птицы, как известно, поют прежде всего для господ, но и тебе не воспрещено будет послушать вечером на досуге! Пусть птицы — это развлечение, но свежая вода, зеленый холодок во время зноя — все это для сезонника немало... Кроме того, и цену асканийский приказчик вынужден был давать сегодня не хуже, чем другие, — отчего ж и не наняться!

Прохаживаясь вразвалку между шалашами, Гаркуша оптом закупил несколько партий, и в то время, когда очередь дошла до криничан, у него уже было человек полтораста улова. Очутившись перед криничанскими девушками, приказчик не в силах был сдержать свой восторг.

— Ну и крали! — воскликнул он, картинно отставляя ногу с выглядывавшей из-за голенища кисточкой нагайки.— На таких покупатель найдется!

Здесь и в самом деле было на что поглядеть — на всю ярмарку был приметен этот яркий венок криничанских бесприданниц. Когда они, взявшись за руки, протискивались в ярмарочной толпе, то у всех парней невольно поворачивались головы в их сторону. Когда они проходили, казалось, что кто-то пронес снопы свежих, ярких, покрытых росою цветов. Такими стояли они и сейчас, выстроившись полукругом, только что умытые днепровской водой, принаряженные, веселые. Особенно выделялась нежнолицая, словно из яблоневого цвета, Ганна Лавренко, в сверкающих сережках, в черных свяслах кос, переброшенных на грудь. Сравниться с ней красотой могла бы разве только Вустя, Данькова смуглянка-сестра, хотя Вустя была красива другой красотой, той, которая наливается, как вишня в июне, и не боится ни ветра, ни горячего солнца, а оно в награду щедро кладет на девичьи щеки золотисто-вишневый загар, ложится мягким бархатцем на выточенную девичью шею, искрится живыми лукавыми искорками в карих очах... Ганна, привыкнув уже

к тому, что на нее обращают внимание, и сейчас стояла спокойно и гордо, как на выставке. Вустя же едва сдерживала в себе природную веселость, смех все время дрожал у нее на губах, вот-вот готовый вырваться наружу. А когда она улыбалась орловцам через голову нанимателя, то улыбалась сразу вся — и губами, и бровями, и золотистыми ямочками на щеках.

— Вы, девчата, вижу, при здоровье, при красоте!.. Тьфу-тьфу, не сглазить бы часом,— весело сказал приказчик и сплюнул через плечо на Гната Рябого.— Откуда такие будете? Миргородские, наверное, или решетиловские?

— Мы криничанские, — поджав губу, серьезно ответила Ганна Лавренко.

— Полтавцы, одним словом,— сразу определил Гаркуша, вкладывая в слово «полтавцы» свой особый, нанимательский смысл. Для него, как и для других каховских нанимателей, полтавчанами были и киевляне, и черниговцы, и выходцы из других губерний — все, кто доверчивее других попадал в ловушку, кого легко можно было обмануть.— Для нас, где самые дешевые и самые певучие,— это и есть полтавцы, это и есть земляки,— засмеялся Гаркуша.

— Тогда мы вам не земляки,— сказала Ганна строго.— Потому что мы хоть и любим петь, но и цену себе знаем.

— О, какие вы гонористые, ей-богу!.. С вами и пошутить нельзя... Но я от вас не отстану, не хочу, чтобы вы к татарам попали... Задатка еще ни у кого не брали?

— Еще не брали

— В Асканию пайметесь? Рай — не поместье, лучшего, девчата, вам во всей Таврии не найти. Лес, тень, вода артезианская, живые жар-птицы в саду... Пойдете — не прогадаете...

— Нам хоть бы к кату, лишь бы за хорошую плату,— усмехнулась Вустя.

— Насчет платы мы уж как-нибудь договоримся... Где ваш атаман?

Девушки указали на Цымбала и па Мокеича, которые стояли в стороне, внимательно прислушиваясь к разговору. Как ни прискорбно было Гаркуше, но переговоры пришлось вести не с одним, а сразу с двумя вожаками, потому что криничане и орловцы заявили, что они очень близкие земляки и решили паниматься только вместе.

С одним иметь дело всегда легче, чем с двумя, да еще с такими настойчивыми, как эти... Крутой был разговор. Несколько раз приказчик, выведенный из терпения их веселым упрямством, порывался уйти, но наниматели-конкуренты кружили поблизости, девушки цвели возле шалашей, как пионы, и Гаркуша вскоре возвращался снова, злобно уговаривая неподатливых атаманов, набавляя по рублю или по два, пока не сошлись наконец на той сумме, которую требовали сезонники. При осмотре Гаркуша не забраковал никого, все были здоровы, полны сил. Лишь Валерик вызвал у него подозрение.

— Что за хлюст? Ты зачем примазался к честным людям? — напустился он на парня.— Знаем вас, волчебилетников, знаем, за что вас из школы выгоняют! Не агрономы, а сорвиголовы там растут... Не возьму!

Так и не взял бы, но девушки дружно вступились за Валерика: если, мол, не всех берет, так они сейчас к другому наймутся. Выругавшись, приказчик вынужден был в конце концов уступить:

— Ладно... Твое счастье... Но смотри мне!

Через час Нестор уже вернулся из конторы с задатком. Предупредил, что сегодня кончается их ярмарочное житье.

— Идите нагуляйтесь вперед на все лето! Завтра на рассвете выступаем.

Цымбал с Мокеичем остались около куреней, а молодежь разошлась ярмарковать. Федор Андрияка вместе со своим новым другом орловцем Прокошкой и другими взрослыми парнями пошел пробовать ярмарочные гармони, а подростки, отделившись от них, двинулись разыскивать ученическое хозяйство Валерика, которое он на время ярмарки оставил на хранение у одного из своих каховских знакомых, какого-то корзинщика Баклагова.

По словам Валерика, Дмитрий Никифорович Баклагов был чудесный человек. Землемер по образованию, он некоторое время был пасечником при земской школе (там с ним и познакомился Валерик), занимаясь в то же время укреплением алешковских песков. Впоследствии он и сам поселился где-то на песках, принялся их укреплять лозами, а оставшись без копейки, вынужден был перебраться в Каховку и заниматься теперь плетением корзин из вербной лозы, наглядно доказывая своим ремеслом пользу от посадок лозы в алешковской песчаной пустыне. В уезде о Баклагове ходила слава как о чудаке, который борется с

привидениями, но Дмитрий Никифорович на это не обращал внимания, плел свои корзины, продолжая проводить на песках всякие опыты, которые, кроме убытков, ничего ему не давали.

— Баклагов — настоящий рыцарь науки,— говорил Валерик с глубоким уважением.— Жаль только, что господа из Алешковского земства знать этого не хотят, не оказывают ему помощи... Бьется как рыба об лед.

Жил Баклагов где-то на восточной окраине Каховки, на песках, подступавших к самому городу. Пробираясь к Дмитрию Никифоровичу, ребята наткнулись возле городского кладбища на так называемый ярмарочный лазарет.

Это было страшное зрелище. Под крестами, под чахлым кустарником, во рвах, прямо в пыли валялось множество больных, заболевших по дороге сюда или схвативших малярию и желудочные заболевания уже в самой Каховке. Один лежал, скорчившись, подтянув колени к груди, другой пытался подняться, становясь на четвереньки, третий стонал, глядя в небо опустошенным взглядом... Из всех жертв беспощадной ярмарки их положение было самым ужасным. Многолюдная толпа шумела возле них с утра до вечера, но никто не спешил им помочь. Со всей ярмарки стягивали их сюда, поближе к кладбищу, и дорога у них оставалась отсюда разве только что под эти покосившиеся кресты, на которые многие из них уже смотрели равнодушным, обреченным взглядом. Зеленые мухи роились над лазаретом, тяжелый смрад стоял вокруг.

Лежали вповалку, валялись во рвах, изможденные, покрытые струпьями, несчастные, зная, что все уже потеряно, что для ярмарки они теперь уже ничего не стоят: кто их наймет таких? Кому они нужны? Ни родных, ни близких нет на сотни верст кругом. Оставалось лежать и умирать, биться в корчах под беспрерывный гул страшной в своем равнодушии ярмарки, которая вертелась, веселилась, гремела бубнами, завывала шарманками, мелькала перед глазами пестрото яркими, как в бреду, красками.

Сердобольные сезонники помогали больным, чем могли: приносили им напиться, клали возле них краюхи хлеба... Но разве это могло спасти? «Наняться бы! — вот чего жаждали больные.— Выбраться б как-нибудь отсюда!..»

Никто, конечно, и не думал нанимать лазаретников, приказчики сюда и не заглядывали. Ярмарка не хотела знать больных.

С гнетущим чувством пробирались ребята вдоль кладбищенского рва, заполненного умирающими людьми. Впервые в Каховке Даньку стало по-настоящему страшно, когда он представил себе, что и сам мог бы оказаться в таком положении... Разве долго до этого? Хорошо, что у него здесь сестра, что все они держатся вместе, а если бы он пришел в одиночку и подхватил лихорадку? Что тогда? Ложись и помирай.

В одном месте, под наметом песку, на самом солнцепеке лежала покрытая серяком женщина, сухая, черная, с глубоко ввалившимися глазами. Склонившись над нею, сидела девочка лет двенадцати с маленькими косичками, с большой глиняной кружкой в тоненькой руке. Она, видимо, только что поила мать водой.

Когда ребята остановились поблизости, девочка, подняв голову, взглянула на них с таким отчаянием, с таким безграничным диким горем в глазах, что оно, казалось, уже переходило в ненависть ко всему на свете. «Как помешанная!» — подумал Данько, отступая.

Женщина время от времени поднималась на локте и, сдерживая стон, щелкая зубами, как от холода, цеплялась за прохожих, просила нанять ее дочь хотя бы за харчи.

— Она у меня такая работящая, — нежно расхваливала она девочку. — И гусей пасти, и детей нянчить, и заплатку положить — все умеет... Не смотрите, что она такая худенькая и вроде слабая,— поглаживала женщина девочку по голове.— Она у меня быстренькая, послушная, наймите, люди добрые!..

И падала в изнеможении, а через минуту опять силилась подняться.

— Мне уже недолго мучиться, а ее наймите, люди добрые, сжальтесь над сиротой, чем она виновата? Она уже не маленькая и все умеет делать... Наймите, наймите, люди добренькие!..

Казалось, камень могли бы растопить эти материнские предсмертные мольбы... У ребят сердца разрывались от жалости, от собственного бессилия. Какая-то пожилая сезонница, проходя мимо, бросила в кружку девочки монету. Ребята, сразу вспомнив, что и у них кое-что есть, не считая сыпанули в кружку тяжелую медь и серебро и бросились как можно скорее бежать отсюда, стыдясь своей маленькой подачки, оба с глазами, затуманенными

от горячих слез... Стиснув зубы, брели куда-то среди холмов, шагая в песках, как в белом сыпучем огне. Не хотелось ни о чем говорить. Было больно, жгло их обоих слепой, удушливой злостью...

X

Баклагова они застали за работой. Сидя в холодке у хаты, он заготовлял лозу для своих изделий. Умело, уверенно поблескивал нож в его руке. Казалось, его руки делают работу сами собой, независимо от воли хозяина, который в это время, видно, витал мыслями где-то далеко от ярмарки, далеко от лозы, от мазанки, от всего, что его окружало.

Данько представлял себе Баклагова не таким, он надеялся увидеть человека более приветливого и молодого. Вначале парню было даже непонятно, что общего мог иметь Валерик с этим пучеглазым, строгим на вид человеком, совершенно лысым, с усами Тараса Бульбы, с косматыми бровями какого-то темно-серого цвета. Когда Баклагов хмурился, о чем-то думая, то казалось, что весь его череп сдвигается наперед.

Тут же возле хаты-мазанки красовались и готовые изделия, выставленные для продажи,— аккуратные кошелки, сапетки и даже плетеные вазы и блюда. Однако торговать Баклагов, видимо, был не мастак, а может, просто не хотел. Со случайными покупателями, подходившими осматривать его товар, он разговаривал таким независимым тоном, словно хотел поскорее от них избавиться и опять остаться наедине с самим собой. Создавалось впечатление, что плетет он свои корзинки не столько для ярмарки, сколько для собственного удовольствия.

Валерика Баклагов встретил несколько любезнее, чем других. Спросил, почему тот не приходил ночевать, нанялся ли, поинтересовался затем судьбой двух других волчебилетников, с которыми Валерик заходил к нему накануне.

— Синицын устроился поваренком на пароход, а Чирва родственников встретил,— рассказывал Валерик,— к ним на лето нанялся... Теперь мы вот с ним,— указал он на Данька.

Баклагов внимательно посмотрел на парня.

— Откуда такой?

— Полтавчанин...

— По штанам вижу, что полтавчанин,— бузиной крашены... А откуда именно: с Ворсклы, с Орели?

— С Псла я...

— Та-ак.

Перебросившись словами, они некоторое время помолчали. Данько осматривал местность. Пески и пески... Рыжая, облупленная ветрами мазанка, без ограды, без стаен, поставленная на самом юру, лицом к Днепру, плечами к пескам, разбитым за эти дни тысячами ног и колес... Три молоденькие акации перед входом, песчаные наметы под самыми окнами... Не роскошно живет человек!

— Нанялись, говорите? — сказал Баклагов, не прекращая работы.— Куда же вы нанялись?

— К Фальцфейнам,— ответил Валерик задумавшись,— в Асканию.

— Что ж... ни пуха вам ни пера. Кстати, там приятель мой садовничает, Мурашко Иван Тимофеевич. Встретишь — кланяйся.

— Спасибо,— сказал Валерик, и они снова помолчали, однако их молчание было каким-то естественным, не тягостным ни для кого и даже сближало всех троих.

Потом, заметив, что Данько заинтересованно следит за его работой, Баклагов оживился и с неожиданно доброй улыбкой покосился на парня:

— Научиться хочешь? Это вещь нехитрая... У вас там, вдоль Псла, лозы хватает, там ей легче приходится, не то что здесь... Видишь, какую силу должна сдерживать, — кивнул Баклагов в сторону хаты, на кучи наметенного песку.— До самой Каховки уже дошли.

— Кто? — не понял вначале Данько.

— Пески. Пески, парень, на нас идут.

До сих пор Данько никогда не слыхал, чтоб пески куда-то шли, вместо того чтоб лежать на месте, как лежат они испокон веков в Криничках над Пслом.

— Разве пески ходят?

Простодушное ребячье любопытство, видимо, понравилось Баклагову.

— В том-то и дело, друже,— заговорил он, набивая трубку,— что пески бывают разные. У вас они лежат, потому что там леса, а в наших краях они летают, тучами передвигаются с места на место... Взять хотя бы этот песчаный пустырь, что перед нами... Барханы, как в пустыне! Пустыня и есть, но пустыня эта еще молодая, под пластами наносного песка здесь родючая земля спрятана.

Когда-то на этом месте, возможно, хлеба шумели, виноград наливался, а сейчас и молочай не выдерживает, все свертывается, горит...

— А в ноги печет, терпеть нельзя! — признался Данько.

— Еще бы не печь... В такой зной, как сегодня, голый песок раскаляется градусов до шестидесяти, становится вдвое горячее, чем воздух. В нем сейчас яйцо можно вкрутую запечь. Известно, что существование растения при такой температуре невозможно. И учтите, что перед вами только один кусок, крайний мыс так называемой Каховской арены летучих песков, а таких арен несколько, простираются они одна за другой до самого моря... Полгубернии замело, а мы ярмаркуем...

— В Чолбасы, говорят, опять какая-то комиссия заявилась,— вернул Валерик насмешливо.

— А, те комиссии! — вздохнул Баклагов.— Они приедут и уедут, а пески наплывают день ото дня, разливаются все дальше, заметают поля и колодцы, заносят села, угрожают городам...

— Что же делать? — воскликнул пораженный Данько, который до этого даже не подозревал, что пески могут быть такими опасными. — Куда от них бежать?

Баклагов горько усмехнулся в усы.

— Никуда от них не надо бежать. Надо помериться с ними силой, попытаться укротить их.

— Укротить? Такое чудовище?

— Песок страшен, пока он движется,— объяснил Баклагов,— пока течет, как вода. Все дело в том, чтобы остановить, закрепить чем-нибудь наши пески.

— Верно! — подхватил Данько, удивляясь, как такая простая и ясная мысль не пришла ему в голову.— Так почему же их не остановить?

— Пробуют, сыпок, закрепить, но это пелегкое дело...

— Дмитрий Никифорович уже много лет занимается посадкой лозы,— с гордостью сказал Валерик.— Один на один воюет против всей Каховской арены.

Баклагов помрачнел.

— Мои лозы, Валерик... Жизнь положу, а остановлю!..

Ребятишки смотрели на него, сияя от восторга.

У Данька от первого впечатления о корзинщике не осталось и следа. За это время Баклагов как бы стал шире в плечах, налился силой, и Данько удивленно заметил, какая у него крутая шея, какие мускулистые руки.

В какого-то необычайного богатыря превращался на глазах этот лысый человек с выпуклыми глазами, с упрямым большим черепом, человек, который, живя в убогой своей мазанке, занесенной чуть ли не по самые окна сыпучими песками, зарабатывая себе на жизнь плетеными корзинами, все-таки не отступает от своего, борется, как рыцарь, один против целой армии грозных летучих песков!

Одним из самых своих заклятых противников Баклагов считал Гришу-семинариста, юродивого из Алешек, которого в Каховке знал и стар и мал. Давно, в годы своей молодости, Гриша-семинарист тоже якобы ломал себе голову над алешковской проблемой, насеял было в песках желудей и даже дождался как будто всходов; но при первой буре, несмотря на щиты, Гришины посевы замело так, что и следа от них не осталось. После этого несчастья и вызванного им потрясения Гриша, по выражению алешковских молодок, «свихнулся умом». Отпустил бороду, завел патлы до плеч и пошел топтать таврические степи своими черными, как бы чугунными, ногами, проповедуя на папертях церквей, кружа по южным ярмаркам, с пеной у рта шельмуя каждого, кто пытался бороться с летучими песками. С диким упорством сеял он среди людей отчаяние и неверие, пугая их, страша их мрачными апокалипсическими картинами будущего, и то, что он сам пытался когда-то бороться с песками, теперь придавало его проповедям особую убедительность и зловещую силу.

— Это черный ворон Каховской ярмарки, — презрительно бросил Баклагов, когда Валерик завел было разговор о Грише-семинаристе.— Если б он проповедовал только против меня, с ним можно было бы не считаться. Но он проповедует... и против всех вас.

С Гришей-семинаристом ребятам довелось случайно столкнуться на этой же Каховской арене, когда, распрощавшись с Баклаговым и захватив хозяйство Валерика, состоявшее в основном из узелка с книгами, они пробирались между возами, чтобы выйти напрямик через пески к Днепру.

Солнце уже повернуло на запад, открытые холмы были еще полны вязкого зноя, скотина заплывала потом, сено, сбруя, шины колес — все было горячее, горячими были даже деревянные грядки телег. Это был час той общей послеобеденной дремоты, когда ярмарка, парализованная зноем, несколько сдерживала свой бешеный

круговорот, когда люди, вконец утомленные, прятались в тень, спасаясь от солнечного удара. В этот час на песках, несмотря на убийственный зной, толпа мрачных степняков, в широкополых соломенных брылях, окаменев среди возов, жадно и терпеливо слушала своего юродивого вещуна, который витийствовал перед ними, притопывая на чьей-то тачанке чугунными ногами.

Страшен был семинарист. Черные патлы тряслись, рассыпавшись гривой по плечам, глаза горели фанатическим огнем. Речь его лилась привычно и уверенно, усиленная всем его видом,— каждым движением растопыренных рук, желтым оскалом зубов, землистым, костлявым лицом, которое то и дело сжималось в судорожной, болезненной гримасе.

— Как-то проходил я по улицам древнего и очень богатого города,— рассказывал семинарист.

«Давно ли основан этот большой город?» — спросил я одного из горожан.

«Действительно, наша столица огромна,— ответил мне горожанин,— но мы не знаем, с какого времени она существует».

Через пятьсот лет я опять проходил там же, но на этот раз от цветущей столицы не осталось никаких следов. На ее месте лежали горы песка и пастух пас верблюдов.

«Давно ли разрушена ваша столица?» — спросил я пастуха.

«Ты, видно, пьяный,— ответил он мне.— Про какую столицу спрашиваешь? Ни деды наши, ни прадеды не помнят о ней. Тут всегда была пустыня».

Шелест прошел среди возов. Еще больше помрачнели степняки, впитывая страшную проповедь семинариста... Всяко бывает на свете... Все — тлен и суета.

— Через пятьсот лет я опять пройду здесь,— трубным голосом вещал семинарист,— и не найду уже следов этой многолюдной ярмарки. Желтая пустыня, сплошная арена мертвых песков будет лежать вокруг. Ни вас, ни вашей сатанинской Каховки не будет и в помине!

Какая-то тетка громко всхлипнула из-за телеги:

— О, горечко, о, боже!

И высморкалась в передник.

— Заметет деревья, заровняет плавни... Не будет дождей с неба, сухие черные бури вечно будут носиться над этим краем. Днепр? Искать буду Днепр — не найду.

О, проклятый в веках, увижу я пустое ложе Днепрово! Увижу, как на самой его середине потомки ваши ломами будут пробивать криницы!

Мороз пробежал у Данька по коже. Криницы посреди Днепра? Типун тебе на язык!

— Ворон... ворон и есть,— шептал Валерик побледневшими губами.— Скрючило б тебя!..

Как от черной напасти, кинулись отсюда ребята по пескам, торопясь к своим, в сторону Днепра. Под гнетущим впечатлением от карканья семинариста им, до предела взволнованным, казалось, что любимому Словутичу в самом деле угрожает опасность. Только очутившись наконец на одной из береговых круч, ребята снова посветлели, облегченно вздохнули: Днепр сиял перед ними, как и прежде,— живой, могучий, во всей красе весеннего полноводья.

XI

На рассвете следующего дня криничане собирались в дорогу. Умывались, разбирали шалаши, укладывали пожитки в узлы.

Зарумянился Днепр, слегка подернутый свежим легким туманцем: всходило солнце. Прощально куковали кукушки в далеких плавнях. Все меньше оставалось на берегу шалашей, просторнее становилось возле воды. Партия за партией поднимались сезонники по стежкам наверх, на дороги.

На шляху за Каховкой уже стояла наготове — ярмами в степь — длинная вереница асканийских мажар. Несколько приказчиков, в том числе и Гаркуша, гарцуя вдоль нее верхом на конях, отдавали распоряжения:

— Мешки в арбы, а сами — пешком! Быстрее, пока жара не ударила! Разбирайся, двигай!..

Заскрипели одна за другой мажары, плавно закачались в воздухе воловьи рога.

Пролетая мимо криничан, Гаркуша скользнул по ним таким чужим взглядом, словно видел их впервые. Чуть было не затоптал конем Данька, который не успел посторониться,— из-под коня выхватил парня вожак орловцев Мокеич.

— Бандюга! Прямо на людей прет,— выругалась Бустя вслед приказчику.— А вчера, как шут, кривлялся, через плечо плевал, чтоб не сглазить...

Орловцы и криничане, сложив свои пожитки на одну мажару, шли теперь вместе, перемешавшись, коротая путь в дружеских разговорах. Веселый Прокошка, завзятый гармонист без гармони, смешил девушек рассказами о том, как они с Федором Андриякой промышляли вчера в музыкальных рядах в поисках таких еще не существующих на свете гармошек, которые были бы им по плечу. Весь день они выбирали, перепробовали все гармошки, какие были на ярмарке, но так ничего и не выбрали.

— Все не по плечу? — смеялись девушки.— Ни одной подходящей не нашлось?

— Изредка попадались,— отвечал Прокошка.

— Почему же не купили?

— Из-за пустяка: купила в карманах не хватило. Зато напробовались досыта, наигрались от души!

— Теперь поститься придется, — грустно промолвила Олена Персистая.— Видно, уж до самой осени гармошки не услышим.

— Услышим,— подбодрил девушку орловец.— Мы там, в гармошечных рядах, с одним матросом познакомились... Он тоже в Исканиях, машинистом у них работает... Как раз приезжал на ярмарку трехрядку себе выбирать. Будет, говорит, музыка!

— Может, это тот, кого мы на берегу видели? — насторожилась Вустя, как птица. — У него была новехонькая...

— Может, и тот,— не стал возражать орловец.— Какой он из себя, Вустя?

Вустя просияла:

— Да как тебе сказать... Парень, как солнце!

— Ну, если как солнце, так это он! — воскликнул Прокошка, и молодежь в ответ на его шутку дружно засмеялась.

В нескольких верстах от Каховки, недалеко от дороги, возвышался седой, поросший серебристым чернобыльником курган. Поравнявшись с ним, Данько крикнул Валерику:

— Айда!

Ребятишек словно ветром вынесло на самую вершину кургана.

Незабываемая картина открывалась отсюда! По всем шляхам во всех направлениях от Каховки разлетались тачанки, ползли мажары, брели неисчислимые вереницы

людей... Только сейчас Данько по-настоящему увидел, чем была Каховка для этих бескрайних, залитых утренним солнцем степей, для ненасытных властителей Юга. Что б делали они, если бы Каховка вдруг встала на дыбы и не дала им людей? Что эта степь, эти просторы без человека? На целые версты растянулись по дорогам батрацкие партии, взбивая пыль. Скачут вдоль них приказчики на сытых конях, словно после страшного побоища гонят в плен тысячи невольников. Рассасывается понемногу ярмарка, оголяются каховские площади и прикаховские пустыри-пески... Кончается торжище. Одни — в степи, топчут босыми пятками тракты, другие, кто нанялся за Днепр, — на паромах, на пароходах туда, на берславские голые высоты.

Притихнет, совсем опустеет вскоре Каховка, все лето будет дремать над Днепром, ожидая осени и новой разгульной ярмарки...

— Когда-то этими шляхами,— промолвил Валерик,— только татарва гнала в неволю наших людей, а теперь...

Он не договорил. Приказчик, окликнув их снизу, погрозил нагайкой, чтоб не отставали. Догнав своих, ребята понуро побрели за арбами.

Жара усиливалась, уже припекало ноги. Данько попытался было уцепиться сзади за арбу, но погонщик, выполняя приказ Гаркуши, согнал его кнутом.

Встречный ветер обжигал, бескрайние степи утомляли взор.

— Сколько земли гуляет!..—переговаривались на ходу сезонники. — Если бы на эти просторы да воды вдоволь...

Даньку припомнилась вчерашняя встреча с семинаристом.

— Валерик, как ты думаешь, может когда-нибудь быть такое, как тот семинарист пророчил?

— Врал он нам, Данько... Никогда не пересохнет Днепр, пока светит солнце, не будут копать люди в нем криниц... Тарас Шевченко другое пророчил...

И, словно сквозь сон, неожиданно мягким, мечтательным голосом Валерик заговорил в сторону необъятной степи:

І дебр-пустиня неполита,
Зділющою водою вмита,
Прокинеться: і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим пташеством оживуть...

— Святые слова... — послышался поблизости задумчивый голос Мокеича.

Все больше нагревался сухой воздух. Все чаще батраки поглядывали вперед, высматривая колодец.

Марево потекло над степью.

Через час-другой из-за пригорка вынырнуло массивное белое строение с разными хозяйственными пристройками, поднимавшимися над зеленью молодого, аккуратно распланированного парка.

Это была та самая земская школа, в которой еще недавно учился Валерик. Словно недоступные помещичьи палаты, стояла она одиноко посреди открытой степи, невдалеке от дороги, окруженная парком и прилегающими к нему лесопитомниками, обнесенная (неизвестно против кого) каменным забором с белой капитальной аркой, выходившей прямо на дорогу.

Увидев знакомый двор, Валерик просиял, но тут же помрачнел... Сладкими радостями и горькой полынью повеяло на него оттуда, от родной школы! Светом первых детских сияний, болью первых незаслуженных обид, щемящей тоской безвозвратности растревожила она сейчас его чуткую душу. Матерью была или мачехой — разве это сейчас важно? Щедрой была на все, и на том спасибо... Этот молоденький парк он сам в позапрошлом году сажал с ребятами, вот в тех питомниках еще весной, совсем недавно, прививал молодые абрикосы, под этой аркой столько раз свободно проходил... Теперь ему туда, под родную изогнутую арку, вход запрещен, школьный звонок звенит уже не для него. Почему? За что? Только за одно намерение пойти в плавни, за отвращение к фискальству, за те «крамольные» чтения, которые одни и могли осветить перед ним дремучие дебри жизни?

С веселым безразличием смотрела школа на своего опального пасынка. Он приближался к ней в толпе обшарпанных невольников, с запыленной школьной кокардой на лбу. Коса и грабли крест-накрест — коси и сгребай теперь, парень, до самого горизонта!

Валерик надеялся, что около школы они остановятся напиться — школьное начальство тоже не зевало, промышляло водой. Однако Гаркуша отдал приказ: не останавливаться, двигаться дальше до хуторов, потому что в школе, дескать, вода тухлыми яйцами воняет. Какую-то женщину, которая кинулась было под арку к колодцу,

приказчик перехватил на полпути, завернул, пригрозил плеткой:

— Хочешь, чтоб колики напали? Не для того я тебя нанимал!

— Ишь, все-таки заботится о нас приказчик, — сказал кто-то удивленно,— беспокоится о нашем батрацком здоровье...

Но бывалые сезонники объясняли заботу Гаркуши совсем иначе:

— К отцовскому хутору будет гнать, чтоб папаша мог больше на воде заработать...

В школе был как раз перерыв. Ученики, столпившись под аркой, с интересом осматривали сезонников, которые проходили мимо.

— О! Поглядите! — вдруг крикнул кто-то из школьников. — Задонцев наш там! Эгей! Валерик! Ты куда?

Валерик, горько улыбнувшись, помахал однокашникам на прощанье рукой и ответил уже по-батрацки:

— В Новые Исканиа!

XII

В белом атласном платье сидит Софья Фальцфейн в парке, в беседке, принимает гостей.

Беседка стоит на высоком холмике, насыпанном в одном из самых живописных уголков ботанического сада, вблизи большого пруда, обрамленного по берегам искусственными гротами и зарослями тропически широколистной пышной зелени. Дикие утки, магеллановы гуси спокойно плавают на водах пруда. Грациозной группой застыли на островке фламинго. Отраженные водой, они как бы залюбовались своими тонкими шеями, длинными, стройными ногами. По дорожкам парка свободно похаживают надутые фазаны, сверкая на солнце тяжелым пурпуром, горячим золотом оперения придавая всему окружающему налет фантастичности.

Отсюда, из высокой беседки, виден почти весь аскапийский парк. С востока над парком, как зубчатый бастион, мощно вздымается кирпичная водонапорная башня, выстроенная в стиле средневековых рыцарских замков. Утопая в зелени, белеет господский дом с открытыми окнами в сад, за ним, словно гигантские черепахи, поблескивают черепицей другие строения экономии —

коптора, флигеля для гостей, экипажные сараи... Сквозь ветвистые деревья светится под солнцем слегка взволнованное ветром необозримое море ковылей.

В степи бушует весна. Цветет ковыль, звенят-переливаются жаворонки. Над Асканией плывет аромат степи, цветов, трав, распаренных щедрым южным солнцем.

Сегодня у Софьи Карловны гостят мадам Шило, жена бериславского городского головы, и преподобная Лукерья, игуменья Заднепрянского монастыря. Обе были на ярмарке в Каховке, и оттуда занесло их в Асканию — прибыли навестить своего кумира — Софью Карловну.

Монотонно шумит поблизости искусственный водопад. Журчат фонтаны. Гостьи, лакомясь жареным миндалем, чинно беседуют с хозяйкой, главным образом на духовные темы.

— Хотела я вам, Софья Карловна, одну вещь посоветовать,— говорила дородная, пышно одетая мадам Шило.— Вместо того чтоб жертвовать им тысячи на колокола, лучше приобрести бы нашу бериславскую церковь Вознесения. Старинная, хорошо отделанная, историческая.

— Не такая уж она историческая, сестра,—недовольно отозвалась игуменья. Суровая, с птичьим носом, она похожа скорей на петуха, чем на женщину.

— Кому же лучше знать, историческая она или нет,— слегка обиделась мадам Шило.— Ведь вам хорошо известно, что муж мой происходит из запорожской старшины, и я сама из рода Скоропадских. Историческая, что вы там ни говорите! Без единого гвоздя! Еще во времена матушки Екатерины перевезли эту церковь на плотах по Днепру из Переволочны, из-под Кременчуга, и поставили там, где царица повелела. С тех пор и стоит в Бериславе на холме. А зачем ей там стоять? Разве в нашем Бериславе кто-нибудь по-настоящему разбирается в старинной украинской деревянной архитектуре? Купите, ей-богу, купите, Софья Карловна! Для вашей прелестной Аскании такая церковка будет только украшением.

— А как же ее перевозить по степи? — промолвила после паузы Софья Карловна, обмахиваясь веером.

— На волах,— живо объяснила мадам Шило,— в разобранном виде...

— Растрясут, переломают,— грустно ответила Софья Карловна.— Разве за ними углядишь? Такой народ пошел, что только и норовит, как бы тебе досадить.

— Истинно так, сестра,— подхватила игуменья.— Не боятся ни греха, ни кары... Сущие антихристы... На вербной неделе приходит к нам в монастырь какой-то парнишка, учтивый на вид, смирный. «Я маляр-художник, нет ли у вас работы?» Надо было кое-что подкрасить перед пасхой — взяла. Ладно. Просит дать ему кого-нибудь для подсобной работы, дескать... И попутал меня в ту минуту нечистый! Сама направила к нему послушницу Наталью, молоденькую, диковатую, смазливую лицом. Проходит день, и два, и три — как будто ничего, рисуют... Потом вдруг доносят мне: согрешила Наталья с художником! Мы все в гнев, в крик: немедленно выгнать негодницу прочь из обители! Выгнать, но на прощанье покарать нашим монастырским судом! Ну, известно, как мы караем: кладем грешницу, как в сельской расправе, на скамью ничком, одна сестра садится ей на шею, другая на ноги, а остальные, проходя мимо, должны розгами как следует стегать виновницу по оголенному телу. На сей раз сестры мои особенно злились: как же, даже не разговевшись, перед самой пасхой посмела! У, брызгала б она кровью, бесовка, на куски рвали б ее белое тело — я уж их знаю. Старые девственницы особенно злы на грех, сами ходили в плавни резать прутья. А он, босяк, стоит себе да посмеивается. «Не имеете, говорит, права карать, потому что она уже не ваша, она — моя!» Потом любовницу свою под руку — и был таков...

Мадам Шило, не удержавшись при этих словах, засмеялась, Софья тоже развеселилась. Только игуменья смотрела укоризненно, видимо не понимая причины их оживления.

— Это варварский способ так наказывать,— сказала погодя Софья.— К тому же вы сами и виноваты: зачем было молодую девушку подвергать таким соблазнам? Ведь не каждая в ее годы может устоять против искушения настоящей любви... По-моему, надо было кого-нибудь из старших приставить к художнику.

— Поди угадай, что он за штука,— буркнула игуменья.— Нет, сечь их надо, сечь! — закончила она решительно.

— Да что вы хотите от художника,— сказала мадам Шило.— На то он и художник... Вы лучше посмотрите на своих братьев из мужского монастыря: ходят выпивши по Каховке и сезонниц щупают...

— Мадам Шило! — воскликнула Софья.— Как вы выражаетесь...

— Простите...

— Прошу, продолжайте...

— Ах, я уже забыла!

— Про монахов, про сезонниц...

— Ага: самых красивых стараются нанять. За красоту — червонец надбавки...

— Ужас! — сказала Софья.— Что только там творится, на ярмарках...

— Вакханалия, Софья Карловна, настоящая вакханалия,— понизив голос, быстро заговорила мадам Шило, ставши вдруг похожей на болтливую торговку.— Берег бунтует, полиция с ног сбилась: агитаторов развелось, как не перед добром... А в балаганах тем временем вино целыми ночами льется, музыканты не умолкают, прасолы и крымские мурзы гопака отбивают с гулящими девками... На что уж солидные люди — и те с ума посходили... О Лукьяне Кабашном слыхали?

— Это тот, что в трубу вылетел?

— Он самый... Напился, нанял себе ораву детворы, приказал, чтоб дурнем его публично дразнили... И смех и грех. Нацепил через плечо торбу с лакомствами, идет по ярмарке, как апостол, а каховская ребятня со всех сторон на него: «Дурак Лукьян, что чурался банков!», «Дурак Лукьян, что прятал деньги в дымоходе!». Каждому крикуну дает пригоршню конфет, а кто громче других выкрикнет — тому две.

— Спасен будет тот, кто держится дальше от этого сборища нечестивых...— подняла очи горé игуменья.— Да не проникнет языческий дух каховского торжища в вашу благословенную Асканию. За сие молюсь.

— Не напрасно, Софья Карловна, вашу Аксанию называют земным раем, — подхватила мадам Шило. — После каховской толчеи здесь и в самом деле отдыхаешь душой, забываешь о всех мирских тревогах... Не понимаю тех святых отшельниц, которые выбирали для своих молитв разные пещеры и пустыни... По-моему, буйная эта зелень, журчащие фонтаны и таинственные гроты вашей милой Аскании не меньше располагают к божественности...

Поднимая хозяйку над святыми отшельницами, мадам Шило била прямо в цель: она знала, что Софья Карловна тоже мечтает стать святой. С некоторых пор об этом не

совсем обычном намерении Софьи Фальцфейн заговорила вся помещичья Таврия. Желание стать святой зародилось у Софьи после того, как она отпраздновала свое пятидесятилетие и убедилась, что самые лучшие парижские белила уже не скроют морщинистой шеи, не вернут моложавость обрюзгшему лицу.

...Как-то в засушливую пору Софья, посмотрев на барометр, выехала в степь. На глазах у крестьян она стала бить поклоны, моля небо послать дождь на таврические земли. В тот же день как раз выпал дождь, и слухи о том, что его вымолила Софья, разнеслись по всем окрестным селам и хуторам.

Монастыри Юга, подхватив эти слухи, охотно пошли навстречу Софье в осуществлении ее странного каприза. Кому же быть святой, как не ей? Лютеранка, принявшая православие, раздает налево и направо пожертвования... Властительница степной империи, самая богатая и самая распутная в этих краях, она, переборов на склоне лет многочисленные земные искушения, целиком отдалась ревностному покаянию и молитвам. Правда, злые языки поговаривали, что совсем недавно Софья нажила себе с каким-то иностранным туристом дурную болезнь и вскоре заразила ею — одного за другим — нескольких своих кучеров. Дело темное — поди проверь,— но если даже и так, то разве это может служить препятствием для Софьи Карловны в достижении ее благолепной мечты? Наоборот! Выходит, что она еще и мученица к тому же!.. Заднепрянский женский монастырь, которому Софья подарила ореховый, разукрашенный чистым золотом иконостас, первым взялся объявить Софью святой и воздвигнуть ей каменный склеп под самым алтарем.

Софье не очень нравились разговоры о монастырском склепе. Не хотела она лежать и в асканийском фамильном склепе рядом со своими предками-лютеранами. Она хотела быть похороненной романтично, где-нибудь на высоком древнем кургане среди своих владений, в шелковой заповедной степи. Пусть бы приходили к ней, романтической таврической святой, красивые молодые пилигримы откуда-то из Рима и Парижа и у ее могилы испытывали различные метаморфозы, которые в православии называются чудесами... А вообще больше всего хотела Софья нигде не быть похороненной, как-нибудь обойти эти идиотские склепы и приобрести лавры святой еще при жизни.

Однако в последнее время переговоры о причислении Софьи Фальцфейн к лику святых затихли. Уже не только монастыри, но и церкви претендовали на ее капиталы, требуя от будущей святой все новых и новых пожертвований, в частности на церковные колокола, которые, расколовшись во время грозных набатов 1905 года, до сих пор дребезжали и в Чаплинке, и в Каховке, и во многих других селах и местечках Таврии. С колоколами Софья не торопилась, заявив, что она вряд ли будет в состоянии заменить их по всей Таврии, да и где в конце концов гарантия, что неугомонные степные сорвиголовы не расколют их снова?

Где-то в церковных верхах дело встретило неожиданное сопротивление, но желание стать святой так и не оставило Софью. А сегодняшние гостьи, преданные ее оруженосцы, заинтересованные в будущей святости Софьи, как раз всячески поддерживали ее притязания на золотой нимб.

— Земной рай! — вздохнула Софья Карловна.— Вы чересчур щедры в своих комплиментах, мадам Шило... Для меня Аскания не столько рай, сколько тяжелая ноша, которая требует много усилий, нервов и истинно христианского терпения... К сожалению, все меньше становится людей, на которых можно положиться... Представьте себе, что даже табунщиков мы вынуждены теперь набирать исключительно из конокрадов. Парадоксально, но факт... Только бывалый конокрад, хорошо знающий уловки своей братии, может надежно уберечь табун.

— Мудрый расчет,— заметила игуменья.

— А если и не устережет, то быстро потом разыщет — знает, где прячут... У них один способ прятать: свяжут стригуна или молодую кобылицу — и со всех четырех в ковыли...

Гости знали слабость Софьи: издавна любила лошадей. До сих пор разъезжает большей частью в карете или просто в тачанке, оставляя новинку техники — автомобиль — на утеху сыновьям.

— Но я далека от того, чтобы жаловаться на свой крест,— смиренно продолжала Софья Карловна.— Даже за горести, за муки, которые она мне причиняет, я люблю ее, нашу милую Асканию... Есть в ней и в самом деле что-то умиротворяющее, такое, что направляет мысли в вечность... В последний раз, будучи в Париже, я почему-то особенно остро почувствовала себя степнячкой...

Поверите, из Парижа, с набережной Сены, меня тянуло сюда, в дикое Присивашье, в наши украинские прерии.

— Прерии! Как это романтично сказано! — в восторге воскликнула мадам Шило. — А то — «степи» да «степи»...

— В слове «степь» мне всегда слышится что-то вульгарное, скифское, чабанское... Но в Париже я тосковала даже по «степи», по чабанской каше... Там, в большом городе, не чувствуешь природы, не видишь, как заходит солнце. А что может быть прекраснее, чем наши степные закаты!

— Это трогательно, то, что видишь в вашей, гм... степи, сестра, — сказала игуменья. — Дикая антилопа, пугливая лань доверчиво пасутся по соседству с могучим бизоном и зубром... Вашими заботами воистину уже как бы осуществляется евангельское единение разных созданий, которые мирно, без всякой вражды, пасутся рядышком...

— Посмотрите, вот ведут нашего Чарли на прогулку,— указала Софья Карловна вниз, где проходил молодой слуга с ручным леопардом.— Иван, веди его сюда, покажи гостям.

Иван, белобрысый добродушный парень, не замедлил ввести зверя в беседку. Встревоженная игуменья, на всякий случай, отодвинулась подальше в угол, мадам Шило заметно изменилась в лице.

— А он... и... и... не кусается?

— Что вы! — успокоила гостей Софья Карловна.— Наш Чарли такой умница... Погладьте его!

Но гостьи, видимо, не собирались гладить зверя. Лишь после того как это проделала сама Софья, они тоже стали по очереди гладить леопарда, далеко вытягивая руки, внутренне замирая. Чарли выгибал перед ними свою пятнистую спину, жмурился, а мадам Шило и игуменья подобострастно улыбались ему перекошенными, пересохшими от испуга губами. Иван наблюдал эту сцену с явным наслаждением. Под конец он слегка сжал Чарли шею, и зверь глухо зарычал. Женщины испуганно отшатнулись.

— Прекрати свои шутки! — закричала госпожа на Ивана.— Ты не можешь без этого... Чего смеешься? Выведи его вон!

— Пошли, Рябко! — добродушно обратился Иван к леопарду.

— Не смей называть его собачьим именем! Сколько тебя надо учить?.. Такие они все,— утомленно промолвила хозяйка, когда Иван вывел зверя из беседки и уже разговаривал с ним где-то внизу. — Что у воспитанника, что у воспитателя — один норов. Ты его гладишь, приучаешь, а у него свое на уме...

— У меня даже вот здесь похолодело, когда он рыкнул,— положив руку на живот, призналась мадам Шило и тут же пустила шпильку в игуменью: — Вот вам и евангельская пастьба рядышком... Дружба волка с овечкой!

Игуменья сердито засопела.

— Скажите, мадам Шило,— через некоторое время промолвила Софья Карловна, мечтательно опершись на руку.— Вам приходилось читать произведение Гоголя «Тарас Бульба»?

— Это там, где черноявый запорожский рыцарь влюбляется в шляхтичку? Помню, читала когда-то в гимназии.

— Как он изумительно воспел наши степи, наши украинские прерии! — сказала Софья.— Но мне почему-то не верится, что все это было. Трудно даже представить себе, что здесь было что-нибудь до нас... Тысячный топот коней, взблески сабель в воздухе, героическое, храброе казачество в ярких своих мундирах... Не было этого, мадам Шило! Не могло этого быть!

—. Почему? — оторопела мадам.— У нас до сих пор еще хранится в сундуке жупан прадеда... только моль поела.

— Боевые знамена, величественные походы... — медленно говорила Софья, не слушая гостью.— Прекрасные рыцари со странными мужицкими именами... Ха-ха! Откуда они могли взяться до прихода сюда первых Фальца и Фейна? Что им было делать тогда в этом забытом, безлюдном и безводном крае?.. Одна фантазия. По-моему, если были бы тогда, то были бы и сейчас, остались бы хоть в виде резервации, как остался этот кусок первобытной, заповедной степи у нас... А где они? Вместо них одно мужичье кругом, обшарпанное, оборванное, темное, грубое... Согласитесь, мадам Шило, что такая среда не могла породить столько прекрасных рыцарей и героев... А если не она, то логично будет спросить: кто же их мог породить? Откуда они могли прийти?

Молчала мадам Шило, не находя ответа. Молчала и игуменья, время от времени пожевывая губами.

В это время сквозь густую зелень неожиданно донесся откуда-то с окраины парка звонкий девичий голосок:

— Идут!

По степи, из-за солнца, со стороны Каховки шли батраки.

XIII

Щурясь, Софья взяла со стола маленький серебряный колокольчик и позвонила. Молодая горничная, дежурившая внизу возле пруда и коротавшая время за вышиванием, вскочила, разбежалась было к беседке.

— Принеси бинокль,— остановила ее госпожа.— Да поскорее!

— Быстро они дошли,— заметила мадам Шило, тоже щурясь — на хозяйский манер — в сторону степи. — Когда мы их обогнали, они плелись еще возле Титаревых хуторов...

— К воде спешат,— сказала Софья.— Это для них сейчас единственный стимул... Боже, как они пьют! Как лошади!

— Напрасно вы их в этом не ограничиваете,— с легким осуждением сказала игуменья.— Они злоупотребляют вашей мягкостью, Софья Карловна... Дорвется сгоряча до холодной, нахлещется, а потом — какой из него работник?

— Болезни к ним не пристают,— ответила Софья.— Порой смотришь: подойдет такой разгоряченный, будто из самого ада, напьется артезианской, самой холодной, пусть хоть лед в ней плавает... утерся и пошел.

Принесли бинокль. Приставив его к глазам, Софья стала рассматривать партию батраков. Вначале ничего не видела, кроме круторогих красавцев волов, шедших прямо на нее, серых, грудастых, тяжело переступавших с ноги на ногу и поводивших головами в ярмах. Потом в панораме бинокля появился сгорбленный Гаркуша на коне, и, наконец, повалила толпа сезонников. Вон выступает впереди бородач гренадерского роста, с дерзко распахнутой грудью... С такими бывает особенно трудно говорить... Идут толпой парни, девушки... Какие-то ребятишки бредут, едва заметные в ковылях, что переливаются вокруг них, как шелк, достигая до плеч... И зачем этот Гаркуша набирает детей! С ними одни неприятности.

Ставит их на тяжелые работы, а потом они хнычут, надрываются, иногда перед гостями бывает неудобно: могут подумать, что здесь, у Фальцфейнов, какая-то Индия... И вообще Софья недолюбливала детей, интуитивно чувствуя в них своих потенциальных недругов. Ведь ребенок — это загадка, живой сфинкс, никогда не можешь сказать наверняка, что из него вырастет!

Пришел главный управляющий поместьями Густав Августович, высокий сутулый немец, спросил, будет ли Frau Wirtin[1] присутствовать при осмотре первой партии.

— Густав Августович! — притворно разгневалась Софья, показывая гостям свое хозяйское рвение.— Ведь я еще пока здесь хозяйка, не так ли?

Управляющий молча поклонился. Софья, извинившись перед гостьями и пообещав вскоре вернуться, стала спускаться по ступенькам. Забегая вперед, управляющий предложил было ей руку, но Софья отказалась. Ее Густав Августович был незаменимым служакой, однако имел неприятную привычку, разговаривая, забываться и брызгать слюной на собеседника. Поэтому госпожа старалась разговаривать с управляющим на расстоянии, не подпуская близко.

— Когда вы думаете разводить их по таборам? — спросила Софья по-немецки.

— Завтра утром начнем... А впрочем, как вы прикажете, Frau Wirtin...

— По-моему, это лучше сделать еще сегодня... С вечера, по холодку... Потому что за ночь они так завоняют усадьбу, что потом неделю будет слышно...

— Хорошо, начнем с вечера...

В поместьях Фальцфейнов издавна существовало правило: осматривать новых сезонников выходят не только управляющие, но и сам хозяин, которому надлежит показаться в этот день новым людям, чтоб знали, перед кем им все лето ломать шапку. Не Софье Карловне было нарушать этот порядок, хотя встречи с батраками становились для нее с каждым разом все тягостнее: то ли потому, что она постарела и нечем уже ей красоваться перед пришлыми каховскими парубками, то ли потому, что из года в год сезонники становятся все хуже, все строптивее...

---

[1] Госпожа хозяйка *(нем.)*.

Как жаль, что нельзя обойтись вовсе без сезонников! Это было бы лучше всего, это был бы настоящий рай!

Глубокое презрение и постоянный страх вызывало в Софье это племя. Сколько живет, никак не может с ним сговориться. Такое упрямое, такое коварное!..

Ах, если б знали ее заграничные приятельницы, кто ее здесь окружает! В своих письмах они называют Софью царицей украинских прерий, а многочисленные асканийские сезонники представляются им какими-то добрыми, вежливыми, живописными ковбоями... Наивные представления! Конечно, она, Софья, не жалела сил, чтобы как нибудь приобщить своих упрямых туземцев к культуре, перелицевать их в своеобразных украинских ковбоев, но все напрасно. Пока поучаешь его при чеченцах, он слушает, а только ушел с глаз, уже насмехается над тобой, дает тебе всякие издевательские прозвища, с которыми потом вынуждена ходить всю жизнь. Да такому лассо в руки, он захлестнет его на твоей же шее!

Самых вульгарных насмешек, чего угодно можно ждать от них, только не благодарности, не джентльменского отношения. Настроили против хозяйки даже своих козлов, которые водят на пастбищах отары. Стоит появиться перед таким козлом, скажем, в костюме амазонки, как он уже несется на тебя зверем, не знаешь куда деваться...

Однако, несмотря на горести, которые Софье причиняла ее степная империя, она не согласилась бы променять свои владения ни на какие другие. Этот край, видно, пользовался протекцией самого всевышнего. Нигде в мире нельзя так быстро и легко богатеть, как здесь. Что хваленый американский Клондайк по сравнению с ее украинскими прериями! Тут все буквально само плывет к тебе в руки, богатства твои растут, как на дрожжах, пожалуй, даже без твоего участия, без всяких усилий с твоей стороны. Разумеется, все это явилось результатом энергии, изобретательности, культуры, ну и, конечно... счастья трех поколений Фальцфейнов. Да, именно счастья — это несомненно.

Тощими колонистами, без дворянских гербов прибыли сюда, в Присивашье, первые Фальц и Фейн. Породнившись, они стали Фальцфейнами и занялись разведением овец. Разбогатев, они стали благородными, могучими степными крезами, перед которыми теперь заискивают даже губернаторы. Фортуна! Блестящая фортуна плюс

плодородные земли, несравненные пастбища, породистые овцы — все это в совокупности принесло Фальцфейнам их миллионы.

Правда, в последнее время в экономиях все чаще звучат голоса разных крамольников, будто бы фальцфейновские миллионы происходят совсем не от овец, а что нажиты они позорным плантаторским способом, кровью и потом сезонных рабов, египетским трудом нескольких поколений каховского батрачества, самого выносливого и самого дешевого в мире... Странные претензии! Сами нанимаются и сами же потом жалуются! И вообще, при чем тут плантаторы, при чем рабы? Можно подумать, что их здесь линчуют. Между тем каждому известно, что в Аскании уже несколько лет работает поваром молодой негр из Сенегала и его никто до сих пор не линчевал и не собирается линчевать.

Самым обидным для Софьи было то, что большинство таких горланов выходило как раз из ее собственных поместий, из многочисленных скотных дворов и батрацких казарм, из темных недр вечно недовольного батрацкого племени... Хитрая, варварская порода! Клеймит, высмеивает, компрометирует на все лады своих благодетелей... И это вместо того, чтоб до конца дней благодарить великодушных Фальцфейнов, которые, как отважные конквистадоры, ступив на эту нетронутую землю, посеяли на ней зерна прогресса, завели английских скакунов и французскую кухню, ввели лакеев во фраках и американский способ стрижки овец...

С американцами Фальцфейны издавна поддерживали довольно тесные связи. Из Америки выписывали баранов-производителей, оттуда же завезли в Асканию последних на земле гигантов бизонов, почти полностью уничтоженных за полстолетия на Американском континенте. Младший сын Софьи, Вольдемар, поехал на мировую выставку шерсти в Чикаго и сейчас путешествует где-то в Соединенных Штатах. Из-за океана нередко наведывались в Аскапию разные закупщики, туристы и пронырливые корреспонденты — для них Фальцфейны не жалели подарков, и газетчики потом разносили по всему миру славу о властителях украинских прерий. Захлебываясь от восторга, они наперебой описывали роскошные степные пикники, катанье на тройках, ночевки под открытым небом в целинной степи «со всеми аксессуарами жизни цыганской таборной...». В их щедро оплаченных дифирамбах

Аскания выступала романтическим островом, твердыней западной культуры среди разбушевавшегося варварского моря, а хозяйка Аскании была «чудесной амальгамой парижского воспитания и бурного скифского (бог с ним — пусть даже скифского!) темперамента».

О тысячах тех, кто пас для Фальцфейнов отары, молотил хлеб на токах, насаждал парки, сооружал в Аскании бассейны, рыл искусственные озера, переворачивая горы земли,— об этих людях разбитные вояжеры-корреспонденты сообщали значительно более скупые сведения. О сезонниках им было известно только то, что приходят они откуда-то с севера через какую-то экзотическую свою Каховку, что любят они ходить всегда босиком, что могут выпить одним духом ведро воды и что там, где они работают, летом очень жарко. Там уже кончается цивилизованный рай асканийских вольеров и начинается настоящая украинская Сахара!

Бережно хранила Софья пожелтевшие вырезки из американских газет, как и письма своих эксцентричных заморских приятельниц, с которыми она когда-то прожигала жизнь в парижских ресторанах и варьете. В этих письмах до сих пор слышались ей далекие отзвуки молодости, той, что и в самом деле звенела бешеными тройками в степи, пенилась шампанским при лунном свете на копнах сена...

Был у нее законный муж, но она никогда не чувствовала себя его женой, есть у нее дети, но она не чувствует себя матерью.

Это, верно, наказание за те хмельные грехи молодости! Не в силах примириться со своей старостью, она не получает радости и от детей. Старший сын, самый умный, который сейчас считается основателем Асканийского зоопарка, лечится сейчас где-то в Швейцарии и интересуется в письмах не столько настроением матери, сколько своими любимыми зверями; средний родился дефективным и, засев в Дорпбурге после скандальной истории со взрывом, угрожает оттуда матери и братьям новыми дебошами, а младший, этот тоже... бьет баклуши где-то в Америке. В этом году она осталась одна на всю Асканию, вся тяжесть власти на ней.

И уже разменяла шестой десяток... Покрылась морщинами шея, обрюзгло лицо, не помогают парижские кремы...

— Может, тачанкой воспользуетесь? — перебил меланхолию Софьи управляющий, когда они проходили мимо экипажного сарая.

Софья Карловна восприняла это как обиду.

— Вы считаете меня уже такой слабой?

— Что вы! Простите, госпожа хозяйка! Я совсем не хотел...

— Довольно, довольно... Пройдусь пешком. Я так редко вижу нашу Асканию с этой стороны...

С этой, южной, стороны экономия выглядела не совсем привлекательно. Кончались сады и вольеры, потянулся голый вытоптанный пустырь, за которым сбились мрачной группой вынесенные подальше в степь ободранные батрацкие казармы. Господствуя над районом казарм и рабочих халуп, густым черным дымом дышал в небо кирпичный завод. Клубы дыма показались Софье зловещими на фоне открытой степи и чистого неба.

— Как тут неуютно! — поморщилась Софья Карловна.— Дети, козы, пылища, дым...

Неподалеку от казарм, возле так называемого «черного водопоя» (каким в отличие от «белого», господского, пользовались только батраки и скот), уже вкусно пахло едой, варилась, клокотала в огромных чанах пища для сезонников. Тридцать выбракованных ветеринаром баранов были зарезаны к их приходу! Бараньи шкуры и рога так и лежали здесь неубранными, чтоб каждый мог, увидев их собственными глазами, убедиться в щедрости аскапийской хозяйки, чтоб потом и летом, когда обычно начинаются жалобы на харчи, можно было заткнуть недовольным глотку напоминанием об этих тридцати нагульных баранах, без сожаления убитых в день прибытия первой партии сезонников.

Потянуло пылью, пóтом, заскрипело, затопало... Передние мажары, огибая Асканию, уже въезжали на выгон.

Запыленные толпы сезонников, увидев колодец, с ходу бросились к нему (кроме воды, для них сейчас ничто не существовало). Гаркуша, соскочив с коня, подбежал к хозяйке, стал докладывать. Софья, перебив его, приказала выстроить прибывших для осмотра.

Нелегкое было дело — выстроить эту разношерстную массу. Одни толпились возле колодца, другие разбирали с мажар котомки, некоторые же, напившись, разлеглись, как паны, и не хотели подниматься. Однако Гаркуша вместе с подгоняльщиками, пустив в ход весь свой опыт,

вскоре кое-как выстроил батраков в длинную шеренгу, которую он постарался даже выровнять по-солдатски, но она так и осталась выпуклой, дугообразной, как поднятая и застывшая волна.

Софья в сопровождении управляющего и приказчиков двинулась осматривать людей. В шуршащем платье, в белой панаме, шла она вдоль шеренги походкой королевы, милостиво улыбаясь запыленным, пропотевшим людям. Батрачки не умели так улыбаться. Улыбка хозяйки была для них каким-то фокусом: пока смотрит на тебя, улыбается, а только отвела взгляд в сторону управляющего, уже погасла улыбка, и вместо нее появилось черствое выражение скуки или настороженного напряжения. Потом и это быстро гаснет — госпожа снова обращается к людям, и снова губы ее складываются в привычную улыбку.

Иногда Софья останавливалась, заговаривала, спрашивала, довольны ли, что попали в Асканию.

— Нам хоть в ад, лишь бы харч богат!

— А баня будет?

— А в зверинец нас пустят?

— А в сад?

Хозяйка все обещала.

Около Данька и Валерика она тоже задержалась и как будто даже обрадовалась встрече с этими юными батраками.

— Какие милые мальчики! — томно воскликнула она.— Густав Августович, обратите внимание, какие у них умные, интеллектуальные лица! Я всегда чувствую в себе какую-то подсознательную тягу к детям, к их чистоте и непосредственности... Вы их назначьте, пожалуйста, на легкую и приятную работу. Вообще я приказываю всех детей и подростков назначать только на легкие, посильные для них работы... Оставьте их,—добавила она по-немецки,— хотя бы при складах.. шерсть перебирать.

Елейный голос Софьи и выражение веселого радушия и ханжеской сдержанности, лежавшее на ее лице, девушкам-сезонницам не понравились с первого взгляда.

— Злюка, наверное,— перешептывались батрачки.— Яга!

— Улыбается, а сама аж посинела... Отчего это? От злости, конечно!

— А духами какими надушена!.. Несет от нее, как конским потом...

— Да еще стриженая в придачу... Будто парни ей косы отрезали.

Софья не слыхала этих замечаний по своему адресу и, продвигаясь вдоль шеренги, одаривала сезонников улыбками, которые казались ей безупречными.

После осмотра разрешено было пить и есть. Криничанские Сердюки, увидев бараньи шкуры, заговорщицки подмигнули друг другу и расхохотались: вот где налопаемся!

— Как ваше мнение, госпожа хозяйка, о нынешнем наборе? — спросил Густав Августович, когда Софья, оставшись с ним посреди выгона, наконец перестала улыбаться.

— Не знаю, что завтра другие приведут, а от этих впечатление не очень утешительное,— процедила Софья.— По сравнению с прошлогодними среди этих, по-моему, значительно больше дерзких, разбойничьих физиономий... Не так ли?.. К тому же среди девушек уж слишком много писаных красавиц. Я, кстати, заметила это за Гаркушей — он всегда таких приведет, что хоть выставку устраивай... Хотела б я знать, чью волю в данном случае он выполняет? Объясните, пожалуйста, ему, Густав Августович, что мне нужны прежде всего скотницы, доярки, вязальщицы с крепкими хребтами, а не яркие полтавские красавицы, которые все лето будут крутить с батраками романы, отвлекая их от работы.

Густаву Августовичу было точно известно, чью волю выполняет Гаркуша. Этот хитрый пройдоха-приказчик знает, на кого делать ставку. Перед Софьей он сгибается лишь для видимости, а весь расчет его на паныча Вольдемара. И хотя управляющий ненавидел Гаркушу, все же разоблачить перед хозяйкой фаворита молодого Фальцфейна не мог и не хотел, тем более что и сам в деле с красавицами чувствовал себя в какой-то мере соучастником Гаркуши. Управляющий, конечно, не мог сейчас сказать обо всем этом Софье. Однако хотя бы для вида, надо было накричать на Гаркушу, проучить его немедленно, чтоб госпожа видела. Позвав приказчика, Густав Августович взял его за локоть и, отведя в сторону, стал читать нотацию.

— Доннерветтер,— брызгал слюной на Гаркушу Густав Августович, — из-за тебя мне нагоняй... Зачем столько красавиц набрал?

— А ну их к черту! — выругался в ответ Гаркуша, держась перед управляющим довольно нахально.— Они все там красавицы!

— То не есть резон... Я понимаю: природа и порода... Но пани недовольна.

— Лучше б она не совалась в эти дела, ваша пани...

— Ну ты, Гаркуша, осторожней на поворотах... Пока паныч путешествует, она тебя еще может... э-э... в рог скрутить!

— Выкинштейн может? — оскалился приказчик.— Не очень вы меня этим пугайте! Что я — себе их набирал, гаремы у меня тайные, что ли? Сами хорошо знаете — куда и кому подбирается товар!

Пока они переругивались, Софья Карловна стояла одна посреди выгона, следя из-под панамы за толкотней у колодца.

Сезонники пировали: пили воду, отдышавшись, снова пили, как самый лучший, самый сладкий в мире напиток. Девушки тут же умывались, прихорашивались, расчесывали свои тяжелые волнистые волосы, не обращая внимания на госпожу.

О, как их сейчас ненавидела Софья! Молодые, пышущие здоровьем, налитые горячей, сочной силой... Нахлынули толпой, завладели ее двором, ее водой, затмив ее самое... Только что пришли откуда-то из-под солнца, из Каховки, словно древние рабыни с восточных невольничьих рынков, и уже не чувствуют себя рабынями, держат себя здесь, как дома. Боже, какие у них фигуры, какие пышные, упругие бюсты, сколько естественной неосознанной грации в каждом движении... Плавно, как русалки, расчесывают косы, стали в ряд вдоль корыт и моют ноги, высоко подбирая юбки, не стыдясь своих белых, не загоревших икр, своего упругого, молодого, прекрасного тела...

Глубоко вздохнула Софья.

Нет, не хотела б она быть святой, молодой хотела бы стать!

XIV

Горячая духота стоит в сараях. Пышет над головой раскаленная черепица. Воняет шерсть. Воздух тяжелый, густо насыщенный запахом овечьей серы, скипидара, дегтя, которым заливают пораженные коростой места на коже

и свежие кровоточащие порезы на только что остриженных овцах.

Сидят мальчики полукругом в душном углу, перебирают шерсть. Немудреное это дело — перебирать грязную, вонючую «обножку», забитые репьями и овечьим пометом отходы, падающие под сортировочный стол... Быстро овладели Данько и Валерик новым ремеслом. Пожалела их пани, приказала поставить на легкую работу... Дышалось бы ей так легко, как им! Засадить бы ее, рыжую ведьму, в это вонючее пекло, где угораешь от серы, где от блеянья овец туманится голова... Ребята так наслушаются за день овечьего блеянья, что потом в казарме всю ночь им овцы снятся.

Стрижет овец специальная артель стрижеев-маячан, прибывших сюда, как цыгане, целыми семьями. Раскинули возле амбаров шатры для детей, пустили лошадей на пастбище (выговорили себе такое право на время работы), а сами с утра до почи с сараях, не разгибаясь, снимают тяжелые руна с мериносов, цигаев, линкольнов. Верховодит стрижеями тетка Варвара, дебелая, напористая, горластая, ее слово для артели — закон.

— Бросай работу!

И все бросили.

— Начинаем!

И все начали.

Тетку Варвару побаивается даже долговязый немец-надсмотрщик. Его зовут Фридрих Фридрихович, но она упрямо величает его Фидриком Фидриковичем или просто Фидриком. Фидрику, видимо, впервые приходится иметь дело с женщиной-атаманом, и он еще не всегда догадывается, как вести себя с нею в том или ином случае.

В обязанности надсмотрщика входит покрикивать на людей, взвешивать шерсть, а также выдавать стрижеям маленькие медные бирки за каждую остриженную овцу. Если у выхода, где Фидрик осматривает овец, между ним и каким-нибудь молодым стрижеем возникает спор, то зовут тетку Варвару, чтоб рассудила. Грудастая, с красным лицом, с ножницами в руке, в рабочих парусиновых штанах, подходит она к спорщикам спокойной атаманской походкой.

— Что тут у вас? Опять не дает бирки?

— Да не дает же... Порезал, говорит. А разве это порез? Так, царапина!

Осмотрев овцу, атаманша некоторое время глядит на немца, который торчит перед нею полуголый, в одних трусах, с кисетом бирок на жилистой шее.

— Ты, Фидрик! — наконец говорит атаманша, угрожающе подбоченясь.— Приходилось тебе в жизни остричь хоть какого-нибудь завалящего барана? Снял ты руно хоть с одной овцы? А через мои руки тысячи их прошли, и от такой царапины еще ни одна не погибла.

— Но, фрау Барбара...

— Какая я тебе фрау? Что я — детей с тобой крестила? Выдай бирку и не морочь парню голову...

— Но ведь...

— Выдай, иначе сейчас же бросим работу!

Припертый к стене немец в конце концов достает из своего кожаного кисета несчастную копеечную бирку, без которой работа стрижеям не засчитывалась вовсе.

На овцах, выходивших из-под рук самой тетки Варвары, порезов почти не было, хотя овец она остригала за день больше, чем другие. Ее место в сарае было против Данька, и парень не раз восторженно любовался ее работой.

— Посмотри, Валерик, как ловко у нее выходит. Словно руно само отделяется от тела...

— Она, верно, знает какое-то слово к овцам, — переговаривались поблизости женщины, сшивавшие мешки для шерсти.— Другим приходится спутывать, держать, а у нее овца спокойно лежит развязанная, как младенец в купели...

— Тетка Варвара, чем вы ее привораживаете, что она под вами не мекнет, не брыкнет?

— Лаской,— коротко отвечала атаманша.

В самом деле, несмотря на то что работу свою она выполняла как бы поневоле, с сердитым выражением налитого кровью лица, в каждом ее движении было столько красоты, столько ласки, что овца даже жмурилась от удовольствия. Бессловесное животное, лежа на боку, как бы понимало, что тетка Варвара, осторожно снимая с него тяжелый и жаркий тулуп, не замышляет никакого зла, а, наоборот, хочет избавить его от лишней тяжести, без которой ему будет легче ходить в степи.

Мягкие сплошные руна (грязные, серые сверху, они были снизу как сливочное масло!) одно за другим летели из Варвариных рук на сортировочный стол. Там их разбирали на первый и второй сорта, потом взвешивали,

и немец, вынув из-за уха карандаш, делал запись в своей книге, потом белым руном набивали огромные мешки, которые раскачивались по всему сараю, подвешенные на веревках к стропилам. Утаптывать шерсть ставили тяжелых, шестипудовых мужчин, но иногда и Даньку с его птичьим весом удавалось заняться этим, похожим на забаву делом — покачаться в мешке, окунувшись в шерсть по плечи.

Сколько этой шерсти! Горами уже лежат возле дверей зашитые наглухо мешки, обозначенные черными таврами.

Любопытство разбирает Данька.

— Тетка Варвара!

— Чего тебе, племянник?

— Куда ее будут девать, всю эту шерсть?

— На мажары и в Каховку.

— А потом?

— А потом наткут из нее дорогих тонких сукон, и будем мы с тобой носить из тех сукон красивую праздничную одежду...

— О, если бы!.. Тетка Варвара, когда это будет?

В задумчивости стоит возле мешков атаманша, поправляя тяжелую, уже седеющую косу, рассыпавшуюся во время работы.

— Не будет этого здесь... Это я так, шучу,— мрачно говорит она.— Повезут шерсть в Каховку или в Хорлы, оттуда на пароходах за море — на фабрики заграничные... Там, далеко, перепрядут-переткут ее в тонкие сукна, и будет носить кто-нибудь наглаженные костюмы из шерсти, что овцы нагуляли в таврических степях...

— А нам?

— А нам с тобой — светить дырками в истлевших ситчиках, круглый год ходить в суровых полотнах...

Атаманша ударила себя ладонью по колену, прикрытому парусиновыми штанами, и снова отошла к станку.

Отары еще не стриженных овец подгоняют к сараям прямо из степи. Прошло уже несколько дней, как Данько и Валерик в Аскании, в самом сердце Таврии, а степи по-настоящему еще и не видели. Да и как увидеть ее сквозь удушливый серный смрад, сквозь эти грязные, потемневшие от времени стены сарая, в котором они угорают, как в огромной клетке...

Дыхание широкого степного царства приносили с собой чабаны. Подогнав отары, они заходили в сараи, от них пахло ветром, солнцем, травами, душистой степной

зеленью. Пусть на них заскорузлые постолы, бурдюки с водой за спиной, пусть их бараньи шапки иссечены непогодой,— но как умеют держаться эти коренные обветренные степняки, как независимо ведут себя, вызывая у Данька искреннее уважение и восторг! С людьми разговаривают приветливо, мальчиков расспрашивают о доме, а немца-надсмотрщика ни во что не ставят, смело пересмеиваются, стоя перед его засунутым за хрящеватое ухо карандашом со своими чабанскими палками с загнутым концом, которые они называют герлыгами.

Герлыгами орудовали чабаны мастерски.

— Без герлыги, — шутили они, — чабан как без коня.

Самую увертливую овцу можно подцепить этим крючковатым посохом, выхватить из отары, подтянуть к себе. Ни одна не перехитрит чабана, не спрячется в тесноте от его меткого орудия. Вот, словно ловкий стрелок, нацеливается он куда-то в гущу совершенно одинаковых овечьих ног — раз! — повел стремительно понизу герлыгой — и уже тянет-вытягивает именно ту, которая ему нужна.

Были у чабанов свои, только им присущие повадки, обычаи, свои шутки, даже ругательства свои. И все это нравилось Даньку. Иногда, выпросив у какого-нибудь чабана герлыгу, парень сам пробовал орудовать ею, перенимая чабанские замашки, но у него ничего не выходило.

— Негусто, видать, у тебя дома овец, — весело смеялись чабаны, потешаясь над промахами Данька.— Признайся по правде, парень: больше воробьями занимался, чем мериносами?

— Для него еще пока все овцы одинаковы: не ту тянет, которую хочет, а какую может...

— Вот это бонитёр!

Парень еще больше потел и на их шутки отвечал только тем, что упрямо старался овладеть мудрым мастерством герлыги. Усердие Данька в этом деле было чабанам явно по душе.

— Не перевелся еще чабанский род!..

Как-то один атагас, старый солдат с Георгиевским крестом, притянул Данька к себе, прижал к груди, как родного, и на мгновенье застыл так, склонившись над вихрастой головой мальчика. Задумался старик. Крупные слезы, как алмазы, покатились по его широким, обожженным солнцем щекам.

— Внука встретили, Мануйло, что ли? — дивились чабаны, наблюдая эту волнующую сцену.

— Внука...— задумчиво сказал атагас.

Сам он был потомком тех славных бунтарей, которых переселил когда-то пан Каховский — по приказу царицы — из Турбаев, с Хорола в безводные таврические степи...

Немец, появившись на пороге сарая, уже пристал к Даньку, угрожая штрафом за то, что тот без разрешения оставил работу. Надо было идти опять перебирать шерсть.

— Вот как довелось встретиться...

Отпустив мальчика, атагас проводил его до сарая пристальным, скорбным взглядом.

Через некоторое время Мануйло появился в сарае, уже успокоенный и чем-то более родной Даньку, чем все другие чабаны. Статный, высокий, он медленно двигался вдоль станков, поблескивая своим «Георгием» на полотняной пропотевшей рубахе. Возле станка Варвары остановился, заглядевшись на ее работу.

— Талант у тебя, Варвара, к этому делу... Недаром твои руна на мировую выставку повезли.

— Может, хоть на этот раз Фальцфейны магарыч поставят,— насмешливо промолвила Варвара.— Вам за то, что выпасли, мне за то, что настригла.

— Куда там! Магарычи они и без нас выпьют. Кто пас, кто стриг, а похвалиться паныч и сам сумеет.

— Говорят, ему еще две медали за шерсть присудили, за мытую — малую, за немытую — большую.

— Разве за шерсть только? За руки твои, Варвара, тебе бы золотую медаль!

Атаманша стрижеев ничего не ответила на это. Еще ниже склонилась над полураздетой овцой, светившей снизу своим удивленным глазом, выпуклым, радужным, как самоцвет.

Мануйло подошел к группе подростков, перебиравших отходы.

— Еще не угорел, земляк? — обратился он к Даньку.

— Да здесь недолго,— понурился парень.

— Слушай-ка, что я тебе скажу... Зачем тебе изнывать здесь, как на гауптвахте, среди этих вонючих обножков? Не пошел бы ты, гей, ко мне арбачом? В степь, на простор!

У Данька от радости похолодело сердце.

— А что это такое... арбач?

— С арбой ходить. За провизией по пятницам ездить... Кашу чабанскую нам варить.

— Так я ж не умею!

— Э, была бы охота, всем артикулам научим. А там, глядишь, и до высшего чина дослужишься. Чабаном левой руки, чабаном правой руки, а когда подрастешь, может, и в атагасы произведут...

Атагасом! Самым старшим чабаном, самым опытным, самостоятельным, независимым, с которым даже паны вынуждены считаться!.. Об этом Данько мог только мечтать.

В конце концов, что ему в этих сараях? Что он здесь забыл? Никого своих поблизости не осталось: сестра Вустя сейчас за много верст от Аскании, в таборе Кураевом, куда после распределения попало большинство криничан и орловцев. В первый же вечер их, как этапников, отправили дальше, не дав даже переночевать в главном поместье. Поплелись, кто на Бекир-сарай, кто на Джембек-сарай, кто в табор Кураевый, кто в Камышовый... Недолго слушали в Аскании райских птиц, что посулил Гаркуша при найме! Правда, в главной экономии застрял Нестор Цымбал, который, охромев в дороге, не мог идти дальше, его назначили на страусятник. Но с Нестором Данько мог встречаться только в казармах. Из своих оставался, собственно, один Валерик. С ним Данько не хотел бы разлучаться! Что, если попросить атагаса — может, он согласится и Валерика взять?

Атагас приветливо смотрел на Данька своими светло-серыми, как бы от природы прищуренными глазами (наверное, оттого, что давно чабанствует и всегда ему приходится быть в степи, где много света и солнечного блеска!).

Его власть казалась Даньку безграничной.

— Это товарищ мой,— начал Данько, указав на Валерика.— Возьмите и его арбачом!

Чабан улыбнулся:

— Всех вас я рад бы, ребятки, забрать отсюда. Но не в моей это воле! При отаре арбач один... Дружка твоего, может, кто другой возьмет... Поспрашивайте.

Валерик, осыпанный шерстью, покраснел, как ягода, и поспешил положить конец неловкому заступничеству Данька.

— Чего ты за меня просишь, может, я совсем и не хочу к отаре? — выпалил он, взволнованный. — А тебя

если берут, иди... Горше каторги, чем здесь, нигде не будет.

Горячий комок сжал горло Даньку. Ему стало безгранично жаль товарища.

— Я, Валерик, без тебя не хочу...

— Иди, Данько,— уже мягче стал уговаривать Валерик своего побратима.— Там хоть ветром надышишься, степи наглядишься. А по пятницам будем встречаться.

— Конечно,— поддержал Валерика атагас.— Каждую пятницу будешь приезжать сюда на верблюдах за пшеном. А в воскресенье он сможет навещать тебя на пастбищах.

Как ни горько было Даньку разлучаться с товарищем, он в конце концов вынужден был согласиться в надежде на то, что со временем найдется и для Валерика какая-нибудь работа возле отар... Тогда они будут соседями в степи!

— Ладно! — вскочил Данько.— Только где мне герлыгу вырезать?

Он готов был хоть сейчас двинуться в степь.

— Погоди с герлыгой, — сдержал его атагас. — Мне еще нужно о тебе с управляющим сторговаться. Сегодня у нас суббота. Вот в понедельник я тебя и заберу. Пригоню кусок достригать и заберу.

На том и порешили. Стал бы этот день праздником для Данька, если бы не омрачило его одно неожиданное событие. Незадолго до обеденного перерыва в амбар ввели новую партию детворы, очевидно отобранной из последней партии сезонников. Среди новичков Данько сразу узнал несчастную девочку, у которой мать умирала в ярмарочном лазарете. Девочка с тех пор еще больше похудела и вытянулась — у нее, казалось, остались только большие испуганные глаза и тоненькие хвостики косичек за спиной. Она вошла в сарай, как в пекло, и на мгновенье оцепенела перед его высокими темными стенами, перед незнакомыми людьми, которые, обливаясь потом, копошились в шерсти и возились с овцами, жалобно блеявшими и дергавшимися под страшными ножницами. Удушливый запах серы, овечьего жира и пота стоял в помещении. Подойдя к работавшим в углу и заметив Данька и Валерика, девочка вдруг отшатнулась, как бы защищаясь от кого-то обеими ручонками. Лицо ее перекосилось от боли и ужаса.

— Чего ты, глупая? — с лаской в голосе сказал ей Данько. Странно: ему показалось, будто девочка в это мгновенье чем-то отдаленно напоминала ему ту взрослую незнакомую учительницу из Херсона, которая обращалась к людям с парусника через обнаженные сабли.

— Ну, чего ждешь? — прикрикнул на девочку надсмотрщик.

Придя в себя от этого окрика, девочка опустилась на корточки перед горой шерсти, в стороне от других, и стала слушать объяснения, как и что надо делать. Слушая, она покорно кивала головой, но видно было, что она мало понимает и все это ей глубоко безразлично.

Только окрики пугали ее, при каждом блеянии овцы она вздрагивала всем телом. А работала вяло, невнимательно и оставалась глуха к советам, которые ей время от времени сочувственно подавали ровесники и ровесницы.

Неожиданно Данько поймал на себе ее взгляд — далекий, ясный и зоркий, как у птицы. Потом глаза ее вдруг налились слезами, и она торопливо склонилась над работой. Данько как бы поговорил с ней. Ему сразу стало понятно, что она пришла одна, что мать она оставила в Каховке навсегда.

Вскоре девочка взмокла, как цыпленок, пот катился по ее лицу и ручонкам густыми ручьями, даже странным казалось, откуда его столько на этом восковом прозрачном личике.

Занятые своей работой, подростки уже меньше обращали внимания на девочку. И вдруг она наклонилась вперед, словно для поклона, и молча упала лицом в кучу шерсти.

— Да она ж сомлела! — вскрикнула одна из женщин, сшивавших поблизости мешки.— На воздух ее, скорее!

Данько и Валерик первые сорвались с мест, подхватили девочку и бросились с ней на воздух. Она была удивительно легкой: легче, чем охапка шерсти, была как перышко.

Ребята положили ее на спину, кто-то плеснул на нее водой из бурдюка. Через минуту девочка вздохнула, открыла глаза, и они показались Данько на солнце необычайными, небесно-синими, нежно-голубыми — девочка смотрела в небо.

Вокруг девочки собралась толпа.

— У нее мать умерла в Каховке,— грубовато объяснил Данько.— Возле кладбища, в ярмарочном лазарете.

Для присутствующих слова Данька оказались последней каплей, переполнившей чашу терпения. Толпа гневно загудела. Чабаны, стрижеи, женщины-работницы заговорили все сразу, угрожающе обступив надсмотрщика.

— Отправьте отсюда детей!

— Пусть уж нас, а их за что мучаете?

— Не будем стричь овец! Пусть барыня сама стрижет!

Фидрик Фидрикович, не на шутку струсив, побежал за управляющим.

Тем временем девочка, придя в себя, попыталась приподняться на локте. Тетка Варвара свирепо схватила ее в охапку.

— В шатер к своим заберу, пусть одной больше будет. Тут живьем доконают, людоеды!

И, широко шагая, понесла девочку за сарай, в свой шатер.

Вскоре, в сопровождении двух чеченцев, появился щеголеватый помощник управляющего в суконных бриджах на английский манер.

— Что тут случилось?

— Девочка вот несчастная сомлела...

— Ну и что же?.. Вы ведь не сомлели? Айда работать!

— Не будем работать! — закачалась толпа.— Сгорела б она, эта работа!

— Детей не мучайте, ироды!

— Чем они перед вами виноваты?

Успокоились рабочие только после того, как помощник управляющего пообещал с понедельника распределить детвору на другие работы — на свежем воздухе.

Ударил гонг на обед.

...Это была победа, пусть небольшая, но их победа, победа батраков, и Данько с Валериком, чувствуя себя в какой-то мере ее участниками, шли от сараев, словно напоенные хмелем воинственности, разгоряченные огнем первой борьбы.

XV

Нахлебавшись на скорую руку батрацкого кулеша и зная, что до начала работы у них в запасе почти час, ребята от нечего делать бродили возле ботанического сада, который сейчас, в обеденную жару, особенно привле-

кал их своей недоступной зеленью, свежестью и прохладой.

Там, за металлической сеткой, отделявшей ребятишек от сада, бушевало зеленое царство. Могучие ветвистые деревья нависали над оградой, как тучи, местами распирая ее изнутри своими ветвями. Сочная, густая листва непокорно лезла наружу сквозь горячую от солнца сетку, лизала шершавыми зелеными языками руки и лица мальчиков. Живой влажной прохладой несло оттуда, настоящими лесными запахами. К ним Данько привык с детства, и здесь, на границе горячей, окутанной маревом степи, они казались еще более острыми, еще более пьянящими, чем в лесах за Пслом...

Среди деревьев, теснившихся в парке, было много незнакомых Даньку; платаны и крымская ель вызывали у него искреннее удивление, но еще больше было здесь родных, испытанных друзей его детства.

— Вот это дубы так дубы! — с восторгом восклицал Данько.

А сколько веселых птиц порхало, перекликалось в листве!.. В верхушках деревьев уверенно галдели черные грачи, шумя над своими огромными гнездами. Ниже настраивал голос невидимый соловей, отзывалась славка, перепрыгивали с ветки на ветку синицы и даже лесная неутомимая мелкота — корольки! Даньку и самому захотелось стать сейчас вот таким корольком, чтоб не возвращаться больше к вонючей шерсти, чтоб жить, прыгая в ветвях, среди чистой, свежей зелени...

В парке было безлюдно. Вдоль аллей стояли скамьи, на которых никто не сидел. Таинственный тенистый сумрак окутывал густо обвитую плющом водонапорную башню с окованной железом дверью, на которой висели пломба и замок величиной с добрый мужской кулак. Невдалеке от башни на открытом месте поблескивала фигура юноши, отлитая из темного металла.

— Смотри, какой Геркулес! — сказал Валерик, обращая внимание Данька на статую.

Темным блеском лоснилось мускулистое тело Геркулеса, которое вначале показалось Даньку живым. Богатырски поднимаясь над кустами подстриженного жасмина, юноша в радостном напряжении раздирал пасть уродливой гидры. Из пасти тяжелой изогнутой струей била вода — такая чистая, свежая, прекрасная, что ребятам сразу захотелось пить.

Вода с неумолкающим шумом падала вниз, теряясь среди кустов, откуда брали начало оросительные канавы, расходившиеся вдоль тропинок в глубину парка.

— Вот то, что всему дает здесь жить,— задумчиво промолвил Валерик, заглядевшись на сияющий водопад.

Данько измерил взглядом массивную кирпичную башню. Поднявшись над деревьями, она уходила к самому небу, обвитая-перевитая зеленым плющом.

— Кто ее построил, Валерик?

— Люди, конечно...

— Слушай, как бы туда пробраться? — Плутовато оглянувшись, Данько потрогал руками сетку.— Нигде ни души, все на обед разошлись...

— Неудобно,— заколебался Валерик.— Что, если попадемся в руки самому садовнику Мурашко? А я еще должен ему привет передать от Баклагова...

Вдруг Данько, который, вцепившись в сетку, уже было распластался на ней, одним махом соскочил на землю и настороженно присел:

— Кто-то идет!

Через секунду из-за кустов вышел, направляясь к фонтану, совершенно черный пучеглазый парняга в белом поварском колпаке. Не замечая ребят, он приблизился к изогнутой струе и, наклонившись, стал жадно пить. Темное, потное, словно измазанное дегтем, его лицо лоснилось точно так же, как тело металлического Геркулеса, который стоял над ним и весело раздирал обеими руками челюсти гидры.

— Арап! — удивленно прошептал Данько.

— Это, верно, тот Яшка-негр, о котором нам говорили,— догадался Валерик.— Тот, что поваром на белой кухне работает.

— Черный какой, чернее любого цыгана! Точно в дымоходе побывал, сажу трусил... А белками так и блестит! Ну как есть арап!

Валерик стоял, впившись взглядом в негра. Человека черной кожи он, как и Данько, видел впервые. Правда, ему приходилось много читать о знаменитых путешественниках, о целых негритянских племенах в тропических лесах Африки... Все это сейчас всплывало в памяти, и могучий асканийский парк, который сам по себе был уже невиданным дивом в степи, с появлением в нем живого негра еще больше поразил Валерика своей экзотичностью... За спиной дышала зноем степная Сахара, а впе-

реди, пронизанные солнцем, бушевали зеленые недра тропической Африки!

— Отчего они такие черные, эти арапы, Валерик?

— Наверное, от солнца... У них там еще сильнее печет, чем здесь... А они с детства работают голыми на плантациях...

— Ох и печет, видно! Так поджарились, что уже и не сходит с них...

Напившись, негр выпрямился и заметил ребят. Он приветливо сверкнул в их стороны белоснежными зубами.

Данько, воспользовавшись случаем, не замедлил вступить с ним в переговоры. Считая почему-то, что с негром можно договориться только жестами, он стал тут же перед сеткой изощряться на все лады, довольно красноречиво показывая, как им обоим хочется сейчас пить и как будет хорошо, если повар отопрет калитку, находящуюся поблизости, и впустит их в сад, к воде.

Негр, которого выдумки Данька искренне развеселили, неожиданно обратился к ребятам хоть и на ломаном, но вполне понятном языке.

— Хочешь пей вода? Иди...

И, не переставая улыбаться, направился прямо к калитке. Данько принял все это за шутку, хотя калитка была прикрыта всего лишь на засов и открыть ее изнутри не стоило труда. Но, когда засов в самом деле щелкнул, дверцы, ведущие в рай, открылись и сад свободно распахнулся перед ребятами уже в новой, доступной своей красе, они, отскочив назад, застыли в нерешительности. «Не ловушка ли здесь какая-нибудь?» — взглядом предостерег Данько товарища. Но в мирной фигуре негра, в выражении его веселого лица было столько добродушной, искренней приязни, что ребята успокоились и прониклись доверием к нему.

— Хелло... Не бойся меня,— мягко и как-то печально промолвил негр. Это окончательно подкупило ребят.

Они вошли в парк.

Очнувшись у фонтана, они долго пили, пили взахлеб, теряя дыхание, лишь бы только доказать повару, что их сюда привело не пустое любопытство, а действительно жажда.

За этим занятием и застал их старший садовник ботанического сада. Сухощавый, энергичный, в сандалиях на босу ногу, в легкой парусиновой тужурке, он подошел к ним быстро, почти бесшумно, так, что ребята увидели

его, когда он остановился уже возле, здороваясь с негром за руку. Валерик почему-то сразу решил, что это Мурашко. Глаза полны горячего блеска, лицо волевое, суровое... Курчавая, чуть седеющая шевелюра, зачесанная набок, губы сжаты, почти прикушены...

— Гнезда разорять пришли? — спросил садовник, внимательно глядя на ребят. Говорит он баском, смотрел серьезно, но его черные, с золотинкой, усы лежали так, что придавали всему лицу — тонкому, интеллигентному — улыбчивое выражение.

— Нет, мы гнезд не разоряем,— поспешил заверить Данько, отступая к негру.

— Не разоряете? Гм... Напрасно...

Ребята насторожились: что он говорит?

— Но только грачиные,— предупредил садовник,— другие — упаси бог, а сорок и грачей гоняйте. Сколько веток обломали на гнезда, яйца полезных птиц пьют... Да вы, оказывается, свежаки здесь, не принимали еще участия в наших грачиных войнах?

— Из Каховки мы,— взволнованно сказал Валерик.— А вы... Мурашко?

— Он самый... Мурашко, Иван Тимофеевич, собственной персоной.

— Вам Баклагов кланяться велел...

— А, Дмитрий Никифорович! Ты что, знаешь его?.. Спасибо! — Мурашко сразу стал мягче, как бы посветлел.— Как же он там, на своей арене?

— Да ничего... Так себе... Корзины плетет.

— Корзины...— задумался Мурашко. Потом, обращаясь к негру, пояснил: — Друг у меня есть в Каховке... Золотой человек, Яша! Гнет его жизнь, как черная буря, а сломать не может... Занесет у него лозы песком, а он отряхнется, поворчит и другие сажает...

Данько жадно оглядывался вокруг. Лес! Только нет ни круч, ни бурелома, ни грибов... А тропинки и стежки, как в настоящем лесу. Затененные густыми ветвями, они разбегались в глубь парка, придавая ему еще больше таинственности. Куда они ведут, каким новым дивным дивам протоптаны?

Вскоре Яшка-негр, весело помахав ребятам на прощанье своим поварским колпаком, пошел вдоль ограды в сторону господских хором, а Мурашко, присев на корточки возле водораспределителя, стал внимательно разглядывать какие-то линейки, торчавшие в воде.

— Нет, вы уже свою порцию получили,— заговорил он,— теперь напоим других... им тоже хочется.

И, засучив рукава, садовник принялся вытаскивать камни из одной канавки, которая была до сих пор перекрыта, и гатить ими другую, в которую потоком шла вода.

Данька рассмешило, что садовник с серьезным видом строит какие-то игрушечные плотинки, точно так, как детвора в Криничках на улицах после дождя.

— Для чего это он? — шепотом спросил Данько товарища.

Валерик кое-что знал об ирригации и стал вполголоса объяснять веселому северянину, в чем тут дело.

— Хочет перевести воду с одного участка парка в другой... Видишь, там гатит, а туда направляет...

— О, ты сразу узнал во мне стрелочника, — услыхав разговор, весело взглянул Мурашко через плечо на Валерика.— Переведу на лесостепь и на питомник... Там у меня все уже кричит: «Воды!»

Обеими руками, по-рабочему, он копался в иле, как в тесте. Ребята принялись ему помогать. Работали охотно, дружно, словно играли.

— В земской учился? — кивнул Мурашко через некоторое время на кокарду Валерика.— Выгнали? За что же тебя выгнали?

Валерик не стал таиться перед ним, рассказал всю правду.

— Так... Митингуй, значит, всю жизнь,— в сочувственной задумчивости сказал Мурашко, выслушав парня.— Это теперь модно... А на кого же они там свои надежды возлагают? На сынков управляющих? О, эти им обогатят науку!..

Вода вскоре ринулась в новую канавку, которая до этого была суха. С мелодичным журчаньем помчалась все дальше и дальше вдоль стежки, торопясь в тенистую чащу зеленых владений Мурашко. Удовлетворенный результатами работы, садовник вместе с ребятишками весело следил за неудержимым бегом воды.

— А что горит без пламени, а что бежит без повода? — загадал Данько загадку Валерику.

— У нас она здесь на поводке бегает,— улыбнулся Мурашко.— Бежит не куда захочет, а куда арычок ее поведет...

— Ловко придумано,— похвалил Данько.— Но неужели такого ручейка хватит, чтобы весь этот лес напоить?

— Странно, правда? Маленькая какая-то канавка, курица ее перешагнет, а какую силу несет в себе!.. Десятки тысяч ведер в сутки получает парк из таких ручейков... Вот башня перед вами, ребятки... Это — сердце нашего парка, а жилы его — арыки, весь парк пересечен ими... Пульсируют, журчат день и ночь, разнося по всем направлениям животворную влагу... Перестань биться водокачка, и все тут замрет, все сгорит...

— Если бы по всей степи расставить такие водокачки,— размечтался Валерик.— Чтоб люди больше не боялись засухи...

— Водокачки по степи? — внимательно посмотрел на парня Мурашко.— Ой, без штанов останемся. Другой выход надо искать...

Ударил гонг, ошеломив ребят своим медным грозным гулом. Звал на работу. Сразу пахнуло на них спертым, серным воздухом сараев, заблеяли, как недорезанные, овцы, вынырнул перед глазами плюгавый надсмотрщик с карандашом за ухом...

— Нам надо идти,— сказал Валерик смущенно.

— Погодите... Вы где работаете?

— Мы в сараях,— бодро сказал Данько.— Я, правда, с понедельника иду арбачом в степь к отаре, меня атагас Мануйло берет, а сму,— показал Данько на Валерика,— еще в сараях придется ишачить.

— Что же вы там делаете? — спросил Мурашко, насторожившись.

— Шерсть перебираем,— покраснел почему-то Валерик.

— Мы бастовали сегодня,— засмеялся Данько.— Там одна девочка в обморок упала!..

— Ах, пе́люди!— в сердцах воскликнул Мурашко.— Знаю я эти амбары... Там не то что девочка, там в жару и взрослый потеряет сознание.

— Обещают с понедельника на другие работы растыкать...

— Обещают...— задумался Мурашко.— Вот что, хлопцы, не идите вы больше в этот дантов ад...

— Забастовщиками назовут,— заколебался Валерик.

— Пусть пазывают как хотят,— спокойно промолвил садовник.— Но туда вы больше не пойдете. В случае чего

я возьму все на себя. Ты,— обратился он к Даньку,— и так имеешь право до понедельника гулять, а тебя, друже, я возьму сюда, себе в помощь... Ладно?

У Валерика уши запылали от счастья.

— Кокарду твою с косой и граблями я приму вместо диплома.

Отзвучал гонг. Звал, гнал их к шерсти, а они не пошли. Страшновато и радостно было им оттого, что слыхали и не пошли, остались в саду, где чистый и сладкий воздух, где журчит-поет вода, где зелень, как рута.

Сверкающий в пятнах солнца Геркулес дружелюбно улыбался ребятам и, как бы приветствуя их, принялся еще сильней раздирать пасть своей металлической гидры.

— Папка!— вдруг зазвенел совсем близко тоненький серебряный голосочек.

Иван Тимофеевич, просветлев, обернулся на голос.

— Я здесь, доченька... Что тебе?

Из-за кустов жасмина, улыбаясь, выпорхнула девочка лет десяти. С первого взгляда видно было, что растет она при матери: чистая, аккуратная, умытая, причесанная... С бантиком на голове, в крутых кудряшках до плеч, как в золотых пшеничных колосьях... Легкая была, как скрипочка, и Данько, который любил давать людям прозвища, невольно окрестил ее в мыслях скрипочкой.

— Ну как тебе не стыдно, папка? — щебетала девочка, видимо, с материнского голоса.— Опять забыл про обед!.. Вот так всегда у него,— обратилась девочка уже к ребятам, как взрослая.

— Подожди, Светланка, ты сначала познакомься с молодыми людьми. Не бойся, не бойся, подай им руку. Это мои коллеги, мы вместе здесь отводку делали.

Первым познакомился Валерик, учтиво назвав себя, а потом тряхнул девочке руку и Данько, который сейчас почему-то назвал себя Данилой.

— Покажи теперь, хозяйка, гостям парк,— посоветовал Иван Тимофеевич, когда церемония знакомства была закончена.— Можете сорок и грачей попугать, пусть хоть половина разлетится... А я пойду, в самом деле, пообедаю... Ты, Валерик, выходи послезавтра прямо сюда, с управляющим я сам поговорю.

Ребята остались одни. На некоторое время смущение сковало обоих кавалеров.

— Вы из первой партии, да? — спросила девочка, смело оглядывая ребят.

— Из первой,— ответил Валерик серьезно.

— А я увидела вас, как только вы показались в степи... Я люблю высматривать, когда идут из Каховки... Выхожу на опушку и смотрю. Хотите, пойдем на опушку?.. Оттуда так далеко видно!

Ребята согласились. Данько готов был сейчас идти куда угодно, лишь бы не переминаться с ноги на ногу перед этим созданием, которое росло, верно, на одном молоке, не зная ни в чем недостатка. Беленькая, слегка тронутая загаром девочка так непринужденно разглядывала Данька, что у парня отнялась речь. Этот бантик, похожий на бело-розовый полевой вьюнок, эти вымытые золотые волосы!.. Рядом со Светланой Данько как бы заново увидел себя со стороны, почувствовал цыпки на ногах, и бузиновые штаны, сбежавшиеся складками чуть ли не до колен, и торчащие граммофонными трубами уши, которые у него сейчас огнем пылали...

Двинулся куда-то по тропинке, словно в зеленую пещеру, и жизнь леса снова увлекла Данька. Птичье царство разговаривало с ним на понятном языке, из-под кустов продиралась навстречу знакомая ежевика, цепляясь за штаны. В родную стихию попал парень— отроду лесовик! Местами сквозь деревья просвечивали веселые солнечные поляны, поросшие буйными травами, на которых хотелось поваляться. Светлана вскоре вывела ребят на одну из таких полян, просторную, живописную, как зеленое лесное озеро. Солнце на мгновенье ослепило всех. Данько как-то сразу отрезвел от лесных чар. Почувствовал, что лес этот вовсе не бескрайний, что он здесь лишь какое-то чудо, островок и вокруг — вон там, за поредевшими деревьями,— пышут и пышут зноем на тысячи верст открытые беспощадные степи, в которых сгорают его сестра Вустя и другие сезонники...

На поляне буйствовала сочная трава, почти по пояс ребятам. Раздвигая руками травостой, Валерик пробовал разыскать знакомые по занятиям в школе степные виды. Их почти не было. Зато Данько то и дело попадал на земляков.

— Заячий ячмень!— выкрикивал он из травы.— Лисохвост, чистотел!..

— Это травы все лесные,— радостно размышлял Валерик над находками товарища.— В наших степях таких нет. Ишь что делает лес! Где сам поселился, там уже и помощников своих поселил!

— Папка их подсевает каждый год,— объяснила Светлана.— А некоторые просто ветрами наносит...

— Ветром вряд ли занесет,— возразил Валерик.— Наверное, вместе с саженцами сюда перебрались...

— А что у тебя за кокарда с косой и граблями? — подошла к нему Светлана.— Разве на косарей где-нибудь учат? Ну-ка, дай и я побуду в кокарде!

Оказавшись «в кокарде», Светлана сразу изменилась — всю ее серьезность как ветром сдуло. Защелкала звоночком, запрыгала в траве, барахтаясь в ней, как в воде.

Ребятам сразу стало легче. Пусть забавляется кокардой, если не знает, сколько горя хлебнул из-за нее Валерик.

— Скажите, кто из вас видел море? — спросила Светлана, несколько успокоившись.— Только не Сиваш, потому что это не настоящее море, опо — Гнилое!

— Я видел настоящее,— мрачнея, сказал Валерик.— Черное... А над ним полно в небе чаек и бакланов...

— Ой, как хорошо! — воскликнула Светлана, всплеснув руками.— Оттуда они и к нам залетают, чайки-хохотуньи... Но редко-редко... Садятся на Внешних прудах... А ты что видел, Данило?

Данько насупился. В самом деле, что он видел в своих Криничках?

— Я видел... лес,— вздохнул он.— Во сто раз больше, чем этот ваш высаженный... Конца-края ему нет: с хмелем, с дичками, с боярышником!..

— А я видела только степь, — промолвила Светлана с некоторым сожалением.— Я здесь родилась и все время здесь... Но и степь бывает очень красивой, особенно весной, когда цветет... Знаете что? Давайте завтра пойдем в степь, далеко-далеко... Ладно?

Ребята, переглянувшись, ответили согласием.

— Степь... море... лес,— ласково шептала Светлана и вдруг воскликнула: — Давайте будем играть... в степь — море — лес!

Данько отказался, заявив, что не умеет в это играть. Валерик тоже не умел. Светлана задумалась.

— Лес... степь... море...

В задумчивости стояли они рядом, и каждый по-своему представлял себе то, чего никогда не видел.

— Давайте лучше грачиные гнезда драть,— сказал Данько после молчания. Спутники его поддержали.

Это было, наконец, настоящее дело! Даньку давно уже не терпелось махнуть на какую-нибудь верхушку дерева, повоевать с грачами. Они, разбойники, должны были заранее дрожать перед Даньком, перед его железной натурой, закалявшейся в беспрерывных войнах с воробьями! Когда он, ударив картузом оземь, метнулся, как кошка, на самый высокий вяз, Светлана раскрыла ротик и застыла в величайшем удивлении: ей казалось, что этот лесной Данила, карабкаясь все выше и выше, каждый раз выпускает когти из рук и ног.

Наделал шуму Данько на всю Асканию! Растревоженные грачи вскоре подняли над парком такой страшный галдеж, что сбежались сторожа.

Переговоры с ними взяла на себя Светлана.

— Он грачей дерет,— объяснила она с достоинством.— Ему папка разрешил.

До самого вечера встревоженно галдели грачи над парком, с треском и хрустом летели вниз их гнезда, шлепаясь о землю, а Данько ходил по верхушкам, где-то под самым небом качался на ветвях, весело выделывал там опасные фигуры, перекликаясь с Валериком и Светланой, смотревшими на него снизу, как на чертенка.

XVI

Утро в воскресенье выдалось удивительно чистое, палитое прозрачным солнцем. Необъятная степь шумела и шумела впереди ковыльными щелками— то молочными, то золотистыми, то со стальным отливом.

Шли они втроем, взявшись за руки, в ту сторону, где, по их мнению, должно было быть море, которое представлялось каждому из них по-разному.

Степь цвела. Нетронутая, испокон веков не паханная, высокотравная...

Что это было за зрелище! Обладая красотой моря и его величием, блеском и обилием света, тая в себе могущество леса и его тихие, вековые шумы, степь, кроме того, несла в себе еще нечто свое неповторимо степное, свойственное только ей,— шелковую ласковость, что-то нежное, мечтательное, девичье...

Ковыли, ковыли, ковыли... Вблизи тускло-стальные, а дальше, под солнцем — сколько хватает глаз — сияю-

щие, как молочная пена. Перекатываются легкими волнами, плывут, разливаясь, до самого неба...

Благословенная тишина вокруг. Лишь зашуршит где-нибудь сухая зеленая ящерка, пробегая в траве, брызнут в разные стороны из-под ног скакуны-кузнечики, да жаворонки журчат в тишине, пронизывая ее сверху донизу, невидимые в вышине, как ручейки, что текут и текут без устали, прозрачные, родниково-звонкие. Кажется, поет сам воздух, поет марево, которое уже поднимается и струится кое-где над ковылями. Может, и эта плывущая, мечтательная степь тоже только марево, которое проплывет и исчезнет? Нет! Каждый стебель впился корнями в сухую, местами уже потрескавшуюся землю; окунешься по пояс в золотистые, слегка покачиваемые ветром шелка, и они не исчезают, а остаются; бредешь в этих шелках среди птичьего щебета и чувствуешь на душе, очищенной от всего горького, только отстоявшуюся радость, только освобожденное от всяких пут небесно-легкое счастье. Раскрываешься душой для самого лучшего, досягаемого и недостижимого, распускаешься навстречу самому морю, что вот-вот брызнет из-за горизонта, из-за ковылей.

Мягкие, пушистые метелки ковылей ласкают руки, касаются щек. Плывут стройные цветущие стебли тонконога. Среди золотистого их разлива густо рассыпаны в ложбинках озерки цветов, туманятся кое-где, как бы покрытые инеем, сизые островки степного чая. Изредка виднеются над ковылями шарообразные кусты верблюжьего сена, кермека и молодого курая, которые осенью, отломившись от собственного корня, станут перекати-полем.

— Вы знаете, здесь даже зимой, если пригреет солнце, поют жаворонки,—сказала Светлана.

— И отары пасутся? — спросил Данько.

— И отары...

— Всю зиму?

— Всю зиму... если нет буранов.

Далеко, у самого края неба, паслись небольшим табунком ветвисторогие олени, зебры и антилопы, изредка маячили в направлении Сиваша столбы степных колодцев.

— Знаете, кто их роет? — опять обратилась к ребятам Светлана.— Есть такой дядька — Оленчук Мефодий. Говорят, что он колдун, потому что видит сквозь землю все подземные озера, пруды и реки... Их тут много течет под степью... Но барыня не может их видеть, ей это «не дано»,

а Мефодий видит, потому что он чародей, поэтому барыня нанимает его копать в степи колодцы...

Так они шли, разговаривая, изредка останавливаясь, чтобы осмотреть в траве гнездо стрепета или сорвать какой-нибудь особенно красивый цветок, и снова шли дальше, свободно вдыхая аромат весны, настоянный на теплых, душистых травах.

Потом они стояли перед древним степным маяком — каменной массивной бабой с острой монгольской прорезью глаз. После радостного бодрого юноши Геркулеса, который раздирал в саду пасть гидры и поил весь парк водой, эта саженная, захлестанная ветрами баба-яга показалась ребятам зловещей, как привидение пустыни, как сама вещунья засух... Сложив на обвислом животе руки, она загадочно усмехалась степи вечной каменной усмешкой.

— Чего она расплылась до ушей? — обратился Данько к Валерику.

— Не знаю... И никто не знает.

— А что у нее в руках?

— Одни говорят, что светильник, другие — что книга...

— А по-моему, это больше на камень похоже...

— Какая противная! — сказала Светлана.— А барыня их стягивает со всей степи и ставит, как жандармов, в ряд под своими окнами.

И, взявшись за руки, они снова нырнули в шелка навстречу морю, ясному, чудесному.

Потом и шелка кончились, и впереди до самого края неба разлеглась бестравная бурая земля, ровная, в пятнах солончаков, сухая до звона. Вскоре, словно сквозь мигание расплавленного стекла, далеко-далеко на горизонте выросло несколько голых, рыжих, словно покинутых людьми, халуп. Понизу, обтекая их, быстро двигалось могучее марево, и странным казалось, что оно до сих пор еще не размыло эти глиняные приземистые мазанки, похожие на татарские сакли.

— То уже табор Солончаковый,— остановилась Светлана.— А дальше там где-то будет Строгановка на Сиваше. Там живут те крестьяне, что воду крадут... У них воды мало, так они ее крадут ночью из господских колодцев... Недавно объездчики пригнали двоих... Руки за спиной скручены, лица в крови...

Все трое молча смотрели в ту сторону.

XVII

Чабанствует Данько в степи.

Уже привыкли к нему верблюды, которых сам он запрягает в арбу, не гоняются за ним вожаки отары — высокомерные козлы со звоночками на шеях, полюбили Данька даже строгие приотарные собаки — белые лохматые овчарки украинской породы, для разведения которой Фальцфейны держат целый собачий завод.

Вначале было много хлопот у юного арбача с верблюдами. Сколько идешь, всё ревут и ревут, задрав головы к небу. А как лягут посреди дороги, так — хоть плачь — никак их не сгонишь, пока сами не поднимутся. Кромо того, у них была плохая привычка сворачивать в любой двор, как домой. Когда Данько поехал в экономию за продуктами, завернули его канальи верблюды под самые окна Софьи! Остановились и давай реветь, будто с них шкуры живьем сдирают! Хорошо, что вовремя сбежались другие арбачи, оттащили поскорее экипаж Данька подальше от панских окон, не то не миновать бы ему расправы...

Атагас Мануйло терпеливо поучал хлопца, как приноровиться к верблюдам, как за ними ходить.

— Ты их не бей, Данило... Они хоть и верблюды, а шкура у них нежная, как у человека: видишь, от батога сразу трескается... А потом — забыл я тебе сказать — соли ты им даешь?

— Соли?

— А как же... Ему соль — как коню овес... Дома, в оренбургских степях, он на солончаках вырос, и без соли ему здесь не житье.

Метнулся Данько к арбе, припес торбу, насыпал каждому, наверное, по фунту:

— Ешьте, только не ревите!

Набрали верблюды полные рты соли, принялись разжевывать ее, как зерно, благодарно поглядывая на арбача.

— Странные они: едят курай и молочай, а солью закусывают!

— Вот так угощай их каждый день... Чего-чего, а соли хватит: под боком, на Сиваше, растет.

После этого признали наконец верблюды своего погоныча, перестали реветь.

Остальными своими обязанностями Данько овладел значительно легче. Просты они: утром наварить каши,

к водопою отары натаскать воды из степного колодца, налить в желоба... Сделаешь это, спрашиваешь атагаса, где будет отара вечером.

— Там,—махнет атагас рукой в степь,— за той вон могилкой... Видишь курганчик?

Сложив хозяйство, двигаешься на новое место. При переездах не любит Данько сгибаться в своем шатре — чаще видит его степь верхом на одном из верблюдов, запряженных в двухколесную кибитку. Хорошо в степи, привольно! Поют жаворонки, синеет небо, текут марева... Ни тебе панов, ни приказчиков, ни дикой чечни. Редко они появляются здесь.

Плывет Данько, спокойно покачиваясь на верблюде, напевает и вспоминает далекие Кринички... Ехать бы да ехать вот так верхом до самой Полтавщины, до самых Криничек!.. Выбежала б навстречу, радостно всплеснула б руками мать, все село сбежалось бы встречать диковинного всадника...

— Кто ж это к нам приехал на таком звере? — кричит вдруг Данько на всю степь пронзительным голосом криничанской попадьи.

И тут же отвечает басом:

— Да это ж Данько Яресько верхом на верблюде!

— Ишь куда забрался, дьяволенок! — гримасничает Данько, продолжая разговор в лицах.— И не упадет и не боится, что верблюд стиснет его своими горбами!..

— Откуда же он путешествует, откуда завернул к нам в Кринички?

— Да, видно, издалека, если на таком звере, что ни конь и ни корова!

— Наверное, из пустыни!

— Слышите, люди? Из самой пустыни прибыл молодой Яресько!..

Свободно витали над степью призрачные мечты Данька, не раз побывал он под материнскими окнами на своем горбатом верблюде...

Добравшись до места, указанного атагасом, парень пускает верблюдов пастись, а сам принимается расставлять треноги, готовить ужин чабанам. В первые дни не удавалась Даньку чабанская каша, слишком отдавала дымом, а теперь, кажется, овладел: выскребывают чугунок до дна.

Вечером из степи медленно приближается отара. Выровняв овец «в струнку», Мануйло неторопливо ведет

свое войско, уступая овцам пастбище шаг за шагом, время от времени командуя подпаскам, чтоб аккуратнее «подбирали зады», не растягивали отару. Сам Мануйло выступает с герлыгой впереди овец, как полковник, прямой, стройный, с браво поднятой головой, с «Георгием», который издали сияет на его затвердевшей, просоленной десятью потами рубашке.

Приблизившись на расстояние голоса, атагас окликает Данька:

— Эгей, каптенармус! Как там у тебя?

— Готово! — докладывает Данько.

— Пшено разопрело?

— Разопрело!

— Ложка не падает?

— Торчит!

Если ложка в чугунке торчит, не падает, это вершина — высшей похвалы для каши быть не может.

С атагасом Данько в дружбе, у такого человека есть чему поучиться парню. Был Мануйло на японской войне, прошел огонь и воду. Беспощадно швыряла его судьба по разным землям, часами может он рассказывать о далекой и таинственной стране Маньчжурии, куда он был послан, как он говорит, «передразнивать японцев».

Трубачом был Мануйло в полку. Когда это было, а еще и сейчас все помнит: муштру знает назубок, всякие воинские сигналы умеет передавать на своей чабанской сопелке.

Вот он подошел к арбе, сбросил накинутую на плечи свитку, снял пустой бурдюк... Данько уже ждет от него какого-нибудь веселого номера.

— А ну, гренадеры, — гремит Мануйло своим подпаскам, довольно мешковатым парням,— разомнемся перед ужином! И ты, Данило, становись на хланг... Подтянуть животы... За мной... Живо! Ать-два! Ать-два!

И пошел выделывать такие упражнения, такие закручивать артикулы, что только поспевай за ним. Вся отара в это время с удивлением смотрит на своего атагаса. Он то присядет, то подпрыгнет, то отшатнется, то ринется вперед... Нет у него ни усталости, ни одышки. Герлыга превращается в его руках в штык, чабанская барашья папаха сидит на нем чертом, и сам он становится удивительно легким, бравым и молодым!

Старательно выделывает Данько перед пораженными барапами ефрейторские артикулы, но с еще большей

охотой перенимает парень от Мануйла науку трубача — сигналы военной тревожной музыки. Когда Данько, впервые сыграл зорю, атагас его похвалил:

— Учись... Может, еще спасибо мне когда-нибудь скажешь...

Самое лучшее время для Данька наступает после ужина, когда степь словно отдыхает, остывая, мягко окутываясь душистыми сумерками. Темнеет поблизости отара, охраняемая овчарками, обложившими ее со всех сторон. Монотонно стрекочут кузнечики в траве, изредка широко мигают сухие зарницы на горизонте. Сидит Мануйло над притихшим костром, расправив плечи, без шапки, подставив голову под звезды. Тихо, спокойно, как широкая река, течет его рассказ... В такие вечера любит Мануйло рассказывать о своей родной степи Чаплинке, основанной в Присивашье турбаевскими бунтарями, «еще когда тут не было никаких ни фальцев, ни фейнов».

О турбаевском восстании Данько слышал еще дома, в Криничках, но там его отзвуки жили больше в песнях о Марьянуше, которыми голытьба допекала богатеев и которыми часто отводил душу Даньков отец-рыбак. В устах же Мануйла вся история Турбаев выступала жестокой живой былью, он знал ее в таких подробностях, словно сам был участником тех суровых и славных событий старины.

...Неподалеку от Данькова Псла, на речке Хорол, стояло когда-то большое живописное село Турбаи, входившие в Остаповскую сотню Миргородского полка. Не посполитые, не чьи-то подданные жили в нем, а вольные казаки. Турбаевские казаки были образцовыми воинами, принимали участие во многих походах на турок, верой и правдой стояли за родную землю. Но ненасытная казацкая старшина, богатея и наживаясь, все чаще посягала на вольности простых казаков. Первым катом для турбаевцев оказался их земляк, миргородский полковник Данило Апостол, который впоследствии стал даже гетманом. Этот ясновельможный силой превратил турбаевских казаков в своих подданных. Но после смерти Апостола новый миргородский полковник Капнист, враждуя с родом Апостолов, снова вернул турбаевцам их прежние вольности. Вдова гетмана Апостола, имея на руках царскую грамоту, подтверждавшую за ней право на Турбаи, пожаловалась на действия Капниста в генеральную войсковую канцелярию. Однако гетманша вскоре умерла, и лишь

правнучка Апостола — Екатерина Битяговская, к которой перешли права на Турбаи, возобновила иск, и суд генеральный постановил: быть турбаевским казакам в подданстве Битяговской. Битяговская продала Турбаи богатому сотнику Ивану Базилевскому, который со своим братом Степаном и сестрой Марьяной стал еще туже затягивать на Турбаях петлю крепостничества. Таким-то оно было «свое», «родное» украинское панство!

На редкость жестокими эксплуататорами оказались помещики Базилевские (были они Василенки, но чтоб сильнее несло от них шляхтой, сменили свою фамилию на Базилевских). Кроме барщины на поле должны были турбаевцы выполнять бесплатно и другие тяжелые работы. Обжигали кирпич на панских заводах, вымачивали до самых морозов коноплю, рубили лес, ткали полотна... «Но то пряли наші жінки — пряли й наші дітки» — пелось в тоскливой турбаевской песне тех времен.

Между тем мечта о возврате казацких вольностей ни на мгновение не покидала вольнолюбивых турбаевцев. Их тайные ходоки добрались из Хорола до самого Петербурга, высуживая себе казачество. В Сенат был подан иск на Базилевских. Несколько лет тянулось дело. Наконец иск турбаевцев увенчался успехом: за ними была признана их казачья природа и казацкие права.

Вскоре в Турбаи выехал с воинской командой Голтвянский нижний земский суд. Судебные чиновники поселились в доме Базилевских, пили с ними и гуляли и в конце концов приняли решение, что в Турбаях, дескать, выявлено всего с полтора десятка казацких родов, а остальные — все мужики, посполитые, больше того — среди них якобы есть даже беглые крепостные с Курщины, которые самовольно именуют себя казаками.

Приговор был оглашен под вечер. Выслушав на площади решение пьяного суда, крестьяне в один голос заявили:

— Неправда! Мы все как один— казаки!

Заволновалась площадь, зашумели турбаевцы, грозно обступив своих обидчиков.

Как раз во время перепалки с судебными чиновниками на площадь прибежало несколько встревоженных сельских пастушков:

— Караул! Стадо угоняют...

— Кто? Где?

— Есаулы Базилевских!

Это была искра, упавшая в порох. Налетев на воинскую команду, турбаевцы мгновенно обезоружили и связали ее. Кинувшись в другую сторону, разгромили помещение суда и, до беспамятства отлупцевав панских прихвостней — судей и подсудков, двинулись всем селом к усадьбе Базилевских.

Задрожало панское отродье, увидев, как надвигается на него с угрожающим гулом многолюдная разгневанная толпа, как среди цепов и кольев поблескивают турбаевские косы, пики и сабли! Казацкое, в боях с чужеземцами освященное оружие лежало в тайниках, ожидая своего часа. И вот он настал, этот час, и, как бы выросши из-под земли, оружие засверкало в воздухе мстительной сталью, играя над растревоженным валом грозной толпы, блестя и кровавясь под лучами вечернего солнца — последнего солнца для Базилевских!

Со звоном посыпались стекла из окон, кольями высадили двери, темная вода турбаевского гнева рванулась в панские покои. На месте были растерзаны палачи-сотники, вытащили турбаевские молодицы и волчицу Марьяпушу из-под перины...

Ой, у той Мар'яшуші та й у косах стрічка,
Куди тягли-волочили — кривавая річка!

Запылали в ту ночь на взгорье хоромы Базилевских. На всю Украину легли отблески непокоримого турбаевского пламени. Заметалось панство в близких и далеких поместьях, заволновались Кринички, Остапье, Сухорабовка...

— Мы тоже не родились крепостными! Мы тоже хотим воли!

Расправившись с Базилевскими, турбаевцы избрали самоуправление, определили кордоны, выставили вооруженную стражу на шляхах, чтобы никто не мог въехать в село без их ведома. Правительство со своей стороны выставило на кордонах всего Голтвянского уезда усиленную стражу против турбаевских бунтарей. Правда, пикетчики, стоявшие в карауле, сочувствуя турбаевцам, часто удирали со своих постов, но, так или иначе, село жило в осаде, с пиками на страже своих пелегких вольностей.

Тем временем царица вела переписку по поводу Турбаев с князем Григорием Потемкиным, генерал-губернатором харьковским, екатеринославским и таврическим. Переписка эта была полна тревоги, Как их прибрать

к рукам без особого шума? Двинуть против них войска? Но не получится ли хуже, не раздуют ли подобные действия новую пугачевщину? К тому же Польша под боком гудит от недовольства, во Франции— революция...

Решено было, откупив турбаевцев в казну, переселить их с Хорола на свободные, не заселенные земли Юга. Высочайшим указом дело это было поручено вести правителю екатеринославского наместничества генерал-майору Каховскому.

С наследниками Базилевских Каховский договорился без затруднений, помещики и сами рады были избавиться от беспокойных Турбаев, быстрее перепродать их в казну. Наследники шли даже на то, чтобы вместо денег получить плату натурой, «солью таврической», за каждую турбаевскую душу. Но с самими турбаевцами Каховскому не удалось так легко и полюбовно сговориться.

«К переходу в степи не имеем желания,—писали они Каховскому,— да так, что хотя бы и смерть пострадать в Турбаях готовы».

От старых казаков, побывавших в крымских походах, турбаевцы немало слыхали о южных безводных степях, знали, чем они могут встретить крестьянина...

Решили держаться до последнего, не сдаваться ни на угрозы, ни на уговоры.

Тогда, с согласия царицы, Каховский снарядил против турбаевцев карательную экспедицию.

Не в открытом бою — хитростью были взяты славные Турбаи, по коварному плану, заранее разработанному Каховским. Цель похода даже от самих солдат держалась в полнейшей тайне. Им говорилось, что совершают, мол, они переход в город Гадяч, что останавливаются под Турбаями лишь для того, чтоб починить обозы и напечь хлеба. Под вечер, когда турбаевцы, доверчиво пустив войска на постой, сами припялись помогать им варить ужин и чинить обозы, была дана команда: хватать старого и малого, сгонять, запирать в амбары.

Утром приехал из Гадяча суд, наехали палачи со своими инструментами.

Зверскими были царицын суд и расправа! Вожаков— к смертной казни, других — кого под батоги, кого под плети, но всех подряд — взрослых и детей, женщин и стариков. Покраснел от крови турбаевский майдан. Тем, которые должны бы умереть под батогами, но благодаря крепкому здоровью не умерли, повырывали ноздри, повы-

жигали железом на лбу В, на щеках — О и Р — и в Сибирь на пожизненную каторгу, остальных — в степи на поселение, что равнялось самой тяжелой ссылке.

Всего нужно было переселить более двух тысяч душ. Разделили турбаевцев, как невольников, на партии: часть конвоиры повели за Буг, к Днестру, другую — в безводные степи Присивашья...

В мае офицер на коне вывел турбаевцев на черную дорогу... Опустели их хаты, обезлюдели сады и огороды над родным Хоролом...[1]

Тяжелой была дорога на юг. С каждым днем таяли на возах запасы пищи и воды. Падал непоеный скот, черные, как земля, плелись люди, обессилевшие, разбитые невиданной жарой, высматривая на горизонте спасительные озера... Дорожили каждой каплей, искали на рассвете росу на травах, но и росы в этих краях не было... Дети, один за другим, умирали в дороге, угасая на руках у измученных жаждой матерей. Весь скорбный путь с Полтавщины до Присивашья был обозначен холмиками — могилками турбаевских детей...

— Колодцев здесь и сейчас мало, а в то время их и совсем не было,— рассказывал Мануйло.— Однажды, уже в глубокой степи, наткнулись турбаевцы на озерко... Сами, может, и не заметили б, да птицы помогли... Среди огромных равнин лежала чуть заметная впадина, заросшая буйными травами... Разные птицы летали над ней, цапли стояли в траве... Подошли поближе, смотрят: понизу — среди травы — водичка светится! Осталась тут, видимо, еще от снега, с весны... Турбаевы так и назвали это место Чаплями, а всю впадину — Чаплинским подом... Вода в степи! Какая ни есть, а все-таки вода... Хотели уже и селиться вокруг озерка...

---

[1] Со временем на месте опустошенных Турбаев выросло новое село под названием Скорбное. Владели им побочные потомки Базилевских, один из которых дослужился до высокого камергерского чина. В 1849 году он публично был высечен на сельской площади крепостными Скорбного и, спасаясь от позора, выехал навсегда за границу. Однако ему и там не удалось скрыть следы турбаевских розог. Герцен в «Крещеной собственности» пишет: «В прошедшем году, переезжая С.-Готар, я взял в одной гостинице книгу записей, в ней большими буквами стояла русская фамилия. Под нею другой путешественник написал мелким шрифтом по-французски: «Тот самый, которого дворовые люди высекли». Этот высеченный крепостными пан и был камергер Базилевский. *(Прим. автора.)*

— Оно было ничье? — спросил Данько, напряженно слушая.

— Ничье, как это небо... Вольно было кругом... Но не разрешили турбаевцам селиться возле воды, погнали дальше. Потому что для поселения им были отведены другие места: то на безводном Каланчаке, то по Перекопскому тракту — на месте теперешней Чаплинки... Хоть село свое назвали Чаплинкой в память о тех цаплях, которые первыми встретились им в степи и порадовали было водой...[1] В Чаплинке паны тоже не забывали турбаевцев: прежде всего поселенцам было запрещено копать колодцы, чтоб не переманили чумаков от казенных платных водопоев. Это была кара из кар. Переселенцы вынуждены были бочками — за сорок верст — возить воду из Днепра, должны были лед заготовлять зимой в погреба... С мыслью о воде ложились и вставали, и так — всю жизнь... Потом стали тайком по ночам рыть в сараях колодцы. Свежую землю мешками выносили далеко за село, пригоршнями развеивали по степи, чтоб не видели следов приставленные для присмотра должностные лица... Кто знает: может, оттуда, из этой колодезной земли, почами рассеянной в полях, как раз и родилось наше марево, вечно текущее, светлое и чистое, как реки слез...

— А Чапли те, с озерком... кому отошли?

— Озерко высохло, а Чаплинский под со всеми окрестными землями позже был продан... Царь Николай Первый продал их—пятьдесят тысяч десятин— какому-то пришлому герцогу Ангальт-Кетенскому... По полторы копейки за десятину... А герцог, основав в Чаплях экономию, дал ей название Аскания-Нова, потому что одна Аскания уже была у него где-то в Пруссии. Впоследствии он прогорел здесь, как швед, и должен был перепродать все земли колонистам Фейнам...

Только теперь Данько понял, почему атагас все время называет Асканию не иначе как Чапли: «Поедешь в Чапли... Приедешь из Чаплей...»

— По полторы копейки,— задумался парень.— Такую землю!..

— Ну да, такой был хозяин...

Допоздна текут воспоминания, легенды, предания о степной жизни. О чем только не услышишь у ночного чабанского костра! И о батрацких скитаниях, и о само-

---

[1] Чапля — по-украински — цапля.

дурстве ленивого пана, услышишь даже о том, как один богатей здешний не на лошадях, не на волах, а на кабанах любил проехаться через весь Мелитополь, получал величайшее удовольствие от того, что до самого здания банка подкатывал в кабаньей упряжке...

— А то еще такую быль рассказывают. Собрался жениться один из степных магнатов. Ехал он в поднятии из Херсона или еще откуда-то и потерял пачку ассигнаций. Нашел чабан. Сорок тысяч! Что делать? «Построю, думает, церковь». И дело хорошее, и грех можно замолить, бог простит. «Да нет,— думает немного погодя,— лучше я хутора всем трем сыновьям построю, чтобы не были такими бездомными, как я».

Однако и это не удовлетворило его: мучит совесть. Думал, думал, да и решил-таки... вернуть деньги. «Ежели из этих сорока тысяч пан выделит тысяч пять, и то заживу». Понес свою находку в главное имение, а там как раз свадьбу играют. Паныч и принять чабана не желает. Наконец невеста услышала, что какой-то там чабан добивается, упросила паныча: «Прими!»

Велел пан пустить чабана в хоромы. «Что? Сорок тысяч? По-твоему я дурак, что деньги по степи сею? Не мои! Ну да, впрочем, раз уж принес, так давай, а тебе, скажи, пускай дадут веревку, чтобы ты мог повеситься».

Шутки ради панские слуги дали чабану веревку. Взял ее чабан, пришел в степь к арбе, печалился-кручинился до ночи, а потом взял да и повесился на перекладине арбы...

Словно бы из страшной книги, где все записано, взято на заметку о панских издевательствах над людьми, вычитывает Мануйло свои степные легенды и были.

Даже когда дремота одолевает парня, и тогда он, сквозь убаюкивающий треск кузнечиков, слышит суровые слова о пане Саливоне да о Марьянуше. Это атагас Мануйло, опершись на герлыгу, гудит, поет степи свою думу...

XVIII

В пятницу утром, едучи в Асканию за харчами, догнал Данько в степи босого высокого крестьянина с котомкой за спиной. Путник попросил парня подвезти его.

— Садитесь вот там, на передке,— указал Данько путнику место в арбе. Сам он, как всегда, восседал на верблюде, болтая от нечего делать ногами.

Ехали некоторое время молча. Тяжкое горе, видимо, угнетало Данькова пассажира. Костлявый, худущий, кривоносый, он сидел на передке, устало опустив плечи, как старый степной орел на копне сена. Молча, со скорбным равнодушием смотрел он на проплывающую, затканную маревом степь с виднеющимися кое-где колодцами, издали похожими на виселицы: два столба с перекладиной...

— Наниматься, наверное, в Асканию? — первым нарушил молчание Данько.

— Да нет... Сына вызволять...

— А зачем он там, сын ваш?

— Возле колодца ночью объездчики застали... Мало того что на месте до крови избили, еще и в каталажку бросили: выкуп давай...

Слово за слово — разговорились. Выяснилось, что это однополчанин Мануйла по японской войне, строгановский житель Оленчук Мефодий. Имя показалось Даньку знакомым, и парень стал припоминать, где он мог его слышать.

— Ага! Так это вы тот, что колодцы кругом копаете?

При упоминании о колодцах крестьянин заметно оживился.

— Копал когда-то, а теперь уже в отставку вышел: ноги очень крутит... Для колодезного дела железное здоровье нужно, парень... Пока был моложе, они и ничего: поднимешься раз в день на поверхность, выпьешь залпом полкварты, чтоб согреться, и опять туда, вглубь, до самого вечера. Наверху солнце, жара, трава свертывается, а там, на глубине каких-нибудь двадцати саженей, как в леднике. Земля из тебя все тепло вытянет... Так натопчешься за целый день по колени в ледяной жиже, что и кости онемеют.

— Еще бы, после такого да ногам не крутить,— искренне посочувствовал Данько.

— Хорошо, если угадаешь, где начать, а то, бывает, бьешь неделю, бьешь месяц, глины уже повыбросил гору, а воды... нет. Пропал даром труд, заваливай здесь, переходи на другое место. Такая-то наша работа, хлопче... Много их перекопал, да все по чужой степи: мои вон виднеются до самой Преображенки. И ноги, считай, навек застудил, и нос вот по-ястребиному перекосило, ведром перерубило... Сорвалось над головой и рубануло парня, чтоб отметный был. Зато и отблагодарила меня на ста-

рости лет Фальцфейниха кровавыми своими пенсиями! За бочонок воды сына замучили, еще и выкуп давай... А где его взять, выкуп-то?

Грустно вздохнул Данько, сидя на верблюде. Каторжная жизнь! Бедствуют люди в Криничках, погибают в каховских ярмарочных лазаретах, мучаются и здесь... Чья степь, того и право, того и отары, того и колодцы. Собственными руками выкопал человек колодец, а воду брать не смей, потому что она уже не твоя и не сына твоего... Поймают, изобьют, еще и вором сделают, в арестантскую швырнут!

И так должно быть? Чтоб трутни пановали, а рабочий человек не вылезал из беды? Взять хотя бы стрижею тетку Варвару, или атагаса Мануйла, или этого Мефодия — перебейноса, колодезника... Что против них Фальцфейниха, почему она правит ими всеми? А что, если б ее за патлы, да по степи, как турбаевскую ту Марьянушу?!

— Думал было хоть солью от нее откупиться, да сейчас и на соль уже лапу наложили,—жаловался Мефодий.— Живешь, как в петле, со всех сторон веревка затягивается... Мы здесь, в Строгановке, издавна солью промышляем, живем больше с того, что Сиваши пошлют... Этим летом соль как раз не плохо уродила, можно было б хоть немного дырки залатать...

— Дяденька,— удивился Данько,— а разве соль родит?

— А как же... Родит, парень, да не всегда... Бывает, что лето пройдет — не найдешь и крошки. Зато в урожайный год нарастает ее сразу миллиарды пудов...

— Вот туда бы мне со своими верблюдами! Пусть бы наелись до отвала!..

— Все зависит от погоды,— говорил Оленчук.— Когда поднимется ветер с Азова, погонит воду на Сиваш, зальет его до самого, считай, Перекопа, тогда у нас, парень, виды на урожай. Вот ветер повернулся, вода бежит назад в море, остается ее на дне Сиваша не больше как на палец... Тут еще солнце пригрело, и рассол уже кипит, все Гнилое море перед тобой «замерзает» солью, затягивается ею...

— Это она вон там белеет? — загляделся Данько вдаль.

— Мне отсюда не видно. А с верблюда, стало быть, видать?

— Белеет, даже сияет,.. Будто снег среди лета выпал!

— Вот видишь, то за неделю наросла... И правда, весь Сиваш в эти дни лежит, будто первым снегом покрытый... Идешь ночью, море покалывает в ноги: все соль да соль. Ничего, что разъедает ноги, зато облегчение душе: пройдешь с гребком полосу— станет за тобой вал соли. Когда луна светит, всю ночь не ложимся спать. Нагребешь валы, сгребешь их потом в кучи. С верхушки вода постепенно стекает книзу, ветерок обдувает, соль просыхает — глядишь, уже стоят в Сиваше, как лебеди, сугробы твоей соли!..

— А живые лебеди там есть?

— Живых... нету.

— А рыба?

— И рыба не водится... Мертвая у нас вода парень... Кроме соли, считай, ничего в ней нет... А теперь уже и на соль запрещение вышло. Арендаторы крымских соляных озер подали губернатору жалобу на нас: запретите, дескать, присивашским селам сгребать соль на Сиваше. Губернатор, понятно, стал на сторону арендаторов, где же ему быть? Мы с братом Иваном три ночи вот мешками носили, кагат на пять выложили в камышах, а вчера явился урядник с понятыми и все замерил, описал... Теперь или хабар давай, или штраф плати...

— А какое их дело вмешиваться? — возмутился Данько.— Разве они и море ваше арендуют?

— Море-то не арендуют, море — людское... И соль все равно зря пропадет: никто ее сгребать не станет, если мы не сгребем...

— И сам не гам и другому не дам?.. Нелюди!

Не таким представлял себе Данько этот край, собираясь в Каховку. Думал, что здесь все люди живут в достатке и никто никого не обижает... Солнечной, ласковой и щедрой рисовалась ему Таврия сквозь надпечное, расшитое белыми морозными цветами оконце! Растаяли цветы — растеклись наивные Даньковы мечтания... После многочисленных каховских впечатлений, осиянных образом правдистки, после разговоров в вонючих овечьих сараях, после чистых, спокойных, как легенды, историй Мануйла он заметно повзрослел, перед ним как бы открывалась новая, уже совсем не детская ступень понимания мира, всюду одинаково несправедливого. Сама жизнь все чаще толкала его на размышления, на поиски какого-то просвета в будущем. «Вы — сила!» — вспоминались ему слова правдистки, сказанные в Каховке. А разве, в самом

деле, не показали тогда сезонники свою силу, объединившись хоть ненадолго? Выкупали-таки стражников в Днепре! А сейчас разбрелись по таборам, распылились по степи... Кто их тут объединит, кто соберет?..

Асканийские грачи, видимо, до сих пор еще помнили Данька: когда он въехал на главную улицу, птицы подняли страшный галдеж. Парень повеселел:

— Не забыли!..

Арбачи останавливались на просторном дворе между Зеленой конюшней и мастерскими, где находились также и продуктовые склады. Сюда и завернул свою колесницу Данько, высадив перед этим Оленчука у конторы. Среди арбачей парень уже приобрел веселую славу — его появление было встречено возгласами, шутками:

— Вот и наш турбаевец, тот самый, что заворачивает верблюдов под Софьины окна!

— Любит заглядывать в панские спальни!

— Как же ты сегодня их обманул?

— Сегодня окна уже занавешены,— грубовато откликнулся Данько.

— Заметил все-таки! Говорят, напугалась пани чабанского наезда, метнулась куда-то, аж в Преображенку, на целый день...

Пятница для Аскании в самом деле была шумным, беспокойным днем. Пыль, собачий лай, рев верблюдов, скрип арб... Целая ярмарка стоит возле мастерских. Прибывшие из степи арбачи и молодые чабаны, соскучившись за неделю возле отар, ведут себя в этот день в поместье, как моряки, которые после долгого плавания сошли наконец на берег. Пренебрегая запретом, горланят песни, задирают служанок, устраивают собачьи бои или сами борются на поясах перед мастерскими.

Данько старался ни в чем не отставать от других арбачей, с которыми он был уже запанибрата. Распрягши верблюдов и заняв очередь за продуктами, подходил к собравшимся, здоровался, с размаху ударяя по ладоням, затем, по примеру взрослых, принимался вертеть цигарку из махры. Пусть не подумают, часом, приятели, что он уж и затянуться не умеет. И затягивался так, что в глазах зеленело.

Потом его можно было видеть где-нибудь в центре толпы, где он ходил перед товарищами на голове или, лежа где-нибудь в холодке, точил лясы насчет распущен-

ности Софьи, насчет ее прежних наездов в степь с приятельницами и шампанами на чабанскую кашу и на голодную чабанскую любовь.

Получать продукты помогал Валерик. Разбираясь хорошо в весах, он и Данька учил, как надо за ними следить, чтоб кладовщики не обвешивали при выдаче.

На этот раз Валерик застал своего друга в мастерских, где непоседа-арбач, окруженный кузнецами, огромной кувалдой пробовал свою силу на наковальне.

— Будет, будет из него толк,— поблескивали зубами черные, как негры, кузнецы.— Три таких удара, а еще пальцы не отбил...

— Он уже и сейчас лягушку подкует... А вырастет, так подкует и саму Фальцфейниху...

Заметив товарища, Данько бросил молот и поспешил к нему. Валерик за эти дни посвежел, принарядился.

— Здоро́во, друг!

— Здравствуй, Данько!

Ребята радостно пожали друг другу руки.

— А я уже подумал, не загордился ли ты, чего доброго, там, в своем саду. Светлана не пришла?

— Она сказала, на шлях выйдет, когда в степь будешь ехать...

— Оно и лучше, что сюда не пришла... Мы тут, бывает, такое говорим, что девочке и слушать рано... А ты все поливаешь?

— Поливаем понемногу... Вот и сейчас бегу на водокачку узнать, в чем дело... Что-то не подают воду на башню, наверное, перевели на Внешние пруды...

Водокачка была тут же, за мастерскими, и ребята пошли к ней вместе.

— Ну, ты уже привык к своим... кораблям пустыни?—улыбнувшись, спросил Валерик, когда они проходили мимо верблюдов.

— Уже как шелковые... Ты знаешь, почему они ревели? Их надо солью каждый день кормить, а я не знал... Ох и едят же! А пьют после этого— страх...

В это время на улице послышались крики, ругань. Ребята оглянулись. Два чеченца верхами гнали куда-то высокого старого крестьянина, который, защищаясь от нагаек, прикрывал лицо рукой.

— Оленчук!..— воскликнул Данько.— Куда они его?

— За межу, наверное, — мрачно ответил Валерик, двигаясь дальше.

Возле водокачки внимание Данька привлекли два огромных цементных круга, стоявших рядом и поблескивавших на солнце огромными стеклянными колпаками.

— А что тут, в этих шеломах?

— А это же... колодцы водокачки.

— Колодцы... и под стеклянными шапками?

Валерик засмеялся.

— Тут, брат, вода — всему королева, и наряжают ее, как королеву... Для нее в саду построили из кирпича эту красивую башню, увитую плющом, для нее — фонтаны, статуи, гроты... И тут, видишь, какими коронами увенчали ее...

Остановившись у одного из колпаков, Данько заглянул через стекло в колодец. Мрак! Вначале — солнце на круглых каменных стенах, а глубже—темень, железо, мазут, какие-то механизмы и, кажется, люди около них...

— Верно, насосы ремонтируют,— сказал Валерик.— Видишь, все там...

— Как же они туда пробрались?

— Там сбоку ход есть... Хочешь — спустимся?

— А нас не чертыхнут?

— Нет, меня ведь Привалов знает...

— Какой Привалов?

— Механик водокачки. Хороший дядька. Его асканийская детвора называет Водяной Механик или просто Водяной...

В помещении водокачки было сумрачно. Закопченные стены, черная паутина в углах и опять какие-то механизмы, замасленная тяжелая сталь, маховики, ремни, белые циферблаты приборов... И хотя все сейчас стояло без движения, Данько потрясла эта затаенная, как бы настороженная мощь машин, впервые увиденных им так близко.

— Это газогенератор,— объяснил на ходу Валерик,— он работает на каменном угле, на антраците... Он как раз и двигает своей силой все насосы... Ну, а теперь нам сюда...

Узкие и темные ступеньки вели глубоко вниз. Сам Данько, конечно, ни за что не отважился бы туда спуститься! Но Валерик уже пошел вперед, и Даньку ничего не оставалось, как двинуться вслед за ним. Осторожно ощупывая стены, пригибаясь, он лез и лез за товарищем куда-то во влажную темноту, словно молодой черт, который после земных странствий возвращается к своему пеклу в подземелье.

Наконец блеснул какой-то просвет, и Валерик с кем-то заговорил:

— Иван Тимофеевич послал узнать...

— Не утерпел! Приревновал уже, наверное, нас к зоопарку?

— Нет, к Внешним прудам...

— Я так и знал... Сейчас будет, уже кончаем...

Здесь была целая подземная мастерская. На мокром настиле из грубых досок при скупом свете, падавшем сюда с высоты сквозь отверстие колодца, работали, расположившись в различных малоудобных позах, люди, замасленные, полуголые, но веселые и бодрые. Тот, кто разговаривал с Валериком (Данько догадался, что это и есть сам Водяной), был небольшого роста, но крепкий, узловатый, быстрый в движениях, с искристым взглядом серых глаз, пронизывающих и в то же время приветливых. Заметив за плечом Валерика оторопевшего Данька, он сразу угадал в нем человека степного, далекого от всей этой механики.

— Там у вас проще: веревку через барабан — и «гей!» в простор,—пошутил механик, когда Валерик познакомил его со своим другом. — А мы тут полжизни, браток, под землей... Но ничего, духом не падаем! Иногда и рыба попадается, днепровских сомов выкачиваем...

Данько даже рот раскрыл:

— А разве вы днепровскую качаете?

— А то как же!.. Днепровская, браток... От самой Каховки идет сюда по жилам под землей... Ну, готово, ребята?

Вытирая руки паклей, механик посмотрел вверх. Оттуда упал на него скупой свет, даже не похожий на солнечный.

— Павка! — скомандовал Привалов кому-то наверх.— Давай! Лудло — на башню!

Было в его последних словах столько радостной энергии и властности, что Даньку и самому захотелось быть таким, как механик, умелым и боевым.

— Пошли! — тронул его за руку Валерик, и они стремительно кинулись вверх по ступенькам.

Здесь все уже пришло в движение, размеренно, мощно гремело, мелькало маховиками, дышало на Данька непривычным машинным теплом...

Насосы работали.

— Ну и Водяной! — восторженно воскликнул оглушенный Данько, пробираясь к двери.— Один знак из-под земли, и все кругом загремело!..

Выскочили на воздух. После влажной темноты подземелья колодцы как-то особенно пышно сверкнули на ребят своими стеклянными коронами. Невдалеке от колодцев, в неглубокой, тоже застекленной яме, копался, склонившись над трубами, русый, блестевший от пота юноша.

— Павка,—обратился к нему Валерик,— перевел?

Юноша, выпрямившись в яме, улыбнулся:

— Уже пошла... не догонишь!

— Здесь распределитель,— объяснил Валерик товарищу.— Вон та труба идет на зоопарк, та — на Внешние пруды, эта вот — к нам на башню...

— А что такое лудло?

— Это вентиль, клапан, система такая... Открыл — и уже погнало воду по трубам в парки, в пруды, уже для всей Аскании праздник!..

— Вот черт!.. Сказал — и все ожило... Всю силу в себе держит!..

Мимо сверкающих, полных света колодезных корон, между груд искристого антрацита ребята снова выбрались к стоянке арбачей, к кибиткам и рыжим, выгоревшим на солнце верблюдам, которые дремали, лежа в пыли, или тоскливо высились вдоль заборов, словно живые привидения пустыни...

Возле продуктовых амбаров чабаны громко ссорились с кладовщиком, поблизости грызлись чьи-то здоровенные овчарки, но Данько, еще полный впечатлений от водокачки, ничего этого не слыхал. Остановился посреди стойбища, поморгал глазами... Потом, закинув голову, вдруг раскатисто, полной грудью выкрикнул:

— Лудло — на башню!

И застыл, радостный, возбужденный, мечтательно заглядевшись в чистую небесную синь...

XIX

Хутор Кураевый возник и разросся в степи возле нескольких землянок, в которых издавна зимовали со своими семьями чабаны. Теперь землянки были почти незаметны за кошарами, воловней и другими хозяйственными постройками. Воловщики, кузнецы, доярки — все, кто

постоянно работал на хуторе,— получали место в низком, с покоробленными стенами бараке, всех же прибывших на сезон не мог вместить никакой барак. Для сезонников заранее обносилась оградой небольшая площадка, примыкавшая к кошарам, сваливалась туда арба соломы — и гнездитесь...

Сюда после распределения попали криничане и кое-кто из орловских ребят (большинство орловцев, в том числе и Мокеич, были назначены еще дальше — в Джембек-сарай). Загородка и солома под открытым небом — это было все, что мог предложить сезонникам Гаркуша, приведя их в табор.

— Под открытым небом? — увидев ограду, воскликнула Ганна Лавренко так, словно всю жизнь спала в обитых бархатом спальнях.

— А что же,— засмеялся Гаркуша.— В компании да вповалку, чтоб к осени с приплодом были!

Ганна уставилась на него своими прекрасными большими глазами:

— А если дождь?

— Ха, дождь!.. Наловим рыбы — будет борщ!..

Так началась их жизнь в таборе Кураевом, который в конторских книгах значился фермой Кураевой. Аскания отсюда была чуть видна — стояла далеко в степи, как синяя туча, высунувшаяся краем из-за горизонта и застывшая на все лето в неподвижности. Фантастическим, несбывшимся сном промелькнула она перед сезонниками, со своей могучей зеленью, с крылечками и палисадниками, со светлыми прудами и журавлями-красавцами на окраине парков... Все это предназначалось кому-то другому, прежде всего той рыжей ведьме с бураковым лицом и отвислым подбородком, которая, щурясь, осматривала их из-под своей панамы. Им же, сезонным невольникам и невольницам, надлежало прожить лето в далеком полевом таборе, не защищенном ни одним деревцом, открытом всем ветрам. По одну сторону от табора тянулись поля, по другую — лежала гладкая, как море, испокон веков не паханная степь, тысячи десятин сенокосных угодий... И то и другое принадлежало Фальцфейнам. Хлеба в этом году выдались слабосильные, зато травы, успев вымахнуть на зимней влаге, накатывались теперь из степи на табор тяжелыми валами.

С первых дней сезонники попали на сенокос. Ежегодно у Фальцфейнов заготовляли сотни скирд сена, чтоб

хватило для нужд собственных экономий, а также на продажу. Самое лучшее степное сено, сухое и зеленое, как чай, прессовалось в таборах в тюки и отправлялось на Каховскую пристань.

Но перед этим его нужно было накосить, сгрести, сложить чьими-то руками...

...До восхода солнца поднял Гаркуша людей на сенокос. Похаживал в загородке, весело пощелкивал сезонниц по пяткам:

— Ну-ка, хватит отлеживаться! Поднимайся, которая хочет заработать к осени на чепец!

Косарям приказчик пообещал выдать вечером по чарке, если не будут лениться.

Вскоре у кладовых зазвенела батрацкая сталь: косари подбирали себе косы, пробовали бруски. Девушки разбирали вилы и грабли.

Выведя людей за табор, приказчик поставил косарей лицом в степь и торжественно снял картуз:

— Помогай бог!

У девушек пока не было работы, они разбрелись, искали цветы в траве.

— А нам как? — крикнула приказчику Олена Персистая, когда Прокошка-орловец первый, богатырски развернувшись, со свистом углубился в травостой. — Ждать, пока накосят?

— О, какая усердная, — усмехнувшись, повернулся к ней Гаркуша.— Видать, не ленивой матери дочка!.. Сейчас найду и вам работу, девчата... Оставьте пока свои инструменты здесь, а сами давайте за мной!

Собрав девушек, Гаркуша загадочно улыбнулся и повел их по траве дальше в степь.

— Куда вы нас ведете? — удивленно спросила Ганна Лавренко. — Вперед косарей заворачиваете. Хотите, верно, чтоб ноги нам порезали?

— Отсюда начнем, — остановился наконец приказчик.— Растягивайтесь, девчата, в одну линию... Будете идти перед косарями и... птицу сгонять, чтоб не порезали. Раздвигайте руками траву, смотрите, может, где гнездо... Если гнездо — сразу подавай знак косарю, чтоб обошел...

— Жаворонков пасти,— засмеялась Вустя Яресько.— Такая работа нам по душе. Может, так все лето здесь пробудем...

— А вы думали как? У нас хозяйство культурное, заповедное, не то что там, на Джарылгаче... Есть у нас,

девчата, недалеко коса Джарылгачская, птица тучами на ней садится, гнездо к гнезду... Так, верите, едут и пудами оттуда яйца нагребают... свиньям своим на корм!

— Кто едет?

— Да кто же... всё хуторяне,— буркнул Гаркуша, промолчав, однако, что набеги на Джарылгач и на Чурюк чаще всего устраивают как раз его братья с отцовского хутора.— А у нас насчет этого строго... Фридрих Эдуардович из самой Швейцарии телеграмму прислал: смотрите, мол, во время сенокоса за гнездами... Так-то... Каждая птичка под охраной, каждую насекомую жалеем... Ну, айда, девчата, вон косари уже приближаются...

Поблескивая мускулистыми икрами, девушки двинулись в открытую степь. В самом деле, по душе, видимо, была им эта работа! Ступали осторожно, раздвигали траву, как воду, мягко, ласково, и казалось, не из травы выпархивают перед ними жаворонки, а прямо из их ловких рук...

Гаркуша был доволен новым набором. Прекрасно работали новые сезонники, не приходилось подгонять. Мужчины, раздевшись по пояс, шли друг за другом, как тридцать три богатыря из сказки... Брали усердно, на всю руку, нагребали с размаху покосы, как волны... Радовался втайне приказчик, наблюдая сенокос: будут и похвалы, будут и премии!

Удачный, радостный день для Гаркуши был украшен еще и румяными щеками Олены. Аппетитная, полная девушка и, кажется, не такая строптивая, как другие: еще в Каховке приказчик приметил ее... Своим присутствием Олена оживляла сегодня для Гаркуши весь сенокос. Голова Гаркуши невольно все время поворачивалась туда, в сторону Олены: она шла третьей в длинной линии девушек, которые брели и брели все дальше в степь... Не остановятся, не оглянутся... Однако куда их понесло? Шутят или поиздеваться вздумали над приказчиком? Словно далекая туча, на горизонте синеет среди ослепительной степи Аскания, а они на ее фоне как джарылгачские чайки...

Зови — не дозовешься... Пришлось на коне догонять.

— На Асканию собрались, что ли? — крикнул Гаркуша, прискакав без седла к беглянкам.

— Еще дальше,— ответила Вустя, поддержанная дружным смехом девушек.— До самого моря хотели!..

— Поворачивайте назад! А то вы, наверное, и в самом деле подумали, что вас сюда на баловство наняли, жаворонков пасти... Сено вон уже надо шевелить!

Гоня своих веселых беглянок по степи назад, Гаркуша все время ехал рядом с Оленой, заговаривал с ней о том, о сем. Девушки насмешливо перемигивались: подлаживается приказчик к Олене, осоловел, чего доброго в кухарки переведет...

— Гонят вон наших арестанток,— встретили девушек шутками косари. — По всей степи, верно, птицу подняли?

— На орлиное гнездо в одном месте наткнулись, — весело рассказывали девушки.— С яичками.

— Почему же вы не махали?

— Зачем махать? Далеко! Пока вы туда докосите, уже и орлята из гнезда вылетят!..

— Разбирайте вилы, девчата,— приказал Гаркуша.— Пора за дело!

— Разве уже не пойдем больше? — насмешливо обратилась к нему Олена.

— Хватит с них,— махнул рукой приказчик.— Показались в степи, и довольно... Теперь пусть хоть всех птиц перережут, я свое сделал...

Разошлись девушки с вилами по сенокосу, заняла себе Олена Прокошки-орловца покос...

Дружно кипела работа до самого обеда, не было на кого покрикивать Гаркуше: вилы так и сверкали в руках у девушек, напевно посвистывали косы в траве. За полдня обгорели косари, спина и грудь у них покрылись свежим загаром, покраснели на жаре так, что, казалось, и ночью, в темноте, рдеть будут.

Во время обеда настроение приказчика было в значительной мере испорчено. Началось с молока. Наиболее дотошные сезонники стали вдруг допытываться, почему это им вместо обещанных вначале галушек с цельным молоком дают какую-то бурду со снятым? Кто же, мол, вершки слизывает? За море идут? А разве за морем коровы не доятся? Или, может, там работа тяжелее, чем здесь?

Все знали, что молока на Кураевом много, тысячами струек звенит оно ежедневно в оцинкованные подойники. Распухали пальцы у доярок, пока выдоят стада. Была на хуторе даже удивительная машина для молока — сезонницы уже ходили накануне гуртом на нее смотреть. Хитрая та заморская машина — сепаратор; снятое оставляет в Кураевом, а сливки гонит куда-то далеко, в свои загре-

бущие края. Вначале их в бидонах отправляют в Каховку, там сбивают из них масло и, оставив пахту каховчанам, отправляют готовое масло еще дальше, за море, к тем, кто прислал Фальцфейнам молочную веялку.

Не хотел Гаркуша с первого дня ругаться с сезонниками, пытался все свести к шутке:

— Много родственников у нашей пани Софьи по заграницам, да все, видно, католики... Никаких постов не признают, едят скоромное и в петров день!...

Но сезонники не принимали приказчичьих шуток, они шутили по-своему. Только покончили с молоком, как уже перешли к хлебу, недопеченному, мокрому. Одни лепили из него лошадок, другие верблюдов, а третьи, налепив жаворонков, принимались тут же учить их летать. Один такой жаворонок, выпорхнув из-за чьей-то спины, просвистел над самым ухом Гаркуши, вызвав среди батраков всеобщий хохот... Ну и народец!

После обеда работали уже не с таким усердием, как в первой половине дня, однако в общем хорошо. Оголили до вечера степь, лежали покосы на версту от табора.

Вечером опять недоразумение: стали сезонники охапками тащить свежее сено в свою загородку. Пытался останавливать, перехватывать Гаркуша — куда там, лучше посторонись!

Навалили, разлеглись, как господа.

— Желаем на духовитом сене спать!

Пригрозил приказчик, что накажет за такое своеволие, обещанной чарки не даст.

— Ну и не давай, черт с тобой!

— Хоть залейся ею!

И лежали, развалившись на сене, как их благородия.

XX

Потянулись дни за днями. Ложились покосы, поднимались густыми рядами валы, перерастая затем в большие копны. Гудело от усталости тело, и во сне косили — двигали руками косари. Обгорели на огненных ветрах девушки, до крови потрескалась у них на лицах молодая кожа. Ганна Лавренко работала, закрывшись до самых глаз, задыхаясь под платком, а вечером, добыв у доярок ложечку сливок, мазалась ими на ночь, лечила на губах кровавые трещины.

— Врут, не обгорю, не почернею, — говорила она подругам. — Буду белая, как эти сливки.

Сама не знала, для чего белизну наводит, для кого бережет свою красоту, но все-таки белилась, берегла. Наедине жаловалась Вусте:

— Думаешь, не обидно, что возле Олены, и особенно возле тебя, ребята все время вьются, а меня как будто чураются, обходят. Скажи мне правду, Вустя, разве я не краснвая?

Голос ее звенел искренним беспокойством.

— Не потому это,— ответила Вустя подруге.— Красивая ты, даже слишком красивая, но как-то не по-нашему, не простой красотой... К тебе, как к панночке, мужицкими руками и прикоснуться страшно.

В самом деле, Ганна казалась здесь многим белой вороной, ее холодная неприступность и ослепительная красота отпугивали даже приказчика, который, считая, что этот «квас не для нас», все упорнее домогался ласки другой криничанки, Олены Персистой. Однажды за обедом Олена, смеясь, рассказала, как приказчик ухаживал за ней на сенокосе.

— Хвалился, что придет сегодня ночью попугать.

— За загородку? — удивленно спросила Ганна.

— А куда же...

— И тебе... смешки?

— А почему нет? — опять засмеялась Олена, влюбленно посмотрев на орловца, сидевшего рядом с ней.— Может, кухаркой сделает, если не буду ломаться...

— Ну тогда, Олена, чтоб снятого молока для нас не жалела: по ведру на брата,— заметил Прокошка, и все засмеялись.

В ту ночь Гаркуша действительно долго кружил возле батрацкого сеновала. Сезонники уже храпели, а приказчик, не находя себе места, все мыкался поблизости в темноте, как волк. Ни с того ни с сего заговаривал со сторожами (сторожили в таборе Сердюки), то ласкал собак, то просто торчал где-нибудь под кошарами, прислушиваясь к малейшему шороху.

Взбунтовалась приказчичья кровь, водит, не дает спать!.. Сторожа, догадываясь, в чем дело, старались держаться подальше от сеновала. Пусть лезет, пусть уж кладет себе под бок ту, которую сумел уговорить!..

Было уже за полночь, когда Гаркуша, проскользнув наконец за загородку, двинулся на цыпочках вдоль бат-

рацких пяток, прислушиваясь к храпу сезонников. Постояв некоторое время возле девичьих рядов, он решительно опустился на четвереньки и осторожно полез в темноте на сено.

Олена спала на своем месте. Найдя ее в темноте, удивленный приказчик вдруг почувствовал, как девушка, поймав его руку, стала сжимать ее совсем не с девичьей силой. Еще не успел опомниться, как Олена другой рукой уже крепко схватила долгожданного любовника за загривок и встряхнула его, точно добрый дядька. Тем временем появилась откуда-то и третья Олепина рука, за нею — четвертая, пятая! Ловко накрыв Гаркушу сверху какой-то попоной, все эти руки начали молча толочь его.

Сопело сено, хрипело, хекало, но не кричало. Железные кулаки Олены, которых становилось все больше, дружно месили Гаркушу со всех сторон, не давая ему опомниться. Все шло кувырком. Надсадно дышали сверху железные Олены махоркой, прыскал где-то в стороне девичий смех, стучали в колотушки, расхаживая по табору, сторожа, не подозревая, как летят тут перья от их приказчика. Подать голос, кричать караул? Но ведь тогда другие приказчики насмерть его засмеют, выживут из имения!

Наконец те же многочисленные руки Олены, подняв измолоченного Гаркушу на воздух и крепко раскачав, швырнули с сеновала за ограду.

— Проклятый серко! — послышался вслед чей-то басовитый, явно измененный голос.— Мне показалось, что волк лезет!..

— Это не серый,— возразил другой голос, тоже измененный до неузнаваемости.— Это, видно, цепной с хуторов забежал: шея начисто вытерта...

Пробейголовы, они еще глумились над ним!..

На другой день Гаркуша ходил запухший, в синяках, но — никому ни слова. Управляющему, который, приехав осматривать сенокос, заодно поинтересовался и шишками приказчика, Гаркуша невнятно пробормотал что-то об осиных гнездах и поспешил перевести разговор на другое.

Приказчик не без основания подозревал, что среди тех, кто тузил его, первыми заводилами были орловец и Андрияка... Он их угадывал по железным кулакам. Против них затаил глубокую злобу и потому решил, что кого-нибудь из этих верховодов надо непременно перема-

нить на свою сторону, чтоб расколоть, обессилить батрацкую верхушку. Выбор пал на Федора Андрияку.

— Слушай, Федор... — начал однажды Гаркуша, подойдя к парню, когда тот клепал во дворе косу. — Давно хочу поговорить с тобой как земляк с земляком.

— Какие же мы с вами земляки? — удивился Федор.— У вас тут хутор и, наверняка, землишки десятин двести, а у меня торба блох там, на сеновале, лежит...

— Уж ты начнешь сразу... Это тебя, наверное, тот орловский научил... Ну чего ты с ним дружбу водишь, скажи мне, Федор? Что он тебе, брат или сват? Подумай, куда он тебя заведет? В острог да на каторгу, не иначе! Брось ты его, Федор,— зашептал над самым ухом Гаркуша,— добра тебе желаю, правой рукой, подгопяльщиком своим сделаю!..

— Эх, приказчик, приказчик! — презрительно усмехнулся Андрияка, ставя торчком перед собой недоклепанную косу.— Если ты за три копны куплен, так думаешь, и каждого можно купить? Руки мои ты в Каховке действительно купил, а на душу не замахивайся! Непродажная она, самому нужна, слышишь? Земляк!.. Какой ты мне, к чертовой матери, земляк? Что я, под одной свиткой с тобой на каховском берегу спал или, может, мы бревна вместе из Днепра таскали?

— Федор, дружба ваша...

— Ой, лучше отойди, приказчик, пока не поздно, потому что, ей-богу, могу ударить за такие слова! А как я бью — ты уже должен бы знать!..

Положив косу на клепало, Андрияка ударил по ней молотком как будто и не сильно, как будто слегка, но сталь зазвенела на весь двор.

Больше Гаркуша не возвращался к этому разговору. Зато стал еще придирчивее. Приказчик давал теперь выход своей мести в штрафах, для которых в экономии не существовало никаких ограничений. По малейшему поводу — за сломанные грабли, за испорченную косу или за растоптанный кем-нибудь валик сена — рвал и метал Гаркуша. Штрафы посыпались на сезонников, как из мешка.

— Это он норовит,— объяснили батракам дворовые,— чтоб вы свои штрафы осенью, после срока, остались отрабатывать.

— А, дудки! — коротко ответила на это Вустя Яресько.

Единственной отрадой для батрацкой молодежи оставалась песня. Вечера настали светлые, лунные, вся степь торжественно серебрилась под мглистой лунной фатой. После работы на сеновал приходил с гармошкой молодой таборный машинист из матросов — Леонид Бронников, тот самый, с которым орловец и Андрияка познакомились еще в Каховке на ярмарке, в гармошечных рядах, тот самый, который улыбнулся на берегу какой-то из криничанских девушек. По сердцу пришелся Леонид сезонникам, а особенно юным сезонницам: веселый, светловолосый, как солнце, с белыми бровями вразлет, как крылья чайки в полете.

О машинисте говорили как о человеке бывалом, грамотном, знающем себе цену. Еще подростком начав работать на торговых судах, он будто бы уже успел побывать в далеких плаваниях, но потом за какой-то пьяный дебош был списан с корабля и вот уже второй год глотает сажу на сухой суше, в фальцфейновской степи возле паровика. На дебошира Бронников был совсем не похож. Всегда веселый, спокойный и сдержанный, он ни к кому зря не придирался и, казалось, был вполне доволен своим сухопутным положением. По сравнению с другими Бронников хорошо зарабатывал — профессия машиниста в южных экономиях считалась довольно дефицитной. Очевидно, помня об этом, Гаркуша никогда не осмеливался кричать на матроса, избегал стычек с ним, да и Бронников, в свою очередь, старался не подавать поводов к ссоре. Работа у него шла исправно, и, пользуясь славой хорошего машиниста, Бронников разрешил себе держаться на хуторе так, словно вообще не замечал приказчика, который к тому же совершенно ничего не понимал в паровиках.

На сеновале матроса встречали всегда с радостью. Особенно сдружились с ним два неразлучных побратима — Федор Андрияка и Прокошка-орловец, которым машинист пришелся по душе еще с Каховки. Для них, завзятых гармонистов без гармони, Бронников был образцом, и хотя оба отродясь не видели моря, стали выкалывать и себе якоря на руках. Матрос же, будучи человеком исключительно товарищеским, не только доверял ребятам свою гармошку с перламутром, но и сам учил их новым песням, чаще всего матросским.

О девушках же и говорить нечего: не одной из них казалось, что матрос зачастил на сеновал ради нее, что, играя, подмигнул вчера вечером именно ей... Придет

Леонид — и сразу исчезает дневная усталость, девушки уже готовы танцевать хоть до зари, успевай только поливать площадку панской водой, чтоб меньше пылило на гармониста! А он сидит в своей тельняшке, светлее лупы, по-морскому принаряженный, задумчивый, словно видит перед собой все те Цейлоны и Сингапуры, в которых побывал... Все в нем какое-то необычное, могучее, привлекательное, как сказка, как само синее море, никем из девушек до сих пор не виденное... Чего стоит хотя бы одно движение, когда матрос, откинувшись с красивой небрежностью, растягивает гармонь, властно ведя пестрые меха через свою полосатую, как у молодого тигра, грудь и посылая их куда-то дальше вверх, за плечо! Ах, не знает матрос, что одним этим своим движением не цветистые меха он растягивает, добывая чарующие звуки,— душу девичью вытягивает из груди!

Порой просили его девушки:

— Расскажи нам, Леня, что-нибудь про море, про далекие края.

Улыбнется, посмотрит на небо, усыпанное звездами...

— Да... Немало довелось походить по морям, на разных бывал широтах... Но таких звезд, девушки, как в нашей Таврии, нигде видеть не приходилось...

— В самом деле, какие-то очень яркие, крупные, полные они здесь...

— Крупнее, чем где бы то ни было... А знаете почему? Воздух слишком сухой, испарений нет в атмосфере...

И все заглядятся на звезды, расцветшие в сухой небесной степи, притихнут до тех пор, пока матросские пальцы снова не побегут по певучим ладам...

Стали в последнее время замечать девушки, что особенно часто заводит матрос любимые песни Вусти. Тишина стоит кругом, травы пахнут, а ему все «По долині вітер віє, а на горі жито половіє...». Тихо, задушевно, нежно вдруг начнет наливаться в лунной тишине матросское жито, как первая юношеская любовь. И уже не лунная ночь, а июньский полдень вдруг сверкнет вокруг золотыми нивами-разливами... А Вустя стоит в задумчивости, разгоряченная, взволнованная, ощущая трепет во всем теле, и, слушая, как нарастает нежная мелодия, незаметно и сама сольется с ней, подхватит еще нежнее, по-птичьи легко и естественно, и уже растет вместе

с песней, где-то над степью, над табором, долетая до самых звезд, действительно больших здесь, бóльших, чем где бы то ни было.

А в обеденную пору, когда девушки пьют, как горлинки, воду возле колодца, приходит матрос в саже от своего паровика и начинает щедро освящать сезонниц панской водой, выплескивая на них полные пригоршни из ведра. Вода холодная — девушки извиваются и пищат, хотя, собственно, делать это должна одна только Вустя, потому что больше всего брызг летит на нее — словно серебром осыпает ее матрос.

Вустя не остается в долгу: схватив ведро, она выплескивает всю воду на матроса, и он, ахнув, удирает, выкупанный, выгибая свою спину с плотно прилипшей тельняшкой, под которой яблоками ходят молодые мускулы.

Случается, что Гаркуша, проходя мимо и как бы не замечая Бронникова, пригрозит девушкам, чтоб не разливали зря воду: и так, мол, скоту едва хватает.

— На него не грех,— ответит Вустя,— он матрос, он по воде скучает...

Так проходили дни. На троицын день из степи приблизилась к Кураевому отара Мануйла, и, воспользовавшись случаем, Данько отпросился у атагаса навестить сестру.

XXI

Вустя была с девушками в сепараторной, когда ее позвали со двора:

— Вустя, гости к тебе. Брат приехал!

Радость перехватила дыхание, и слезы почему-то стиснули ей горло, когда, выскочив во двор, она увидела наконец брата. Он стоял возле своего верблюда, улыбаясь до ушей, с герлыгой в руке, с дырами на обоих коленях... Такие дырки, а парню хоть бы что: стоит беззаботный, светит ими, как двумя солнцами, на весь табор...

— Данько! Братик мой!..

Воспитанная сама в строгих крестьянских обычаях, не баловала раньше Вустя и брата нежностями, но на этот раз не сдержалась — кинулась, обняла, приголубила, даже стыдно стало парню перед сезонниками. Разве он маленький, чтоб с ним так здоровались? Не мальчишкой, а

человеком с профессией явился сюда, можно сказать, солидным, заслуженным арбачом!

Бывает у подростков пора, когда они, засидевшись в детях, как те молодые дубки, что вначале растут только в корень, начинают потом, набравшись сил, вдруг гнать вверх, вырастая за лето на полшапки. Наступило, видно, и для Данька такое лето. Чабанствуя в степи, он стал еще сухощавее, жилистей, но и вверх его погнало заметно.

Знакомые сезонники с любопытством обступили Данька и его верблюда. Орловец и Андрияка заговорили с парнем, как равные с равным, стали расспрашивать о чабанской жизни, о том, не обижает ли, часом, подчиненных атагас. Сердюки тоже вмешались в разговор, стараясь всячески выведать у земляка, есть ли возможность у чабанов утаивать от приказчиков ягнят или готовые смушки.

Пока они разговаривали, Вустя успела вооружиться иголкой, нитками и лоскутами. Смеясь, взяла брата за руку:

— Пойдем уж... В светлицах гоже сестре брата встречать.

— Где ж твои светлицы?

— Степь — вот наши светлицы, Данько... Пойдем в степь — хоть наговоримся наедине...

— О, тогда я и верблюдицу заберу; пусть возле нас попасется!..

Пошли втроем: брат, сестра и старая верблюдица...

Зашли далеко от табора, на вольную волю. Вустя, усевшись под копной сена, достала откуда-то из-за пазухи медовый пряник и подала брату. Пряник был явно городской, и это заинтересовало Данька.

— Откуда он у тебя, Вустя? Неужели каховский?

— Нет, это... из Херсона.

— Ты смотри!.. А кто привез?

— Кто да кто,— неожиданно покраснела сестра.— Ездил туда на днях один машинист наш... Да что тебе, не все равно? Ешь молча, раз дала.— И, разложив лоскут, приказала тоном старшей: — Размундирься... Может, и грех браться в праздник за иголку; но, наверно, еще больший грех светить дырками...

Пока Вустя, сидя в холодке, латала Даньковы штаны, он, словно молодой Адам, лежал по другую сторону копны, терпеливо принимая солнечные ванны и переговариваясь оттуда с сестрой. Ему никак не хотелось, чтобы

у сестры создалось впечатление, будто плохо в степи: пусть Вустя будет хоть за него спокойна... Все хвалил. Расхваливал на все лады не только своего турбаевца атагаса Мануйла, но и Мануйлову отару и даже неуклюжую эту верблюдицу, что паслась поблизости.

— Характер у нее шелковый, куда хочу — туда и заворачиваю,— весело говорил Данько, опершись подбородком на руки и болтая в воздухе голыми ногами.— А терпеливая какая! Верблюд, Вустя, не то что до Каховки, до самых Криничек может дойти не пивши... И в харчах не перебирает — самый грубый молочай ест... Просто удивительно, почему их в Криничках до сих пор не заводят?

— Только верблюдов еще там не хватало,— отвечала Вустя.— И без них тошно.

— Или возьми овцу,— просвещал Данько сестру.— То враки, что овца из всех животных самая глупая. Дурная, мол, аж крутится... Бывает, что и крутится, но почему? Это значит, жара, голова у нее болит, она от боли вертится, а совсем не по дурости... Зато как они тонко погоду чувствуют, как сопелку любят! Овца без музыки и пасется не так... Особенно на рассвете: встанет вот так Мануйло, заиграет, а они хрупают поблизости, слушают сопелку, словно думают.

— Вижу, тебя чабаны уже совсем в свою веру обратили, — улыбнулась Вустя. — Уже и в Кринички возвращаться не захочешь...

— А что, может, и зазимую в степи,— разглагольствовал арбач, млея на жаре нагишом. — Передам заработок с тобой, а сам, может, и зазимую. Кого я там не видел, в Криничках? Огиенков и их кутузку?

— А мама? — встревожилась Вустя.

— Мама... Маму я и здесь не забуду,— задумавшись, ответил парень.— Я их нигде, никогда не забуду...

Когда штаны были готовы, Вустя швырнула их брату:

— На, надевай...

— Вот это приварила,— обрадовался Данько, натянув штаны и любуясь новыми заплатками.— Век, наверное, теперь не сносить!

— Что ты мелешь? — встревоженно подняла брови Вустя.— Весь век в заплатках?

— Да это так, к слову пришлось,— успокоил Данько сестру.— Ты знаешь, сколько с одной овцы штанов настригают? Семь пар, Вустя...

До самого вечера сидели они под копной, словно оглядывая свою жизнь, вспоминая родные Кринички, мать. Чуяли сердцем оба, что есть что-то обидное, страшно несправедливое в том, что сидят они далеко от родного дома, под чужой копной сена, над свежими Данькovыми заплатками... Верблюдица лежит, дремлет... Неоглядная сухая степь вокруг... Ветер над шляхом ветер догоняет...

— Турбаевцев силой в эти степи выселяли, а мы, их правнуки... сами уже сюда пришли...

— Сами, говоришь? Ой, сами ли, братишка, по доброй ли воле? Почему-то богатые не протаптывают сюда стежек, а все только одна голытьба... Почему-то не с радостью, а с тоской, как в неволю, провожали нас матери... Нет, не по доброй воле, Данько, сюда забиваются. Турбаевцев гнал офицер на коне, а нас другое гнало... Подати, нищета, нехватки погнали нас на Каховку!..

Орел проплыл в прозрачном небе... Глубокий покой стоит в степи. Ткутся и ткутся тоскливые думы... Где Кринички, где мать, а где они, дети? Разметало их, словно бурей, по свету. Встретились на часок в своих батрацких степных светлицах и снова должны разойтись, неведомо, когда опять свидятся. Кто им здесь отец, кто мать? Разве не могли б они жить все вместе, счастливым домом, семьей? Отца забрали, от матери их отделили, нет у них пристанища в жизни. Удались оба и здоровые, и расторопные, и в работе усердные, а какой им почет за это? Мешки на плечи — и иди куда знаешь, потому что тесными стали для них Кринички... Малоземелье? Ложь! Сколько той земли вокруг Криничек, родящей, щедро орошенной дождями... Леса, луга какие вдоль Псла!.. Огиенкам небось и там просторно, а Яреськам и здесь, в степной Таврии, тесно. В какой конец ни подайся, хоть целый день иди,— все Фальцфейново и Фальцфейново...

— Сегодня троицын день,— промолвил Данько, замечтавшись. — Сколько зелени понатаскают хлопцы из лесу!.. Во всех хатах зелено, кануфером и любистком пахнет...

— А тут хоть бы для смеху какое-нибудь деревцо посадили,— вздохнула сестра.— Хоть бы где-нибудь куст бузины зазеленел...

— В Аскании, Вустя есть... Там дубы, как тучи, стоят!

— Эх, братишка!.. В Аскании — то не для нас.

Вечером, когда жара спала, провожала Вустя брата далеко в степь, опять к отаре. Предупреждала на прощанье:

— Смотри, будь там с верблюдами осторожней, чтоб не покалечил какой-нибудь... Здесь искалеченному — погибель.

Откуда-то из-за моря всходил уже месяц над степью, когда Вустя, проводив брата, возвращалась в табор. Была вся растревожена этой сиротской семейной встречей. Самые жгучие, приглушенные будничными заботами боли сразу ожили, защемили. С новой силой заклокотали в ней все малые и большие обиды, против которых она защищалась как могла — по-девичьи неумело и простодушно, где шуткой, где песней, а где и слезами в одиночестве... Широкая степь лежала вокруг, полно было воздуха над степью, а Вустя шла задыхаясь. Хотелось выплакаться, вылиться песней перед кем-то, упиться песенной горечью взахлеб... Кто лучше всего поймет ее, к кому обратиться в этот час, с кем поделиться своими горькими богатствами? С кем же, как не с ней, с родной матерью!.. Ой, маменька-зоренька, как в батраках горько!

Сама не заметила, как залилась в полный голос грустной батрацкой песней:

Якби ж моя матінка знала,
Вона б мені вечерю прислала...
Ой, чи місяцем, чи зірницею —
Чи братиком, чи сестрицею!..

Не замечала, что уже плачет, пела, казалось, звездам и ясному месяцу, что светил ей навстречу.

Высоко поднималась над гулкой вечерней степью Вустина задушевная песня. Долетала в один конец, куда-то к Мануйловой отаре, к брату, летела в другой — к табору Кураевому, где даже сторожа притихли, наставив уши в степь, растревоженную девичьей заливистой песней... И вдруг на полуслове песня оборвалась, к великому удивлению сторожей. Не знали они, что в это время там, в степи, где с песней-плачем медленно шла по дорожке Вустя, отделилась от копны сена и вышла на лунный свет хорошо знакомая девушке фигура юноши в матросской тельняшке.

— Леня!

Это было совсем неожиданно, но Вустя не испугалась, она как бы ждала этого. Еще дрожали у нее на ресницах,

сверкая при луне, песенные, не к нему обращенные слезы, а ямочки на щеках уже сами улыбались ему.

— Где ты была? — спросил Леонид серьезно и ласково взял девушку за руку.

— Брата провожала, он арбачом при отаре... Вон огонек горит у них...

— А я тебя ждал... Слышал сквозь песню, как ты плакала, Вутанька, и пошел встречать.

— Как ты угадал, что меня называют Вутанькой? Меня только мама так называла в детстве... Больше никто!

— Я не угадывал, любая... Оно — само.

Открыто, доверчиво смотрела девушка ему в глаза.

— А где ты был сегодня?

— Я тоже... в гости ездил, к своим...

— К родителям?

— Нет, старики мои далеченько отсюда: рыбачат на Кинбурнской косе... У товарищей был, у машинистов.

Месяц поднимался все выше. Голубоватой серебристой дымкой наполнилась степь, раскинувшись перед ними, как море. Разогретые взаимным теплом, все теснее прижимаясь друг к другу, шли они куда-то наугад, под высокие звездные своды своих степных светлиц... Стоном отозвалась из табора матросская перламутровая гармонь.

— Прокошка?

— Нет, это Андрияка...

И, переглянувшись, счастливые, засмеялись оба.

Досыта натешились в тот вечер свободной гармонью Андрияка с Прокошкой, попеременно растягивая мехи, призывая таборных в черевичках доярок не жалеть каблуков.

Но танцы были не те. Без задора, невесело веселились девушки, то и дело задумчиво поглядывая в степь, светлую, почти перламутровую, залитую до самого горизонта таинственным лунным сиянием.

XXII

Валерик и Мурашко прочищали в чаще один из арыков, шедший на восточную окраину парка. Вооруженные лопатами, они выбирали из канавы ил, поправляли стенки, шаг за шагом продвигаясь вперед. Внизу под густой листвой было тихо, свежо, а вверху стоял неумолчный шум и

ветви поскрипывали, как снасти: третий день над степями дул суховей.

— Иван Тимофеевич, правда, что по этим арыкам вода течет днепровская? — спросил Валерик, присев и поправляя руками стенку.— Привалов говорил, что они у себя на водокачке даже днепровских сомов иногда выкачивают...

— Рыболовы,— улыбнулся Мурашко.— Сомы не сомы, а что днепровская, то на этом мы все сходимся...

— Почему же тогда она горит?

— Где горит? Ты имеешь в виду новую скважину, которую третьего дня пробили? Так то другая вода... горит...

— Поднесешь спичку — так и вспыхнет!

— Послушали своего заезжего консультанта, полезли в сарматские известняки... Мы с Приваловым еще тогда говорили, что это напрасная трата сил. Так оно и вышло...

— А разве водокачка не из сарматских известняков берет?

— Видишь ли, Валерий, в чем дело... Представь себе на минуту разрез почвы. — Нагнувшись, Мурашко принялся чертить лопатой схему возле канавки. — Первая вода под нами будет грунтовая. Мы ее называем верховодкой. Ею питаются все наши степные колодцы, те, что с деревянными, допотопными барабанами... Асканию верховодка удовлетворить не может: ее мало, на вкус она плохая, к тому же залегает довольно глубоко. Но еще глубже, вот тут, под нами, проходит в известняках понтийского яруса мощный артезианский горизонт. Все в Аскании держится на нем, на этом горизонте. Из него Привалов как раз и гонит Днепр в наши парки!..

— Днепр... Откуда — и куда! — прошептал пораженный Валерик.

— Мы знаем, что понтийские известняки очень пористые, — продолжал Мурашко. — В их поры и заходит где-то возле Каховки днепровская вода и потом уже движется под степью сюда, как по трубам... На эту воду, Валерик, вся наша надежда, именно в этом направлении должна работать мысль... А они, наслушавшись немца, решили залезть черт знает куда, в сарматские известняки, думая, что оттуда вода сама пойдет на поверхность... Ну вот и получили! Оказалось, что и воды там пшик, да еще вонючая, с сероводородом...

— Поэтому-то она и горит! — догадался Валерик.— Да хотя бы уж горела как следует... А то перебьешь струю ладонью — и погасло...

— Не в ту сторону они смотрят, не там, не там нужно ее искать,— говорил уже как бы самому себе Мурашко, постепенно углубляясь в свои мысли и забывая о собеседнике. Стоял, приложив руку ко лбу, и, напряженно думая, смотрел прямо перед собой в затянутую илом канавку, словно ждал оттуда появления чего-то необычайного. Потом, неожиданно присев, выхватил из бокового кармана записную книжку, положил на колено и стал что-то записывать — быстро, нервно...

С Иваном Тимофеевичем такое случалось довольно часто, и Валерик уже привык к этому. Вначале парень думал было, что Мурашко по натуре поэт или музыкант, которого вдруг среди работы осеняет всесильное вдохновение, то и дело отрывая садовника от будничных дел. Но впоследствии Валерик убедился, что заботит Мурашко вдохновение другого рода. Не рифмы и мелодии вихрятся над ним, а разные проекты, изобретения, усовершенствования... Неугомонный садовник без конца ломал себе над ними голову. То ему вдруг не понравится старая садовая поливалка, которой пользовались годами все, и он уже проектирует другую; то его внимание привлечет обыкновенный улей на стоящей за парком пасеке, и слышишь — Мурашко уже наседает на пасечника, доказывая несовершенство старого улья и необходимость заменить его новым, усовершенствованным. Кажется, не было в Асканин такой вещи, которой бы не коснулась пытливая мысль Мурашко. Все ему хотелось изменить, проверить, улучшить.

С любовью смотрел Валерик на своего наставника, который, присев под деревом, записывал уже какие-то новые мысли, весь захваченный и как бы внутренне освещенный ими. Опрыскиватель... улей... а теперь что?

В добрую минуту судьба свела Валерика с Мурашко...

Сейчас парню даже страшно было представить себя без этого знакомства, без своей крепнущей дружбы с садовником. Не очень много на земле людей, которые, подобно Мурашко, взяли бы на себя заботу возиться с каким-то агрономишкой, который не имеет ни диплома, ни протекций и вышел в жизнь лишь с единственным богатством: узелок с книжками и светлые мечты.

О, задала бы ему Аскания, не отгрызся бы от нее

своими мелкими, как рисовые зерна, зубами... Наиздевались бы над ним приказчики и подгоняльщики, топтали б на каждом шагу его хрупкое молодое достоинство, его не по летам развитое самолюбие.

Школой, другом и убежищем от невзгод асканийских будней стал для Валерика этот ботанический сад. За границами сада начиналась Аскания конторская, панская и околопанская, в которой Валерик порой чувствовал себя хуже, чем на жестокой Каховской ярмарке.

Когда ему нужно было за чем-нибудь сбегать в контору, Валерик шел туда, как на муку. Только войдешь, конторские пустобрехи уже начинают глумиться.

«Знаешь, как мужика сердят?» — осклабится какой-нибудь канцелярист и, подойдя, начнет под общий хохот конторы раз за разом надвигать парню картуз на глаза. Чрезмерно восприимчивый, чуткий к малейшей обиде, как мог он защититься от грубости панских холуев, которые только и искали кого-нибудь поменьше, чтоб поглумиться над ним. Парень был против них беззащитен, обнажен, открыт для всех щелчков и подзатыльников, считавшихся в экономии шутками. Но шутки эти ранили в самую душу. Данько, тот был какой-то более хваткий; увернувшись от подзатыльника, он мог ответить хотя бы тем, что скрутит обидчику дулю или огреет его таким прозвищем, что прилипнет сразу, как тавро, а Валерик и этого не умел и все обиды переживал в себе, не имея возможности отомстить. Его считали просто застенчивым, но редко кто догадывался, какое недетское самолюбие кроется под яркими вспышками детского смущения!

В полной безопасности Валерик мог чувствовать себя только на водокачке да за металлической оградой сада, в этой надежной зеленой чаще, подальше от тротуарчиков, где ходят под зонтиками господа, подальше от черных чеченцев, которые, оплывая жирным потом, режутся по закоулкам с конторщиками в «очко». В парках, среди птиц и зверей, было значительно легче и свежее, нежели в беспощадном горячем круговороте панской Асканни, где все было насквозь проникнуто фальшью, продажностью, жестоким самодурством одних и бесстыдным повальным холопством других.

Иван Тимофеевич угадал его склонности, приставил к живому, любимому делу. Желанный свет науки, упорных, неутомимых человеческих искапий с каждым днем все шире раскрывался перед Валериком. Где еще он мог бы столь-

ко нового услышать об этих понтийских и сарматских известняках, о путях воды под землей? Где еще имел бы он возможность часами работать у микроскопа, с удивлением узнавая, что на корнях дуба селятся целые колонии особого полезного грибка, так называемой микоризы? Без участия Валерика теперь не проходила ни одна поливка парка, он вел, по поручению Мурашко, различные наблюдения над поведением лесных птиц, следил за ростом трав, возился в саду с утра и до ночи, как молодая пчела, которая разносит с цветка на цветок золотую, полную жизни пыльцу...

Тут, рядом с Мурашко, ему даже самая черная работа не была тяжелой!

— Ну, Валерик, пойдем дальше,— говорит Иван Тимофеевич, поднимаясь и берясь за лопату.— Уже немного осталось...

Шаг за шагом продвигаются вперед. Шумят вершины деревьев, бьются, кипят в зеленом шторме. С чавканьем шлепается грязь вдоль канавки — становится глубже русло...

Через полчаса добрались до опушки. Из открытой степи ударили навстречу горячие струи суховея, обожгли лица.

Иван Тимофеевич взял парня за руку.

— Смотри, друже... В глубине парка сейчас тишина, в воздухе там чувствуется влага, а тут все горит, шумит, напирает на ветки... Разгулялся таврический сирокко... Первые, самые жестокие его удары принимает на себя эта зеленая стена. Погляди, вся опушка с этой стороны как бы обожжена пламенем. Суховей жжет, засыпает ее пылью, свертывает листву, но и сам тем временем выдыхается. Воздушные потоки, скользнув по кронам, вздымаются вверх или, разделившись на отдельные струйки, запутываются в ветвях и постепенно гаснут... Вот это тебе, Валерик, лес за работой. Это тебе... вода в степи.

Посмотрели в степь. Лежала голая, открытая до самого горизонта, открытая — знали — и за горизонтом, по всему приморью. Суховей суховея над травой догоняет... Что сейчас там делается — в селах, на убогих нивках?

Задумался Валерик. Нахмурился Мурашко.

Издевается там стихия над человеком как хочет...

— Нет,— поднял вдруг лопату Мурашко, словно для удара.— Не может наша степь на верховодке жить! Ей большая вода нужна...

XXIII

Ночи были теплые, и Валерик спал теперь на веранде домика, где жила семья Мурашко. Двери в квартиру были для парня всегда открыты. Жена Мурашко, Лидия Александровна, относилась к нему, как, верно, относилась бы к родному сыну. Ласковая и нежная, она старалась ничем не дать почувствовать Валерику его неравноправность в доме. Другое дело, что сам Валерик далеко не всегда мог забыть об этом и садился за гостеприимный стол, всякий раз смущаясь и мечтая лишь о том, чтобы посчастливилось ему когда-нибудь отплатить этим людям добром за добро.

Иван Тимофеевич разрешал ему пользоваться своей библиотекой, и вечера Валерик проводил в мурашковском кабинете за книгами. Иногда, правда, приходили после работы гости из числа асканийской интеллигенции, но это бывало редко, большей частью Иван Тимофеевич по вечерам работал.

Прекрасны были эти вечерние часы, озаренные человеческой мудростью, увлекательные, как далекие путешествия!

...В доме тишина, Мурашко что-то пишет за столом, обложившись циркулями и линейками, строгий, курчавый, как Джордано Бруно. В противоположном углу наслаждается книжками Валерик. В составе экспедиции Жилинского он уже прошел тысячи верст по степям Новороссии в поисках воды и сейчас штудирует книгу профессора Докучаева «Наши степи прежде и теперь»... Прочтет страницу-две и задумается, слегка покачиваясь в кресле, витая мыслями где-то над родными степями, что встали перед ним, словно заново открытые.

Ясно, Геродот что-то напутал. По его свидетельству, в древности леса шумели у самого гирла Днепра и даже возле Перекопа.

Не днепровские ли плавни принял он за настоящие леса? Но то, что степи были в старину иными, в этом нет сомнения. Пышная растительность бушевала здесь. Еще во времена Боплана в степях водились туры, благородные олени...

«Распашка степей, пастьба стад и овец изменили структуру почвы... Наше южное земледелие находится в надорванном, надломленном, непормальном состоянии.

Оно является биржевой игрой, азартность которой возрастает с каждым годом...»

Гневом дышит книга профессора. Как строгий врач, дает он свои советы, определяет режим. Регулировать реки. Создавать водоемы. Насаждать лесополосы... Баклагов уже насаждает в Каховке лозу на летучих песках. Почему же ему никто не помогает? Почему насмехаются над ним в земстве?

Много мыслей вызывает у Валерика прочитанное. О многом хочется спросить у Ивана Тимофеевича... Но тот с головой окунулся в свои, только ему известные проекты, что-то подсчитывает...

«Никакая агрономия не поможет,— грозно предупреждает профессор,— если сами землевладельцы, неправильно понимая свои права и обязанности к земле, будут думать лишь о выгоде, вопреки требованиям науки и здравого смысла!» Но как же сделать, чтобы они перестали думать только о своих выгодах? И вообще возможно ли такое? И что думает обо всем этом Мурашко?

— Иван Тимофеевич,— отрывается от книжки Валерик,— можно ли...

Голос его вдруг осекся. Взглянув на Мурашко, парень поразился: никогда еще он не видел своего учителя таким! Свободно откинувшись в кресле, словно отдыхая, Иван Тимофеевич улыбался, глядя в потолок,— улыбался усами, бородкой, всеми морщинами по-южному смуглого лица. Глаза его лучились счастьем. «Что с ним?» — невольно подумал Валерик, завороженный необычайным, вдохновенным видом Мурашко. Иван Тимофеевич напоминал в этот момент отважного путешественника, который после долгих блужданий в пустынях наконец открыл все, что жаждал открыть, и, добравшись до спасительного оазиса, свалился под зеленой пальмой, измученный, но безгранично счастливый.

— Вот и завершил ты, человече, главное, самое большое и самое любимое сооружение своей жизни,— с торжественной медлительностью заговорил Мурашко.— Два года бился... Немало было промахов, немало поблуждал на ощупь, впотьмах... Не раз терял веру, впадал в отчаяние, но хорошо, что поднимался, что снова брался за свое... Теперь все легло, как должно, все гармонирует... Пойдет, не может не пойти! — Мурашко говорил, уже не замечая парня. Казалось, он говорит в пространство.

— О чем это вы, Иван Тимофеевич?

Как бы разбуженный этим вопросом, Мурашко удивленно взглянул в угол на Валерика.

— Ты еще здесь?

И, привычным движением добыв свою карманную «луковицу», некоторое время внимательно смотрел на нее, прикусив ус.

— Тебе пора, Валерик. Завтра рано вставать... Пойдем.

Вышли на веранду.

Теплая ночь, напоенная степными запахами, проплывала над Асканией. В дремучей чаще парка пощелкивали соловьи. Хотя Иван Тимофеевич был сейчас в прекрасном настроении, однако, оставаясь верным своему пристрастию все вокруг улучшать, он вскоре обнаружил несовершенство даже в трелях асканийских соловьев.

— Слышишь? Сделает одно, два, самое большее три колена, а дальше уже затрещал, как сорока... Не умеют наши асканийские соловьи петь в самом деле по-соловьиному... И знаешь, почему? Мало еще в наших парках певчих птиц с красивыми голосами, а соловей имеет привычку перекладывать на ноты то, что слышит поблизости, вокруг себя... Сорока застрекочет, он и сороке саккомпанирует, такой маэстро!..

— Я до Аскании вообще соловья не слыхал,—признался Валерик.— В школе весна, бывало, придет, и не то что соловей — кукушка не закукует...

— В школе... А возьми ты Чаплинку, Строгановку, Громовку; все наши села степные: что они слышат? — Мурашко помолчал, как бы прислушиваясь ко всем этим чаплинкам, строгановкам и громовкам. — Но скоро услышат и они... Перестанет Аскания быть чудом, экзотическим оазисом среди обнаженных присивашских просторов... До самого Перекопа зашумят, зазеленеют вот такие, полные соловьев, парки, сады, рощи... Оживет степь, Валерик, оживет! — уверенно закончил Мурашко и загадочно улыбнулся.

Эта улыбка, как и самый тон, которым говорил сегодня Иван Тимофеевич о возрождении края, несколько огорошили его юного коллегу. Зашумят, зазеленеют, оживут... Говорит так, словно все это уже в его власти, в его руках!

Не знал Валерик, откуда черпает Мурашко свою уверенность. Не знал, что мелкие, заостренные цифры уже шеренгами выстроились в кабинете, собранные садовником на защиту его золотых мечтаний.

XXIV

— Идея орошения наших степей не нова. Не мне она принадлежит — она принадлежит самому народу,— говорил Мурашко на другой день своим друзьям, которые собрались вечером у него в кабинете.— Прислушайтесь к песням сезонников, к рассказам, думам и легендам народным... Весь таврический эпос проникнут мечтой об орошении степей... Свою задачу я усматривал в том, чтобы перевести эту мудрую народную идею на язык цифр, доказать огромную практическую целесообразность ее осуществления... Вы знаете, сколько разговоров ведется сейчас вокруг Днепра, вокруг проблемы днепровских порогов? Новейшими проектами упорядочения порогов предусмотрено, во-первых, улучшение судоходства, во-вторых, получение гидроэлектрической энергии. Но есть еще третья неотложная потребность края — орошение. Предыдущие проекты это дело обходили, а я хочу в меру своих сил дополнить. Конечно, я не чувствую себя настолько компетентным в ирригации, чтоб взяться за разработку проекта во всех технических подробностях. Это дело инженеров. Однако опыт степного лесовода, совесть гражданина подсказывают мне: бей в набат, зови, требуй!.. Моя цель — растормошить, поднять всех на ноги, привлечь внимание самых широких кругов общественности к проблеме обводнения. Мы живем сейчас на голодном пайке днепровской воды, идущей к нам от Каховки под степью, в известняках понтийского яруса. Я предлагаю вывести эту воду на поверхность. Известно, что вся безводная часть Таврии лежит значительно ниже горизонта днепровских вод, подпертых порогами. Итак, возведя соответствующие сооружения, можно направить воды Днепра в степь самотеком. Было бы преступлением не воспользоваться этим преимуществом, которое даст нам сама природа. Устройство оросительной системы не только не идет вразрез с интересами судоходства и использованием энергии порогов, что уже предлагают инженеры, а наоборот, все эти три главные проблемы края гармонически сочетаются между собой. Меня интересует прежде всего оросительный канал. Я в своих предложениях доказываю, что́ он нам даст. Канал будет господствовать почти над миллионом десятин родящих земель. Вы представьте себе миллион десятин цветущей земли! Орошение и только орошение может спасти наш край от бесконечных засух и

черных бурь, от катастрофических для крестьянства недородов. А для государства орошение Таврии будет равнозначно тому, что оно приобретет новый Крым...

Валерик, притаившись среди взрослых, слушал Мурашко с каким-то восторгом, с внутренним наслаждением и страхом. Днепровская вода потечет в степь! Такое в самом деле жило до сих пор только в думах и мечтах народных... А он, этот чудаковатый, не постигнутый им Мурашко, стоит у стола, разложив свои многочисленные записи, схемы и диаграммы, и говорит о будущем таврическом канале как о чем-то уже реально осуществимом.

Гости, усевшись кто где, слушали Ивана Тимофеевича с напряженным, почти мрачным вниманием, украдкой обмениваясь между собой задумчивыми взглядами.

Сегодня у Мурашко собрался, можно сказать, цвет асканийской интеллигенции, люди, которых водяной механик Привалов, будучи в хорошем настроении, называл мозгом Аскании, «сезонниками не простыми, а учеными». Среди присутствующих были: тот же Привалов; заведующий зоологическим парком Евдоким Клименко, которого в шутку называли Ноем асканийского ковчега и который лишь накануне вернулся из Джунгарии, куда ездил добывать для своего ковчега лошадей Пржевальского; был тут также бонитёр Михаил Федоров, известный всему Югу специалист своего дела, первый из бонитёров не немцев, которого пригласили к себе на службу Фальцфейны. В углу возле Валерика сидел, распространяя запах карболки, ветеринарный врач Кундзюба — сосед Мурашко, занимавший второе крыло этого домика, рассчитанного на две семьи. Жена Кундзюбы, которую звали Олимпиада Павловна, тоже пришла, но она осталась на веранде в обществе Лидии Александровны. Сквозь прикрытую дверь оттуда то и дело доносился звонкий голосок Светланы и приглушенное бренчанье гитары. Играл Яшка-негр, который бывал в семье Мурашко довольно часто и считался здесь своим. Его, одинокого, заброшенного на чужбину, видимо, тянуло сюда, в этот ласковый, гостеприимный и уютный дом. Русским языком Яшка как следует еще не овладел, и принимать участие в общей беседе ему было трудно, зато он прекрасно умел играть на гитаре негритянские песни, развлекая Светлану, готовую бесконечно слушать их.

Валерик с самого начала примкнул к мужской компании. То, что излагал сегодня Мурашко перед своими

друзьями, пахнуло на парня необычайной освежающей силой, прогрохотало, как первый над степью весенний гром, который и пьянит, и чарует, и настораживает... Как подлинный властелин природы, стоял сейчас садовник, освещенный лампой, среди своих загадочных схем, выведенных на прекрасной бумаге, где Валерик едва узнавал свою Таврию, обновленную, с непомерно увеличенным Днепром и такими же большими Каховкой и Чаплинкой...

— Смотрите сюда, — показывал хозяин гостям свои владения.— Можно подпереть воду вот здесь, возле последнего нижнего порога, поведя канал мимо Александровска и дальше по долине реки Куркулак... Это далеко. Я — за другой вариант: запруду ставим возле Каховки и оттуда уже возьмет начало канал. Этот вариант дает возможность вывести воду в степь кратчайшим путем...

— Иван Тимофеевич,— осмотрев эскизы, обратился к Мурашко бонитёр, грузный, строгий на вид мужчина лет сорока.— То, что вы предлагаете,— прекрасно. Это более величественно, нежели канал Ибрагимия в Египте. Но скажите, пожалуйста... кто за это возьмется?

Неловкое молчание воцарилось в комнате.

Курил возле окна Привалов. В задумчивости перебирал свою Ноеву бороду Клименко. Потупился Кундзюба.

— Вопрос ваш уместен, Михаил Григорьевич,— сказал после паузы Мурашко.— Знаю, лежат в наших министерствах и департаментах целые кладбища разных проектов... Но я ночи не спал совсем не для того,— неожиданно повысил голос Мурашко,— чтобы эти кладбища увеличились еще на один крест! Тернии, которыми будет устлана моя дорога, я предвидел и потому выдвигаю на первое место презреннейшую, но самую пробойную силу в наше время — выгоду. Колоссальную выгоду, которую принесет с собой канал. Меня лично больше интересует лес, который пройдет в степи до самой Строгановки и Кинбурна, а их я заинтересую чистоганом... Строительство магистрального канала возьмет, должна взять на себя казна.

— Казна не возьмет,— глухо прогудел в бороду Клименко.

— Почему? Казна строит магистральный, а землевладельцы достраивают уже оросительную сеть. За воду, получаемую от канала, они платят казне и, в свою очередь, могут перепродавать ее арендаторам... по значительно более высокой цене.

— Всем выгодно, никто не обижен,— спокойно улыбнулся Ной асканийского ковчега.— Расставил, как силки... Но сомнительно, чтоб землевладельцы пустили казну хозяйничать на своих землях...

— Не пустят? Ну что ж... Я и это предусмотрел...

— Погоди, Тимофеевич,— отошел от окна Привалов.— Ты говоришь: запруду возле Каховки...

— Ты не согласен?

— Только приветствую: давай первым пойду плотину гатить. Хотя голыми руками тут, верно, не много нагатишь. Однако меня сейчас даже не это волнует... Скажи мне, Тимофеевич, сколько будет затоплено в верхнем плесе колоний, экономий, монастырских угодий?

— Сто пятьдесят тысяч десятин!

Механик молча улыбнулся, пуская дым кольцами.

— А хозяева? — усаживаясь по-крестьянски, на корточки у порога, бросил Клименко, заросший до ушей, загоревший под джунгарским солнцем.— Пойдут ли на это хозяева? А если и пойдут, то какой выкуп потребуют? Ты подумал об этом, добрый человек?

— За три года канал все перекроет.

— Сто пятьдесят тысяч,— тихо присвистнул бонитёр, расхаживая по кабинету.— Иван Тимофеевич, это же потоп!

— Не забудьте, господа, что на случай потопа у нас есть свой Ной,— пошутил Кундзюба, кивнув на Клименко.

Разговор все более оживлялся. То, что предлагал Мурашко, у всех наболело, каждого, видимо, задевало за живое. Валерик не принимал участия в разговоре, но в душе был целиком на стороне Мурашко и каждое замечание присутствующих воспринимал с таким горячим волнением, словно речь шла о его собственной идее. Ему казалось, что именно здесь, в кругу друзей Мурашко, должна решиться судьба будущего канала. Правда, они тоже в целом не против канала, их больше беспокоит, кто возьмется, кто даст средства на это грандиозное строительство. Ах, почему Валерик сам не миллионер, почему он не выиграл миллион на каховской рулетке? Не надо было бы тогда ломать здесь голову — согласится или не согласится казна,— сам бы выкупил те сто пятьдесят тысяч монастырских и помещичьих земель!

— Если не возьмется казна,— уже весело говорил Иван Тимофеевич, — разворошу, встряхну наших ленивых

степных крезов. Я не идеалист, я знаю им цену, но я их буду бить их же оружием, от меня они не отвертятся, нет! Выгоды канала настолько очевидны, что надо быть идиотом, чтоб не ухватиться за него обеими руками. И они ухватятся, я раздразню их аппетиты! Вот здесь я привожу данные статистики о ценах на землю в Туркестане, в Крыму. Цена орошенной десятины против неорошенной поднимается двадцатикратно! Чистая прибыль от оросительной системы составляет пятнадцать — двадцать процентов на затраченный капитал... Неужели вы думаете, что к таким вещам землевладельцы останутся глухи? Я пойду от имения к имению, от миллионера к миллионеру, я буду хлестать их своими железными цифрами, я заставлю их в конце концов раскрыть свои кошельки!

— Акционерное общество? — прищурил глаз Кундзюба.— В таком случае я первый записываюсь на акции!

— Неслыханные, неимоверные потекут к ним прибыли, пусть! — не обращая внимания на шутку, возбужденно гремел Мурашко.— Но в то же время хоть капли этого золотого дождя перепадут, знаю, и чаплинским и строгановским беднякам...

Обидно было слушать Валерику, что Мурашкова большая вода прольется золотым дождем прежде всего на окрестных степных магнатов. Столько усилий — и на кого? На таких, как Софья Фальцфейн? Нелепо было то, что высшая власть в Аскании принадлежит этой, ни на что не способной бабе, поднятой кем-то над тысячами людей, которые всю жизнь работают на нее одну, отдавал ей силу своих рук и разума. Не нужна она Аскании — в этом сегодня Валерик убедился окончательно. Разве что-нибудь изменилось бы, если бы не стало вдруг в поместье Софьи? Мозг Аскании — вот он, здесь. Разве знает Софья, как добывается в имении вода, разве имеет она хоть какое-нибудь представление о сложной системе орошения парков? Любуется леопардом Чарли, любуется лошадьми Пржевальского, а добывать их ездит Клименко. Все асканийские животные знают своего Ноя, тянутся к нему из вольеров, трутся мордами, потому что он их выкормил из собственных рук... Вот Федоров, которого чабаны считают колдуном; на днях, когда он стоял в бонитёрской яме, трижды пропускали мимо него одну и ту же овцу, и он безошибочно угадывал ее среди тысячи овец, пролетавших перед его глазами... А собственница отар? Сумела б

она отличить хоть мериноса от цигая? В ботанический сад Софья заходит лишь для того, чтобы разогнать меланхолию и нанюхаться сирени, а известно ли ей, к примеру, что листья этой сирени не ест ни одно из копытных, и именно поэтому Иван Тимофеевич смело высаживает сирень вдоль дорог, под вольерами и даже в загонах...

Нет, не на Фальцфейнах держится Аскания. Волей мурашко и приваловых, федоровых и клименко, волею тысяч сезонников цветет она на удивленье всему миру. Задуманная как барская прихоть, она перестает быть только прихотью, пустой панской забавой. И удивительные асканийские животные, которые свободно пасутся в присивашской степи, и чудесные субтропические птицы, которые мудрыми усилиями науки начинают здесь приживаться, и могучий степной лес, который наперекор всем ветрам поднялся и разросся зеленой грядой среди голого Присивашья, — все это уже начинало перерастать своих бездельников-хозяев, переставало их слушаться, подчиняясь лишь тем, кто гонит воду, лелеет парки, выводит элитные породы...

Не раз Валерику приходилось слышать, как отзываются о «мачехе Софье» и о других «лядащих степных крезах» Мурашко и его друзья. В их как бы мимоходом брошенных словах слышались и превосходство, и презрение, и в то же время гнетущий стыд от того, что какое-то ничтожество поганит их Асканию, держит в подчинении их самих, одаренных людей, которые годами вкладывают в асканийские богатства свою душу, свой ум и энергию... И вот теперь все снова сходится клином на степных миллионерах... Наилучшее создание Мурашко, задуманное совсем не для них, должно в конце концов пройти через их суд...

— По-моему, Иван Тимофеевич, есть одно существенное противоречие во всем замысле, — заговорил Привалов, усевшись за стол на место Мурашко и внимательно разглядывая бумаги.— Ты норовишь провести канал поближе к крестьянским землям, а хочешь, чтоб финансировали его миллионеры-помещики. Это очень серьезное противоречие. Если ты уж направляешь канал в ту сторону, то не естественно ли будет, чтобы и первый голос в этом деле принадлежал именно им, безводным крестьянам? Я думаю, что армия будущих землекопов тебя поняла бы лучше, чем наши чудовищно разбухшие степные крезы...

Задумался Мурашко, заметно помрачнел.

— Великая правда кроется, друг, в твоих словах,— наконец сказал он.— Но, к сожалению, безводники наши не имеют еще ни голоса, ни миллионов... Единственный выход — делать ставку не на тех, для кого канал задуман, а на тех, у кого толстые кошельки.

— Это вы хорошо сказали, Иван Тимофеевич: хлестать их железными цифрами,—остановился против Мурашко боппгёр.— Возможно, с этого как раз и стоит начать. Пока там казна раскачается, а среди них может подняться такой ажиотаж, что только держись!

— В среду у Софьи день рождения,— сообщил от порога Клименко новость, которую, кстати, присутствующие уже знали,— режут антилопу Северянку, предполагается большой съезд...

— А в самом деле,— подхватил Кундзюба,— почему бы тебе, Тимофеевич, не воспользоваться этим случаем? Чем черт не шутит? Ждут как будто губернаторшу, будет госпожа Ефименко, княгиня Мордвинова, будут дамы всех самых денежных наших землевладельцев... Ей-богу, ударь челом! Стоит, знаешь, заинтересовать жен, а мужей они уже на поводке поведут...

Идея понравилась присутствующим (за исключением Привалова, который встретил ее скептической усмешкой). Иван Тимофеевич, видимо, колебался.

В этот момент на пороге кабинета неожиданно выросла Лидия Александровна, ласковая, настороженно-зоркая, как птица. Весь вечер она была в напряжении, только и ждала, казалось, призыва боевой трубы, чтоб, подобрав платье, кинуться на поле боя... Была Лидия Александровна из тех счастливых жен, которые умеют с полуслова схватывать мысли мужа, проникаться имп, как своими, и отстаивать их до конца, не разочаровываясь в них, не отступая даже там, где порой попятится он сам. Шутя с приятельницей, слушая краем уха Яшкину игру на гитаре, она весь вечер следила за тем, что делается в кабинете, где то затихал, то вновь закипал шумный разговор мужчин и где, как ей казалось, сейчас решается главное. Сама Лидия Александровна уже знала замысел во всех подробностях, у нее уже не было сомнения, что ее неугомонный Иван Тимофеевич затеял большое дело и раз он заколебался — бить челом или не бить? — Лидия Александровна уже была тут, чтобы сказать свое слово.

— Ну чего ты задумался, милый? — склонилась она над Иваном Тимофеевичем, как добрый дух.— Слушай,

что тебе люди советуют. Я на твоем месте не пропустила бы такого случая.

Иван Тимофеевич улыбнулся. Вздохнул.

— Челом, говорите?.. Буду бить. Буду бить, пока не разобьюсь...

Всем сразу стало как-то легче после этого, и уже с веселым шумом гости повалили на веранду слушать Яшкины негритянские песни.

XXV

Едет Софья по заповедной степи. Заповедная — это та, которой испокон веков не касался плуг, которую никогда не косят и по которой никто не ездит, кроме самой Софьи.

До самой осени стоит здесь высокая трава.

Сюда переселяются птицы, согнанные с сенокосных угодий.

Горбоносые сайгаки пасутся в этой степи...

Красавцы олени ежегодно сбрасывают в этих травах свои ветвистые панты...

Первозданная тишина царит здесь. Ни насторожепный коршун, часами кружащий высоко в небе; ни неведомый всадник, который изредка беззвучно проскачет вдалеке; ни чабан, что маячит на далеких выгонах по плечи в плывущем мареве,— никто не развеет, никто не нарушит степного величественного покоя.

Звенят цикады.

Горячо пахнут насыщенные солнцем травы.

Покачивается в кабриолете Софья, сидит, сложа руки на животе, точно каменная скифская баба.

Едет с богомолья, перебирает воспоминания, как четки...

Мчалась когда-то этой степью, сама правила лошадьми. Упругий ветер бил в лицо, бахчисарайские приятельницы взвизгивали за спиной. Солнце ложилось в ковыли, оранжевая мгла клубилась над гривами коней... Развлекались таврические леди, на чабанскую кашу спешили, на ту, что со степью, с дымком!

Был у Софьи тогда роман с молодым атагасом... Ах, забыла, как его зовут! Покорный такой, симпатичный, как ручной медведь... Интересно, любил ли он ее?

Приедут, он уже стоит без шапки, ждет приказа.

— Ну-ка, атагас, принимайся кашеварить! Вот тебе приправы...

Подростку-арбачу Софья тоже найдет работу:

— Танцуй, чабан!.. Ударь лихом об землю!..

Краснея, потопчется перед нею паренек в своих постолах, кинет ему Софья монету...

— Иди теперь к отаре... Там будь.

И уходил. Хорошие тогда были чабанчики, послушные!

Остаются леди возле костра с молодым атагасом и его подпасками. На траве на скатерти коньяки, шампанское. Пикник! Наливают чабанам коньяк, как воду, пьют и сами без жеманства, отчаянно, бешено... Напившись, приятельницы с хохотом набрасываются на подпасков, начинают их тормошить, а Софья своего за руку — и в степь!.. Почему он всегда так неохотно шел за нею? Неужели он даже в те вечера чувствовал себя ее подневольным?

Неполной, какой-то ущербной была та любовь... А может, то вообще была не любовь?

Хмельным фейерверком рассыпалась над степью ее молодость, ничем путным и не вспомянешь... Тяжелым осадком лежат на душе и те пикники, и купленные наспильные ласки... Не думала, что так быстро все промелькнет, что увядшей, опустошенной матроной будет ехать она по этой же степи со скучного богомолья, навстречу своему дню рождения...

Равнодушно краснеет впереди жирный сердитый кучерский затылок... Плывут, проплывают заповедные владения...

А степь не стареет! Полная сил, как и тогда, она пьянит травами, брызжет пряным вековечным скифским запахом... Далеко-далеко впереди, в грандиозном светлом полукруге неба и степи,— человек. Двоится в мареве или в самом деле их двое? Медленно идут в травах, обнявшись, прижимаясь друг к другу.

Он и она!

— Кто там бродит? — недовольно спрашивает Софья, обращаясь к сердитому затылку кучера.

— Откуда мне знать, пани... Вот нагоним, увидим.

Идут и идут... На плечах у нее, как кусок пламени, красная косынка горит на солнце. Что за страсть у этих сезонниц к красным косынкам? Не терпит их Софья...

Но куда же они исчезли? Только нежные, как хрусталь, дрожащие разливы марева струятся там, где они шли.

— Куда же они делись, кучер?

— Да куда ж... Сели в траву, как стрепеты, и сидят.

Вскоре сама увидела их... Не сидели — полулежали в траве в свободных, счастливых позах, касаясь плечом плеча. Словно росли из травы, роднясь с шелковыми ковылями, со степными цветами, окружавшими их. Она — совсем молоденькая, острогрудая, с вишневым румянцем на щеках, он — белокурый, как лев, в матросской тельняшке. Улыбаясь, оба спокойно смотрят на дорожку, видят свою барыню, которая приближается в кабриолете, но вставать и не думают! Не поднялись, даже когда поравнялась с ними. Еще ближе склонились друг к другу, переговариваются, смеются, разглядывая роскошные оленьи рога, лежащие между ними. Нашли, видимо, подобрали, бродя по степи.

Хотела остановиться Софья, накричать, зачем топчут ее заповедник, почему поднимают потерянные оленями рога... Нет, лучше сдержать себя. Таких не проймешь, от таких можешь все услышать... Смотрят, словно из собственных своих владений, словно тут и выросли на ее заповедной земле, сливаясь с ковылями и цветами, на подвластные никаким законам, кроме законов природы, гармонии, пластики...

Молча проехала Софья. Потом, не утерпев, еще раз оглянулась... Бесстыжие! Она уже у него в объятьях, среди бела дня целуются! Загорелая, золотая девичья рука с бесстыдной смелостью обвивает шею юноши. Что им барыня? Из-за плеча своего милого девушка одним глазом смотрела на Софью, и этот глаз смеялся!

— Гони! — крикнула барыня кучеру. — До каких пор мы будем трястись?

Свистнуло в воздухе, затарахтел кабриолет.

— Кучер, ты не знаешь... кто она? — спросила через некоторое время Софья.

— Ее не знаю.

— А тот... что в полосатой ковбойке?

— То не ковбойка, папи, то называется тельняшка...

— Я тебя не об этом спрашиваю... Где он работает?

— Машинистом на Кураевом.

На Кураевом, у Гаркуши... Так она и догадывалась. Понабирал в Каховке полтавских красавиц, а прибрать их к рукам не умеет! Говорила же — все лето романы будут крутить в таборах... Надо будет сказать, чтобы хоть штраф наложил за оленьи рога...

Приближалась Аскания. Была уже не сизо-голубой, как издали,— поднималась в небо ярко-зеленая, облитая солнцем, словно крутая гора из камня малахита посреди гладкой степи. На самой вершине — кирпичная башня на десять тысяч ведер воды, а ниже — развесистые дубы, ясени, буки, десятки разных пород деревьев, из толпища которых сама природа возвела причудливые, пестрые от солнца хребты, сияющие в зеленом блеске скалы, ущелья, пропасти, полные теней...

До самого имения, до знакомых зеленых скал и ущелий преследовал Софью налитый счастьем девичий глаз, который беззаботно смеялся из ковылей... Невольно еще раз посмотрела в ту сторону...

Над заповедной степью было уже только небо, по-южному светлое, да струилось из края в край над ковылями неутомимое, хрустально чистое миражное море...

XXVI

В среду с утра начали съезжаться к Софье гости. То с одного конца, то с другого мчались по степи в Асканию экипажи, оставляя за собой длинные шлейфы пыли. Панский двор был заранее очищен гайдуками-чеченцами от постороннего люда, и теперь только швейцары и лакеи свободно расхаживали там, чувствуя себя сегодня тоже именинниками. Наперегонки бросались открывать дверцы карет, из которых выпархивали легкие, воздушные дамы, похожие на бабочек-перламутровок, каких в эту пору так много в целинной асканийской степи. Все, кроме сиваш-ской помещицы пани Луизы, прибывали без мужей, зная, что в последнее время Софья любит только женское общество.

В доме Мурашко все были на ногах. Лидия Александровна с внимательностью полководца следила за происходящим. Светлана, словно Меркурий, то и дело подлетала к ней со свежими донесениями:

— Карета из Британов!

— Фаэтон из Преображенки!

— Автомобиль из Крыма!..

Иван Тимофеевич, обегав с рассвета сад и дав необходимые указания своим помощникам, сейчас, забравшись в кабинет, томился там, как зверь в клетке, время от време-

ни поглядывая в окно, и пил стакан за стаканом воду из графина.

До начала банкета, как всегда, Софья Карловна показывала гостям красоты своей столицы. Свой показ она всегда начинала с английской конюшни, которой очень гордилась. Крутобедрые жокеи с самого утра, выведя из конюшен породистых жеребцов, нещадно гоняли их на корде на утеху прибывающим гостям.

— Это Ганнибал, — объясняла хозяйка приезжим приятельницам, — это Мавр, а это Ковбой... Жокей, не дергайте, пожалуйста, моего Ковбоя, ему же больно!..

— Ах, какие красавцы! — ахали приезжие ценительницы.— Какие гиганты!.. Да тут у вас, Софи, в одних жеребцах целое состояние!

— И прошу обратить внимание,— улыбалась Софья Карловна, — все это чистокровные англичане...

После осмотра жеребцов гости пошли в зоологический сад. Отстраняя рабочих и смотрителей, Софья Карловна и здесь сама давала объяснения, хотя получалось у нее это с грехом пополам. Страусы у нее неслись черт знает когда, а муфлоны любили совсем не тот корм, какой они в самом деле любили.

Некоторые из дам пожелали испробовать антилопьего молока и даже просили страусовых перьев для своих шляпок.

— Наш сад — это не просто экзотика, нет, — напуская на себя ученый вид, говорила хозяйка молоденькой даме, которая, видимо, была здесь впервые.— Это нечто вроде парижского Яардин д'Асслимататион... В Англии у нас есть искренний друг в лице герцога Бедфордского, который давно интересуется нашим Югом и высоко оценивает нашу скромную работу... Мы одомашниваем страусов, приручаем диких антилоп... Видите, как они мирно пасутся в степи, словно в родной Африке...

— И никто их не пасет? — с удивлением спрашивала молоденькая и любопытная дама, которую поражали тут не только страусы и козероги, но даже самые обыкновенные телята.— Странно, как же они не разбегаются?

— За ними присматривают,— отвечала Софья Карловна, подсмеиваясь над наивностью приятельницы.— Для этого существуют у нас специальные люди, которые в совершенстве знают свою профессию...

— Их вы тоже выписываете из Африки?

— Людей? Что вы, Жаннет!.. Набираем из самых простых мужиков, и они уже сами потом научаются... Неприветливые типы и с запахом, но видели бы вы, как их любят животные! Просто трогательно!.. И для каждого животного у них есть свои имена: то Ласочка, то Зорька, то Васька...

Евдоким Клименко, которого сама должность заведующего садом вынуждала быть здесь, стоял в стороне и слушал болтовню Софьи с трудно скрываемым презрением. Пусть болтает пани, он считает, что лучше держаться в тени, где-нибудь возле перегородки, через которую к нему тянутся доверчивые милые морды животных, требуя от своего бородатого Ноя ласки... О каждом из обитателей сада Клименко мог бы рассказывать часами. По выражению глаз оленя или птицы Клименко мог сказать, как себя чувствует тот или иной его воспитанник, какое у него настроение, что у него болит...

Босым парнишкой приплыл когда-то Евдоким Клименко с Киевщины в Каховку и, нанявшись в Асканию, остался тут навсегда. Он первый обвешал Асканию своими остроумными скворечнями из тыкв. Чтоб увеличить число свободных пернатых, весной ловил силками перелетных птиц и, подрезав им крылья, снова пускал на волю, принуждая их таким способом оставаться в асканийских, тогда еще молодых, парках на гнездование. Старший Фальцфейн быстро заметил необычайную любовь юноши к природе, его пытливый ум. Все это тоже можно было эксплуатировать! Острые наблюдения, ценные мысли и догадки, мимоходом брошенные Клименко, Фальцфейн подхватывал на лету и потом выдавал за свои. После работы Клименко ночами сидел над книгами, самостоятельно овладел латынью, которая ему была необходима для серьезных занятий зоологией. Из Беловежской пущи завез он сюда зубров, из долин Миссисипи, из-под ножа американских бракопьеров выхватил последних на земле бизонов и, скрестив их в Аскании, получил удивительных гибридов-гигантов — зубробизонов, стремясь подарить человеку новый, самый мощный вид рабочего домашнего скота... А сколько хлопот было у него с фазанами, сколько бессонных ночей провел он возле инкубатора, пока вывел искусственным путем первых страусят эму... Оживленно хвалится Софья перед гостями, не стыдится лгать даже в присутствии Клименко... Что он для нее? «Неприветливый тип, мужик с запахом» — и только...

В конце осмотра гости завернули в ботанический сад. Валерик считал, что лучше не попадаться под их лорнеты. Только господа показывались на какой-нибудь аллее или тропинке, как парень сразу же скрывался, как юркий зверек, в кусты, в чащу, сверкая оттуда на панскую процессию угольками темных глаз.

— Надо знать,— говорила Софья Карловна своим гостям,— чего стоит выпестовать в степи каждый кустик, каждое деревцо, чтоб по-настоящему ценить эту благодатную тень, свежесть, зелень... Вначале, пока не выкопали абиссинский колодец, должны были ветряками качать воду, поливая, лелеяла здесь каждое деревцо...

«Ты его лелеяла, ты его поливала!» — притаившись в кустах, думал Валерик с ненавистью.

Из сада гости направились к господским хоромам.

В доме Мурашко был подан сигнал.

— Сейчас они в ожидании банкета соберутся в гостиной,— говорила Лидия Александровна мужу.— Иди, милый!.. Не сомневайся: тебя знают, тебя пропустят! — Сунув мужу в руки свернутый в трубку проект, она поцеловала его в щеку: — Счастливо тебе!

В самом деле, как и предусмотрел добрый гений Лидии Александровны, гости, ожидая, пока их пригласят к столу, собрались передохнуть в просторной прохладной панской гостиной, густо обвешанной старинными потемневшими картинами, которые, казалось, еще больше усиливали здесь приятную тень и прохладу.

Какая-то пожилая дама с голой веснушчатой шеей уже бренчала на рояле, другие, присев в мягкие голубые кресла, обмахивались веерами, беседовали о том, о сем. Среди гостей была губернаторша, длинная и костлявая женщина, с замужней дочерью Жаннет, которая все время курила тоненькие папироски; была тут веселая и вертлявая красавица Мери, жена богатого крымского мурзы, была и солидная, похожая на будду мадам Иваненко, возле которой дамы увивались еще больше, чем возле самой хозяйки, потому что своими богатствами мадам Иваненко превосходила даже Фальцфейнов. Были еще две, не в меру набеленные, помещицы из Черной Долины и бойкая приятельница Софьи из Сивашского — фрау Луиза со своим мужем-немцем, астматиком, который приволокся сюда без приглашения, потому что с некоторых пор закаялся отпускать в Асканию пани Луизу одну. В числе гостей были и игуменья, и даже мадам Шило, которая

держалась перед блестящими магнатками настолько скромно и учтиво, что они вначале приняли было ее за прислугу.

Нагуляв во время осмотра имения хороший аппетит, гости теперь все чаще поглядывали на двери, ведущие в столовую. Хвостатые, как вороны, лакеи во фраках уже суетились там возле столов, позвякивая посудой. Хозяйка никого из них не подгоняла, даже не поглядывала в их сторону, зная, что механизм работает четко и в назначенный час все будет готово.

Софья как раз развлекала беседой мадам Иваненко и губернаторшу, когда вошел Густав Августович и доложил, что старший садовник Мурашко просит принять его.

— Что ему надо? — спросила Софья Карловна.— Он, очевидно, пришел меня поздравить?

— Нет, он говорит, что по какому-то серьезному и неотложному делу.

— Нашел время для дел! Скажите ему, что у меня гости, что я сейчас не могу. Пусть придет... завтра. Нет, лучше — послезавтра.

Густав Августович, поклонившись, вышел, однако вскоре появился снова.

— Прошу прощения, фрау Виртин, но он настаивает. Он говорит, что пришел с каким-то проектом, который будет интересен и для гостей.

— Может, он пьяный? — спросила хозяйка.

— Нет, он абсолютно трезв и держится пристойно... И вообще, как вам известно, это весьма порядочный, весьма образованный и ценный для нас человек...

— Вы знаете, Софи, — сказала губернаторша, — среди этих людей, которые любят заниматься всякими прожектами, иногда встречаются довольно забавные типы...

— Он молодой? — простодушно спросила крымская Мери, и это сразу всех развеселило.

— Не торопитесь увлекаться, Мери,— сказала Софья Карловна под общий смех,— тогда меньше испытаете разочарований... Он прекрасный специалист, но скучный собеседник и не кавалер... Ладно, позовите его,— вздохнула она.

Поморщилась крымская Мери, увидев, что в зал входит еще не старый, но уже заметно ссутулившийся человек с шевелюрой разночинца, с какими-то бумагами в руке, в простом, почти мужицком костюме. Было правда,

и тонкой смуглости его бледного лица, оттененного бородкой, нечто интеллигентное и даже благородное, а в твердом взгляде темных глаз сверкало что-то необычайное, горячее, почти маниакальное, но все это вряд ли могло здесь кого-нибудь привлечь, оно еще больше отталкивало. С людьми такого рода кокетничать опасно!

— Я вас слушаю, господин инженер,— сдержанно сказала Софья Карловна, когда Мурашко остановился перед ней. Она знала, что по образованию Мурашко лесовод, но почему-то решила величать его сейчас господином инженером.

— Простите, Софья Карловна, что в такой день беспокою вас и ваших гостей,— заговорил Мурашко с неожиданной для присутствующих учтивостью.— Только дело исключительной важности послужило причиной моего, возможно, не совсем желательного визита... Речь идет о дальнейшей судьбе Таврии, о ее будущем...

Сжато изложив суть проекта, поощренный общим вниманием гостей, Мурашко тут же стал разворачивать свои бумаги.

— Погодите, господин инженер,— перебила его Софья.— Не думаете ли вы, что мы собрались здесь только для того, чтобы скучать над вашими бумагами? Неужели для моих гостей не найдется в Аскании ничего более интересного, чем... чем какие-то прожекты?..

Мурашко застыл ошеломленный. Прожекты!.. Этого, да еще в такой форме, он все же не ожидал. Стоял, задыхаясь, и полураскрученные бумаги свертывались сами собой в его обвисшей руке, как живые листья, внезапно пораженные суховеем.

— Довольно того, что вы сказали,— продолжала Софья Карловна.— Степь, моя заповедная целинная степь, эта фамильная гордость нашего рода для вас, вижу, ничего не значит? Благодарю. Хороший же подарок поднесли вы мне в день рождения... Вы представляете себе,— обратилась она вдруг к губернаторше,— что он предлагает? Через наши цветущие, не тронутые плугом украинские прерии провести какую-то зловонную канаву! Ужас!..

Женщины загалдели.

— Панама!

— Изменить течение Днепра!

— Это даже остроумно!

— Не так остроумно, как дерзко...

Сквозь шум Мурашко попытался было объяснить хозяйке, что канал — это не канава, но Софья Карловна и слушать не хотела.

— Если б мои предки услышали что-либо подобное, они перевернулись бы в гробах! Изуродовать все, перерыть, раскопать! Может, заодно вы предложите и мою Асканию снести с лица земли?

— Успокойтесь, милая Софи,— заговорила губернаторша.— Разве можно так поддаваться эмоциям? Меня, правду говоря, все это даже заинтриговало... Мы знаем, что в Египте такие каналы вполне оправдали себя. Сколько, вы говорите,— обратилась она к Мурашко,— чистой прибыли могло бы получать акционерное общество ежегодно?

Мурашко назвал сногсшибательную цифру.

В зале на какое-то мгновенье воцарилось молчание. Стало слышно, как тяжело дышит в тишине астматик немец, муж пани Луизы.

— Ничего себе! — первой нарушила тишину губернаторша.

И тут, как по сигналу, зашумели все сразу. Настроение гостей резко изменилось. Обступив Мурашко, женщины наперебой стали расспрашивать о подробностях дела.

— Какой процент на капитал? — выкрикивала одна.

— Какие гарантии? — допытывалась другая.

— По чьим землям пройдет вода?

Прерии прериями — все это сантименты и дым, — а тут пахло настоящими барышами! Их земли сразу подскочили бы в цене, в этом нет сомнений! У кого десять тысяч десятин — считай, что уже сто!.. Задыхаясь, немец продирался между женщинами к Мурашко, все время пытаясь что-то сказать, но пани Луиза, оттиснув мужа плечом, уже сама допытывалась у господина инженера, согласится ли он завернуть канал в их Сивашское. Набеленные помещицы из Черной Долины, наоборот, возмущались тем, что господин инженер, не спросив их, самовольно наметил их землю под канал... Они, дескать, хоть и не так богаты, как некоторые другие, но, слава богу, они тоже собственницы, и нет такого закона, чтоб без их разрешения вторгаться в принадлежащие им земли.

— Антихрист, — передергиваясь от злости, присоединила свой скрипучий голос к голосам помещиц заднепрянская игуменья.— Все монастырские земли, всевышним нам врученные, он уже определил под затопление...

— Я бы тоже пошла на эту Панаму,— стрекотала крымская Мери,— если бы можно было завернуть канал к Семи Колодцам! Потому что у нас только название — Семь Колодцев, а воду в цистернах возим! Господин инженер, вы могли бы внести коррективы и взять курс на меня?

— Мери, что ты говоришь? — сардонически улыбнулась Софья Карловна.— Каким образом? Через мой заповедник? Через мою Асканию? О, скорее через мой труп!

— Разве дорога в Крым идет только через ваш заповедник, Софи? — обиделась Мери.— В конце концов вас можно обойти и повести канал через земли мадам Иваненко.

Мадам Иваненко до сих пор загадочно молчала. А между тем Мурашко знал, что многое зависит именно от нее.

— У нас, правда, заповедников нет,—наконец, как в бочку, заговорила мадам Иваненко, — нам больше летучих песков досталось, но нас тоже следовало бы спросить, пожелаем мы каналы или нет...

— Канал полностью в ваших интересах,— заметил Мурашко.

— Ты мне, старухе, очки не втирай,— повысила вдруг голос мадам так, что все притихли.— Мужицкий твой канал — вот что я тебе скажу... Вижу, куда ведешь и куда заворачиваешь... У нас воды мало — это так, но еще больше на воду голодны вот те чаплинские и каланчакские голодранцы... И эта твоя вода в первую голову на их мельницу льется, ты не обдуришь меня, старуху. Жили наши деды без этого, как-нибудь и мы проживем. А то наведете нам сюда всякой пролетарии, смутьянов да забастовщиков, чтобы бунты разводили... Разве не так, скажешь? К тому, к тому оно клонится!

Словно холодной струей обдали присутствующих крутые слова мадам Иваненко. В самом деле, как они об этом не подумали!.. Тысячные армии вооруженных лопатами землекопов нахлынут в степь... Займут села, подступят к экономиям, заведут всякие свары с подрядчиками... Нигде от них не спрячешься! Начнется с подрядчиков, а кончится забастовками, манифестациями, красными флагами!..

— И за все это,— подлила масла в огонь Софья Карловна,— мы еще должны платить из собственного кармана! Ведь так, господин инженер?

Бой был проигран, но Мурашко все еще не сдавался.

— Ваши так называемые прерии,— заговорил он,— живут только пол-лета. Во вторую половину лета они выгорают, становятся пустыней. Суховеи, черные бури приносят вам миллионные убытки, и вы не можете ничего с ними поделать. Вы — плохие хозяева. Вы — никчемные хозяева! — повторил он под возмущенный гул всего зала.— Я вам предлагаю выход. По два урожая в год вы сможете снимать на ваших землях. До самой осени будут зеленеть ваши пастбища. У вас будут собственные леса. Все ваши затраты окупятся за несколько лет, окупятся с лихвой, в ваши карманы потечет такая прибыль, о которой вы даже не мечтали.

— Не вам судить, о чем мы мечтаем, грубиян! — крикнула Софья Карловна, поднимаясь с кресла.— Это таким, как вы, всегда мало, а у нас уже, слава богу, кое-что есть... На наш век хватит!

— На ваш век, — презрительно усмехнулся Мурашко.— А после вас?

— А после нас... хоть потоп!

Кровь ударила Мурашко в голову. Стал темнее ночи.

— Потоп? Глядите... Можете накликать. Может и потоп быть!

И, с хрустом зажав в руке свои бумаги, он сквозь зловещую тишину направился к двери.

Тем временем, воспользовавшись немой паузой, перепуганный дворецкий пригласил гостей к столу.

Мурашко брел домой, сутулясь больше обычного, тяжело переставляя ноги, словно прошел только что тысячу верст. На веранде его встретили Лидия Александровна и Светлана, испуганно прижавшаяся к матери.

— Ну как? — спросила Лидия Александровна, бледнея. Голос ее дрожал от напряжения.

— Все хорошо... Именно так, как и должно было быть,— ответил Иван Тимофеевич, горько улыбнувшись.

Эта улыбка сказала жене все: можно было не расспрашивать.

У Ивана Тимофеевича тоже не было сейчас никакой охоты разговаривать. Забравшись в кабинет, он ни с того ни с сего завалился спать и спал до самого вечера. Вечером встал, поиграл со Светланой, посмотрел с веранды на фейерверк в честь Софьи и скоро опять залег спать, словно хотел отоспаться теперь за все бессонные ночи, которые коротал над проектом.

XXVII

Утром Мурашко пошел к управляющему и потребовал отпуск.

— После стольких лет работы, — гремел он в конторе,— не заслужил я разве передышки? Или я у вас вечный сезонник?

Густав Августович, чувствуя себя на сей раз перед «господином инженером» почему-то сконфуженным, не очень упирался — разрешил.

— Мерси,— процедил сквозь зубы Иван Тимофеевич и вышел из конторы, еще больше раздраженный уступчивостью управляющего.

На улице под запыленными акациями стоял необычный шум: в толпе детворы кривлялся в вывернутом кожухе босой, лохматый алешковский юродивый.

— Я, Григорий-семинарист, не пан, не дворянин — алешковский мещанин! — скаля зубы, выкрикивал под дружный хохот детворы юродивый.— Страдаю от герлыги и от косы, а от колбасы поправляюсь! — С этими словами он распахнул на себе кожух, надетый прямо на голое тело — грязное, костлявое, покрытое синяками.

С визгом и улюлюканьем запрыгала вокруг кривляки довольная детвора.

Увидев Мурашко, юродивый впился в него злым, распаленным взглядом.

— Вон тот идет, что Днепр в степи повернул! Ах-ха-ха-ха!.. Прислужился панству, Днепр ночью экономиям продал!

У Мурашко потемнело в глазах. Замер на месте, как у позорного столба. Притихли и дети в смущении.

— Не ври, семинарист,— послышался вдруг откуда-то, словно издалека, твердый мальчишеский голосок.— Не для панов он старался...

Эта детская простая защита словно вернула Мурашко к жизни.

— Уже не в море течет, сюда Днепр повернулся! — брызгая пеной, бесновался юродивый.— Вот уже под нами — слышите? — хлюпает! Мокро! Вода пошла! Скорей на крыши, на деревья, не то потонем все!

Кинувшись к ближайшей акации, он стал неуклюже карабкаться вверх, скользя по дереву своими чугунными ногами.

— Зачем вы его слушаете? — проникновенно обратился Мурашко к притихшей детворе. — Он среди людей, как пустельга среди птиц... Разве вам пустельги и грачи еще не надоели своим карканьем?

— Ой, наколошматили ж мы их тогда в вашем парке,— похвалился какой-то карапуз.— Я три дня был на «грачиных войнах»!..

— То-то же, сами знаете... Бросьте его, идите играть в другое место...

Обходя юродивого, который уже сидел на акации, Мурашко направился домой.

— Куда же ты? — прозвучал ему вдогонку зловещий голос с акации.— Подожди меня, вместе пойдем! Мы ж близнецы с тобой! Я арену летучих песков кожухом накрыл, а ты Днепр па панские толоки выплеснул!..

Не оборачиваясь, Мурашко ускорил шаг.

...Почти одновременно вышли в тот день из Аскании двое. В одну сторону — Мурашко с прикушенными усами, в другую — Гриша-семинарист в вывернутом кожухе.

Три дня Мурашко где-то пропадал. Как мог догадаться Валерик из намеков Лидии Александровны, садовник подался пешком через Перекоп искать поддержки в губернском земстве.

Под вечер третьего дня Валерик неожиданно встретил своего наставника в саду, на одной из поляп под копной сена, накошенного в свободные часы самим Мурашко. Сейчас копна была разворочена, будто около нее только что прошел бугай.

Мурашко сидел по плечи в сене, видимо, только что проснулся, и вид у него был страшный: грудь нараспашку, борода всклокочена, в растрепанных черных волосах торчит сено.

Валерик остановился поодаль, незамеченный, не осмеливаясь сразу подойти к Ивану Тимофеевичу.

— Ломбардия,— покачиваясь, сокрушенно заговорил куда-то в степь Мурашко.— Ломбардия. Ибрагимия...— Плечи его вдруг затряслись, послышался хриплый смех.

Валерику стало страшно от этого смеха: «Что с ним? Заболел?» — промелькнуло у него в голове, и он стремглав бросился к садовнику:

— Иван Тимофеевич!

Мурашко исподлобья взглянул на него, как на чужого, и... равнодушно икнул. Мальчику стало еще страшнее:

его учитель был пьян. Ужасом, отчаянием, болью неожиданного, внезапного разочарования обожгло Валерика.

— Иван Тимофеевич!..— в отчаянии зашептал он, готовый разрыдаться от обиды, душившей его. Еще никто в жизни не обижал его так жестоко, как обидел сейчас учитель, святой, самый дорогой ему человек! Зачем он довел себя до такого состояния? Обрюзг, опустился, грязный, пьяный, в сене...

— Как там наши? — спросил через некоторое время Мурашко и, не дослушав ответа, заговорил уже про птиц, что метнулись стайкой в сторону опушки, почуяв человека.

— Птицы... Где лес, туда надо и птиц лесных,— рассуждал сам с собой Мурашко.— Жаворонку здесь нечего делать... Он — степняк. Чем ему короедов выбирать из-под коры? А вот дятел — другое дело...

Через минуту на поляну вышел Яшка-негр с каким-то белокурым, не знакомым Валерику юношей в матросской тельняшке. Заметив Мурашко, они направились прямо к нему.

Негр был явно недоволен видом Мурашко, который разговаривал сам с собой. Приближаясь, Яшка уже сердито лопотал что-то по-своему, жестикулируя, энергично вскидывая головой,— видимо, стыдил Мурашко, как только хотел.

— Э, Тимофеевич, перебрал,— с упреком сказал и матрос, подходя к садовнику.

Не долго думая, ребята подхватили Мурашко под руки и без всяких церемоний потащили в кусты, в холодок.

Потом негр, перемигнувшись с матросом, подался куда-то в сторону пруда, а матрос, подсев к Ивану Тимофеевичу, заговорил с ним, уже как с трезвым.

— Приезжал я в мастерские да решил заглянуть и в вашу гавань... Просили наши девчата хоть кленовый листочек им привезти напоказ... Они все, знаете, из лесных краев, скучают по зелени.

— Сирень уже отцвела,— прохрипел Мурашко.

— У вас тут одно отцветает, а другое зацветает,— не отставал веселый матрос.— Мы как раз проходили сейчас мимо цветников... Как жар горят!..

— Эге, чего захотел,— повеселел Мурашко, словно у него прояснилось сознание. — Разве это для вас? То, брат, только на панские носы, на аристократические... Чеченцы тебя как поймают с цветами — горя не оберешься.

— А зачем я к ним пойду? — засмеялся матрос.— Разве я не знаю других ходов? Перемахну вон там — и уже в степи!

— Ишь какой! — обратился Мурашко к Валерику, показывая на матроса.— Бронников, машинист из Кураевого... Будет говорить, что юнгой плавал на торговом судне,— не верь. Будет напевать, что за дебоши списали его на сушу,— опять не верь, потому что морякам сам бог велел дебоширить... В мастерские, говорит, приезжал, а я знаю, что он у Привалова был. Скажи — не угадал?

— А что же, был и у Привалова... Мы с ним приятели еще по Херсону.

— Приятели... Они там артезианскую рыбу ловят, в подземелье на водокачке... Рыбу ловят да бомбы делают, ха-ха-ха! — засмеялся Мурашко.

— Что вы, Иван Тимофеевич,— спокойно возразил матрос.— Мы этим не занимаемся.

— Не занимаетесь? Не делаете? А я б сделал бомбу... одну, большущую... Да жаль — не умею. Привалов — тот уме-е-ет!.. Тот — му-у-жик! Недаром его прямо с завода сюда, под негласный надзор... А впрочем, все мы под негласным надзором. И ты, Бронников, и я, и ты, Валерик... Чего же ты стоишь, дружок? Сбегай, нарви ему цветов.

Охотно кинулся Валерик собирать букет. Матрос ему понравился. Чувствовалась в нем какая-то добрая, веселая и мужественная сила, вытатуированные якоря на руках роднили его с далекими морями, а то, что он был в дружбе с Приваловым и что, возможно, они действительно что-то делали там, в подземелье, вызывало еще большее уважение к машинисту.

Собирая цветы, Валерик перекинулся мыслями к знакомым девушкам-сезонницам, на все лето загнанным в далекий, лишенный зелени табор Кураевый. Там где-то была сестра Данька, певунья Вустя с золотистыми смеющимися ямочками на щеках, быстрая и легкая, словно созданная для вечного бега... Были там и высокие, как тополи, забитые сестры Лисовские, и Ганна Лавренко, эта холодноватая, сверкающая красавица, на которую даже смотреть страшно... Пусть всем им матрос повезет это душистое зелье и цветы, пусть передаст им своей с голубыми якорями рукой...

Когда Валерик вернулся к Мурашко с готовым букетом, садовник уже сидел в кустах, промокший насквозь, а негр, смеясь, все еще плескал время от времени на него

водой из садовой, усовершенствованной Мурашко поливалки. Разговор, происходивший между матросом и Мурашко, касался, видимо, канала. Сейчас, нахмуренный, в тени, Бронников показался Валерику несколько старше, чем в момент первой встречи, когда он стоял на солнце веселый, по-юношески свежий и румяный, с крылатыми колосками бровей.

— Не оттуда, верно, ждать нам большой воды,— задумчиво говорил Бронников,— не с хвоста, а с головы надо начинать... Красивая там у вас статуя стоит возле распределителя... Схватил за жабры, разодрал пасть, и потоком оттуда хлынула вода...

Иван Тимофеевич, очевидно, уже совсем протрезвел и сидел бледный, измученный.

— Пусть так,— тихо соглашался он,— пусть и за жабры гидру... Но где же тот Геркулес, который...

— Верно, уже где-то растет, — улыбнулся матрос. — Вырастет и пустит в них такую торпеду, что никакими потом пластырями не закроешь...

В это время Валерик вышел к ним из-за куста со свежим, ярким снопиком зелени и цветов.

Матрос быстро поднялся.

— О, спасибо... — Приняв букет, он крепко пожал парню руку.— Вот будет радости у нас!

— Торпеду... торпеду... — повторял задумчиво Мурашко. — Вот это было бы сотрясение... Сама выступила б из понтийского яруса на поверхность...

Бронников вскоре попрощался. Пожав каждому из присутствующих руку, он пересек поляну и легко прошелестел в кустарнике, мелькнув в потревоженной зелени своей широкой полосатой спиной.

Мурашко сидел некоторое время неподвижно.

— Валерик! — наконец заговорил он, избегая взгляда парня. — Там где-то в сене... бумаги... Поищи, будь добр...

Метнувшись к копне, Валерик порылся в ней и действительно вскоре обнаружил там знакомую, туго скрученную трубочку бумаг. Вынув из нее сено, парень не вытерпел и посмотрел через нее, как в подзорную морскую трубу, сначала на подлесок, зубцом выходивший за парковые массивы, а потом в степь, где уже садилось солнце.

Багрово было в степи.

Кровавые отблески заката без края вспыхивали над равнинами, перекатываясь в сизых волнах ковыля. Все

там — сквозь трубу — казалось Валерику необычайным, словно окрашенным в тона какого-то другого мира... Вот, точно где-то в Индии, одиноко стоят на Внешних прудах розовокрылые сияющие фламинго... Упругим табунком пронеслись окровавленные закатом скворцы, возвращаясь из степи ночевать в парк... Далеко-далеко за открытым простором темнеет на линии горизонта силуэт всадника на верблюде... Кто он? Может, Данько? Откуда и куда? Чуть заметно все движется неведомый всадник по самому горизонту, как бы подкрадываясь сбоку к огромному, остывающему диску солнца... А солнце садится красное, и лучи стоят в небе красными мечами...

Раскатистый смех негра заставил Валерика оглянуться. Кое-как приведя в порядок Ивана Тимофеевича, Яшка повел его домой. Парень со своей «подзорной трубой» неторопливо двинулся вслед за ними.

Парк наполнялся вечерней свежей прохладой. Табунок скворцов, опустившись невдалеке на кусты можжевельника, поднял дикий концерт из звуков, набранных всюду, где птицы побывали за день. Блеяние овец, посвисты атагасов, шум ветряков, ржание жеребят, перепелиные крики — все это скворцы сейчас наперебой выкладывали парню, словно хвалились перед ним своими степными трофеями.

Тихо в тот вечер было в доме Мурашко. Ни слова упрека не услышал Иван Тимофеевич от Лидии Александровны. Уложила его в постель, ухаживала, как за больным, деловитая и спокойная. Только Светлана, забившись в кабинет, сдержанно всхлипывала в вышитую подушечку, пока на ней заснула.

Наутро Иван Тимофеевич встал бодрый, с обновленными силами и за завтраком заявил жене, что едет в Каховку к Баклагову.

— Поеду проветрюсь немного, да и посоветоваться хочу с ним...

— Что ж... поезжай,— не стала возражать Лидия Александровна.— Сегодня, кажется, как раз шерсть отправляют...

Сборы были недолгие. Через какой-нибудь час Иван Тимофеевич в соломенном брыле, с дорожным плащиком через руку сидел уже на одной из груженных шерстью мажар, уходивших на Каховку. Светлана вышла его про-

пожать, словно он уезжал далеко, надолго. Немного грустная, помахала ему вдогонку легкой, как лепесток, ручонкой...

— Не забывай нас, папка, в Каховке!..

Расплылся, затуманился в отцовской слезе знакомый аккуратный бантик, белевший у Светланы на голове, точно нежный полевой вьюнок...

Одна за другой выходили мажары в открытую степь. Двенадцать мажар на шесть чумаков — обоз. По две фуры на брата: одних волов погоняй, другие вслед сами будут идти.

Мурашко на мажаре один. Сидит на высоком сиденье над круторогими потомками степных туров, горькая усмешка блуждает в подкрученных усах... Был «господином инженером», да стал чумаком... Хозяин всей мажары... С Каховской ярмарки на этих мажарах привезли в Асканию батрацкие торбы, а отсюда везут двадцатипудовые меченые тюки с шерстью, и упрямого неудачника с дорожным плащиком через руку, и скрученные в бараний рог его замыслы — мечты о большой воде...

Уже несколько дней свистел таврический сирокко; поблекла степь, потемнела, пожухла. Только марево, как и раньше, струится над ней от края до края.

Степи и степи... Марево и марево над ними. Безлесный, трагически беззащитный край, переполненный солнцем и светом. Испокон веков мечтая о воде, он вымечтал себе лишь это марево — роскошную иллюзию воды. По целым дням течет оно летом перед степняком прозрачной, дрожащей, сладкой рекой. Куда ни обернешься — всюду струится течение, легко бегут во всех направлениях высокие неплещущие воды. В полдень половодье марева до краев нальет степь. Земля станет светлее неба. Чистые, как слезы, волны легко будут обтекать пастуха, будет брести по дну прозрачного моря отара, по самые крылья в воде очутится далекий ветряк, вдоль миражных плесов зазеленеют вдруг курчавые гаи и левады, нежно зацветут яблоневые сады... Сколько б ни шел степью, всегда оно будет перед тобой, твое могучее видение, струящееся полными, стремительными потоками через выгоревшие, потрескавшиеся поля, через безводные саманные села. И сколько б ни гнался за ним, распаленный жаждущим воображением, будет бежать и бежать оно — чарующее, манящее, неуловимое! — впереди, как твоя недостижимая мечта!..

Разные есть на свете способы добывания воды. Один из них — самый новейший — везет в Каховку в своих мыслях Мурашко, другим — самым допотопным — вынуждены сейчас пользоваться чабаны в степи. Проезжая мимо степного колодца, стоявшего у самого шляха, видел Мурашко тонкого, как лозина, босого парня с заплатками на колепях, который возил для обеденного водопоя на верблюдах воду «в простор».

— Для чьего куска? — крикнул в степь парню передний погонщик.

— Для Мануйлова,— звонко ответил парнишка, остановившись и провожая глазами обоз. Не узнал задумавшийся Мурашко в нем своего знакомого полтавского Данилу, но зоркий Данько издали узнал садовника и, здороваясь, радостно екинул перед ним свой видавший виды картузик.

Пошел в светлые просторы выгоревший на солнце мальчик со своими выгоревшими на солнце верблюдами. Неторопливо гнал и гнал их от колодца в безвестность, ожидая посвиста чабана, следящего за деревянной бадьей. Только по натянутому над степью канату видно было проезжим, какой здесь глубокий колодец: на полверсты струной натянулся канат.

Разные есть на свете способы добывания воды... Тот таскает «журавлем», а тот весь век ходит по кругу под деревянным барабаном, а тот живет в подземельях водокачки, обозначив свое место наверху лишь сиянием стеклянных, полных солнца шеломов... На долю Данька выпал самый допотопный способ, который по-чабански называется: *в простор*...

В простор пошел паренек, в простор плывет Мурашко... Уже парня с его верблюдами нежно обтекает марево, и Данько уже чуть видит Мурашко на облитой маревом мажаре, которая уплывает все дальше и дальше на Каховку, покачиваясь, как баркас, на больших миражных водах...

XXVIII

На следующий день Лидии Александровне привезли из Каховки коротенькую записку, в которой Мурашко сообщал, что, посоветовавшись с Баклаговым, он выезжает с проектом в Санкт-Петербург.

Было это как гром с ясного неба для семьи и для узкого круга друзей Мурашко. Панскую же Асканию в тот день взбудоражило совсем другое событие: из далекой Америки вернулся наконец молодой хозяин Вольдемар.

Из Крыма в Асканию он прикатил через Перекоп в новом автомобиле, сидя сам за рулем в защитных от солнца очках. Для большинства автомобили были в то время еще диковинкой, и там, где пропылил степью паныч, пастушата с криком выбегали на шлях, нюхали пыль: чем пахнет?

Приезда Вольдемара в Аскании с нетерпением ждали и панская челядь, которая считала его своим заступником перед барыней, и особенно управляющие, и приказчики, которых Софья заедала своей меланхолией, старческой придирчивостью и полным невежеством в ведении хозяйства. Последние — назло Софье — создавали панычу славу агрономического светила и в противовес матери льстиво поднимали его на щит как землевладельца нового склада, похожего на богатого фермера с демократическими замашками. Сам паныч охотно шел на это и ради поддержки своей фермерской репутации не брезгал даже тем, чтоб собственноручно пощупать овцу или, поднявшись на помост, бросить несколько снопов в барабан.

Подчиненные имели от Вольдемара Эдуардовича приказ — величать его просто панычом. Либерализм молодого Фальцфейна дошел до того, что он, в отличие от других Фальцфейнов, почти не занимался рукоприкладством и не требовал от рабочих снимать перед ним при встрече шапку. Оставайся в шапке, лишь бы поклонился!

Никого не наказывал паныч своей властью, ни одного штрафа ни на кого не наложил. При нем был введен твердый порядок: рабочих наказывают управляющие и приказчики, а он, паныч, только милует.

Не успел Вольдемар оглядеться в Аскании, как уже потянулись к нему отовсюду с жалобами и прошениями. Паныч миловал налево и направо. Разные — большие и малые — холуи и подгоняльщики, потея, толпились в его прихожей, перехватывали его на всех аллейках, наперебой выпрашивали ласки, торопясь утопить перед ним своих конкурентов.

У Гаркуши относительно этого была своя линия. По опыту он знал, что разговаривать с панычом в прихожей гораздо труднее, чем где-нибудь на вольном воздухе,

когда он сам, скажем, прикатит к тебе в табор. Там, в имении, над ним, как мухи, роятся всякие подлизы, а тут ты один. Там ты, охотясь за ним, запыхаешься, как пес, стоишь и двух слов не можешь связать, а здесь он застает тебя подготовленным, умеренно шутливым, при обязанностях, в пыли, на страже его же собственных интересов. Здесь, а не там будет топить Гаркуша своих завистников. Здесь, в своей стихии, если дело дойдет, вонзит он клыки и самому Густаву Августовичу в ребра!..

Не подвела Гаркушу его линия. Вскоре, объезжая свои экономии и степные таборы, паныч Вольдемар действительно заглянул и в Кураевый.

В этот день батраки Гаркуши работали далеко от табора, уже на уборке, а при самом таборе Гаркуша оставил только около десятка сезонников, преимущественно заболевших и покалеченных, которые вместе с дворовыми строгали ток, подметали, убирали и готовили его к молотьбе.

Сам Гаркуша был почти безотлучно на току, зная, что если молодой хозяин приедет, то прежде всего заглянет сюда.

Было близко к полудню, когда люди, работавшие на току, заметили в степи автомобиль.

— Эй, приказчик, мотай на шлях!

— Сдается, хозяйская чертопхайка прет!..

Гаркуша и глазом не повел.

— Вы за работой следите, а не за чертопхайками!

И, повернувшись в сторону чертопхайки спиной, он стал с еще более озабоченным видом следить за работой на току и подгонять людей. Накричал на какую-то женщину, которая будто бы строгала не так, как нужно, и, выхватив у нее инструмент, сам принялся сердито строгать, и лишь когда машина свернула уже к табору, Гаркуша, отбросив прочь строгало, с неожиданным проворством метнулся наперерез автомобилю.

Паныч, заглушив мотор, разминаясь, вышел из машины, долговязый, высокий по сравнению с Гаркушей, как дорожная верста, в клетчатой рубашке с засученными рукавами. Голова паныча, маленькая, с каштановым ежиком, как-то не шла к его широким плечам, ко всей вытянутой, хотя и довольно хорошо сложенной фигуре. Округлое личико тоже поражало мелкими сусличьими чертами и было сейчас влажно-красным, разопревшим, точно после бани. Сколько помнит Гаркуша молодого хозяина, всегда

это личико было вот такое моложавое, разопрелое, покрытое как бы едва заметным пушком, хотя паныч уже давно имел своего парикмахера и ежедневно брился.

— Весьма рад видеть вас при полном здравии, паныч! — говорил Гаркуша, пока молодой хозяин, протирая очки, как-то беспомощно, по-суслячьи моргал своими безбровыми, водянисто-сизыми глазами.— Как же вам путешествовалось по тем америкам? С медалью, говорят, вас?

— С двумя, Гаркуша,—довольно ответил паныч.— Серебряная и золотая...

— Не подкачала-таки наша шерсть, хе-хе...

— Обе должны были быть золотые, да... сами же американцы ножку подставили.

— Ах, черти! Умеют, значит?

— Еще как... Волчья хватка. Щенята мы перед ними, Гаркуша.

— Вы подумайте! — деланно ужаснулся приказчик.— А то правда, паныч, что своих баламутов они на электрические табуретки сажают?

Вольдемар улыбнулся:

— Все у них по последнему слову техники, Гаркуша... Посадят, чирк — и только пепел от него.

— До чего додумались, собачьи головы! — захохотал приказчик, давая понять, что он оценил шутку хозяина.— Комедия, да и только!...

Пошли осматривать ток.

Поздоровавшись с людьми, паныч поинтересовался, есть ли у кого-нибудь жалобы, и сразу выяснилось, что жалоб уйма.

— Штрафами замучили!

— Хлеб дают сырой...

— Больных заставляют работать.

— Что я слышу? — удивленно обратился паныч к приказчику.— Может, вы мне еще и намордники на людей заведете, как за Днепром, у князя?

«Может, и заведем, если будет туго с водой»,— дерзко подумал приказчик, но внешне — весь покорность и внимание.

— Немедленно, сегодня же, чтобы были мне поданы списки оштрафованных,— продолжал паныч,— я сам посмотрю и постараюсь разобраться... Потом вот эти слабые, больные, раненые... Зачем они, в самом деле, здесь? — спросил удивленно паныч, хотя и не сказал, чтобы

немедленно освободить людей от работы, и Гаркуша хорошо знал, что паныч не скажет этого.

— Сами не хотят лежать, потому что кто ж им за болезнь платить будет? — говорил Гаркуша панычу, идя с ним к паровику.— А потом еще и гудят... Народ!

Глубоко вкопанный в землю паровик блестел и сиял, готовый, казалось, хоть сейчас к пуску. Однако машинист, забравшись в яму возле топки, еще копался внизу, скреб железом по железу так, что хоть уши затыкай.

— Кто это там? — поморщился от скрежета молодой хозяин, которому были видны лишь ноги машиниста.— Тот моряк?

— Моряк,— подтвердил приказчик и одобрительно шепнул: — Знающий! Видите, как блестит!

И, стараясь перекричать пронзительный скрежет, Гаркуша крикнул вниз:

— Бронников, ты надолго там застрял?

Железо под топкой загудело, заскрежетало еще сильнее, вызывая оскомину на зубах.

— Не слышит,— виновато сказал Гаркуша и повел Вольдемара к кухне.

На кухне паныч дал монету кухарке, которая узнала его, а потом стал пробовать ложкой, что готовится людям на ужин.

— Тут мы готовим попостнее,— переглянувшись с Гаркушей, объясняла кухарка, пока паныч прихлебывал горячую юшку своими пухленькими губами.— Весь жир в степь идет, косарям и вязальщицам...

— Готовьте как следует, — невыразительно сказал паныч, утираясь платочком.— Потому что сейчас пора наступает горячая... Чтоб нареканий не было.

И, осчастливив кухарку тем, что мимоходом весело пошлепал ее по гладкой спине, Вольдемар направился с Гаркушей в приказчичью контору — просматривать списки оштрафованных.

— Где же твои знаменитые полтавчанки? — заговорил паныч, усевшись возле столика и равнодушно рассматривая штрафные записи Гаркуши. — Что-то я их не вижу.

Гаркуша сразу вырос на пол-аршина. Наступает наконец его час!

— Они тоже есть там, в тех списках,— сказал Гаркуша весело.— То зубок какая-нибудь выломает из грабель, то заснет где-нибудь под копной, то слишком огрызнется

на работе... все там взято на заметку, ничего не пропущено... Но какие павы есть среди них, паныч! Прошлый год, вы сами знаете, какие у меня были, а в этом году еще лучше!

— Где их столько берется там, в этой ободранной Полтавщине! — улыбнулся паныч, забрасывая ногу на ногу.— Питомник там, что ли?

— Природа,— уверенно ответил Гаркуша.— Воды много хорошей, вот и растут... Меня в этом году, правда, хотели не пустить на ярмарку, зависть все да наговоры, но наперекор всем я таки вырвался, набрал...

— Они там и ночуют в степи?

— Сейчас там, на пшеничном поле... Зачем им таскаться каждый день за десять верст, бить ноги туда и обратно?.. Лучше пусть за это время лишнюю копну нажнут. И кухарок туда послал, и воду вожу...

— Вот что, Гаркуша,— сказал паныч, потягиваясь.— Ты эти списки сам пересмотри, потому что тут три дня надо разбираться в твоих каракулях... Сбрось кому следует и объяви публично: паныч, мол, прощает... А сейчас давай лучше проедемся... к твоим.

Гаркуша был на седьмом небе. Залезая в машину, невольно косился на своих токовиков — видят ли? Смотрите все, мол, берет Савку паныч в свой автомобиль, запанибрата Савка с панычом!

По дороге они еще завернули к одному из атагасов, которого Вольдемар почему-то считал своим приятелем и которому часто заказывал чабанскую кашу. На этот раз чабанская каша с нечабанскими приправами была уже готова, упревала, закутанная в серяк, возле костра. Нашлась в машине у паныча и какая-то шипучка, наверное американская, которая прыснула на чабана пеной. Выпили, поужинали и уже при луне помчали по степи к Гаркушиным косарям и вязальщицам.

Блаженствовал Гаркуша: паныч за кучера, он за пассажира. Езжай себе, любуйся ущербной луной, которая ровно льет свет сквозь тонкие, голубоватые, как мыльная пена, тучки. По всему небу как-то незаметно расползлась эта пена, но дождя от нее не жди. Говорят, что не идет, где просят, а идет, где косят, однако в Таврии дождь и на косарей редко падает. Тем лучше для Гаркуши — пока сухо, обкосится и обмолотится...

— А как в Америке... перепадают дожди?

— Где как: в одном месте — ливни, реки из берегов выходят, города разрушают, а в другом — ни миллиметра осадков за все лето.

— Тоже, значит, беспорядок... Ну, пусть уж у нас тут земля трескается так, что ладонь вставишь... А у них же наукой, техникой могли бы дойти?

— Ломали и над этим, Гаркуша, голову их специалисты...

— Ломали уже?

— Ломали. Но ничего не вышло. Наука, оказывается, здесь бессильна.

— Гм... Садись, значит, кум, на дно?.. Ну, а что ж они хоть про эти засухи говорят? Палит из года в год, сушит чем дальше, тем больше... Ниспослано это за грехи наши, что ли?

Усмехнулся за рулем паныч. Сразу чувствуется, что не верит в дедовские предрассудки молодое агрономическое светило.

— Не в том дело, Гаркуша, что ниспослано... На все это их авторитеты дают другой, научно обоснованный ответ.

Навострил уши приказчик: он всегда был любителем науки.

— Какой же ответ, паныч?

— Трудно будет тебе понять... Видишь, открыли они такой закон, что в природе существуют периодические колебания климата. Зависят они от космических причин, от лучеиспускания солнца...

— О, до солнца у них еще, известно, руки коротки!..

— Доказано, что через каждые тридцать пять лет и шесть месяцев влажный период сменяется засушливым для всего земного шара... Сейчас мы живем как раз в третьем году засушливого периода.

— Долго же нам еще ждать дождей,— разочарованно сказал приказчик и умолк.

Молчал и паныч, время от времени умиленно поблескивая на луну стеклышками своих очков, уже не тех, что днем. Что значит богач: от солнца у него одни очки, от луны — другие, а от звезд, наверное, и третьи есть... Можно панычу спокойно ждать далекого американского дождя. Можно ему любоваться ясным месяцем, потому что светит он прежде всего для него, а не для приказчика... Льется и льется лунный свет. Ровно заливает степи своим синеватым, словно из снятого молока, разведенным сияньем. Светит где-то на хозяйскую столицу Асканию,

освещает в этот вечер и сорок тысяч панских овец, что ходят сорока кусками на пастбищах, и огромные стога сена, раскиданные на просторах, и степные колодцы, похожие на виселицы, и свежие вот эти копны, что мелькают рядками, словно выстроились на парад перед своим молодым хозяином...

На краю огромного поля, заставленного свежими копнами, прямо по межевому рву — разве им привыкать? — отаборились под луной Гаркушины сезонники.

Знал Гаркуша, где их надо искать: где бочки с водой, там и они. По обе стороны от бочек, слегка освещенные луной, устроились люди кучками по межевому рву, как херсонские этапники на отдыхе. Кто поднялся, увидев пучеглазую хозяйскую машину, а кто и нет: такой пошел народ. Те, что постарше, поужинав, укладывались спать, натаскав в ров хозяйские снопы, другие еще разговаривали, а неутомимые девушки уже где-то напевали вполголоса, сами себя укачивая песней... Парней здесь почти не было, они и ночью не без работы: выпрягши лошадей из косилок, погнали к колодцам на водопой, а оттуда на всю ночь — на пастбище.

Пока паныч, вылезший из машины, болтал с какими-то первыми попавшимися бабами, Гаркуша шепотом уже успел отчертыхать своего молодого подгоняльщика за все его дневные промахи: и за снопы на межевике, и за то, что рано выпрягли...

— Где криничанские? — спросил под конец приказчик.

— Вон они гудят,— с досадой махнул подгоняльщик куда-то под луну.

Гаркуше этого было достаточно. Вскоре он с панычом уже был возле криничанских, не раз им оштрафованных красавиц.

С приходом паныча и приказчика песня оборвалась.

— Чего же вы притихли? — спросил Вольдемар.— Пойте.

— А мы петь не нанимались,— послышался из толпы хорошо знакомый Гаркуше голос Вусти.

— Легче, легче там! С вами паныч разговаривает! — объяснил приказчик.— Это все ты, Вустя, бунтуешь? Все тебе тут колет!

— А и колет,— сказала грудным голосом Ганна Лавренко,— попробовали бы сами всю ночь вот так, на меже, на кочках...

Гаркуша хотел ей что-то ответить, но паныч цыкнул на него.

Поразила Вольдемара Ганна. Сидела горделиво под лунным светом мраморно-озаренная, величаво-спокойная. Без бриллиантов была, а при луне — со своими дешевыми сережками и монистом — казалась в бриллиантах...

«Эге,— воскликнул мысленно паныч,— да тут вон какие есть!»

И, присев около девушек, снова завел свой любимый разговор — какие у кого будут жалобы к нему и претензии.

— Воду гнилую привозят,— выпалила Вустя, прикрываясь от месяца за плечо Ганны.

— Безобразие,— строго сказал паныч Гаркуше.— Что у нас, воды в колодцах не хватает?

— Сейчас-то еще хватает,— не испугался на сей раз Гаркуша,— а вот дальше будет и не хватать... Известно же, что в середине лета иссякают наши колодцы...

— Сякают, сякают[1], — передразнил приказчика паныч под дружный смех девушек. — Ты поменьше мне болтай, Гаркуша... Почему сюда гнилую привозите?

— Выливать жалеют ту, что остается,— объяснила Олена Персистая.— На второй день оставляют... А как ее пить? Согреется, протухнет...

— Скоро головастики в ней будут пищать, — заключила Ганна Лавренко, и все опять засмеялись.

— Ладно, это мы исправим, — пообещал паныч. — А сейчас, может, все-таки споете?

— Не можем,— сказала Вустя из-за плеча Ганны.

— Почему?

— Спать пора. Завтра вставать рано.

Между тем по всему было видно, что девушки еще и не думают спать. И хотя развлекать паныча песней у них в самом деле не было никакой охоты, он их все же заинтересовал. Со всех сторон девушки так и постреливали глазами на эту знатную птицу, которая не умела даже толком сидеть на траве. Как только паныч подсел к компании, Вустя с присущей всем Яреськам меткостью мысленно прилепила ему кличку: «Суслик в очках». И уже следила за каждым его движением, как за движением суслика, насмешливо перешептываясь в темноте с подругами.

---

[1] Игра слов: с я к а ю т — по-украински иссякают и сморкаются.

Обо всем этом паныч не догадывался и считал, что девушки украдкой поглядывают на него вовсе не для того, чтобы высмеивать, а потому, что им, верно, впервые выпала почетная возможность так близко сидеть с человеком знатного рода и свободно разглядывать его.

Разговаривая с девушками, паныч незаметно, как ему казалось, пододвигался все ближе к Ганне, нахально впиваясь в девушку стеклышками своего пенспе.

«Боже, откуда у нее все это? Какой прекрасный рот, какой бюст, какая царственная осанка!..»

— Как тебя зовут? — не утерпев, спросил паныч.

— Ганна.

— А где ты покупала такие чудесные сережки? — сказал Вольдемар и попытался взять Ганну за сережку.

Но она строго отбросила его руку с лакированными длинными, как у мертвеца, ногтями.

— Не балуйте, паныч.

— Ишь ты! — вмешался неожиданно Гаркуша. — А то что?..

— А ты заткнись! — отрезала Ганна, поднимаясь.

Другие тоже встали, поправляя платки, повернувшись к панычу и приказчику спиной.

С тем они и уехали от девушек.

Молчаливый сидел паныч за рулем, изредка поглядывая в небо, оперенное тонкими серебристыми тучками. Холодное «цыганское солнце» светило теперь уже им в затылок, одинокое над степью, а отсветы от него ложились на каждую тучку, делая ее мраморной, и все небо уже летело на Вольдемара, словно облицованное из края в край светлым, голубоватым мрамором бесчисленных девичьих лиц, похожих на одно — на лицо Ганны.

Изредка мелькали под луной отары. Кружилась, как метель, в свете фар степная мошкара, слепо несясь навстречу, разбиваясь о стекла. Вспугнутые жаворонки вспархивали перед самой машиной и свечками уходили вверх, в мраморную Ганнину высоту.

XXIX

— Она здесь со своими дядьями,— нарушил через некоторое время молчание Гаркуша. — Держат, видать, ее в руках... Они у меня сторожами на Кураевом. Статные ребята: только глянешь — уже страшно... Как два разбойника.

— Штрафы с нее чтоб завтра все снял. Слышишь? — не оборачиваясь, приказал паныч.— И вообще... смотри у меня!

Приказчик так и не понял толком, что означало это панычево «смотри», но наугад кивнул.

— А тех... разбойников сейчас покажешь мне.

— Слушаюсь.

Заехали на Кураевый, и приказчик кликнул к машине сторожей. Долго ждать не пришлось. Встревоженные Сердюки, запыхавшись, подбежали к панычу со своими колотушками.

Разговор с ними был короткий.

— От приказчика я узнал,— сказал паныч,— что вы образцово несете службу и заслуживаете награды. За это я перевожу вас в главную экономию. Будете сторожить там. Завтра явитесь в Асканию... прямо ко мне.

Сказал и покатил в степь, пугая зайцев и жаворонков. Сердюки стояли ошарашенные. Оторопел и приказчик.

— Вишь,— неопределенно сказал он сторожам и направился к кухне, услыхав доносившийся оттуда смех кухарки.

Долго гадали в ту ночь Сердюки, что́ бы все это могло означать. Не мог же Гаркуша в самом деле так уж выхвалять их перед панычом... Да и за что? Слыхали ж они, как тузили его ребята на сеновале, но сделали вид, что не слышат, выручать не кинулись!

Как бы там ни было, а судьба, кажется, повернулась наконец и к ним лицом, и на другой день к завтраку Сердюки уже стряхивали с себя пыль в Аскании. Паныч был в добром настроении, принял их первыми и долго беседовал при закрытых дверях.

— Кто они, эти мужичищи? — переговаривались между собой конторщики, толпясь в прихожей. — Сам к ним вышел, позвал, словно кого-то важного...

— Кто их знает: может, это контрабандисты какие-нибудь... Греки, может, из Очакова...

От паныча Сердюки вышли весело возбужденные и словно слепые: проталкиваясь через прихожую к двери, наступали панским холуям на мозоли своими ножищами.

На улице им встретился Валерик, но они вначале даже не узнали парня, который первый вежливо поздоровался с ними.

— А, это ты! — очнулся Левонтий.— Где же ты теперь?..

— Работал в саду, а сейчас,— покраснел парень,— к теннисным кортам приставили... Мячи подавать.

— Ага, мячи... Чего ж: это тоже работа, — заговорщицки перемигнулись Сердюки и, расспросив парня, где тут монополька и страусятник, двинули дальше.

Валерик слышал, как они, отойдя, опять заговорили о мячах и весело заржали.

В лавочке Сердюки, к удивлению продавца, разменяли подозрительно новенький червонец и, купив по осьмушке водки на брата, подались прямо на страусятник. Им захотелось проведать своего земляка Нестора Цымбала, с которым они не виделись со дня прихода из Каховки.

Нестора Сердюки разыскали неподалеку от страусятника, на огороженном пастбище в обществе его удивительных длинноногих питомцев.

— Осторожней, осторожней! — кричал Цымбал, отгоняя страусов подальше от гостей.

— Разве они дерутся? — спросил Левонтий, пятясь.— А говорят, что эта птица самая пугливая на свете...

— Слушайте, что вам наговорят... А он как долбанет, так аж взовьешься!.. Нога у него, видите, что копыто.

— А как же ты с ними, Нестор?

— Так это ж я,— улыбнулся Цымбал.— Они как к кому... Вот смотрите...

Нестор свободно подошел к одному из страусов и нежно погладил его по туловищу, что-то приговаривая. Птица в ответ забормотала, ласково потерлась о Нестора и, вытянув свою длинную шею, положила ему голову на плечо, словно обнимая.

— Почти одинаковые, — захохотал Оникий. — Как солдаты, один в один...

— Все он понимает, только не разговаривает,— ласково говорил Нестор, подходя к гостям.— Как хотите, а мне... полюбилось. Есть в нем душа.

— Ты, Нестор, во всяком звере душу найдешь,— кинул Левонтий, тяжело опускаясь на траву.— Недаром за тобой в Криничках все приблудные собаки ходили...

— Раздолье тут нашему атаману,— опускаясь рядом с братом, насмешливо заметил Оникий.— Пасет, пасет, да и напоит... Слыхали мы, Нестор, что ты чуть ли не главный при зверинце? Правой рукой у того, как его, Ноя?

— Правой не правой, а левой наверное,— улыбнулся Цымбал, присев перед земляками, босой, в облезшей шапке.— А все же каким ветром сюда?

— Да мы что,— поглаживая бороду, загадочно подмигнул брату Левонтий.— Как были наймитюгами, так и остались: с одного места да на другое сторожить чужое добро... Это ты вот, как видно, разбогател... От голубей на штраусов перешел,— захохотал Левонтий, намекая на давнюю голубиную страсть Цымбала, который и вырос с турманами за пазухой.— Только этого уж за пазуху не впихнешь...

— Лаской можно всякую тварь привлечь к себе,— мягко возразил Цымбал.— Вы думаете, откуда при человеке взялось такое, как лошадь, корова, овца, собака, курица или тот же голубь? Дикими когда-то были... А человек своей добротой, деликатным уходом приучил их к себе, сделал домашними... Но мало веды! Сколько еще есть в лесах и пустынях такого, что можно бы одомашнить... Возьмите вы антилопу, или фазана, или даже вот этого страуса...

— Ты слышишь? — толкнул Оникий брата.— Ему уже коня и коровы мало! Уже, наверное, его Степанам коровье молоко надоело,— хочет для них еще штрауса приручить! Ну, пусть тебе, Нестор, штраус, а мы люди темные, нам подавай волов, да коров, да отары овец!

Грубый хохот земляков, который другого кого-нибудь обидел бы, на Цымбала почти не действовал. Веселое и мудрое спокойствие светилось в его глазах.

— Есть у нас тут профессор один, Иванов по фамилии, из Петровской академии присланный... Мы с Клименко часто ему помогаем... Такого, скажу вам, ученого поискать... Случил зебру и коня, и уже есть у нас маленький скрещеныш. А на днях вот на домашнюю простую кобылу пустили дикого монгольского жеребца...

— А это же зачем? — уставились на Цымбала земляки.— Все перепутаете, потом толком не разберешься!

— Разберемся,— уверенно улыбнулся Цымбал.— Зато потомство будет вдвое сильнее, чем домашние лошади...

— Ты тут, Нестор, возле прохвессора и сам прохвессором станешь! — воскликнул Оникий.— Послучаешь всех со всеми... Заживешь тогда, земляче, не по-нашему!..

«Не очень тут и профессоры живут,— задумался Цымбал.— Сам на кирпичном заводе в какой-то халупе ютится, которую ему академия у Фальцфейнов арендовала... Для его лаборатории дворец бы поставить, а он у Фальцфейнов где-то на задворках...»

— Слушай, земляк,— пахмурился вдруг Левонтий,—

ты ни себе, ни нам баки такими вещами не забивай... Тебя в Криничках куча голышей с заработком ждет, а ты к ним босым профессором явишься... Последнюю курку в петуха обернешь...

Перемигнувшись, Сердюки одновременно выставили на траву свои осьмушки и стали молча следить, какое впечатление это произведет на земляка.

— Ого, как вы живете! — радостно удивился Цымбал.— А я с Каховки еще не пробовал...

— Так топай сейчас, ищи закуски,— распорядился Левонтий, обращаясь к бывшему своему атаману уже как к подчиненному.— Штраусы твои никуда не денутся...

— Что ж я вам принесу? — растерялся Нестор. — У меня так, что и... пусто в закромах.

Сердюки задумались. В самом деле, что с такого взять? Один в Аскании земляк, да и тот гол как сокол... Потом, о чем-то пошептавшись, они вдруг пожелали, чтоб Нестор зажарил им на закуску страусовое яйцо.

— Добудь сковородку и зажарь,— разошелся Левонтий.— Пора уже и нам полакомиться.

— Слыхали мы,— весело подпрягся к брату Оникий,— что одно штраусячье яйцо несколько фунтов тянет... Это если разбить, так на всех нас яичницы хватит...

Цымбал вначале думал, что земляки шутят, а поняв, что это не шутки, стал решительно отказываться.

— А вы бы ели?

— А что?

— Люди добрые! Разве вы не знаете, что, кто страусовое яйцо съест, у того шею на аршин вытянет, будет как у страуса!

— Да ну! — оторопели Сердюки и стали поводить своими воловьими шеями.

Цымбал ухмыльнулся.

— Так ты еще издеваешься? Панского добра для односельчан жалеешь? — насупился Левонтий.— Оно нам, может, дороже, чем тебе, а и то готовы есть!..

— Не панское жалею! — горячо возразил Цымбал.— А чтоб страусы не вывелись! Разве ж, если я неграмотный, то и понять ничего не способен? Может, то, что сегодня выведем, когда-нибудь и нашим детям пригодится...

— Такой ты, значит? — процедил сквозь зубы Оникий.— Здорово встречаешь гостей!

Обиделись на земляка Сердюки. Сидели, надувшись, как сычи, над своими осьмушками.

— Лучше на этот раз нам без закуски обойтись,— попытался уговорить их Цымбал.— Если б знал, чего-нибудь другого вам припас...

— Не надо нам другого,— стали подниматься Сердюки.— Загордился ты, Нестор, тут возле своей птицы, земляки для тебя уже ничто...

— Разъелся, как кот, а мышей не ловишь!

И, забрав свои осьмушки, обиженно поплелись к имению. Пусть... Пожалел для них Цымбал страусовое яйцо, а еще неизвестно, что из него вылупится!

Ночью Сердюки уже сторожили Асканию, словно собственный хутор, колотя в колотушки громче, чем все другие сторожа. Бедняги так старались, что разбудили Софью Карловну, которая послала горничную узнать, не случилось ли чего-нибудь.

О том, что дядья уже колотят в Аскании, Ганна узнала не сразу, хотя на следующий день паныч снова прикатил к сезонникам в степь, на сей раз, правда, уже без Гаркуши.

Девушки как раз обедали, прижавшись, как перепелки, за копнами, в холодке.

Ганна хлебала с Вустей из одной миски, когда из-за соседней копны прозвучало сразу несколько голосов:

— Паныч приехал!

— Вот повадился!

— Кружит уже над какой-то...

Ганна побледнела при этих словах и отложила ложку.

— Чего ты? — удивилась Вустя.— Что, он тебя съест?! Такого еще нет, чтоб на любовь кого-нибудь неволить.

Ганна в ответ только вздохнула и склонилась над миской.

Вскоре из-за копен показался и сам паныч. Размашисто ступая по стерне, он что-то оживленно объяснял молодому подгоняльщику, который, молча утираясь рукавом, шел вприпрыжку за длинноногим панычом. Заметив девушек, паныч развязно поздоровался с ними и бросил шутя, обращаясь к Ганне:

— Ну, головастики еще не пищат?

— Еще нет,— тихо ответила Ганна и потупилась. Щеки у нее при этом чуть заметно порозовели.

— Только тумана что-то много в этой воде,— не удержавшись, уколола Вустя паныча.

— Ну-ну, ты, щебетуха! — весело погрозил ей Вольдемар. — С такими глазенками да с такими ямочками на щеках ты хоть кого затуманишь, — улыбнулся он и пошел с подгоняльщиком дальше, к косилкам.

Пока обед не кончился, паныч все болтался по жнивью, хотя девушек уже больше не затрагивал. Видно, заметил он, как болезненно смутилась Ганна, согнувшись над батрацкой миской, в своей незавидной одежде. Заметил и больше уже не хотел вгонять ее в краску.

Тем временем затарахтели косилки, затрещала сухая пашня, словно горела ясным невидимым пламенем. Поднялись девушки из-за копен, пошли к своим полосам. Многие вязальщицы прихрамывали. Поле было ровное, косилки брали низкорослый хлеб у самой земли, стерня торчала твердая и острая, словно рассыпанные гвозди.

Хромала и Ганна. Еще в первый день порезалась она стерней до крови, и теперь нога у нее нарывала. Назло панычу хотела пройти мимо него не хромая, но боль была так сильна, что темнело в глазах, и Ганна, сама того не замечая, шла, припадая на ногу.

Вольдемар не видел, как прихрамывали другие раненые вязальщицы, он видел лишь, как, хромая, прошла к косилкам Ганна, надевая на ходу грубые парусиновые вязальщицкие нарукавники на свои красивые полные запястья. Наверное, задела паныча жгучая боль Ганны! Смотрел, помрачневший, насупленный, а возвращаясь к машине, уже не так размашисто шагал по стерне своими длинными, в дорогих желтых туфлях ногами.

Вустя тоже жалела Ганну, но другой жалостью. У нее у самой ежедневно сочилась кровь из порезанных ног, но у нее кровь была, видимо, такая, что, не превращаясь в нарывы, сразу запекалась на теле вишневыми потеками. Если б Ганне да такую кровь!

Вообще Усте вязалось легче, чем Ганне, она больше привыкла к работе, была более быстрой и ловкой, чем подруга. Еще другие горбились над снопами, а Вустя, пробежав полосу, уже сидела на снопике, как горлица, с готовым свяслом. Сидела, тихо напевая, прислушиваясь к Кураевому. Не раз уж оттуда посвистывал, прищелкивал ее милый паровик, пробуя свою силу перед молотьбой. Сразу узнавала Вустя этот родной далекий голос, тот нежный прищелкивающий свисток, самый красивый среди свистков всех других машин, которые пробовали свои

голоса по раскиданным в степи токам... Прищелкивал, звал, обращался прямо к Вутаньке... Легко, празднично становилось на душе, и стерня уже была не колючей, и снопики летели из-под рук сами собой. Как богата, как счастлива была она в эти дни, мечтая, что вот они снова встретятся с Леонидом и, упиваясь своей хмельной близостью, пойдут куда захотят... Душистые степные вечера будут для них, словно небо для птиц, и эта неоглядная степь будет принадлежать только им, как собственные светлицы, и все то самое лучшее, что рисуется впереди в чистых девичьих видениях, будет принадлежать только им, навсегда!..

В этот день не свистел до обеда далекий свисток. Не прищелкнул он и после обеда. Может, что-нибудь случилось? Или, может... забыл? Под вечер печаль охватила девушку. Хотелось подняться, на крыльях слетать... Вязала уже в сердцах, прижимая коленом ни в чем не повинные снопики к земле. Работала, сжав губы, стараясь не думать о Леониде, а в себе несла жаркий уголек собственной песенки, что сама как-то сложилась тут, на косовице: «Ты, машина, ты, свисточек, подай, милый, голосочек...»

Не подает...

Вечером приехал верхом Гаркуша и все ходил следом за Ганной и допытывался, что у нее с ногой. Так надоел и опостылел за вечер, что Ганна в конце концов послала его ко всем чертям.

А на следующее утро прибыли из Аскании на лихой двуколке Сердюки. Несмотря на жару, были оба в смушковых шапках, в новых яловых сапогах, и Ганна, поняв, в чем дело, сразу же с отвращением посмотрела на их яловые сапоги, возненавидела эти сапоги сильнее, чем ненавидела раньше их потрескавшиеся пятки.

— А ну, где тут наша хромая? — потопали по жнивью Сердюки.— Давай, девка, к фершалу, потому что иначе вспыхнет антонов огонь...

Ганна и в самом деле едва ходила: за ночь нога распухла еще больше. Однако ехать в Асканию не хотела.

— Заживет как-нибудь и тут... нечем мне вашему фельдшеру платить...

— Да ты что? — ощерился на нее Левонтий.—Родных дядек не слушаешь?.. Материнскую волю нарушаешь? Да мы за тебя перед нею крест, может, целовали!..

Подхватив Ганну под руки, они потащили ее к двуколке.

Усевшись, она уже не сопротивлялась. Тем временем отовсюду сбегались через поле девушки-вязальщицы проводить подругу.

Ганна сидела в двуколке прямая, спокойная и бледная, как перед казнью.

— Ганна! Сестра! — заволновались, подбегая, подруги.— Куда они тебя забирают?

— К фельдшеру, — горько улыбнулась Ганна, глядя поверх голов дядек куда-то в степь, наполненную солнцем.

— Продавать? — подлетая к двуколке, накинулась Вустя на Сердюков. — Каховской ярмарки было вам мало?

— Опомнись, сумасшедшая! — огрызнулся Оникий.— Девушку, может, антонов огонь жжет, а тебе видится черт знает что...

— Пусть везут,— сказала задумчиво Ганна, спокойно снимая нарукавники.— Только... не продамся я.

Величественным жестом она отбросила нарукавники прочь на стерню и перевела взгляд на загривки Сердюков. Что-то новое, хищное, дерзкое сверкнуло вдруг в ее больших, блестящих, как лед, глазах.

— А если уж и доведется, то... не меньше, чем за миллион... чтоб попановать над холуями!

Ударили Сердюки по лошадям, затарахтела двуколка на рессорах, вынося Ганну с косьбы.

XXX

— Везут! Везут! — засуетилась панская челядь, когда двуколка с Ганной влетела в Асканию. Горничные и лакеи, толпясь у окон, жадно ощупывали ее полными холопского любопытства взглядами. Кто она, какая она, эта новая фаворитка молодого хозяина, которая въезжает сегодня в Асканию прямо с косовицы?

Ганна ехала выпрямившись, прикрыв лицо от солнца запыленным, посеревшим в степи платком. Чувствовала на себе все эти взгляды, полные неприязненного интереса и холопской затаенной зависти... Что они думают сейчас о ней, о чем перешептываются между собой? Ждут ее позора? Надеются, что уйдет отсюда униженной, осмеянной?.. Хотелось цыкнуть на всех, чтоб разлетелись кто куда, как степные ящерки из-под ног!..

В фельдшерской, куда привели Ганну, ее уже ждали старичок фельдшер в белом халате и паныч Вольдемар, который был сегодня серьезен, чем-то заметно озабочен. Присутствие паныча не удивило Ганну, она как бы ждала этого. Не удивило и не испугало ее также и то, что дядьки, толкнув ее через порог в эту белую, словно снежную, комнату, сами остались за дверью.

Пахло лекарствами, и от этого запаха у Ганны слегка закружилась голова.

— Как хорошо, что вы приехали! — проникновенно говорил паныч, стоя перед ней, точно в тумане.— Я так боялся, что вы не приедете...

Без пенсне паныч был как-то не страшен ей, маленькое холеное личико казалось детским. Не смутившись, Ганна разрешила ему взять себя под руку и провести через компату к твердой, обитой белой клеенкой кушетке. Уселась и как бы окаменела.

Паныч отступил к окну, вместо него подошел фельдшер, потирая руки и нехорошо, плутовато посмеиваясь.

— Прилягте.

Лечь? Ганна сразу встрепенулась, ей стало жарко. Фельдшер ждал, а она сидела. Было почему-то стыдно ложиться на кушетку в присутствии паныча.

Будто догадавшись, Вольдемар повернулся лицом к окну. Она легла. Нестерпимая боль пронизала ее всю, когда фельдшер стал ощупывать нарыв. Напряглась всем телом, стиснула зубы, заглушая стон. Потемнело на миг в глазах... Раскрыла глаза, и опять были белые палатные снега вокруг, и Вольдемар уже напряженно смотрел от окна прямо на ее тело... Ганна ужаснулась, словно глянула вдруг его глазами на себя со стороны, на свое бесстыдно раскинутое тело, на высокую свою грудь и полные тугие ноги, равнодушно оголенные фельдшером выше колен... Хотелось вскочить, прикрыться от паныча всеми этими стенами-снегами, и в то же время что-то сдерживало ее, была даже какая-то потребность, чтобы на нее — такую! — смотрели...

Прикрылась от него только собственными ресницами и лежала так.

Пока фельдшер вскрывал, промывал, смазывал нарыв, Вольдемар смотрел на нее, не отводя взгляда.

— Какая воля, какая выдержка! — с тихой зачарованностью промолвил паныч, когда все было окончено и Ганна уже сидела с перевязанной ногой, поправляя на

себе одежду и чувствуя облегчение во всем теле.— Скальпель идет по живому, а она... Да перед вами преклоняться надо, Аннет!

В это время дверь распахнулась, и в комнату словно ветром внесло вертлявую веселую молодку в фартучке служанки. Бойко стрельнув глазом в паныча, она тут же подскочила к Ганне, застрекотала над ней, как сорока:

— Укололась! Нарывало? Ничего! До свадьбы заживет! Теперь я возле тебя буду за фельдшера. Положим на ночь припарку, и завтра — хоть тащевать... Берись за меня, пойдем, покажу тебе все!..

Ганна удивилась:

— Куда?

— Да не к косилкам, конечно,— засмеялась молодка.— На хозяйство свое пойдем, ты ведь теперь старшая горничная при доме приезжих... Будем с тобой на пару гостей принимать...

Ганна удивленно взглянула на паныча.

— Подожди, Любаша, не стрекочи, — вмешался Вольдемар и, подавляя неловкость, скороговоркой объяснил Ганне, что она сейчас свободна от всякой работы и, пока окончательно не вылечится, будет жить с Любашей. — А дальше видно будет, — неопределенно закончил Вольдемар, провожая Ганну до самой двери.

На крыльце ее ждали дядьки.

— Ну как? Ну что? — накинулись они с обеих сторон на племянницу.— Что он тебе сказал?

— Ничего страшного... скоро заживет,— сдержанно ответила Ганна, имея в виду фельдшера.

— Да нет... это, известно, заживет... а папыч что сказал?

— Ах, отстаньте вы, ради бога! — измученно выдавила из себя Ганна, невольно прижимаясь к Любаше.

Сердюки прошли за ними еще несколько шагов, потом вдруг отстали, о чем-то советуясь. Любаша тем временем повела Ганну по высоким ступеням дома приезжих. В коридоре пошли по мягкому ковру в самый конец. Аккуратная комнатка, в которой они очутились, тоже была в ковриках, в живых цветах, в кружевах и белоснежных высоких перинах...

— Здесь мы будем жить,— обвела Любаша рукой комнату.— Заказывай теперь, что ты хочешь?

Ганна устало опустилась на стул, вздохнула.

— Воды.

— Воды? Ха-ха-ха! — расхохоталась Любаша.— А может, водочки? У нас и такое есть!

— Нет... воды... Жажда меня еще с самой степи мучит...

И когда Любаша, выбежав на минуту, вернулась с полным графином свежей, сладкой, артезианской, Ганна, припав к нему, не оторвалась, пока не выпила до дна.

XXXI

— Ты еще не знаешь, Ганнуся, нашего паныча,— говорила погодя Любаша, разложив на коленях вышивание.— Даром что такой богач, а с людьми он не гордый, простой, обходительный... Возле него легко жить. В других экономиях от панычей всего натерпишься — он тебя и выругает, и изобьет, а наш никого не ударил, никому слова паперекор не сказал. Только приехал — всю прислугу чаевыми одарил, никого не забыл. И сколько его знаю, всегда такой: добрый ко всякому, кто к нему добрый.

— А ты тут уже давно, Любаша? — спросила Ганна, прилегшая после купанья на белоснежные перины.

— Вольдемар еще гимназистом был, когда я сюда попала,— живо стрекотала Любаша.— Черниговская я, явилась в Каховку такой же обшарпанной, как и ты! Вначале с грабарями на прудах работала, на земляных работах — ох, набедовалась я, Ганна! Только и вздохнула, когда в горничные вышла. Что мне теперь? И хожу чисто, и ем вкусно, и черной работы не знаю! Прибавляется понемногу в сундучке, да и домой каждую осень передачу передаю. А все потому, что характер у меня веселый, людям я приятная... Вот съедутся к панычу гости, сразу: «Спой, Любаша, спляши, Любаша!..» И спою и спляшу,— разве меня от этого убудет? Если б мне да твоя красота, ого-го, дивчина, — далеко б я была!..

— Это они и меня будут заставлять плясать? — засмотрелась Ганна на узорчатый лепной потолок.

— Если не захочешь, кто же тебя заставит! Да у тебя и защита хорошая есть,— засмеялась Любаша.— Паныч никому не позволит тобой понукать. Тебе теперь и сама барыня не страшна.

— Злющая, говорят?

— В печенках у всех сидит, — огляпувшись, зашептала Любаша. — Горничным ни погулять, ни уснуть не дает, всю ночь заставляет молиться. Сама хочет святой стать, а они чтоб за нее поклоны били! Вот она скоро выйдет зубы себе греть... а может, уже и вышла, — подняв штору, Любаша выглянула сквозь цветы в окошце, выходившее в сад. — Уже сидит! Полюбуйся своей свекрухой, — прыснула она в ладонь, отшатнувшись от окна.

Ганна поднялась на локте и посмотрела в сад. Софья сидела одна в плетеном кресле, на открытом солнце, закинув голову, широко раскрыв рот. Девушке она показалась сумасшедшей. Сидит на самом солнцепеке, разодрав, как кащей, свой старческий рот до ушей, уставившись прямо на солнце, словно хочет на него тявкпуть!..

— Чего это она, Любаша?

— Во рту у себя выгревает... Лечит солнцем какую-то хворобу...

— Фу, какая!.. Опусти занавеску.

Ганна откинулась на подушки. Волны ее черных, распущенных после мытья волос свободно рассыпались по постели, по плечам, полным, округлым, как бы выточенным из слоновой кости. Положив на лоб руку, молча смотрела в потолок, украшенный лепкой, но и оттуда свисали какие-то уроды с раскрытыми ртами, которые словно хотели залаять на солнце...

— Никто ее здесь не любит: ни слуги, ни коптора,— затараторила опять Любаша, принимаясь за вышивание.— Да и Вольдемар был бы, видно, рад, если бы она богу душу отдала, чтоб самому потом распоряжаться. Ну, Вольдемар, этот еще так-сяк, хоть для видимости матери ручку целует, а Густав придурковатый, когда был здесь, духа ее не выносил... Один раз овчарками затравил, на каменную бабу загнал, кукарекала там целый час...

Ганна чуть заметно улыбнулась, представив барыню верхом на каменной бабе.

— Здорово, наверно, испугалась?

— Сняли чуть теплую...

— А где он сейчас, тот Густав?

Любаша вздохнула.

— Дорнбургом правит... Сослали туда на покаяние за то, что брату адскую машину под кровать подложил... Ирод, самую близкую подругу мою, Серафиму-горничную, жизни лишил...

Ганна плавно поднялась в постели, села.

— Так, значит, это правда?

Она мельком слыхала об этом страшном случае в поместье, но только сейчас — из уст очевидицы — он дошел до нее во всей своей жуткой, зловещей достоверности. С большими от ужаса глазами слушала Ганна подробный рассказ Любаши о гибели подруги...

— Только и того, что похоронил по-людски, белый камень поставил с золотыми буквами,— скорбно закончила Любаша и, отложив работу, полезла куда-то в угол за кровать. Выпрямилась с бутылкой в руке.— Давай, Ганна, устроим ей поминки... Потому что кто о ней, несчастной, вспомнит... Будешь?

— Это что такое?

— Водка.

— Непривычная я, Любаша... Пей сама.

Запрокинув голову, прямо из бутылки Любаша сделала несколько глотков. Отставила, передохнула.

— Привыкнешь, Ганна, и ты... Ко всему тут привыкнешь...

Облокотилась о край стола Любаша, склонившись щекой на руку. Потом тихо, чуть слышно стала напевать:

Додому іду,
Як риба, пливу,
А за мною молодою
Сім кіп хлопців чередою
В цимбалоньки тнуть, тнуть, тнуть...

Песня была веселая, игривая, но сейчас в устах Любаши она звучала как-то грустно, тоскливо.

Ганна слушала песню и как бы не слышала ее, сосредоточенно думая о погибшей девушке, которая, возможно, еще недавно лежала здесь, на ее, Ганнином, месте.

— Где ее похоронили? — спросила девушка, помолчав.

— Серафиму? За Герцогским валом. Барыня настояла, чтоб подальше... Не на виду... Эх!.. «В цимбалоньки тнуть, тнуть, тнуть...»

В дверь постучали.

— Можно! — насторожилась Любаша.

Вошел паныч Вольдемар, веселый, ребячливый, в расстегнутой рубашке с засученными рукавами, с какой-то коробкой в руке.

— Я на минутку,— остановил он Любашу, которая бросилась уже было бежать к двери.

Ганна закрылась простыней по самую шею, всю ее обдало приятным жаром, хотя стыда оттого, что паныч застает ее в постели, она не ощутила. После того как он в фельдшерской так долго и возбужденно смотрел на нее, она уже как бы побывала с ним в какой-то недозволенной близости.

Поставив коробку на стол, Вольдемар обратился к Ганне, радостно озабоченный и немного смущенный:

— Ну, как тебе?

Подумав, Ганна ответила протяжно:

— Луч-ше...

И смотрела на паныча смелым, изучающим взглядом.

— Главное, чтоб не скучала по степи... Ты уж тут, Любаша, развлекай ее... Можешь позвать вечером Яшку-негра, пусть поиграет вам на гитаре... А я сейчас в Геническ. Что тебе привезти из Геническа? — любезно обратился он к Ганне.

— Ничего мне не надо,— ответила она, хотя ей была приятна сама возможность заказывать, приятно было чувствовать свою власть над этим молодым миллионером, что мог бы с потрохами закупить всех криничапских богатеев Огиенков, от которых она в свое время столько натерпелась.

— Вот как управлюсь немного с делами, повезу вас к морю... Ты хочешь видеть море, Аннет?

— Не называйте меня Аннет... Я — Ганна.

Паныч засмеялся.

— Хорошо, не буду... Так поедешь к морю, Ганна?

— Посмотрим.

Заботливо коснувшись мимоходом горячего подбородка Ганны и пожелав ей поскорее поправиться, паныч оставил комнату.

Ганне понравился этот визит. И то, что паныч постучал в дверь, спрашивая разрешения, прежде чем войти, и что задержал в комнате Любашу, чтоб не оставаться им наедине, и деликатная речь — все это было новым для Ганны, непривычным после грубости, среди которой она росла, после тяжеловесных шуток, которых она наслушалась от каховских барышников. Правда, когда он мимоходом провел рукой по ее подбородку, Ганну передернуло, а когда, выходя, он окинул взглядом ее тело, то Ганне показалось, что он видит ее сквозь простыню обнаженной, но и это у него вышло как-то особенно, по-пански, и не обидело Ганну.

— Вот это приворожила! — восторженно пропела Любаша, когда шаги паныча стихли за дверью.

— Уж и приворожила,— не сдержала улыбки Ганна.

— Впервые таким его вижу... Ни одну он так не навещал... Ой, Ганна, попануешь! — в восторге воскликнула Любаша и кинулась к коробке, оставленной панычом.— Что он тут принес? Духи! Глянь, какие флаконы! Такие только у барыни есть... А пахнет! Давай я тебя побрызгаю, Ганна, чтоб парижами пахло, ха-ха-ха!.. Не только ж им, когда-нибудь надо и нам!

Набрав полный рот одеколону, Любаша принялась тут же прыскать на Ганну ароматным дождем.

За этим занятием и застали девушек Сердюки, которые ввалились в комнату без всякого предупреждения.

— Чем это у вас так пахнет? — расставив руки, шутовски заговорил Левонтий.— Не то мятой, не то кануфером... и не разберешь.

Оникий тем временем, подойдя к столу, уже заглядывал в коробку. Открыл самый большой флакон, приложил к ноздре, с сопением потянул в себя, словно тертый табак.

— Ох, и шпигает же!..

Ганну, которая до сих пор сдерживалась, это окончательно вывело из себя. Порывисто поднявшись на перинах, она неожиданно властным движением указала дядьям на дверь:

— Выметайтесь отсюда... выметайтесь вон! Осточертели.

Дядьки остолбенели, нелепо улыбаясь.

— Ганна... Да что с тобой?

— В коробках рыться пришли? Нюхать разогнались? Там нюхайте! — распалилась Ганна.— Чего стоите, как пни? Слыхали мои слова? Любаша, кликни паныча, может, хоть он их выведет!

Это на дядек сразу подействовало. Осторожно, как по скользкому, они попятились к двери.

— И чтобы без стука больше сюда не врывались! — бросила Ганна им вдогонку и снова легла.

— О, какая ты!.. Даже меня напугала,— с искренним удивлением уставилась на Ганну Любаша, когда дверь за Сердюками закрылась. — Отбрила так, что и я не сумела б! «Выметайтесь», ха-ха-ха!.. Рано за выручкой прибежали... Да в самом деле, что они тебе теперь, чего им в рот смотреть? Родные дядьки? Пустое: какая уж там родня, где торг идет!

Ганна молчала, строгая, задумчивая. Выгнав дядек, она не почувствовала радости. Как-никак Сердюки сейчас были для нее в Аскании самыми близкими людьми. Что-то похожее на жалость или сочувствие тронуло ее душу, когда они, растерянные, униженные, очутились за порогом. Припомнила, как была маленькой и бегала с ровесницами колядовать к ним на панскую воловню (Сердюки, не имея в Криничках свой хаты, лето и зиму жили при панской воловне). Тогда дядьки еще не были такими сквалыгами и радостно встречали племянницу, расплачиваясь за колядки заранее приготовленными гостинцами. Припомнились и напутствия матери — держаться дядек, слушаться их во всем... Хорошо же она их слушается! Так приструнила, что они вынуждены слушаться ее!

Сама была удивлена вспышкой своего неожиданного властолюбия и тем, как просто можно заставить других подчиняться себе. На них первых сбила оскомину, на них первых испытала свою власть, которая как бы невольно заставляла ее быть черствой и бессердечной с другими. Может, это и нехорошо, но чувствовала, что и дальше будет поступать так. Появись здесь дядьки вторично, она вторично их выгнала бы, хотя, несмотря на стрекотание Любаши, одиночество все сильнее угнетало ее.

Степь была где-то далеко. Даже не верилось Ганне, что сегодня она еще спотыкалась на стерне, ожидая бочек с водой. Подруги и сейчас там, в адской степи, бегают за косилками, а она уже выкупана, в перинах, в духах... Повелевает, и ее слушаются. Кажется, должна радоваться от такой внезапной перемены, но настоящей радости не было. Чувствовала только физическое облегчение, которое все же не могло заменить собой нечто другое, более важное, чего не хватало Ганне в жизни.

XXXII

— Душа у меня не на месте,— говорила на другой день Ганна Любаше, когда они вышли под вечер на окраину поместья погулять.— Тяжко мне почему-то, тревожно... От одного берега отплыла, а к другому не пристала... И пристану ли?

— Странная ты, Ганна,— отвечала Любаша,— ей-богу, чудна́я. Другая бы на твоем месте шла и земли под

собой не чувствовала, а ты... Ну, почему ты такая? Пусть вчера болело, а сегодня уже и ноге легче, вся в обновках идешь — фартучек на тебе, как фата венчальная... И еще недовольна!..

— Что фартучек, Любаша?.. Невелико счастье — фартучек горничной... Не дорожу я им.

— Потому что легко достался. Другим он бог знает чего стоит, а тебе, считай, даром его поднесли.

— Как-то тесно мне в нем, неудобно... И завязки вроде давят, и каждый, как на белую ворону, смотрит... Наверно, не родилась я для прислуги, Любаша... Нет во мне холопского дара.

Посмотрев сбоку на Ганну, Любаша отметила про себя, что и в самом деле ее спутница мало похожа на прислугу даже в накрахмаленном фартучке горничной. Идет и не покачнется. Голову — в черной блестящей короне кос — несет, как княгиня какая-нибудь.

— А чего бы ты хотела, Ганна? В автомобилях кататься? Еще покатает!

— Этого мне тоже мало,— ответила с усмешкой Ганна.

— Тогда я не знаю, чем он тебя завлечет,— развела руками Любаша. — Разве что птичьего молока из Геническа привезет...

Невдалеке от дорожки, по которой они шли, за зарослями камыша работала артель землекопов. Ганна загляделась на них, обшарпанных, полуголых, измученных работой.

— Что они роют, Любаша?

— Новый пруд пробивают... Вот видишь, какие: на людей не похожи. Все с тачками да грабарками, ворочают землю, как каторжники, с утра до ночи... А мы тем временем на прогулку ходим, воздухом дышим... Думаешь, не завидуют они нам?

Ганна остановилась.

— Пруд в степи... Даже странно. Разве здесь можно до родников докопаться?

— Их дело землю выбрасывать, а воду сюда из артезианов по трубам напустят... Видишь, вот тот маленький, быстрый, в кепочке, который толпу собрал, аршином размахивает? То и есть как раз главный водяной, механик водокачки... Он тут со своей бражкой всю воду в руках держит,— объяснила Любаша и, оглянувшись, добавила полушепотом: — Говорят, он из тех, что против царя

идут! На каторгу как будто должен был загреметь, да как-то в Асканию выскользнул...

— Мы видели одну такую в Каховке, на лесной пристани,— похвалилась Ганна.— Мне она понравилась... Но разве можно всех спасти?

— А я, Ганна, боюсь их... Как встречу где-нибудь этого водяного, мороз по коже продирает... Может, у него и нет ничего плохого в мыслях, а мне все кажется, что у него полные карманы бонб напиханы!..

Отойдя, Ганна еще раз оглянулась на толпу черных землекопов, стоявших на свежей земляной насыпи и куривших с водяным. Рабочие люди, они ей близки, а она им уже чужая. Променяла нарукавники вязальщицы на крахмальный фартук, увязла в болоте панской челяди... Межа, какая-то невидимая грань рассекла ее жизнь надвое, отделив от привычного сезонного люда, что остался там, на косовице, в степи. Будут ли они ей теперь доверять, поддержат ли ее в трудный час? Вустя, верная подруга, была там, все свои были там, а здесь возле нее вьются лишь Любаша да дядьки, на которых она не может положиться, которым не может открыть свои далеко идущие замыслы. В степи, в дружеском кругу сезонников, Ганне было как-то уютнее, дышалось легче, а тут не знает, кому верить, кому нет. А между тем сейчас больше, чем когда бы то ни было, она ощущала потребность в надежной опоре, в искреннем душевном совете. Ступая по самому краю пропасти, шаг за шагом взбиралась все выше, постоянно напряженная, жаждущая достичь золотых вершин жизни. Предчувствовала, что нелегко ей будет осуществить свои дерзкие намерения, должна будет в одиночку выдержать войну против всего панского отродья. Это ее не пугало. Чего-чего, а смелости ей не занимать!..

— О чем ты все думаешь? — заглянула Любаша Ганне в лицо.— Скрытная ты какая-то... Не угадаешь тебя по глазам.

— Признайся, Любаша: паныч тебя подкупил, чтоб ты мою душу выведывала?

— Ганна, бог с тобой!.. Просто мне самой интересно стало, о ком ты задумалась...

— О тех, кто в степи.

— Забудь про них, Ганна, тебе с ними уже не по дороге. Они отбудут срок — и опять в Каховку, а ты...

— А я куда?

— Только не в Каховку. Ты папыча так присушила, что... на твой век хватит. На любовь они ничего не жалеют — богачкой выйдешь от него. То, за чем в Каховку десять весен надо шлепать, у него за одну ночь добудешь!..

— Перестань... сваха,— спокойно оборвала Ганна Любашу.

Стежка вскоре вывела их на Герцогский вал, привела к Серафиме...

Среди пышной травы белый мрамор-камень горит на солнце золотыми насечками. С четырех сторон обнесен металлической сеткой, той самой, которой в Аскании затягивают вольеры для птиц. Наглухо окружено место Серафимы, только небу и открыто... В молчаливой задумчивости смотрела Ганна на горючий девичий камень. Не знала грамоты, не умела читать, и от этого высеченная надпись казалась ей особенно значительной, словно сама судьба написала ей здесь, золотом на камне, грозное свое предостережение.

«Нет, я буду осторожнее, — подумала Ганна, медленно двигаясь дальше. — Даст бог, я с ними и за тебя расквитаюсь, сестра...»

— Живьем завалили, камнем придушили,— вдохнула Любаша, понурившись.— Страшно мне становится, когда здесь прохожу... Кажется, что она до сих пор лежит в земле живая и все слышит.

Не заметили, как вышли на Внешние пруды. Так называлось просторное, изрезанное прудами угодье, западное крыло Большого Чаплинского пода, которое примыкало одним краем к аскапийским паркам, а другим переходило в открытую степь. Ганне это место напомнило роскошные полтавские левады. Густая луговая трава, гибкие молодые камыши, одинокие вербы... Степная даль изнемогала в предвечернем солнце, окутавшись блеклым золотом зноя, а здесь, вокруг прудов, все было сочным, ярко-зеленым, как ранней весной. Сами пруды, полные, налитые до краев, в пологих зеленых берегах, были похожи больше на естественные степные озера, хотя все они питались — по невидимым подземным трубам — водой из водокачки.

Вода! Ею все здесь жило, расцветало, буйно росло. Свежесть и сияние, исходившие от нее, накладывали на все окружающее отпечаток праздничности.

Рыболовы дремали в камышах. Дикие утки со своими выводками плавали поблизости, как домашние. Морские гости — белоснежные чайки-хохотуньи, смеясь, кружили над водяными зеркалами.

По ту сторону прудов, окруженный асканийской детворой, стоял у воды Яшка-негр, весело бросая с берега какую-то пищу птицам.

— Смотри, Любаша... и он здесь,— удивилась почему-то Ганна.

— А что ему,— пожала плечами Любаша.— Печенья напек, мороженого накрутил — и айда, как мальчишка, по Аскании. Это его любимое дело — чаек кормить.

Выбрав место, Ганна присела на берегу, вытянув ноги, с интересом наблюдая за негром и чайками, которые бились перед ним крылатой снежной метелью. Вчера Любаша, выполняя волю паныча, позвала негра, и он явился под вечер в дом приезжих, чтобы развеселить Ганну игрой на гитаре. Странное чувство охватило Ганну, когда она впервые встретилась взглядом с этим чернокожим великаном, который пришел ее развлекать. Скорее больно, чем приятно, стало ей от того, что он вытянулся перед ней, как перед госпожой, ожидая приказа. И не столько черной кожей поразил он Ганну, сколько взглядом, глубоким, горячим, полным искреннего удивления и затаенной скорби. Ганна почувствовала себя вдруг пристыженной и словно чем-то виноватой перед ним. Может, у человека горе, а ему велят идти развлекать кого-то. Зачем? Ганна рада была совсем отказаться от этого развлечения, но Любаша уже схватила Яшку за руку, посадила возле себя:

— Играй!

Смущение Ганны, как бы передавшись негру, сделало его неуклюжим, еще больше, видимо, растревожило и обострило в нем ощущение своей подневольности. Сидел мрачный, как туча. Потом резко, почти сердито ущипнул струну и... струна лопнула.

— Что ты делаешь, Яшка? — вскрикнула Любаша.— Ты нарочно?

Яшка поднял глаза на Ганну, облегченно вздохнул:

— Не хочет сегодня струна играй... Я просил извини...

Ганне тоже как будто легче стало.

— Я прощаю,— сказала она.— Не надо сегодня... Иди.

На том и закончилось вчера Яшкино выступление.

Сегодня негр, видимо, был в лучшем настроении. Стоял, выпрямившись на берегу, улыбался чайкам, и чайки отвечали ему смехом.

— Они его нисколько не боятся,— сказала Ганна.— Вьются возле самых рук, как голуби...

— Крошки выхватывают, — объяснила Любаша. — А потом — птица, она тоже человека чует, знает, кто ее обидит, а кто нет... Яшка для них свой.

— Разве чайки тоже оттуда налетают, из его теплых краев?

— Может, и оттуда... Может, привет ему от отца-матери принесли...

— Видно, и ему не сладко здесь,— задумалась Ганна.— Одному среди чужих людей...

— Сейчас хоть разговаривать немного научился, а раньше ни слова по-нашему... Он же басурман был, а потом игуменья выкрестила его... Только чудной какой-то: ни с кем из челяди не хочет компанию водить... Все больше с детьми, или в саду где-нибудь, или в зверинце... Там, правда, у него приятелей хватает: страусы, зебры, антилопы — то всё его земляки. Как и Яшку, их тоже оттуда вывезли, из-за морей, где никогда снега не бывает...

— Хорошо, верно, там,— размечталась Ганна.— Недаром туда птицы на зиму улетают...

— Может, и хорошо, да не всем... Иначе зачем бы Яшке здесь быть?

— И то правда... Неловко вчера у нас с ним вышло... Сердитый он?

— Нисколько. Даром что такой здоровяк, а душа у него мягкая, как у ребенка...

— Глянь, Любаша,— радостно воскликнула Ганна,— уже чайка у него на руках!..

— Приворожил-таки!

Негр стоял в кругу восторженно щебечущей детворы, прижимая к груди большую белую птицу, нежно поглаживая ее. Ганне почему-то припомнился сейчас один вечер на Кураевом. Всходила луна, они стояли с Вустей на краю табора — Вустя ждала своего Леонида.

Он пришел и забрал Вустю, и вдвоем они пошли в в степь, весело разговаривая, смеясь, а Ганна, оставшись одна, вернулась в табор. Оглянувшись через некоторое время, она вся загорелась от чужого счастья: Леонид нес Вустю в степь на руках, нес так легко и нежно, как этот

негр несет сейчас к воде свою чайку... Подошел к самой воде, подбросил высоко над головой — лети!

Возбужденный, веселый, он что-то громко сказал ей вслед на своем непонятном языке, и Ганне показалось, что пущенная чайка и все ее подруги сейчас понимают его язык, и самой Ганне вдруг захотелось постичь их радостную чудесную перекличку...

Уже после захода солнца возвращаясь в поместье, девушки неожиданно встретились с негром за камышами, возле Герцогского вала. Вежливо, с достоинством, он поздоровался, держась с ними, как с равными. Ганна еще прихрамывала, и, когда поднимались на вал, Яшка подал ей руку, помог взойти. Черной была рука, но какой горячей, сильной и нежной!

Потом они разговаривали о чайках и страусах — о вчерашнем никто не вспоминал. Без привычки Ганне нелегко было понимать Яшкину ломаную речь, но все же главное она постигла: он рассказывал о своих упрямых земляках, которые даже здесь, в Аскании, не хотят отрекаться от привычек, приобретенных где-то там, в теплых краях. В самом деле, смешные! Нестись начинают не весной, как другие птицы, а глубокой осенью, ближе к зиме, когда кругом стужа свистит и морозы бьют...

— Верные на свой календарь оставайся,— весело объяснял негр.— Зима-весна перепутай...

— Ага,— догадавшись, засмеялась Ганна.— Когда у нас зима лютует, у них там как раз весна цветет... А когда приходит время, то что им стужа? Они думают, что и у нас весна наступает...

— Разве они думают? — рассмеялась Любаша и вдруг застыла, изменившись в лице: — Ганна, барыня идет!

На тропинке при выходе из поместья появилась группа дам в длинных платьях и в шляпках. Софья что-то оживленно говорила приятельницам и была такая же широкоротая, как и вчера, когда лечилась солнцем в саду. Дрожь отвращения пробежала по телу Ганны, словно по тропинке прямо на нее двигалась вздыбленная саженная змея.

Обойти нельзя было. Возвращаться — поздно.

— Не бойся,— тихо сказал негр, и, не останавливаясь, они шаг за шагом двигались дальше — Ганна с негром впереди, а Любаша по пятам, прячась за их спинами.

Точно слепая, не вздрогнув, пропустила Ганна мимо себя надушенных женщин. Чувствовала, как обстреливают они ее из-под шляпок взглядами. Прикусив губу, Ганна давала им себя разглядывать, хотя сама не взглянула ни на кого. Бледная, напряженная, видела перед собой лишь темнеющие ущелья асканийских парков и распростертое над ними светлое крыло перистых неподвижных облаков.

Прошли, прошелестели барыни, словно горбатые ведьмы, и Ганна вскоре услыхала, как они, отойдя, захихикали, и кто-то, кажется сама Софья, бросил насмешливо:

— Чем не пара была б?

Ганна промолчала. Молчал и негр, неторопливо ступая рядом и простодушно улыбаясь.

Гортанным неприятным голосом прокричал в темноте павлин.

Глухой ритмичный гул доносился от водокачки.

А со стороны моря над парками уже постепенно разгоралось кровавое зарево, словно кто-то разводил чабанский костер среди туч: там всходила луна.

XXXIII

В степных колодцах становилось заметно меньше воды. Тяжелые дубовые бадьи черпали ил с самого дна, поднимались на поверхность полупустые. Скот часами грудился у колодцев, дрался над корытами, с ревом набрасываясь на скупые колодезные остатки.

Лопалась раскаленная земля. Лежала в таких трещинах, что лошади ломали ноги на скаку. Трава, выгорая, свертывалась и ложилась на степь, сбиваясь, как войлок. С целинных земель горячие ветры уже разносили по всей Таврии семена тырсы, крепчайшей травы из семейства ковылей. Казалось, что из всей степной растительности только она, тырса, которая издавна взяла себе в союзники суховеи, сможет перенести лютую жару, выжить и продолжить себя в потомстве. Острые и крепкие, как стальные иголки, семена ее неслись над степью тучами мельчайших стрел и не просто ложились на землю, а впивались в нее своими жалами, выставив под ветер длинные тоненькие хвостики-сверлышки. Мириады таких ковыльных буравчиков, раздуваемых ветром, шевелились целыми днями в степи, впившись в сухой грунт, постепенно

пинчиваясь в него все глубже и глубже. Особенно много хлопот доставляла тырса чабанам, которые в дни ее облетания не знали, куда деваться с отарами. От летучих семян шерсть на овцах сбивалась комьями, до самых глаз запухали разъеденные остью овечьи морды. Ковыльные остюки въедались глубоко в тело, попадали в кровь, доходя иногда по жилам до самого сердца.

Все живое изнывало от немилосердной жары. Немногих могли спасти асканийские холодки! Как всегда, с середины лета во всех таборах был введен водяной паек. Приказчики экономили теперь каждое ведро, заботясь в первую очередь о скоте. От водного режима больше всего терпели те, кому приходилось работать на полях и токах, заброшенных далеко от таборных колодцев. Для них воду привозили водовозы, которые, однако, не могли обеспечить измученную жаждой многотысячную армию сезонного люда. Из-за воды между батраками и приказчиками то и дело вспыхивали острые стычки. Привозили скупо, с перебоями, да еще теплую, наполовину с илом — остатки того, что нацеживалось уже после водопоя скота. Правда, из асканийских артезианов воды хватило бы на всех, но артезианы — не для сезонников... Трудно было жить на скупом привозном пайке, считалось счастьем попасть куда-нибудь на работу при таборе, на тока, расположенные вблизи колодцев.

С началом молотьбы повезло и криничанским девушкам: в числе других их переводили на ток в Кураевый к наровнику Бронникова.

Для Вусти этот день стал праздником. Шла на Кураевый озаренная радостью близкой встречи с милым, охваченная сладким трепетом, от которого всю дорогу хотелось смеяться. Глаза горели, губы шаловливо подергивались, и ноги сами несли ее к табору, легкую, нетерпеливую, всю в живчиках счастья.

Прямо с дороги вязальщицы свернули к колодцу, где знакомые доярки полоскали после дойки свои подойники. Если б знала, обошла б Вустя доярок десятой дорогой, чтоб не слышать от них того, что довелось услышать, что перевернуло душу:

— Прожнивовала ты, Вутанька, свое счастье... Проспала его в поле на меже... Другую нашел.

И, захлебываясь в напускном сочувствии, наперебой рассказывали, как все произошло. Дважды приезжала к

нему одна на самокате, на двух колесах... Дважды провожал ее Леонид далеко в степь не то в сторону Маячки, не то на Алешки, а что уж между ними в степи было, то никому не ведомо...

Видели только девушки, что возвращался матрос с тех проводов не скоро, веселый и довольный, как и каждый, кто всласть нацелуется в степи... Вот он какой: мало ему своих... Хоть менял бы, да было б на что! Не первой, видно, молодости она и не такая уж красавица — далеко ей до Вутаньки! Только и того, что городская, при ридикюле и в шляпке... Давняя, наверное, морская его любовь...

На ходу пила Вутанька свежую отраву, которой угощали ее со скрытым злорадством доярки (некоторые из них, будучи сами неравнодушны к машинисту, считали себя тайными соперницами Вусти). Не расспрашивала их ни о чем, не выведывала подробностей, будто это ее меньше всего касалось... Зачем расспрашивать? Зачем ковром разворачивать самое дорогое, самое чистое, по которому пройдет кто-то, злорадствуя, в ее девичьи светлицы? Горделивая усмешка как легла в первую минуту на ее губы, так и застыла не увядая: была она девушке хоть тоненькой защитой от всего, от всех. Ни за что, ни перед кем не хотела открыть Вутанька свою первую ревнивую боль. Брошена... За что он ее так? Слезы душили девушку. Стояла, склонившись над срубом, подставив разгоревшиеся щеки свежей прохладе, шедшей из глубины колодца. Будто сквозь туман доносились до нее по-базарному крикливые голоса:

— И кто бы мог подумать? Готов был Вутаньку на руках носить, а только отвернулась, уже другую себе раздобыл!

— Все они такие... ославит девушку — и прощай!..

— Недаром же в песне поется, что несчастлива та дивчина, что полюбит моряка...

Ах, в песне! Сколько песен спела ему Вутанька в одиночестве на косьбе, сколько еще не спетых несла ему с собой в Кураевый!.. «Ты, машина, ты, свисточек, подай, милый, голосочек...» Карой-мукой обернулся для нее тот голосочек. Никогда б его лучше не слышать!.. Так ему верила... Неужели он мог все забыть? Опоили его, наверное, зельем приворотным, по своей воле не отшатнулся бы от нее, не обидел ее так жестоко, бессердечно...

— Нет у них жалости к нам,— слышала, словно в горячечном бреду, чьи-то далекие слова.— Сорвет, как цветок, и растопчет...

— Мы для них уже не подходящие, городских панночек ищут...

— Морской, верченой любви...

Морская любовь... Какая она? Может, в самом деле какая-то иная, совсем не такая, какой любила его Вутанька? Может, не кого-нибудь, а сама себя должна винить Вутанька за то, что не сумела приворожить его навек? Говорят вот доярки, что в любви надо быть осмотрительной, осторожной, что надо уметь вести себя так, чтоб не надоесть... А что она умела? Не сдерживала себя, не оглядывалась ни на кого, слушая лишь зовы собственного сердца... Говорят, не давай сердцу волю... Но разве можно любить неполным сердцем, не до беспамятства — свободно, просторно, неистово? Разве это любовь, если она лишь до каких-то границ, только вполсердца? Не умела этого Вутанька, да и не хотела уметь. Захмелела первым своим хмелем, обезумела в любви, без колебаний доверяя себя любимому, как брату... Видно, за чистое это доверие свое, за счастливую безоглядность должна она теперь расплачиваться! А он... Нет, нет у него сердца! Мало ему всего, решил, видно, доставить себе напоследок развлечение... Идет, измазанный, к колодцу, дерзко, будто ничего и не случилось, протягивает первый Вутаньке руку:

— Здравствуй...

Гневно отшатнулась от него девушка, не подала руки. Хоть этим отплатила! Остановился, оторопевший, пристыженный, оглушенный хохотом доярок.

— Вот такими наши девчата возвращаются с поля! Тоже сменили паруса!..

Не оглядываясь, пошла Вутанька с подругами от колодца, оставив сбитого с толку Леонида на потеху дояркам.

В тот же день засвистел в Кураевом паровик, скликая токовых на работу. Не прищелкнул на этот раз свисток по-соловьиному, не говорил ласково с Вустей, как тогда, когда слыхала его издали, в степи... Сегодня его словно подменили, зашипел, резкий, хлестнул девушку, точно прутом.

Гаркуша поставил Вустю с Оленой к соломотряске, в самую густую пыль. Делал назло, а Вутаньке было даже

лучше. Дальше от паровика, дальше от машиниста. Не видит ее здесь никто, и она никого не видит. С привычной подвижностью орудует вилами у самой пасти молотилки, и валит из темной пасти пережеванная солома — горячее, перемолотое, размельченное месиво вместо тех золотых тугих снопиков, которые Вустя сама недавно вязала... Пышет зной, а девушки закутались в платки по самые глаза, потому что хуже жары эта пылища, что вырывается из-под машины, забивает дыхание. Бушует, душит пыль, жалят летучие остюки, впиваясь в молодое тело! Пусть! Пусть мучают, разъедают ее, Вустю, ввинчиваются в жилы, пусть идут вместе с кровью, как те смертельные ковыльные семена, в самое сердце! Ничего ей теперь не страшно, ко всему она готова. Пережила, упилась дольяна своим мимолетным счастьем — рада и этому. Нет, не кается она, не корит себя за лунные ночи, за горячие объятия и ласки, которыми так щедро осыпала его, не меряя никакими мерами, не оглядываясь, упиваясь, точно в полете, полной раскованностью собственной воли и страсти. И если для него это быстро прошло, то для нее все останется навсегда сладким и чистым богатством. До могилы будет она чувствовать его поцелуи на своей молодой, никем раньше не целованной груди! А что так вот случилось... возможно, такое большое, всеобъемлющее счастье и не может быть продолжительным? Может, как песня, должно оно когда-нибудь кончиться? Но для чего тогда жить на свете? Что останется на ее долю в жизни? Каховские ярмарки? Чужие стерни и водные пайки? Три кружки перегретой грязи на день? Нет, пусть лучше сразу впивается ковыльное семя в кровь, пусть бьет, поражает в самое сердце, израненное отчаянием, полное горячих, невыпетых, увядающих в завязи песен!

Молотили до самых сумерек.

Вечером, после работы, Леонид, закуривая с компанией возле колодца, попытался было еще раз остановить Вустю, но она пронеслась мимо него, как вихрь, даже не взглянув, вогнав и машиниста, и его товарищей в смущение.

На следующий день было воскресенье, и Бронников вместе с Федором Андриякой и Прокошкой-орловцем поехал с самого утра куда-то на другие тока, к приятелям. Будто бы к приятелям! А может, совсем и не на тока, и не к приятелям, а к той, далекой, морской...

Девушки в этот день ходили в степь плести венки. Вустя не пошла с ними. Сославшись на головную боль, сидела у барака в холодке среди замужних женщин-чабанок, как молодая вдовушка. Глаза у нее были сухие, блестящие, на щеках играл горячий румянец. Внешне девушка казалась спокойной, но чего стоило ей это притворное спокойствие!.. Она видела, как собирался, как поехал с ребятами Леонид. Это ее окончательно подкосило. Весь мир плыл перед ней однотонно-желтый, все происходящее воспринималось, как сквозь обморочную дымку. Грызя подсолнухи, она спокойно разговаривала с чабанками, жившими при таборе, рассказывала им о своих Кринички, о Исле и лесах, что тянутся вдоль него, а больше всего — о матери. Мать, старая Яресьчиха, словно была со своей Вустей здесь, в таборном холодке, среди слепящих поблекших степей. Однако о чем бы ни говорила Вутанька, о чем бы ни думала, стараясь забыть свое горе и оторваться от него, оно было с ней, разъедало ее. Никуда от него не залететь, нигде от него не спрятаться! Подошло семя ковыль-травы к самому сердцу, и достаточно было ей взглянуть на паровик, чтобы все ковыльные жала зашевелились в груди, как шевелились они в эти дни под ровным дыханием суховея по всей Таврии.

XXXIV

Вскоре после обеда приехала на Кураевый Ганна Лавренко, цветком распустив над собой зонтик из розового ситца. За кучера сидел Валерик Задонцев. Ганна была в белом длинном платье, которое очень шло ей. Увидев возле барака Вустю, Ганна тут же сказала Валерику остановиться и, достав со дна тачанки связанную свяслицем охапку зелени и цветов, плавно поднялась и пошла к подруге, а Валерик, приветливо сверкнув Усте зубами, отъехал с тачанкой дальше, во двор, где Гаркуша сам помог ему поставить в тень коней и задать им корму.

— Будто год не видела тебя,— взволнованно заговорила Ганна, поздоровавшись и передавая Усте букет.— Это я сама тебе нарвала... Не хуже, думаю, чем тот, что нам тогда Леонид привозил...

Вустя, вспыхнув при одном этом имени, поспешила спрятать свой румянец в свежую зелень.

— Как пахнут хорошо!.. Только куда мне столько... Завянут, а жалко: такие яркие, душистые и прохладные. Ганна, я тут даже любисток слышу...

— Есть и любисток,— улыбнулась Ганна, наверно припомнив свои и Вутанькины криничанские любистки.

Сняв свяслице и оставив себе часть зелени, Вустя остаток тут же разделила между чабанками, которые с приходом Ганны почему-то встали и грызли семечки стоя, словно не осмеливаясь сесть при ней.

— Что же нам с ними делать? — поблагодарив, заговорили женщины. — Даже страшно нести такое в наши землянки... Наскочит кто-нибудь, подумает, что краденое...

— В воду поставьте,— посоветовала Ганна.

— Знаем... Да сейчас как раз и с водой туго.

— У вас разве тоже?

— А как же? Все на пайках живем... Ребенка не в чем выкупать.

— Скажите Гаркуше,— велела Ганна,— чтоб мой паек вам отпускал... Или лучше я сама скажу.

Еще раз поблагодарив за подарок, чабанки стали расходиться по своим жилищам, оставив подруг с глазу на глаз.

— Свясло тоже сама крутила? — невесело пошутила Вустя, помахивая перед Ганной свяслицем, снятым с зелени.

— А кто ж мне крутить будет? Ты такое скажешь...

— Не разучилась, значит...

— Наверное, Вустя, никогда не разучусь.

Присели, помолчали в задумчивости.

— Ты, часом, не болеешь? — спросила погодя Ганна, пристально глядя на подругу.— Раскраснелась, горишь, как чахоточная...

— Так что, может, и меня к фельдшеру?

— Перестань, Вутанька!

— Голова немного разболелась, нагудело вчера возле машины... Да это пройдет... Ну, рассказывай, как там тебе в Исканни? — сказала Вустя уже дружески.

— Да как? — задумалась Ганна.— Только и того, что все время в холодке, а жить как-то... душно.

— Барыня, верно, душу выматывает?

— Да и барыня... Правда, я ее не очень праздную, у меня свой приход — дом приезжих. Свои ключи, своя посуда: каждый день тарелки бью... может, на счастье.

— А папыч?

— Паныч как паныч: ходит и слюни пускает... Но по на ту напал. Даром, что в парижах не училась,— засмеялась вдруг Ганна, — а так гоняю на корде, что мыло с него летит!..

— Сама бы в вожжах не запуталась...

— Не запутаюсь, Вутанька. Они грамотные, но мы тоже ученые... Позавчера на коленях уже стоял. Золотые горы обещает. В шелка, мол, одену, наукам обучу — на двенадцати языках будешь разговаривать... Дядек каждый день подсылает, чтоб уговаривали меня, склоняли на его сторону...

— Как они там сейчас, храпители твои?

— Сторожат ночами при зверях, а днем баклуши бьют... Жилетки на себя нацепили, бороды подстригли — смотреть противно...

— Остерегайся их, Ганна. Они на все способны!

— Знаю. Потому-то и пригревает их паныч... Но я их теперь тоже вымуштровала, на цыпочках ко мне заходят... Сегодня сели было за кучеров ехать сюда. «Ах вы, нахалы,— говорю,— да как вы смеете? Чтоб дегтем на меня от вас всю дорогу смердело? Пошли вон отсюда, я вашего духу не выношу!» — Ганна захохотала, плавно покачиваясь, словно пьянея. — Взяла Валерика и поехала с ним...

— Боюсь я за тебя, Ганна, — вздохнула Вутанька. — С огнем играешь...

— Я сейчас такая, что хоть с самим чертом готова играть, Вутанька. Насмотрелась за это время их правов. Вижу, что мозолями тут немного приобретешь. Напролом надо идти, если хочешь дорогу себе пробить.

— Ого, как ты после Искании заговорила...

— Еще бы не заговорить. Ты тут далеко, а я теперь в самой берлоге живу, вблизи вижу, как добывается панство. Там, как на Каховской ярмарке, пощады нет никому. Каждый готов тебя живьем в землю втоптать, лишь бы только себе побольше урвать в жизни. Что паны, что подпанки — все только на свои клыки надеются, силой все берут, никакого греха не боятся. Барышник на барышнике едет и холуем погоняет! Вначале, как очутилась среди них, так даже страшно стало: как здесь жить? Только и слышишь о всяких ссорах, подкупах и жульничестве... А потом, когда огляделась, увидела, кто нами правит, так прямо злость меня взяла!.. Почему Софья холуями правит? Почему не я ими правлю? Иногда такой

лютой отвагой сердце нальется, что, кажется, полком солдат командовала б!.. А он горничной меня назначил, сезонной любовницей хочет сделать. Ха-ха! Не знаешь ты еще меня, паныч, не разобрал, чего мне надо...

— А чего же ты хочешь от него?

Ганна помедлила с ответом, улыбнулась:

— Венца!

— Ганна! — с ужасом воскликнула Вустя.

— А что, недостойна?

— И ты... пошла бы? За этого суслика в очках? Свет себе на весь век закрыть?

— Всякое я передумала за это время,— успокоившись, ответила Ганна.— У тебя, Вустя, дорога ясная: ты уже скоро, молодичка, нашла себе пару — хлопец, как орел...

Орел!.. Словно горячими угольями осыпала Ганна подругу, сама того не заметив.

— Выбрала, кто понравился,— продолжала Ганна,— кого сердце подсказало... Значит, судилось тебе. Но думаешь, всем такое счастье, как тебе, выпадает? Сколько девушек выходит за нелюбимых, за стариков, за богатых вдовцов, лишь бы на хозяйство сесть...

— Хозяйство... Какие хозяйства, какие достатки могут с любовью сравниться!.. Это ты, Ганна, потому так говоришь, что никто еще тебя не обнимал, никого ты еще не любила по-настоящему...

— Может, и потому. Может, и не судьба мне по любви выйти... А тут такой случай... Все эти степи необъятные,— Ганна провела рукой вдоль горизонта,— могут моими стать... Кто бы не задумался на моем месте?.. Тут миллионы, а там батрацкая торба... Разве ты забыла, почему мы с тобой очутились на каховском торжище? В скрынях пусто, в хатах голо — вот почему... И пусть вернусь я в Кринички с каким-нибудь рублем — разве это надолго меня спасет? Кто меня там возьмет, бесприданницу? Опять пойдешь по хуторам в навозе копаться, каждый будет над тобой измываться... Нет, осточертело! —

— Но ведь и за него... Как с ним жить, как с ним в постель ложиться, если не любишь...

— Зато пановать буду. Ох, буду пановать, Вутанька! Дай мне только венец, дай те миллионы, что всех ослепляют... Буду стоять среди них, как в солнце! Сразу и красоту Ганны заметят, и умной для всех будет, человеком, наконец, станут считать. Не подойдет уже на ярмарке

какой-нибудь пьяный барышник ощупывать тебя, как кобылицу... Смотришь иногда, ничтожество, в подметки тебе не годится, а и оно норовит тебя чем-нибудь унизить, хихикает над тобой, как ведьма. Не она тебе, а ты ей должна стежку уступать... О, венец бы мне, Вутанька, венец! Я б тогда показала им свою натуру, все припомнила б! На огне отплясывали б они мне все наши батрацкие обиды!

Не узнавала Вустя подругу: всегда спокойная и уравновешенная, Ганна сейчас говорила, как пьяная. Не раз, видно, втайне упивалась она картинами своих будущих расплат с обидчиками.

— Паныч у меня под пятой будет, барыню в узелок скручу, все в имении по-своему переставлю... Людьми торговать никому не позволю, заставлю всех правдой жить!

— Ой, Ганна, Ганна... Правдой жить!..

— Увидишь. По всем таборам, по всей степи новые порядки заведу. Батракам —почет, они у меня артезианскую будут пить, а всех трутней-приказчиков на гнилую посажу, что после овец остается... Саму барыню илом с головастиками напою!

— Широко ты размахнулась, Ганна... Да разве поведет он тебя под венец... Для него ты— мужичка.

— Вустя,— наклонившись, промолвила Ганна шепотом, хотя никого поблизости не было,— уже обещал!

— Наобещает, а потом... обманет и бросит.

— Нет, обмануть себя я не дам,— строго возразила Ганна и примолкла.

— А как тебя там челядь принимает? — спросила погодя Вутанька.

— Не ладится у меня с ними дружба... Каков пан, таковы и его слуги... Только и знают, что с доносами бегают, а меня от этого воротит... Единственный, с кем я могу душу там отвести, это Яшка-негр...

— Что за негр?

— О Вустя! — повеселела вдруг Ганна.— Такой он славный! Все смеется и кудрями встряхивает да так белками и светит... Сердце у него доброе, человечное какое-то... Не знаю, почему Артур на него собакой взъелся... Проходу от него Яшке нет, хоть бы уже скорее выметался в свою Америку... Приехал на три дня, а застрял так, что не выкуришь... Сам ноги на стол, как свинья, кладет, а на Яшку все «бой» да «бой». Дался ему этот «бой». То не

так перед ним стал, то не так повернулся... Ненавидит человека только за то, что у него кожа черная!.. А по-моему, что же здесь такого? Из горячих краев человек вывезен, там солнце круглый год жарит, разве не почернеешь?..

— Это не страшно, Ганна... Кто еще знает, какие мы будем, когда проведем не одно лето в этой степи, под этой беспощадной жарой... Кожа — пусть! Душа б только не почернела!

— И я так думаю, Вутанька, даром что сама не люблю загара. Вначале и для меня он был каким-то не нашим, а теперь, когда ближе познакомилась, легко, хорошо мне возле него. Так хорошо, Вутанька, как ни с кем еще не было! Вчера вышли мы с ним за имение и пошли далеко в степь, на курган поднялись... Остановился он, загляделся в сторону моря и вдруг заговорил по-своему, нежно, задушевно... И может, как раз потому, что языка его африканского не понимаю, все, о чем он говорил, таким хорошим, таким красивым казалось мне... Словно чары какие-то пила, будто музыка лилась на меня... Сердце таяло, так было хорошо... Может, он нарочно по-своему говорил, чтоб я не поняла его нежности? А я словно все понимала, не надо было и двенадцати языков вот тех... Стоит и будто раскрывает передо мной далекие неведомые края, где вечная весна цветет, где жаворонки круглый год звенят, где над озерами белые чайки смеются...

— И паныч тебя к нему не ревнует?

— Какие могут быть ревности, Вутанька, ведь арап для них не человек. Наоборот, и панычу и барыне нравится, чтобы мы чаще бывали с Яшкой вдвоем, чтоб Аскания о нас говорила... А как он на гитаре умеет играть, как песни свои поет!.. Когда слушаю, кажется, что и не черный он, а просто себе Яшка. Слушаю и ясно слышу, как ему горько дома жилось, и как горько сейчас живется, и какой одинокий и славный он...

— Влюбишься ты в него, Ганна... Или уже влюбилась?

— Вутанька, что ты? Так быстро?

— Для этого много времени не нужно... Иногда секунда одна —и все будет сказано навеки...

Затаенная грусть, зазвеневшая в голосе Вутаньки, не коснулась слуха Ганны. Мечтательная улыбка легла на ее губы.

— А как бы он мог... любить меня!

Загляделись подруги вдаль, задумались каждая о своем.

Степь еще горела в предвечерних янтарях зноя. Откуда-то из-за горизонта выплывали пастухи; легко, как по золотистому хрусталю, брели стада, неторопливо приближаясь к колодцу на вечерний водопой. Муравьями казались волы, нечетким пятнышком двигался в просторе человек — такая далекая степь раскинулась вокруг... Огромный, вширь и в высоту не меренный простор, был он для Вутаньки светлицей ее первой и уже утраченной любви, для Ганны был заманчивым, хрустальным, еще не достигнутым троном...

— А ты знаешь, Ганна... Леонид от меня... ушел.

— Вустя! Что ты плетешь? — отпрянула от подруги Ганна. — Опомнись!

— Я в своем уме,— горько усмехнулась Вустя и стала рассказывать Ганне, как покинул ее Леонид.

— Не верю, — сказала Ганна, выслушав ее. — Где он? Я сама с ним поговорю!

— Нет его. Уехал куда-то на целый день... Опять, наверное, к той...

— Нет, здесь что-то не так, — стояла на своем Ганна.— Я же видела, какие вы возвращались из степи... Сияли оба, как звезды... И теперь вот так враз погаснуть? Нет, не верится мне, Вутанька...

Ганна не успела договорить.

Из-за барака со щебетом налетели девушки в венках, обступили Ганну, разглядывая ее, словно молодую на свадьбе.

— Что это за платье на тебе, Ганна! Как снег!

— Неужели настоящий батист?

— А сама как расцвела!

— То ли посвежела там, то ли понежнела —сразу и не разберешь!..

Ганна и впрямь за эти дни распустилась, как лилия на воде. Шея, как у лебедя, в ушах — ландыши, вымытые косы выложила тугой короной — так и просится сверху венец... Сидела и спокойно улыбалась недавним своим однокашницам сияющей улыбкой.

— Чем они тебя там кормят, что ты такая стала? — шутили девушки.— Может, одними сливками?

— Что сливки!.. Мороженое из миски серебряными ложками хлебаем...

Вскоре на шум явился и Гаркуша.

— Мое вам почтение, Ганна... извиняйте, забыл вас по батюшке.

Ну и Гаркуша! Девушек он просто ошарашил тем, что с первого слова стал величать Ганну на «вы». А она хоть бы что — принимала, как должное.

— По батюшке можете и не называть, я ж байстрючка,— говорила она приказчику полушутя-полусерьезно.— А вот воду мою тут не зажиливайте. Я ведь у вас не пью, а паек мне от вас полагается...

— Ваше — вам, а как же, — замахал руками Гаркуша...

— Вы не машите, а слушайте, что говорю. Паек мой... Вустя им здесь распорядится.

Гаркуша обещал все наладить, все сделать.

— А сейчас кликните там моего, пусть подъезжает... Поеду по холодку.

От души нахохотались девушки, когда приказчик, как борзая, кинулся выполнять приказ Ганны. Она тоже смеялась вместе со всеми, искренне, досыта, словно хмелея.

— Как там ни будет дальше, а пока я нагоню холода в их холуйские души!..

— Нагони, Ганна!

— Отплати им за всех нас!

Проводив Ганну, девушки долго не расходились, на все лады обсуждая ее положение. Одни сочувствовали, а некоторые открыто завидовали ей: избавилась от каторги. Давно ли вместе с ними ковыляла на косовице и дрожала от жажды, припадая к тыкве с перегретой грязной водой! А сейчас уже приказчики перед нею дрожат, артезианскую пьет, на рессорной тачанке катается...

— Повезло дивчине!

XXXV

Вечер... Не до сна в этот вечер Вутаньке. Незаметно выбравшись за табор, тенью стоит в степи, подставив дыханию ночного ветерка разгоревшиеся вишневые щеки. Далекие чабанские огоньки одиноко золотятся кое-где, как звезды, что упали на землю и не гаснут. Данькова нет среди них — брат кочует сейчас где-то на далеких пастбищах... Грустно, темно в Вутанькиных светлицах.

Пустыней дышит степь. Не пахнет уже свежим весенним цветением — сухой пылью пахнет. Не серебрится над беспредельной равниной мягкое лунное сияние...

Было: шелковые ковыли переливались под солнцем, в сплошных цветах лежала степь, как пестрый ковер... Чертополохи стояли на страже в своих малиновых шапках, ветвистые олений рога валялись в траве...

Отошли ее счастливые лунные ночи, кому-то другому светит сегодня месяц. А тут только звезды, усеяв небо, дрожат, налитые светом, словно слезы девушек-таврианок. «Нигде я не видел таких больших звезд, как в нашей Таврии!..» Изредка сорвется какая-нибудь и летит в темные просторы степи, чтоб потом стать где-то одиноким чабанским огоньком. Горит Волосожар. Млечный Путь зарастает кустистой молочной порослью... Могуче пролег через все небо, широкий, свободный, нехоженый, хоть сейчас иди по нему.

И Вутанька пошла. Так, лишь бы идти, неторопливо, наугад, чтоб только скоротать как-нибудь бессонную ночь, развеять пылающую тоску. Не сразу и заметила, что идет по той дорожке, что вела на Маячку и Алешки и дальше — к морю... По той самой, по которой поехал утром с ребятами Леонид. Незнакома была ей эта степная накатанная дорожка, не случалось Вутаньке заходить в эту сторону... Невольно очутилась она тут, словно что-то таинственное вывело ее и, подтолкнув, направило сюда...

Нет, не перехватывать вышла его — что он подумал бы о ней?

И не плакать в одиночестве шла в степь — пусть плачут другие, те, что не испытали, какая она есть, настоящая любовь...

Не дождутся соперницы Вутанькиных слез! Горе не расслабило ее, а еще больше закалило, как ту узенькую косу-тавричанку из чистой певучей стали...

Тихо было вокруг, спали степи. С легким шумом вспархивали с придорожной травы отяжелевшие жаворонки, улетали в темноту. Говорят, будто поют они только до косьбы, пока живут впроголодь, а потом, отяжелев, перестают петь, и за это осенью называют их степняки уже не жаворонками, а посмитюхами. Выдумки, наверное... Как это жаворонок может превратиться в посмитюху! Жаворонок жаворонком и останется...

Где-то далеко, с чуть слышным перестуком, прокатилась в темноте подвода,—может, поехали ребята, возвращаясь в табор по другой дороге? И пусть! Не пошла Вустя на тот перестук... Подальше, подальше уйти от него! Тихо оседала прохладная пыль под горячими ногами. Сухой полынью прогоркли обочины. Сухие зарницы взвиваются в стороне Бериславa и Каховки...

Однако что это?

Впереди на осевшем от времени степном кургане показалась высокая фигура. Кто б это мог быть? Может, панский объездчик задремал в седле? А может... он? Может, почуял ее приближение и поджидает, а может, с ним что-нибудь случилось и ему надо помочь? Встревоженная, охваченная нахлынувшим жаром, затемнявшим сознание, Вутанька бросилась прямо к фигуре.

Не объездчик то был на коне. И не Леонид, к которому она разбежалась. Огромная каменная баба зловеще выплыла из темноты навстречу девушке.

В оцепенении остановилась перед нею Вутанька. Никогда еще не приходилось ей видеть каменную бабу так близко. Сложив на обвислом животе грубо высеченные ручищи, злорадно усмехаясь в сумерках Вутаньке, она надвигалась сверху на девушку, готовая, казалось, навалиться на нее всей своей тяжестью, задушить в каменных объятиях.

Вустя стояла в беспамятстве, сжав кулаки, не отступая назад ни на шаг. Первый страх внезапно сменился неудержимым пылающим гневом, который придавал ей сейчас силу и отвагу.

«Смеешься! — мысленно воскликнула Вутанька.— Радуешься, ведьма, что отказался от меня, что одинокая блуждаю в степи?»

Все, чем допекла девушку сезонная подневольная Таврия, все, что накипело у нее на сердце, сейчас с клекотом рвалось наружу, превращаясь в бешеную ненависть к этому отвратительному каменному чудовищу, зловеще застывшему во тьме и чем-то похожему на ту, стриженую, которая расплывалась в старческой усмешке возле аскалийского черного водопоя в первый день их прибытия из Каховки.

Сами собой сжимаются кулаки, все грознее надвигается холодная баба на разгоряченную девушку.

— Знаю, слез моих ждешь, окаянная! — в неистовом забытьи шепчет Вутанька прямо в каменное лицо бабы.—

Насмехаешься? Тебе ли насмехаться надо мной? Оглянись лучше на себя, посмотри на свой обвислый живот, на свою грудь! Никогда не играла, не бурлила в тебе горячая кровь! Никто не обнимал тебя, уродину, за все века! Так и не испытаешь ничего, так и пропадешь камнем! По пылинке развеет, разнесет тебя ветер по степи!

Долго в ту ночь оставалась пустой постель Вутаньки на сеновале. Долго виднелись в ночной степи две фигуры на кургане: одна неуклюжая, грубая, массивная, будто объездчик в седле, а другая тоненькая и гибкая, словно коса-таврическая чистой певучей стали.

XXXVI

В разгар лета губернатор через специального гонца предупредил Фальцфейнов, что осенью им надо ждать высоких гостей. По пути из Крыма в столицу имение собирались посетить члены царской семьи. Возможно, будет и сам царь.

Вскоре после этого в имение прибыл переодетый в штатское жандармский офицер, который вместе с управляющим принялся составлять списки неблагонадежных. На время визита всех их надлежало выселить из главной экономии в дальние степные таборы. Первым в списке стоял механик Привалов.

Вольдемар в эти дни развил бешеную деятельность, направленную на то, чтобы как можно пышнее показать царю свою Асканию, выставить ее во всем блеске. Среди прочих затей было решено также создать свой собственный асканийский хор — хор мальчиков, который мог бы исполнить «Боже, царя храни...».

Эта оригинальная идея понравилась и Софье Карловне. Такой хор был только в Риме, при соборе святого Петра, а теперь будет и у нее, в Аскании!..

Из Крыма немедленно был выписан какой-то лохматый регент, который хотя и оказался пьяницей, но, к чести его будь сказано, даже в состоянии мертвецкого опьянения камертона из рук не выпускал. По таборам и экономиям среди пастушков стали разыскивать и отбирать способных, голосистых мальчиков. Сам паныч охотился теперь за ними, как завзятый охотник.

Просвистел скоро аркан и над юным арбачом Мануйла.

Как-то, ожидая, пока набежит в колодец вода, Данько горланил около своих верблюдов вальс «На сопках Маньчжурии». Паныч, объезжая степь, издали услыхал пение парня и подкатил на машине прямо к нему. Весь в заплатках, выцветший на солнце вокалист был подвергнут короткому допросу.

— Откуда родом?

— С Полтавщины.

— От кого научился «На сопках...»?

— От Мануйла.

— А раньше не пел в церковном хоре?

— Нет.

— Так вот... теперь будешь петь. Сматывай сейчас свои манатки и дуй в Асканию, в распоряжение регента... Понял?

— А верблюды?

— Верблюдов сдай атагасу...

Сказал и фыркнул, только пыль за ним поднялась.

Очень не хотелось Даньку разлучаться со степью, с Мануйлом, с верблюдами и овчарками, однако пришлось. Хочешь не хочешь, а должен петь!

Атагас, приведя отару и выслушав парня, сокрушенно благословил его в путь.

— Иди. Не в моей, сынок, власти освободить тебя от этой рекрутчины... Да, может, оно и к лучшему, всякая наука человеку на пользу... Только вряд ли ты там долго продержишься, Данило... Очень беспокойный ты по характеру, разжалуют тебя рано или поздно... Ну, тогда возвращайся опять сюда, в мой дисциплинарный батальон. Приму.

На прощанье Мануйло наградил Данька за верную службу чабанским бурдюком для воды.

— Жара, а тебе до самых Чаплей не будет колодцев...

До слез растрогал парня этот искренний подарок.

— Спасибо... За все вам спасибо, дядько Мануйло...

Лохматые овчарки, словно почуяв, что Данько их покидает навсегда, прощально замахали хвостами, запрыгали вокруг парня, пытаясь лизнуть его в обветренные щеки.

С бурдюком через плечо, с герлыгой в руке вышел парень, понурясь, на шлях и поплелся в сторону далекой

синей тучи асканийских парков. Тоскливо заревели верблюды вслед, сжалось горло от их печального рева. Шел долго, а они все ревели и ревели, провожая своего молодого хозяина в простор...

«Опять в дороге,— думал Данько, шагая.— Если бы все мои переходы да сложить вместе: сколько верст перемерял? Из одной науки да в другую... А может, оно и к лучшему, как говорил Мануйло?»

Чувствовал, что с тех пор, как оставил Кринички, кое-чему в самом деле научился от добрых людей. Знающие учителя попадались на его пути. В Каховке — правдистка, в амбарах — атаманша стрижеев тетка Варвара, тут, в степи — атагас Мануйло... Каждый учил по-своему, но все вместе словно поднимали и укрепляли его, наливая своей силой, настраивая его на героический лад.

Опечаленный разлукой со степью, но без страха, шагал он на Асканию. Пусть заплатанный, с бурдюком за плечом, явится он в панскую столицу, но обижать себя никому не даст! Да и не одни же паны и подпанки там, есть у него в Аскании и настоящие друзья... Валерик, негр, Мурашко, Привалов, кузнецы в мастерских... Представив себе встречу с ними, Данько сразу повеселел.

В Асканию он вошел уже выпрямившийся, залихватски сбив картуз набекрень. Прежде всего накинулся на артезианскую, «запьянствовал» на радостях. Мало того что напился вдоволь и наполнил — больше, правда, для развлечения — свой чабанский бурдюк, стал еще плескаться возле трубы, оттирая свои давно не мытые щиколотки степным «собачьим мылом», каким заранее запасся в дороге. Считал, что теперь, когда он выходит в певцы, никаких цыпок на нем быть не должно. Тер, снимал верхнюю кожу, как рашпилем.

На этом и застали его Сердюки. Подошли оба в яловых сапогах, в жилетках и, даже не поздоровавшись после долгой разлуки, стали гнать земляка прочь от воды.

— А ну, проваливай к черному водопою! Нашел себе купель возле артезианской!

— А она ваша? — окрысился было на земляков Данько.

— Он еще будет здесь разговаривать!— медведем пошел Оникий на парня, и Данько, швырнув ему в морду пучок «собачьего мыла», вынужден был отступить.

Зато, разыскав Валерика, Данько пережил неожиданную радость: Валерик тоже был в хоре. В казарме, на нарах, отведенных для хористов, ребята заняли места рядом, чтобы быть и ночью вместе. В головах, вместо подушки, положили бурдюк с водой.

Вечером они нанесли визит семье Мурашко. Здороваясь со Светланой, Данько снова отрекомендовался Данилой, как тогда, при первой встрече в саду. Он почему-то считал, что, здороваясь с такой девочкой, надо каждый раз называть свое полное имя.

XXXVII

По новому руслу потекла теперь жизнь Данька. Уже мало походил он на чабаненка, стал как солдат: всех хористов постригли на один манер и одели в одинаковые костюмчики из черного колючего сукна. Когда шли теперь с Валериком, то издали можно было принять одного за другого. Только голосами и отличались: Валерик пел в хоре альтом, а Данько дискантом.

Нелегко было. Ежедневная муштра, бесконечные репетиции, строгий камертон регента под самым носом... Развлечением для себя Данько считал, когда брали его с Валериком на теннисные площадки подавать раззявам-панычам черт знает куда забитые мячи. Бегаешь, мечешься за ними, хватая на лету, но когда панычи сядут в холодке передохнуть, то и ты имеешь возможность, улегшись где-нибудь поблизости, подремать в кустах или, притаившись, послушать панскую болтовню.

Гости не переводились в имении все лето. Были это большей частью приятели Вольдемара из южной «золотой молодежи», которые привыкли по неделям болтаться в Аскании, плескаясь в бассейнах и играя в теннис. Сам Вольдемар, занятый хозяйственными делами, не мог уделять своим знатным нахлебникам много времени, но они не особенно тужили. В конце концов плевать им было на всякие церемонии и на самого Вольдемара... Без него они ели, пили и развлекались ничуть не хуже, чем с ним.

Чаще всего у теннисных кортов собирались молодой татарин Жорж, сын богатого крымского табачного фабриканта, прыщеватый панок Родзянко, считавший себя студентом, хотя нигде не учился, и мрачный офицер в шпо-

рах, который приходился Фальцфейнам каким-то дальним родственником. Нередко среди них можно было видеть и залетного американца Артура, здоровенного верзилу с пустыми глазами, который понимал разговор компании через пятое на десятое, но ржал, как конь. Никто не мог сказать определенно, что нужно было этому субъекту в Аскании. Сам он выдавал себя за туриста, любителя природы, который, будучи в Европе, решил заодно посетить и редкостный таврический заповедник; другие поговаривали, что он прибыл к Фальцфейнам по поручению своего отца, крупного американского овцевода, и уже ведет переговоры об открытии в Аскании какой-то экспериментальной лаборатории.

Играл Артур всегда против татарина и неизменно проигрывал, но когда, развалившись в холодке, принимался за лимонад, то здесь никто не мог сравняться с ним. Пока другие точили лясы, он только и делал, что хлопал пробками.

Разговоры теннисистов вертелись главным образом вокруг Аннет, под которой подразумевалась просто Ганна Лавренко, прозванная когда-то Даньком «панночкой в свитке». Судя по всему, Ганна, перекрещенная панычами в Аннет, успела крепко вскружить голову молодому Фальцфейну. И если о легендарной горничной-полтавчанке, сумевшей всерьез обворожить асканийского богача, заговорили уже в окрестных имениях и в крымских гостиных, то тем больший интерес вызывала она здесь, в кругу молодых повес, кое-кто из которых уже носил на память от Аннет звонкие сувениры, тайком полученные в виде доброй Ганниной пощечины. Конечно, болтовня Вольдемара относительно того, чтобы перевоспитать мужичку и сделать ее настоящей женой, среди его приятелей популярностью не пользовалась. Приятели считали, что это преходящая блажь, разведенная Вольдемаром на либеральной водичке и стоящая лишь того, чтоб над ней посмеяться. Куда больше импонировала молодым гулякам мысль Софьи Карловны о том, чтоб сыграть свадьбу, просватав неподатливую красавицу за повара, за Яшку-негра. Тут было поле для всяких потешных предположений!.. Артур пошел на пари с офицером в шпорах, утверждая, что белоснежная Аннет ни за какие деньги не обвенчается с негром. Офицер, наоборот, был убежден, что негру удастся повести Ганну под венец.

— Ты хочешь сказать,— горячился прыщеватый Родзянко, обращаясь к офицеру,— что для черни расовые предрассудки не существуют?

— Они плюют на них,— мрачно отвечал ему офицер,— если только запахнет настоящей любовью...

— Не преувеличивай ее значения!.. Возьмем, к примеру, господа, хотя бы ту же Америку.

— Плевать им на Америку! — стоял на своем офицер.

Иногда, вернувшись прямо с поля, подсаживался к компании и сам Вольдемар.

— Замучили,— жаловался он приятелям.— Удивительно неповоротливый, упрямый, несообразительный народ! А еще называют их потомками запорожцев!.. Это, верно, только моя уважаемая и склонная к галлюцинациям маман еще способна представлять себе их на конях под боевыми знаменами, с саблями наголо... Нет, господа, это уже призраки какие-то, а не люди. Толкуешь, толкуешь ему, а он стоит перед тобой, ухмыляясь, как дикарь, как ирокез... Техника им не дается никак! Посадишь на косилку — косы порвут, поставишь к барабану — молотилки каждый день выходят из строя!.. Вы знаете, господа, я с ними корректен, я к ним добр, я сам в душе демократ и считаю, что бездарных народов нет, есть лишь бездарные правители, но здесь, когда повертишься среди них, поневоле начинаешь уже брать под сомнение свои собственные убеждения... Разве случайно, что никто из них выше гайдуков и приказчиков не поднимается? Вилы и грабли освоят, а дальше для него уже начинается terra incognita...[1] Вы можете назвать меня фаталистом, господа, но, верите, мне порой кажется, что они самой судьбой обречены на то, чтобы быть народом-негром, народом-чернорабочим... Единственное, пожалуй, чего не пожалела для них природа,— исключительно тонкого лукавства, юмора и богатых вокальных данных... Ну, да еще, скажем, пышной красоты для их дочерей...

Не раз, когда паныч «заводил пластинку» о несообразительных, упрямых батраках, Данько с Валериком, притаившись в кустах, весело переглядывались. Нетрудно было им догадаться, почему рвутся косы на панских косилках и почему часто выходят из строя молотилки. Нетрудно было им представить себе и тысячи каховских парней на конях и даже себя среди них с саблями наго-

[1] Неизвестная земля *(лат.)*.

ло!.. Подожди, паныч, не только косы рвать будут, а еще, может, и тебя на клочки разорвут вместе с твоими гайдуками и приказчиками!

— Браво, Вольдемар! — выкрикивал Родзянко.— Узнаю в тебе прирожденного тори!

— Прошу не понять меня превратно, господа,—начинал нагонять туман на компанию Вольдемар.— Не подумайте, что я вообще неблагодарен этому краю, который мне, скажем откровенно, дал богатство, и славу, и могущество. Меня раздражают сезонники своей поразительной безынициативностью, которая граничит у них с преступлением. Но, несмотря на все это, я люблю наш Юг, нашу житницу, нашу спокойную, вечно ищущую Таврию и никогда не променял бы ее на печальной известности медвежьи углы и стоячие болота Севера! Где еще, кроме Таврии, вы встретите такой легкий и высокий пульс деловой жизни, такое вольнодумное отношение к традиционным обычаям и святыням, такой, в конце концов, пестрый набор народностей?.. И не вырисовывается ли для вас, господа, во всем этом прообраз чего-то совсем нового, того всечеловеческого, я сказал бы, космополитического, что нашло уже себе такое идеальное воплощение на Американском континенте? Нет, здесь не стоячее болото... Вся она, наша прекрасная Таврия, кипит, как свободная биржа, доступная каждому, где каждый достигает того, чего способен достичь! Близость моря, порты, оживленная торговля и связи с цивилизованным миром — все это бросает на нас отблеск, господа!..

Говоря о бирже и об «отблесках», Вольдемар обращался прежде всего к Артуру, который, обставив себя бутылками, одобрительно кивал головой и замечал невпопад, что «овца — это всегда рента».

— Для нашей солнечной Таврии двадцатый век наступил значительно раньше, чем для мрачного Севера, — заливался паныч.— Таврия лежит ныне перед миром, как сплошное золотое руно, все больше привлекая взгляды новейших язонов... И я верю, господа, что они со временем придут к нам и высадятся на этих берегах, где когда-то высаживались отважные мореходы Эллады, те, кто прокладывал здесь первые тропинки цивилизации, кто основал Херсонес и Ольвию. Таврия созрела, господа, она не станет прятаться от них со своим золотым руном! Наоборот, она сама откроет перед ними все свои гавани, поднимет все свои шлагбаумы им навстречу!..

— Шлагбаум — фють... Порто-франко... Олл-райт,— забормотал при этом Артур, и компания сочла за лучшее перевести разговор на другую тему.

— Как твои дирижабли? — иронически спросил Вольдемара татарин, имея в виду огромные цельнометаллические овчарни, которые Вольдемар выписал в этом году из Америки и для пробы начал не так давно возводить на двух степных загонах. Издали они и впрямь были похожи на гигантские, до половины загнанные в землю дирижабли. Покачивали головой чабаны, представляя себе, какая духота будет стоять летом и какой собачий холод будет зимой в железных хозяйских кошарах. Вольдемар ни на что не обращал внимания.

— Строю... Возможно, что и не совсем практично, но я хочу стандартизировать свои таборы по современным образцам... Стандарт, господа, имеет свои преимущества и даже свою поэзию.

— Насколько нам известно,— усмехнулся татарин,— Кураевые таборы для тебя тоже не лишены поэзии.

Это был намек на Ганну. Вольдемар нахмурился. Он не любил, когда об его избраннице говорили в игривом тоне. Он считал, что серьезно влюбился в Ганну. До сих пор, дескать, были все пустяки, преходящие юношеские увлечения, негреховные веселые грехи, а это наступило нечто иное, не преходящее, как раз то самое, что называют любовью. Так, по крайней мере, думал Вольдемар. Он не боялся насмешек со стороны салонных дам, считая, что ему будет разрешено взять себе в жены девушку без дворянского герба. Ведь известно, что американские миллионеры неплохо живут без гербов. Фальцфейновские миллионы — вот в конце концов их герб! Махнет на всех рукой, возьмет себе простую батрачку, которая своей здоровой плебейской кровью улучшит его хилый фальцфейновский род!.. Воспитание, образование? У него насчет этого свое мнение. Нарочно берет осколок дикого, но благородного материала, из которого впоследствии засияет живой, созданный самим хозяином шедевр... Обработает, отшлифует, придаст ему форму и оттенки, какие захочет!

— Я просил бы, господа, в дальнейшем не говорить больше об Аннет, как о горничной,— надулся пан.— Считайте, что она... моя невеста! Да, я так решил! — воскликнул он в ответ на насмешливо-удивленные гримасы

приятелей.— Вижу, что это единственный путь овладеть ею! Я не в силах без конца бороться с влечением, которое она во мне вызывает. Несовершенна? Без образования? Тем лучше! Не нужна мне готовая. Я сам, засучив рукава, воспитаю ее, отбросив лишнее, развивая то, что мне нужно... А из Аннет выйдет все, она молодая, и природные данные у нее, вы сами знаете, богатейшие!..

Приятели вежливо слушали хозяина, хотя, видимо, не верили ни одному его слову. Кончилось тем, что Родзянко снова выкрикнул: «Браво!», а другие, кисло поздравив жениха, разобрали ракетки и пошли продолжать игру.

XXXVIII

Ганну Даньку приходилось видеть редко, да и то большей частью издалека. Один раз встретил ее на прогулке в цветниках, в окружении панычей, которые, увиваясь около нее, учили Ганну пользоваться тем аппаратом, что снимает на карточки. По праздникам ее еще можно было видеть в асканийской церкви, когда она, привлекая взгляды присутствующих, гордо вплывала туда в белом, словно из пены, платье, в свяслах черных блестящих кос, перекинутых на грудь. Нет, это уже не была «паппочка в свитке», это была настоящая панна, которая шла, словно по воде, свысока кивая кое-кому своим белоснежным подбородком, держась так, будто всю жизнь была благородной.

Данько в церкви со временем также оказался не на последних ролях. Поп, которому он понравился за голос и живость, в первое же воскресенье поручил Даньку очень ответственную для хориста работу: раздувать и подавать кадило. Занятие это Даньку понравилось, ладана парень не жалел, дым стоял в церкви облаком, и Ганна плыла в этом душистом облаке, как херувим.

На совесть работал молодой кадильщик. Во время его дежурства при кадиле среди его товарищей-хористов также царило веселое оживление: с алтаря, из-за поповской спины, парень строил такие рожи своим братишкам, что они невольно прыскали в кулаки, а регент, не зная, в чем дело, выходил из себя и зло постукивал кого-нибудь по голове камертоном. После таких служб вечером в казар-

мах звучала дерзкая — на мотив псалма,— сложенная самими же хористами песенка о том, как «Данило подавал попу кадило» и как это было «усмешительно».

В свободное время ребята навещали семью Мурашко. Лидия Александровна встречала их с неизменной ласковостью и доверчиво делилась своими домашними хлопотами, тревогами и надеждами. Она не теряла веры в то, что Иван Тимофеевич доберется в Петербурге куда следует, и ребята всячески поддерживали ее. Не раз они сообща мечтали о том, как возвратится Мурашко в Таврию победителем, поедут вслед за ним высокие комиссии инженеров, придут армии землекопов и в конце концов днепровская вода торжественно потечет от Каховки в адские бурые степи Присивашья.

Иван Тимофеевич время от времени подавал из столицы о себе глухие весточки в виде торопливо написанных открыток, в которых пока что мало было утешительного и которые, однако, Светлана заучивала наизусть. Перед Светланой Данько уже не чувствовал себя неотесанным и неуклюжим, ему теперь было только жаль эту хорошенькую ясноокую девочку, она хоть имела и мать и отца, но иногда почему-то казалась Даньку сиротой. Редко звучало теперь ее беззаботное щебетание, все чаще, притаившись где-нибудь в углу, девочка задумывалась, как взрослая.

— О чем ты задумалась, Светлана? — иногда спрашивала девочку мать.

— Я не задумалась, я... слушаю папку. Когда вот так долго молчишь, так будто слышно, как он где-то говорит и смеется...

Данько и Валерик замечали, что они вносят с собой какую-то отраду в мурашковский дом, и им было приятно чувствовать себя людьми нужными и полезными другим. В эти невеселые для семьи дни Светлана льнула к ребятам как-то особенно беззащитно и доверчиво, словно к старшим братьям, и они относились к ней, как к сестренке. Нередко они ходили втроем в степь встречать Цымбала, который теперь ежедневно привозил кукурузу животным в большой загон.

Не та была нынче степь, как тогда, на ранней заре их знакомства! Не шумела бескрайними золотистыми шелками, не радовала своим весенним полноцветьем, не звенели ручейками жаворонки... Поблекло, посерело, прибилось пылью все от Сивашей до Каховки. Лишь небо вверху

еще оставалось таким светлым от солнца, что осиянно-белые облачка на нем были едва заметны...

В определенный час откуда-то со стороны Днепра выплывал Цымбал, медленно приближаясь к загонам, высясь, как царь, на арбе, полной густой, сочной кукурузы. Все животные любили лакомиться ею и, увидев Цымбала, радостно спешили с пастбищ к нему. Прекрасная создавалась здесь процессия! Движется зеленая, доверху нагруженная арба, а за нею до самого места кормежки чинно шагают тяжеленные зубробизоны, стройные газели, горбоносые сайгаки, олени, зебры... Все удивительные животные, не ссорясь, покорно, как в сказке, идут за своим добрым кормильцем Цымбалом!

— Будто вся природа здесь выстроилась,— задумчиво говорит Валерик.— А дирижером над ней... человек.

— Погоняйте, дядько Нестор, вот так в Кринички! — весело кричит Данько земляку.

— Есть такая думка,— приветливо отвечает Цымбал с арбы. — Всех поведу своим Степанам на хозяйство...

А с далеких пастбищ скачут все новые и новые жители степи, привычно присоединяясь к процессии Цымбала...

Как-то под вечер ребята шли со Светланой по парку вдоль вольеров.

— Глянь, ведь это она! — толкнул вдруг Данько Валерика, указывая на девочку, которая возилась в вольере среди цесарок. — Это ж та, что сомлела тогда над шерстью... Эй, ты! — крикнул Данько сквозь сетку юной цесарнице.— Это ты сомлела тогда в сараях?

Девочка, обернувшись на оклик, вдруг радостно засветилась, и даже тонкий румянец проступил у нее на щечках. Пораженная встречей, стояла с ведерком среди цесарок и молчала, не зная, что сказать.

— А я вас сколько раз видела... в церкви,— наконец промолвила она.— Я вас и в этих костюмчиках сразу узнала...

— Это всем нам, хористам, такую форму выдают, — объяснил Данько, небрежно посмотрев на свой мундир, на котором уже не хватало нескольких пуговиц.— Слушай, как тебя...

— Наталка...

— Слушай, Наталка, ты теперь возле цесарок?..

— Ну да.

— Глянь, а они тебя знают!..

— Они ее любят,— вмешалась в разговор Светлана.— Правда ж, они тебя любят?

— И я их люблю, — улыбнулась девочка и смущенно потупилась.

— А меня ты знаешь? — прижавшись к металлической сетке, спросила Светлана.

— И тебя знаю,— ответила цесарница.— Ты Мурашкова Светлана... Твой отец хотел Днепро самосильно в степь повернуть,— добавила она учтиво.

— А я тебя впервые вижу. Ты с кем ходишь играть?

— Я ни с кем не играю,— снова смутилась девочка.— Мне... некогда.

— Ну, тогда я к тебе буду приходить играть!

— Ладно... приходите.

Данько уже собрался было с форсом, по-взрослому, закурить перед Наталкой, когда девочка вдруг испуганно засуетилась, издали заметив на дорожке Сердюков, которые шли, как на прогулке, заложив руки за спину.

— Удирайте скорей,— зашептала Наталка,— потому что эти как пристанут!.. Надеются, что станет паныч их зятем, и на всех тут уже покрикивают, будто на своих наймитов!..

Со времени первой стычки возле колодца Данько считал себя в состоянии войны с односельчанами и не упускал случая, чтоб при встрече как-нибудь не поддеть их. Его так и подмывало хоть на расстоянии подергать земляков за их подстриженные, гребешками расчесанные бороды. Сейчас он тоже не замедлил задеть Сердюков.

— Эй вы, паны — на двоих одни штаны! — задиристо приветствовал он земляков, отскочив от вольера на дорожку.— С Фальцфейнами хотите породниться? Асканию получить? Где еще теленок, а они уже с дубиной!..

— Подожди, Яресько,— лениво грозили издали Сердюки, даже не пытаясь погнаться за парнем (в последнее время они заметно располнели и отяжелели).— Думаешь, мы не видели, что ты у батюшки за спиной вытворял? Вот мы на тебя регенту заявим, он тебе накадит... Он у тебя на голове разобьет камертон...

— Напугали! Барышники! — хохотал Данько, отступая с Валериком и Светланой все дальше к выходу.

Так Сердюки незаметно и вытеснили их из парка.

— Ох, и жаднюги ж! — засмеялся Данько, когда все трое очутились на Внешних прудах.— Племянницу живьем продают, лишь бы только в богачи выбиться...

— Неужели они все это могут заграбастать? — помрачнела Светлана. — Парки, пруды, степи, таборы... Зачем столько добра в одни руки?

— Если по справедливости,— задумался Валерик,— то никому одному не должно все это принадлежать... Ни Фальцфейнам, ни им...

— А кому?

— ?

Вечером они сидели у костра, который землекопы развели в котловане только что вырытого пруда (артель землекопов здесь и ночевала), и слушали беседу, которую вел с рабочими водяной механик Привалов. Мальчики в свободных позах лежали около огня, а Светлана устроилась возле механика, как любила сидеть возле отца. Речь шла об асканийских парках. Землекопов интересовало, кто их первый насадил, кто сумел их выпестовать в открытой степи.

— Слыхал я, панок один рассказывал, будто приезжий немчик все это затеял,— говорил, попыхивая цигаркой, бородатый землекоп в расстегнутой холщовой рубашке.

— Сомневаюсь,— спокойно отвечал механик, задумчиво поглаживая Светлану по голове.— Оч-чень сомневаюсь!.. Какой же немчик мог поднять среди вековой степи такой могучий лесной массив? Лопнули бы на нем подтяжки, но не поднял бы.

И ребятишки, и уставшие за день силачи-землекопы, сидевшие вокруг костра, дружно засмеялись, представив себе немчика, на котором лопаются подтяжки. Но Привалов не смеялся.

— Люди его насадили,— убежденно продолжал он,— наши простые люди его подняли. Те самые неизвестные землекопы и садовники, которые перекапывали на аршин в глубину целинный слежавшийся грунт и бросали в него первые желуди... Те, которые из поколения в поколение поливали этот лес водой, защищали от суховеев и черных бурь, прикрывая молодую поросль щитами, камышовыми матами, а больше всего — собственной грудью... В фамильных архивах Фальцфейнов упоминания о них нет, там не записывают тех, кого посылает сюда Каховка... Но все, что вы видите перед собой, берет начало от них и ныне живет благодаря им, таким, как вот ее отец,— прижал механик к себе Светлану,— благодаря таким же простым батракам-сезонникам, как вы сами...

— А принадлежит почему-то Софье,— тяжело вздохнул бородатый землекоп, выпустив целую тучу дыма.— За что же?

Механик задумчиво усмехнулся.

— Досадное недоразумение случилось на свете... Столько людей трудятся и все для одной глотки.

— А глотка, как прорва!

— Ходят слухи, — снова заговорил бородатый землекоп, — будто бы сам венценосец посетит вскорости нашу Асканию... Хотелось бы мне спросить его кое о чем...

— Как же, он только и ждет ваших вопросов, — прозвучал из темноты насмешливый молодой голос.— Говорят, пока он здесь будет, всех нас загонят чуть ли не в Доренбург, чтоб не оскорбляли очей государя-батюшки своим каторжным видом...

— Вряд ли ему теперь вообще до Аскании,— высказал сомнение механик.— В воздухе запахло порохом... Слыхали о сараевском выстреле?

— Эк, куда хватил! Сараево далеко...

— Для войны все близко.

Встревоженные землекопы теснее обступили Привалова. Особенно заволновалась молодежь.

— Что же, выходит, и нам шьют шинели?

— Верно, сшиты... Известное дело — паны дерутся, а у мужиков чубы трещат.

— Я войны не боюсь,— решительно встряхнул чуприной рослый молодой землекоп.— Было бы из-за чего воевать.

Раскатистый хохот раздался вокруг костра.

В этот момент из темноты к механику подошел черный, блестящий от угля и мазута юноша лет семнадцати — кочегар с водокачки.

— Павел Кузьмич, а я за вами...

— Что-нибудь случилось?

— Перебои какие-то в генераторе...

— Иду.— Привалов легко поднялся.— И тебе, Светлана, пора домой... А вы, герои, проводите барышню,— приветливо улыбнулся механик Даньку и Валерику и пошел с кочегаром к водокачке.

— В самом деле что-нибудь с генератором? — вполголоса спросил он юношу, когда никого уже поблизости не было.

— Генератор в порядке... Бронников ждет.

— Каким это его ветром...— обеспокоенно промолвил механик, видимо не ждавший сегодня гостя из степи.

Оставив кочегара наверху, Привалов быстро спустился в подземелье водокачки. На влажном деревянном настиле около скрученного из пакли факела сидели двое — Бронников и пожилой, покрытый пылью машинист из Джембека, Кучеренко. Бронников, наклонившись к свету, негромко читал газету.

— «Правду» уже откопали,— сказал Привалов, пожимая руки товарищам.— Там есть интересная статья в отделе «Из крестьянской жизни». Без промаха бьет по меньшевикам... Ну, выкладывайте, с чем прибыли?

— Сегодня опять урезаны водные пайки,— складывая газету, сообщил Бронников. — Люди волнуются...

— У вас тоже? — обратился Привалов к Кучеренко.

— Не забыли и нас. Всюду урезали на целую кварту. Гнили какой-то вонючей привезли... С каждым днем все больше больных...

— Они нарочно создают такие условия,— мрачно пояснил Бронников. — Как только сезонная горячка прошла, часть рабочих рук освободилась, так и начинают... Чтоб разбежалась половина, не отбыв срока, оставляя заработанное конторе...

— Эти штучки мы знаем,— задумавшись, сказал механик.— Волнуется народ, говорите?

— Водовозов бьют...

— Водовозы тут ни при чем... Наша задача, товарищи, направить гнев народа в правильное русло.

— Мало нас,— покачал головой Кучеренко, глядя сквозь щели настила в глубину колодца.

— Пусть мало нас тут, пусть мы загнаны в подземелье, но мы — ленинцы! Мы сильны своими связями с сезонным людом. Нам есть на кого опереться...

— Забастовка,— поднялся Бронников.— Надо готовить общую забастовку степняков. Пора дать бой...

— Возможно, что и забастовку,— рассудительно сказал Привалов. — Я тоже считаю, что это движение за воду должны возглавить мы.

...Спала Аскания. Только, как неутомимое могучее сердце ее, стучала и стучала в темноте водокачка.

XXXIX

Навытяжку стоит Вольдемар перед матерью в ее кабинете.

— В последнее время, Вольдемар, ты слишком много себе позволяешь,— едко говорит Софья Карловна.— Ведешь себя так, будто я уже лежу в нашем фамильном склепе, а между тем я еще жива, не так ли? И если это доставляет кое-кому неприятности...

— Маман...

— ...то все-таки с этим надо считаться. Я не позволю, чтобы мной пренебрегали, ты слышишь? — повысила голос Софья Карловна. — До сих пор я смотрела сквозь пальцы на твои сомнительные развлечения, на твой вульгарный роман с этой самоуверенной горничной... Мне казалось, что ты сам достаточно уважаешь правила приличия и что репутация рода для тебя кое-что значит... К сожалению, я ошиблась. Во всей этой истории ты ведешь себя, как легкомысленный гимназист! Дошло до того, что сегодня ты берешь ее в свой автомобиль и мчишь куда-то к морю... Негодница, при встрече она уже не считает нужным поклониться мне!.. Куда это может завести? О чем ты думаешь в конце концов? Вся Таврия над тобой смеется!..

— Как раз сегодня я собирался поговорить с вами, маман...

— О чем?

— Я намерен просить вашего... благословения.

— Вольдемар, ты сошел с ума!

— Я считаю, маман, что она могла бы мне быть... прекрасной женой.

— Ха-ха, это вполне в твоем либеральном духе! Осчастливить мать невесткой, выхваченной из каховского балагана! Интересно, какое воспитание получила она там, в своей благородной Каховке? И какое приданое принесет она оттуда в наш дом? Высокую грудь и батрацкую суму — это много, но этого, я считаю, недостаточно!

— Вы еще не знаете ее, маман...

— Не имела чести.

— Это одаренная натура... Дать ей образование и воспитание ничего не будет стоить... Кроме того, я позволю себе обратить ваше внимание еще на одно очень существенное обстоятельство: кровь. Свежая, здоровая... А вы

сами как-то говорили, маман, что кровь нашего рода требует улучшения...

— Слишком дорогой способ ты выбираешь для этого!

— А Густав? Ведь причины его дефективности...

— Перестань! — выкрикнула Софья Карловна, посинев от возмущения.— Разреши мне самой судить об этих причинах... Сейчас я вообще не уверена, кто из вас больше дефективен — Густав или ты!.. Кровь! Блажь тебе в голову ударила, а не кровь! Простая девка окрутила его, как мальчишку, диктует ему, что хочет! Позор!

— Маман, но ведь вы не можете игнорировать и мои чувства...

— Его чувства, ха!.. А мои тебя не интересуют? Ты полагаешь, что со мной уже можно и не считаться? Напрасно! Я еще завещания не писала, и банки пока что мою подпись уважают больше, чем твою, советую тебе об этом не забывать.

— Вы угрожаете, маман...

— Я не остановлюсь и перед тем, чтобы осуществить свои угрозы, только доведи меня до этого... Если уж не уважаешь меня, то уважай то, что мне принадлежит.

— Поверьте, маман, я сам хочу как лучше... То, что дорого вам, для меня также не безразлично: и слава Фальцфейнов, и их драгоценное наследство...

— То-то ты так заботишься о нем... Все готов положить своей вертихвостке к ногам.

— Но как же мне быть, маман? Вы не представляете себе, что для меня значит Аннет! Я не могу без нее!

— Мы выдадим ее замуж за негра.

— Маман! Как вы жестоки сегодня!

— Я просто опытней тебя, дорогой Вольдемар.

— Аннет... за негра... Да его же и не обвенчают!

— Об этом ты не беспокойся: он еще в прошлом году принял православие.

— Но ведь я же...

— Что ты? Свадьба в конце концов может быть фиктивной.

Вольдемар удивленно уставился на мать:

— Фиктивной? Я вас не совсем понимаю, маман...

— Иди подумай... Что касается меня, то я убеждена, что это самый верный и самый дешевый способ завладеть ею.

...О совете матери устроить фиктивную свадьбу вскоре стало известно и приятелям Вольдемара. В компании это вызвало живой интерес, пришлось всем по вкусу.

— Мудро! Остроумно! — выкрикивал щедрый на лесть Родзянко.

— Яшке даст отступного, ей назначит королевское приданое, — говорил татарин, — и она сама к нему в первую же ночь прибежит...

— Наблюдение надо за ними установить,— советовал офицер.— Потому что между ними в самом деле роман наклевывается: могут далеко зайти.

Один лишь Артур, не отступая от своего пари, упрямо твердил и сейчас, что негр побоится взять в жены белую девушку.

— Но представьте себе, что их свадьба, задуманная как фиктивная, вдруг оказалась бы... совсем не фиктивной, а настоящей!..

— Ха-ха! Вот был бы сюрпризец!

— Для всех нас это было бы пощечиной! Такой пощечиной, господа, которая прозвенела бы на всю Таврию!..

На следующий день по имению пошла гулять новость, распущенная господской челядью: не женится паныч на горничной Ганне. Будто был у него с матерью бурный разговор, во время которого Софья Карловна пригрозила сынку тем, что еще при жизни спустит свои имения монастырям на колокола, если он не выполнит ее волю... Итак, не молодой Фальцфейн, а Яшка-повар станет теперь мужем Ганны... Дают якобы господа молодым богатейшее приданое и все расходы по свадьбе берут на себя. За что бы такая награда? Пусть бы уж за Яшкину долгую службу, а то и за Ганнину — короткую!.. Забаламутилось в завистях асканийское горячее болото, пошло валить на Ганну всякие враки...

Известие об измене паныча первой принесла Ганне Любаша. Влетела запыхавшаяся, возбужденная:

— Отрекся! Добилась старуха своего!

Ганна стояла у зеркала, расчесывая свои пышные волосы. Она вздрогнула, точно под плетью, но не обернулась.

— Чуяло мое сердце...— тяжело прошелестело в гнетущей тишине.

От двери Любаше было видно, как побледнела Ганна, глядя из зеркала, словно из воды.

XL

Свадьбу готовили щедрую, шикарную. Сам паныч распорядился привезти из Херсона духовой оркестр и опытных кулинаров. Резали баранов. Сердюки, которые поначалу, услыхав об отречении Вольдемара от Ганны, заметно упали духом, сейчас снова приободрились. Пусть не их выдают замуж, пусть не им пойдет приданое, стоящее хутора, но и их паныч не обходит своей лаской, держит все время поблизости, чтоб, как только гикнет, услыхали...

В воскресенье аскапийская церковка трещала от множества народу. Даньку в этот день кадило разводить, к сожалению, не довелось, вместо него взяли другого хориста, но и тот не жалел поповского ладана для Ганнино-го венчания: все хористы были на стороне Ганны и ее симпатичного Яшки-негра и откровенно радовались, что паныч в конце концов остался в дураках. Не для панычей, а наперекор всем панычам пел в этот день Данько, стоя с ребятами на хорах, отпевая Ганнино девичество, поздравляя молодых со счастьем, что уже грядет... Небесно звучали с хоров чистые ребячьи голоса. Плакали тетки. Заслушались чарующего пения угрюмые святые в киотах. От всей души заливался Данько, вытягивал на самых высоких нотах — жилы набухали на шее и хрящиком выпирал под кожей подвижной кадык, словно неутомимая певунья-птица засела у парня в горле...

В голубых тучах мягкого, душистого дыма плыли молодые. С какой счастливой нежностью поддерживал Яшка под руку свою невесту, ведя ее под венец!.. Вел, словно самое хрупкое создание, сотканное из хрусталя и морской кружевной пены. Шел рядом с ней, как орел, и, не в силах скрыть свою неизмеримую радость, все время улыбался молодой, улыбался попу, людям, потевшим в церкви, юным певцам, соловьями заливавшимся на хорах... Ганна в венчальной фате была ослепительна, как никогда; казалось, от нее сквозь голубые фамиамные облака на всю церковь расходится легкое, струящееся сияние. Она и здесь, под венцом, владела собой, обряд выполняла с плавным и величавым спокойствием, и на белом лице ее было выражение светлой девичьей задумчивости и уравновешенного торжественного счастья.

Никогда еще не было в Аскании такого венчания! Церковка не могла вместить и половины тех, кто желал посмотреть на этот необычный церемониал.

У церкви стояла огромная толпа. Молодых уже ждала празднично разрисованная яблоками тачанка, хотя ехать было почти некуда — в переулок: какая-нибудь сотня шагов отделяла церковь от дома приезжих, который, по распоряжению молодого Фальцфейна, целиком был отведен под свадебное гулянье. Возбужденный от счастья негр, с восковой венчальной гвоздикой на лацкане черного сюртука, почти на руках вынес из церкви свою молодую, осторожно помог ей усесться, сел рядом с ней, не переставая радостно, открыто улыбаться людям, небу, солнцу. Тронулась яблоневая тачанка. Шарахнулись в разные стороны люди, расступаясь перед сытыми копями, которые шли пританцовывая, грызли железные удила и выгибали шеи, как змеи.

До самого вечера гремели трубы херсонского оркестра, ходуном ходил дом приезжих. Гуляла исключительно панская челядь: помощники управляющего, конторщики со своими переборчивыми женами, чеченцы... Новобрачным не велено было от себя приглашать гостей в панское помещение. Лезла в окна детвора, чтоб еще и еще раз посмотреть на молодых. Видели, как не сдержалась все-таки Ганна, сидя в углу за свадебным деревцом, прослезилась. Может, оттого, что родной матери не было на ее необычной свадьбе, богатой и в то же время убогой, что чужие и неприятные люди, совсем равнодушные к молодым, гуляли-пьянствовали в зале... На стенах — оленьи рога и чучела степных орлов, а за столами — пьяные нахальные морды... Что им Ганна, что им Яша! Даже свадебных песен обжорливая панская челядь не умела как следует петь... Сердюки разбухали от водки, хозяйничали как дома, лезли обниматься к конторщикам и чеченцам. Чужой чувствовала себя Ганна среди этого грубого ненасытного сборища. Словно в тяжком сне, слушала его пьяный беспорядочный гул, звон чарок, хруст костей на зубах, тяжелый хохот... Отбывала гулянье, как повинность. Хотя бы все это скорее кончилось, хотя бы скорее остаться с Яшей вдвоем, с глазу на глаз...

Негр, видимо, остро чувствовал настроение Ганны, ему тоже было не по себе, и время от времени, взяв руку Ганны, он нежно, дружески молча поглаживал ее под столом, будто подбадривал, будто говорил: терпи, голубка...

Паныч в этот день не показывался. Говорили, что заперщись у себя в кабинете, Вольдемар с горя пьянст-

вует с приятелями весь день, запивает свою утраченную любовь...

Поздно вечером, когда гульба стала угасать и на свадьбе остались, как на подбор, лишь самые упорные гуляки, Яшка-негр был неожиданно вызван в покои к панычу.

Побледнела Ганна, выслушав переданный лакеем приказ: явиться Яшке к пану.

— Яша, не ходи! — прошептала она в предчувствии какой-то опасности.

— Не бойся... сердечко мое,— взволнованно погладил ее Яша по плечу, чтоб успокоить, и, пообещав скоро вернуться, пошел на вызов.

Ганна сидела некоторое время в оцепенении. Все кружилось, плыло перед глазами. Чучела хищников оживали, целились в нее со стен своими изогнутыми клювами. Ганна порывисто поднялась, бросилась было к двери за Яшкой, но дверь перед ней с хохотом загородила пьяная орава во главе с дядьями, крича, что без молодой им и свадьба не в свадьбу — танцы не пойдут и водка не будет литься. С отвращением отпрянула Ганна от этого грубого потного сборища, которое, икая, дышало на нее водочным перегаром, тянулось к ее чистому венчальному наряду пьяными растопыренными ручищами. Снова забилась, как затравленная, в угол, села рядом с Яшиным местом, которое оставалось пустым, словно было предназначено отныне кому-то другому.

Не возвращался Яша.

Стоял в это время в кабинете Вольдемара среди рассвирепевшей, отвратительно пьяной «золотой молодежи». Фальцфейн только что предложил ему немалую сумму отступного, но негр с возмущением отверг ее: он не шел ни на какое отступное.

Компания наседала на него с грубыми угрозами.

— Ты! Черномазый нахал! — гаркал по-английски Артур, подступая к негру сбоку. — С тобой пошутили, а ты принял все за чистую монету — серьезно решил посягнуть на честь белой девушки!.. Слишком многого ты захотел! У нас в Канзасе таких вещей не прощают... Ты слыхал, парень, когда-нибудь о суде Линча?

— Здесь ваш суд не действует,— с достоинством отвечал негр американцу.

— Мы найдем на тебя другие суды,— брызгал пеной Вольдемар. — Сейчас же убирайся вон из моего имения!

А не то посажу чеченцев на коней, прикажу гнать за межу! А межи мои, знаешь, не близко!..

— Сказано: убирайся! — пищал прыщеватый Родзянко.— Кретин! Сколько дают, и он еще не берет!..

— Не торгую,— коротко ответил Яша, идя к выходу.

Очутившись во дворе, он бегом кинулся к дому приезжих, к оставленной под свадебным деревцом молодой.

Дверь была уже заперта, а на крыльце негра встретили Сердюки и чеченцы. Трижды он бросался, обезумевший, по ступеням к двери, и трижды челядь, столпившись, отбрасывала его с крыльца обратно. А в зале тем временем еще сильнее ревели медные херсонские трубы, и Ганна в неистовстве билась о тяжелые дубовые двери, напрасно стараясь прорваться к своему любимому...

Вскоре возле дома появились верховые с арапниками в руках, чтобы гнать негра за межу.

Прогнали его лишь до мурашковского парка, а там негр, выскользнув из-под арапников, перемахнул через сетку в чащу — и был таков...

Еще видел его в тот вечер Валерик, когда, поздно выйдя от Мурашко из библиотеки, остановился было немного подышать воздухом на знакомой дорожке, которая вела в сад. Негр, откуда ни возьмись, с глухим стоном выскочил на дорожку, сжимая кулаки, не видя ничего перед собой. Бежал и тяжело, глухо ревел, как смертельно раненный зверь. Вихрем прошумел мимо парня, едва не сбив его в темноте с ног, и, не оглянувшись на тревожный оклик Валерика, исчез в темной глубине сада, зашелестел где-то в чаще, как в девственных зарослях своей родной тропической Америки. Только надсадный могучий стон его был еще некоторое время слышен, потом и он заглох.

Нашли негра только утром в другом конце сада, невдалеке от панских хором...

Насмерть перепуганная, прибежала в то утро Светлана Мурашко к матери:

— Мама!.. Яшка... Наш Яшка повесился!

Лидия Александровна, побелев, схватилась рукой за перила веранды. Стояла какое-то время неподвижно, оцепенев от ужаса.

— Затравили...— наконец прошептала она.

XLI

Галопом мчались в горячей степи верховые. Спешили со всех концов — с токов, таборов, экономий — напрямик к главному поместью.

Солнце стояло в зените. Расплавленным стеклом дрожал воздух, горела земля, потрескавшаяся, раскаленная так, что, казалось, не остыть ей и ночью. Изнывали на пастбищах отары, ревели стада у колодцев в ожидании, пока набежит вместо вычерпанной новая вода.

Степь лежала словно парализованная зноем. Нигде ни арбы со снопами, ни пыли на току... Лишь одинокие всадники мчались напрямик в Асканию, пригибаясь к гривам, не жалея арапников.

Одним из первых подскакал к главной конторе Савка Гаркуша. Бросил нерасседланного коня у коновязи и бегом пустился к крыльцу, где уже стоял чем-то озабоченный паныч Вольдемар с главным управляющим, урядником-чеченцем и несколькими чинами конторской челяди. «Вишь, прохлаждаются здесь в тени, а ты там отдувайся да наживай себе смертельных врагов!» — подумал на ходу Гаркуша и, остановившись в нескольких шагах от крыльца, с ненавистью гаркнул:

— Бунт, паныч, на току! Отказываются молотить!

— И у тебя? — раздраженно спросил паныч, и Гаркуше сразу стало легче: значит, каша заварилась не только у него в таборе.

А паныч уже цедил сквозь зубы:

— Положись на вас, доведете вы меня, бестии...

— Осмелюсь напомнить, паныч... Я не раз просил приставить ко мне в табор чеченцев для порядка...

— Молчи, дурень... Позволь мне знать, куда кого ставить... Что они требуют... те, твои?

— Воды!

— Помешались все на воде,— пожал плечами паныч, обращаясь к управляющему.

— Из-за воды все и началось,— продолжал Гаркуша. — Чтоб пайки водяные отменили, чтоб свежую возили на ток, с артезиана...

— Ха! А пива мюнхенского не заказывают еще?.. Распустились до последней степени!

Тем временем во двор, роняя мыло в пыль, влетели верхами, кто в седле, а кто и без седла, мордастые, загорелые приказчики и подгоняльщики с других токов. Рас-

терянные, встревоженные, виновато подходили к крыльцу, выкладывали папычу лихие вести. Всюду творилось черт знает что!

— Взбаламутились, чуть бочку не побили...

— А у меня из паровика воду выцедили, делить стали...

— А мои просто легли и лежат: «Сам молоти! Мы, говорят, бастуем... Пока не удовлетворите, не станем на работу — и баста!..»

Паныч шагал по крыльцу, то снимая, то снова надевая пенсне. Дело принимало плохой оборот, хуже, чем он представлял себе поначалу. Пахло тут не случайными беспорядками, за всем этим чувствовалась чья-то единая, твердая, направляющая рука. Все тока прекратили работу, все в одну точку бьют... Забастовка? Общая забастовка сезонников? После тысяча девятьсот пятого года такого еще не было в фальцфейновских имениях... А сушь, а тысячи копен недомолоченного хлеба стоят! Как же быть? Податься к губернатору? Вызвать казаков? Но это тоже не дешево обойдется... Газеты поднимут шум... Придется не только овсом и смушками платить, а и своим либеральным реноме расплачиваться.

Было над чем поломать голову... А тут еще, услыхав про водяной бунт, явилась к конторе, под руку с игуменьей, Софья Карловна, стала допытываться, не идут ли забастовщики на Асканию.

— Никуда они не идут, — нервно ответил матери Вольдемар. — До этого еще далеко.

Барыня под своим кокетливым зонтиком облегченно вздохнула.

— У меня сейчас чаплинские сидят,— поджав губу, начала она рассказывать сыну, но Вольдемар вдруг взвился как ошпаренный.

— Их еще тут не хватало! Чего им надо, разбойникам?

— Погоди, Вольдемар, выслушай меня сначала. Это совсем не те, кого ты имеешь в виду. Приехал чаплинский священник с церковным старостой, и, по-моему, они хорошую вещь предлагают... У них там тоже не спокойно, голь становится все нахальнее, грозит пойти на наши колодцы...

— Что они предлагают? — нетерпеливо спросил паныч, чувствуя себя сегодня вправе разговаривать с матерью независимым, почти грубым тоном.

— У них возникла идея, — закатила глаза Софья Карловна, — устроить совместный крестный ход по полям с иконой касперовской божьей матери [1]. В частности, они просят, чтоб наш хор мальчиков также принял в нем участие... Ты как считаешь?

— Детская молитва,— промолвила игуменья, неприязненно глянув на еретика-паныча,— доходит до бога быстрее.

— Напрямик то есть? — заметил какой-то приказчик.— Нам этого и надо, у нас тоже все кричат—дождя... По две пары волов запрягаем в плуг, глыбы такие выламливают, что молотом не разобьешь...

— Я не возражаю,— сказал матери Вольдемар, сдерживая раздражение.— Идите, устраивайте...

— А об этом... о бунте в степи, ты, надеюсь, дал уже знать кому следует?

— Маман, прошу вас не вмешиваться в эти дела,— раздраженно бросил паныч.— Идите, ради бога, мы сами тут как-нибудь разберемся...

Зонтик обиженно подпрыгнул в воздухе и неторопливо поплыл между расступившимися перед ним приказчиками.

Появление каждого нового гонца из степи действовало на паныча все болезненней. Ни один ничем не порадовал, привозили только неприятности, одну хуже другой. Подгоняльщику Грищенко, который последним приплюхал без седла с далекого табора Кобчик, паныч не дал даже рта раскрыть.

— Каналья, ты еще смеешься? — опарашил он беднягу (хотя тот и не думал смеяться).— Тебе весело? Вычесть из его жалованья за бунт, за весь простой молотилки на Кобчике... — И тут же накинулся на других: — А вы куда раньше смотрели? За что я вас кормлю, за что вам деньги плачу?

Переминались с ноги на ногу, изнывали на солнце холуи. И в степи ветром жжет, и тут, в Аскании, кирпич пышет жаром... Всюду подхалиму жарко. Пот градом катился с каждого. Более храбрые пытались обороняться от наскоков паныча.

---

[1] Название чудотворной иконы происходит от села Касперовки, в котором она хранилась. В засушливые годы икону брали напрокат все южные села. *(Прим. автора.)*

— Кто же знал, что такое случится... Не первый же день такую пьют... Погудят, бывало, погудят и утихомирятся...

— Может, оно и сейчас ничего б не случилось, так сигнал же был дан...

— Какой сигнал? — сразу насторожился урядник в черкеске.

— Свистками они с тока на ток пересвистывались, это и довело... Мы думали, что машинисты в шутку перекликаются, а они, оказывается, между собой разговор ведут на свистках, знаки подают один другому: бастуй, мол, бросай работу...

— Это еще что такое? — повернулся Вольдемар к управляющему.— Сигнализация между токами? Кто ввел? Кто позволил?

— Впервые слышу,— засуетился Густав Августович.—Для нас это сюрприз...

— Сюрприз! Для вас все сюрприз! А они, может, с черноморскими кораблями уже пересвистываются! Кто первый услыхал, ну?

Замялись приказчики.

— Как будто с Гуркушиного тока началось,— брякнул подгоняльщик из хутора Сухого.

— Не слушайте его, паныч! — крикнул Гаркуша, наливаясь кровью.— По злобе он на меня!

— Да чего ж ты, Савка, отпираешься,— загудели другие приказчики.— С твоего тока ведь началось... А им только подай: всю Таврию обсвистят...

— А-а, так это ты?! — перегнулся через перила Вольдемар к Гаркуше. — Зачинщиков укрываешь! Ну, я же тебе... Ну, ты ж у меня... Марш на ток, негодяй! Сам разводи теперь паровик, с объездчиками молотить будешь!

— Паныч,— снял картуз Гаркуша,— рад бы, но... я возле паровика... не мастак.

— Не мастак? Ты только до кухарки мастак? Тогда цеп бери! Цепом будешь с кухаркой всю ночь молотить!

Ни живы ни мертвы стояли приказчики. Разошелся паныч... Если уж своего любимчика не щадит, то их тоже не помилует. Гаркушу с цепом на всю ночь, а их, наверное, в каменные катки впряжет, всю ночь будет ими, как чертями молотить...

— А вы чего торчите? — оставив Гаркушу, накинулся паныч на других. — Навертели, натворили дел, а теперь к панычу, пусть паныч расхлебывает? Что я — усмиритель?

Что у меня — войско? Марш по таборам! Всех на ноги! Чтоб сейчас же тока стали работать!

Попятились от крыльца приказчики. Отступив немного, опять замялись в нерешительности. Хорошо тебе здесь кричать, пойди там покричи...

— Как же все-таки быть, паныч? Некоторых мы уломаем, а вот машинисты... Не послушают они нас...

— А время дорого... Сушь такая, что от малейшей искры все вспыхнет...

— Что там, Мазуркевич? — обратился Вольдемар через головы приказчиков к сухощавому щеголю в бриджах, который с взволнованным видом торопился прямо к крыльцу (это был первый помощник главного управляющего).

— Стала водокачка,— замогильным голосом сообщил с ходу Мазуркевич.— Прекратили работу кирпичный завод, артель землекопов...

— А им-то что? — выкрикнул на высокой визгливой ноте паныч.— На водокачке воды им не хватает?

— В знак солидарности с токовиками... Я только что из мастерских: там целый митинг Привалов собрал...

— Привалов?

— Он, кажется, тут всему голова...

— Ишь кто верховодит! — подскочил Гаркуша.— Где гнездо, а на кого валят!..

— Ладно... я ему припомню,— процедил паныч и, пошептавшись с чеченцем-урядником, обратился к приказчикам: — Разъезжайтесь по таборам, нечего вам тут время тратить... Скажите... гм... обещал паныч... Побаламутили, пошумели, мол, и довольно... Машинистам после обмолота — награды. Девушкам — на платки...

— А вода? Из-за нее больше всего...

— Будет и вода... Вернутся из Каховки верблюды, на верблюдах будем доставлять отсюда, с артезианов. Слыхали? Так и передайте!

Понурившись, разъезжались приказчики от конторы. Улюлюканьем провожали их неуловимые хористы, проклятиями осыпали женщины из казарм. События в степи всколыхнули все имение. Асканийские казармы не переставали клокотать в эти дни: еще не утихло возбуждение, вызванное среди рабочего люда трагической свадьбой Яшки-негра и Ганны-горничной, как уже забурунило все кругом и стар и мал заговорил о водяной забастовке в степи, горячо сочувствуя забастовщикам.

Гаркуша выбрался за околицу в скверном настроении. На куски разорвал бы он этих неуловимых хористов, которые улюлюканьем провожали его за Асканию, указывая каждому на холуя-молотильщика, что должен будет цепом вымолачивать панские стога всю ночь...

Однако не угроз паныча боялся Гаркуша, другое сейчас грызло его. Очень не хотелось ему возвращаться на ток к возмущенным сезонникам, туда, где ненавидели его смертельной ненавистью, где каждая сезонница готова была выцарапать ему глаза... Набрал земляков на свою голову!

Пусть бы терпел уже за свое кровное, а то за чье? За панское. И до каких пор будет это тянуться, до каких пор бегать ему в казачках? Когда уж поедет он в Каховку набирать сезонников не для кого-нибудь, а для себя? Или, может, все это враки? Может, попусту чешут языками в «просвитках»? Бунтарей с каждым годом становится все больше. Кричат, что нарочно он поит сезонников плохой водой, чтоб чаще болели, чтобы больше высчитывать за нерабочие дни... А разве в других таборах не так? Разве на Бекире и на Камышовом лучше? Что ж это будет за приказчик, если у него за лето никто не заболеет, с кем он тогда осенью останется, когда людям выйдет срок и все разойдутся по домам? Разве тогда уже рабочие не нужны? Последнему подгоняльщику известно, что, кто летом с животом промаялся, тот на осень только и работник, потому что некуда ему отсюда податься... Надо только угадать, когда и как, — на то ты и приказчик. В самую горячую пору у хорошего приказчика найдется и свежая вода, и свежая еда, никто не будет валяться с животом, а как только легче стало немного с работой, — так, смотри, и лазарет!.. Разве паныч этого не понимает? Дурачка из себя корчит, он, мол, добрый, он только милует, приказчики всему виной. А останься после покрова без людей, тебя же первого прогонит!.. Легко ему чужими руками жар загребать. Приказал ехать, всех поднимать на ноги... Попробуй их поднять панычовыми цацками-обещанками! Не тем, кажется, духом они дышат!..

Все свалилось на Гаркушу как снег на голову. Еще вчера ничего не было заметно. Перетащили в темноте паровик с Кураевого на другой степной ток, с утра начали было молотить на новом месте... А как привезли воду — тут все и поднялось!.. Девушки хотели его самого илом

напоить, а Бронников в это время стал свистком прищелкивать на какой-то особый манер.

Надо же было так случиться, чтобы именно с его, с Гаркушиного, тока пошел сигнал! Кто мог подумать, что как раз его машинист у них главный сигнальщик? Пригрел змею за пазухой... Вроде и не головорез, из-за мелочей с Гаркушей никогда не грызется, а когда наступил момент — показал себя. Недаром он часто бывал на водокачке у того механика. Бронникову и его подголоскам — вот кому прежде всего надо шею свернуть! Не раскусил Гаркуша его вовремя, зато и попало ему сегодня... Что ж, не дремли, приказчик, не лови ворон!

Как побитый, трясся приказчик в седле, озираясь вокруг. Не пылят тока. Ни малейшего движения в степи. Сами себе сезонники устроили праздник!

Чабаны стоят с бурдюками у пустых колодцев, уставились зачем-то на Асканию. Что они там увидели?

Гаркуша оглянулся и похолодел: красное полотнище полыхало над асканийскими парками, на самом верху водонапорной башни. Кто мог туда добраться? Не иначе, как те висельники-хористы!.. Направить есть кому, а им только свистни: вскарабкаются хоть на небо!..

— И вы, Мануйло, туда заглядываетесь? — укоризненно бросил Гаркуша, труся мимо колодца и узнав среди чабанов чаплинского атагаса.— Не стыдно вам на старости лет?

— Какой я старик,— браво ответил атагас.— Глаз еще далеко достает!..

— Диво нашли...

— Да так что давненько и не видели такого: после девятьсот пятого, считай, это первый раз...

— Радуйтесь!

Атагас вместо ответа приставил еще и руку козырьком ко лбу, стоя лицом к радостному стягу, пламеневшему под солнцем за сухими далями, над башней, самой высокой в степи.

XLII

На Гаркушином току в это время бушевала необычайная сходка. Сюда прибыли посланцы других таборов, чтоб сообща выработать требование бастующих к главной конторе. Это был настоящий праздник сезонного люда, ко-

торый вдруг почувствовал себя хозяином положения на токах.

До сих пор батраки не выступали так единодушно. То, что они, наперекор панским подпевалам, впервые открыто и свободно собрались на свою горячую степную сходку, что они не просто жалуются или ругаются с приказчиками у бочек, а черным по белому на бумаге записали: «Свежей воды вволю и никаких водяных пайков!» — уже одно это поднимало людей в собственных глазах и придавало их борьбе новую окраску. Воинственное, радостно-грозное настроение охватило всех. Разбуженное ощущение собственной силы некоторых почти опьяняло, а то, что посланцев других таборов, обшарпанных, босых, с тыквочками воды на веревочках, матрос величал «делегатами», только усиливало новизну и торжественность момента. Не забитой, безвольной массой, а людьми, которые сами могут решать свои дела, стояли они на току, внимательно слушая оратора.

Выступал Бронников.

— Наше собрание приближается к концу,— говорил матрос, стоя на высоком ворохе зерна, по колени в пшенице.— Вас, уважаемые делегаты, уже ждут люди на токах. Идите и передайте им, что мы не одиноки, что нас поддерживают рабочие асканийской водокачки, мастерских, кирпичного завода... Итак, если мы будем действовать организованно, дисциплинированно, без анархии, мы обязательно выиграем забастовку! Здесь сегодня звучали некоторые не в меру горячие голоса, что хорошо было бы пустить по токам красного петуха... От имени стачечного комитета я хочу предостеречь против этого: слепой бунт может только повредить нашему сознательному делу.

— Верно! — кинул из толпы Мокеич, который тоже был в числе делегатов. После Каховки борода у него еще больше отросла, лицо сделалось бронзовым.— Хлеб не виноват!

— Да. Ни хлеб, ни паровики не виноваты. Незачем машины ломать — не от них беда идет... Виновники — там! — протянул Бронников руку в направлении главного имения.— Они, кровопийцы, превратили эту степь в каторгу для тысяч и тысяч сезонников! Они не считают нас за людей, они хотят поить нас илом, который остается после скота. Но мы их проучим! Если они уже успели забыть о броненосце «Потемкин», мы им напомним. Пусть знают, что сейчас не один он с моря,— десятки таких бро-

пеносцев дымят уже и на суше, вокруг нашей Таврии. Мощные заводы Юга — вот наша опора, вот самые грозные наши броненосцы, товарищи. Стойкий, организованный заводской люд — вот на кого мы, степные пролетарии, будем равняться. Оттуда будем черпать энергию, оттуда будем перенимать великую и суровую науку борьбы!..

Страстные, проникнутые непоколебимой верой слова матроса глубоко западали в сердца сезонников. В восторге смотрела из толпы Вутанька на своего Леонида, счастливая и гордая за него — он принадлежал сейчас всем собравшимся здесь своим мужеством, своим умом и даже этими родными, раскрыленными, как чайка в полете, бровями. Порой ей казалось, что в их отношениях не произошло никакого разлада, что ревновать его к кому-нибудь нелепо, что именно теперь они становятся ближе друг к другу, чем когда бы то ни было.

XLIII

С тех пор как Бронников открыто возглавил забастовку, он не раз ловил на себе удивительно ясный, новый, просветленный взгляд Вутаньки. Девушка как бы хотела вдохновить его, сказать, что она с ним в это напряженное и ответственное время. И самой Вутаньке то, что произошло между ними, казалось теперь лишь каким-то горьким, страшным недоразумением. Бронникову все тут доверяли, к нему все прислушивались, он по-новому раскрывался перед сезонниками и смело учил их своей железной правде, неужели же мог он быть с ней, с Вутанькой, нечестным? Никак не вязалось одно с другим, не укладывалось в ее сознании. И когда после сходки Леонид, переговорив напоследок с делегатами, уходившими на тока, стал вдруг искать кого-то глазами среди девушек, Вутанька сразу почувствовала — ее! Нашел, посветлел.

— Вутанька!

И она с готовностью вышла из толпы девушек и смело, на глазах у всех, понесла ему навстречу свои улыбающиеся вишнево-золотистые румянцы.

Потом было самое сладостное, нежность вновь найденной руки... Заливалась, как в праздник, гармошка, расцветая мехами в руках Андрияки, танцевали девушки,

дружелюбно подмигивая Вутаньке, а они — Леонид и Вутанька — сидели в стороне, словно в пушистых золотых креслах, погрузившись по грудь в свежую пшеничную солому, которая даже в тени еще пахла солнцем...

Легко, как в счастливом сне, разговаривали они. Больше, чем за все предыдущие встречи, узнала Вутанька о своем милом... И что приезжала то не любовница к нему морская, а учительница из Херсона, правдистка, может, как раз та, что стояла под саблями в Каховке... И что не на торговых ходил он посудинах, а на военном корабле и настоящее звание у него — комендор. И что даже не Бронников его фамилия, а Бойко, комендор Бойко... Многое для Вутаньки стало теперь понятно...

— Открываюсь я тебе, Вутанька, самой большой правдой о себе, такой, что дают за нее каторгу, такой, которую не сказал бы ни приятелю, ни любовнице... Такую говорим мы только самым близким, более родным, чем отец и мать, с кем навеки соединены святым нашим делом и кого называем между собой — товарищ... Первой тебе открываюсь, Вутанька, и ты можешь теперь понять, кто ты для меня в жизни...

— Товарищ... Как прекрасно! Выходит, я твой товарищ, да?

— Выходит — да.

— Любимый! Что бы ни было, что бы ни случилось, знай: никогда ты не раскаешься, что открылся мне... Отец мой тоже с товарищами дружил... За это и замучили его такие, как Гаркуша...

Распаренный Гаркуша, притрусив на ток, застал праздник в будни: гармошка, танцы...

— А те чего тут были?.. С других токов?

— Как чего? У нас праздник, в гости люди приходили!..

Дожил приказчик, в глаза смеются... Стал выкладывать хозяйские обещания — не захотели и до конца дослушать.

— Пусть он подавится своими платками...

— В дареных платках только пóкрытки ходят!

Напрасно и верблюдами пытался соблазнять девушек Гаркуша.

— Пусть хоть на верблюдах, хоть на чертях возит, лишь бы свежая вода была здесь!

— Пока не напьемся артезианской досыта, палец о палец не ударим...

И уже махнула какая-то в воздухе платочком:

— Играй, гармонист!

«Горлицу» заиграл гармонист. Со стуком-перестуком пошли девушки в танец.

«Ну, доберемся ж мы до вас!» — ругнулся мысленно приказчик и, послонявшись еще некоторое время по току, снова сел на коня и погнал куда-то в степь — не то в Кураевый к кухарке, не то к отцу на хутор...

До вечера гуляли сезонники на Гаркушином току.

После полуночи, когда все уже спали, неожиданно появилась в таборе Ганна Лавренко. Пришла измученная, босая, в изорванной одежде, как нищенка. Разбудила девушек, напугала их своим видом.

— Ганна, откуда ты? — кинулась к подруге горячая со сна Вутанька.— Что с тобой, Ганна?.. Как с креста снятая!..

— Тише, девоньки, тише, ради бога, — просила Ганна, в изнеможении опускаясь на солому. — Кажется, они гнались за мной, где-то стучала в степи тачанка... А то, верно, сердце мое билось, стучало...

— Ганна, что ты говоришь? Кто гнался?

— Ой, подруженьки, что я перенесла! — отходя, вздохнула Ганна и склонилась Вутаньке на плечо.— Среди ночи пришли дядьки с панычом, дверь начали рвать... В окно выскочила, в кустах пересидела, а потом вот к вам. Я слыхала, что у вас тут бунт?

— Бунт, Ганна, и есть,— ответила Вутанька.

— Где ж ваш бунт, если вы... спите?

— А что ж нам, караул кричать? — улыбнулась Вутанька.— Мы теперь без лишнего шума бунтуем. По-заводскому!

— Вот как!.. Мне даже не верится, что я уже с вами... Как у вас тут хорошо!..

— Подожди, да у тебя и руки порезаны?

— Это когда я в окно выскакивала...

— Ну, хватит уже, успокойся, ложись возле меня,— подвинувшись, уложила подругу Вутанька.— Замучили они тебя, бедняжку...

Легла, вся сжавшись, Ганна, легли и девушки.

— Дрожишь ты,— сказала погодя Вутанька.— Может, тебя чем-нибудь укрыть?

— Нет, душно мне, Вутанька, не надо... И уже не страшно мне, а дрожу... Доконали Яшу!

— Слыхали мы, Ганна... Успокойся, не бойся их: здесь у тебя есть защита... Пусть только сунутся сюда, душепродавцы...

Тяжело дышала Ганна. Белело при звездах сквозь разодранную кофту полное, роскошное ее плечо.

— Ты еще не спишь, Вутанька?

— А что?

— Вернись, пропала б я, если б и вы от меня отвернулись... Всю силу растратила, пока воевала с ними, проклятыми. Опустошили они меня... Знаю, была б я счастливой с ним, с Яшей. А теперь? Что я? Словно черная буря прошла по моей любви, затоптала, разрушила, искалечила все... Было на душе — как весенняя степь, а осталось пожарище черное... На Герцогском валу похоронили его... как и Серафиме, белый камень горючий поставили Якову Томасовичу за верную службу!..

Задрожала Ганна, забилась в глухом рыданье. Обняла Вутанька подругу, стала утешать, пока не уснули обе.

XLIV

На следующий день стало известно, что в Аскании арестован председатель стачечного комитета механик Привалов. Но забастовка продолжалась. Ни на одном току не молотили.

Утром люди на токах были поражены великим дивом: высоко над степью плыл аэроплан. Тысячи глаз следили за ним с земли, почти никто раньше не видел такого.

Бабы крестились. Девушки махали аэроплану платками. Торжественно притихшие, стояли парни, провожая взглядами удивительную железную птицу, охваченные тревожным предчувствием новых времен, новых суровых и героических событий, участниками которых им доведется быть...

В предобеденную пору на горизонте появились караваны фальцфейновских верблюдов, идущих от главного имения к степным токам. Больше сотни верблюдов было в этот день запряжено в водовозки, навьючено бурдюками и бочками с артезианской водой.

На токах ликовали. Шумливой толпой высыпали Гаркушины сезонники на дорогу встречать необычных водовозов. Верблюды медленно приближались. Передний, выступая с бочками наперевес, горделиво нес свою ма-

ленькую голову, поглядывая на девушек недовольно и свысока, точнехонько как папыч Вольдемар.

Вутанька не выдержала, рассмеялась:

— А гляньте, узнаете, девчата, не папыч ли наш в верблюда обернулся? Не сам ли, часом, воду припер, лишь бы только молотили? Вот что значит, когда дружно против них встать — по-морскому да по-пролетарскому!..

Засвистели свистки, перекликаясь от тока к току, выговаривая словами: «во-да есть! во-да есть! во-да есть!..»

Пришла в движение сезонная Таврия, поднятая на ноги раздольным металлическим хором. Степь, как сплошной хрусталь, и гудки, гудки, гудки перекликаются между собой радостным перекликом победителей...

Однако радость была недолгой. В тот же день нагрянули на Гаркушин ток каратели. Приехал становой пристав из Алешек со стражниками, прискакали черные чеченцы на конях, которые усмиряли степняков еще в девятьсот пятом году и так и остались с тех пор у Фальцфейнов на службе. Кто-то подумал, что этот набег устроен в связи с приездом царя, который якобы должен был прибыть из Ливадии (никто еще не знал, что царь, не заехав в Асканию, спешно проследовал в Петербург).

Остановившись в стороне, на краю тока, каратели вначале разговаривали с приказчиком, никого из сезонников не трогая. Работа не останавливалась. Гудела молотилка. Бронников спокойно возился у паровика, не обращая, казалось, на карателей ни малейшего внимания. Пристав тем временем, облокотясь на крыло тачанки, что-то записывал со слов приказчика, изредка поглядывая исподлобья на ток. Через некоторое время к нему были вызваны Бронников, Прокошка-орловец и Федор Андрияка.

— Вот они, зачинщики,— сказал Гаркуша, когда ребята подошли к приставу. Бронников презрительно посмотрел в сторону Гаркуши и промолчал.

— Вы братья? — обратился пристав к орловцу и Андрияке, которые стояли рядом, плечо к плечу, оба рослые, красные от солнца и в этот момент в самом деле чем-то очень похожие друг на друга. Оба смотрели на пристава с веселым, глумливым вызовом.

— А как же, братья и есть,— смело ответил орловец.— По крови — братья, по судьбе — спутники...

— А по чинам ровня, — добавил Андрияка. — Оба чужой хлеб молотим...

Пристав, насупившись, уставился на ребят неподвижным лягушечьим взглядом и, сделав в бумагах какую-то пометку, приступил к Бронникову:

— Это ты, значит, призывал пустить по токам красного петуха?

Машинист возразил спокойно. Андрияка и орловец тоже в один голос подтвердили, что никого он к этому не призывал, а даже наоборот...

— Лучше не отпирайтесь,— нетерпеливо крикнул сбоку Гаркуша.— Посидите в Алешках в арестном доме, там из вас все выдавят...

— Нет, это, видно, такой, что арестным домом его не испугать,— пробормотал пристав, словно раздумывая, и неожиданно гаркнул подчиненным: — Вяжите их!

Однако связать оказалось не так-то просто. Какого-то щуплого чеченца, который первым разогнался к ребятам, Андрияка так саданул ногой в живот, что тот только крякнул, отлетев кубарем далеко в сторону.

— Чего же вы стоите? — заорал пристав, предусмотрительно занося ногу в тачанку.— Берите их! Вяжите!

Опричники кинулись скопом. Вихрь поднялся возле ребят, которые сейчас дали себе волю. Орловец бил наповал. Леонид как будто без усилий, как-то по-морскому поддавал короткими ударами то одному, то другому, то головой, то своими якорями в подбородок, трещали челюсти, и снопами разлетались ожиревшие стражники и чеченцы в разные стороны. Уже и Гаркуша успел схватить в заварухе свою долю — стоял в стороне с расквашенным носом и, сморкаясь кровью, подавал оттуда советы чеченцам:

— Вы кинжалами их, кинжалами!..

Но пристав, который сидел уже в тачанке, не разрешил пускать в ход оружие — велел брать преступников голыми руками.

Отдышавшись, подобрав с земли картузы и папахи, опричники снова набрасывались на ребят, чтобы опять разлететься в разные стороны, никого не связав.

— Мы с вас сгоним жир! — весело выкрикивал орловец.— А то даром панский хлеб едите!

— Разве ж так бьют? Вот как бьют! — гремел Андрияка, сваливая противника одним ударом.

Запыхалась служба, хотя и на ребятах уже полопались рубашки, оголив медно-красные узлы напряженных мускулов.

Токовые, бросив работу, с шумом сбегались к месту побоища.

— Назад! Посторонись! — рявкнул на них пристав и приказал стражникам отогнать токовых саблями. Сверкнули на солнце сабли, отхлынула толпа... Вутанька, которая без памяти летела с вилами на какого-то чеченца, вдруг остановилась от резкого тревожного окрика Леонида.

— Вутанька, не надо! — крикнул он ей изо всех сил, поднимаясь из гущи побоища растрепанный, залитый кровью, в изорванной тельняшке.— Мы сами...

И драка закипела с новой силой, поднялась пыль, колесом пошло все по земле. Могуче стряхивали с себя ребята врагов, выпрямлялись, как богатыри, но силы были слишком неравны, и в конце концов на них навалились, связали, скручивая за спиной руки.

Брошенная на произвол молотилка ревела пустым барабаном, все в ней тарахтело, паровик бил из трубы густыми искрами.

— Беда! — подскочил к приставу Гаркуша.— Видно, гаситель не в порядке! Гляньте, искры вылетают снопами!

— А я здесь при чем? — раздраженно пожал плечами пристав.— Я не машинист.

— И я не мастак... Как же теперь быть? Может, вы развяжете его, — кивнул приказчик на Бронникова, — пусть наладит, а потом опять свяжете?

— Нет, спасибо,— усмехнулся Бронников, вытирая окровавленную щеку о плечо. — Локомобиль я оставил в порядке, мое дело теперь сторона. Налаживайте! А я лучше посмотрю отсюда, как вы будете его чинить, как сами будете пускать Фальцфейнам красного петуха...

— Так что, топку заливать? — обратился Гаркуша к приставу и, не получив ответа, кинулся к паровику.

Связанных сложили под соломой, отгоняя от них девушек, которые бросились вытирать ребят платочками... А самим ребятам, вспотевшим, забрызганным кровью, казалось, и горя мало. Лежали, как утомленные богатыри, веселые, оборванные, с путами на узлах набухших молодых мускулов.

— За девчат мы опасались,— говорил орловец стражникам, — на них оглядывались, а то черта с два вы нас связали бы!..

— Куда же вас теперь? — не спуская с Леонида глаз, спрашивала Вутанька, нетерпеливая, разгоряченная, готовая кинуться к нему сквозь частокол вооруженной стражи.

— Не знаю, Вутанька...— почти весело отвечал Леонид.— Думаю, что недалеко. Наверное, в Алешки.

— И я пойду в Алешки! — горячо воскликнула девушка, даже не представляя себе толком, где эти Алешки.

— Что ты, Вутанька!.. Нас скоро выпустят... Ничего у них не выйдет. Видишь, как гоняется пристав за людьми с протоколом, а подписывать никто не хочет.

— Нема дурных... Повывелись!

Чеченцы, обступив Гаркушу, требовали, чтоб он дал подводу для арестантов. Гаркуша отмахивался, ему было сейчас не до этого. Стоял посреди тока весь в саже, как трубочист, ломая голову над тем, как и с кем молотить. Он действительно оказался не мастак: искры-то загасил, но вместе с ними загасил топку.

Тем временем на дороге от Каховки поднялась туча пыли — мчалась машина Вольдемара.

Паныч приехал на ток мрачный, чем-то встревоженный. Выходя из автомобиля, сделал вид, будто не заметил Ганну, которая стояла вдалеке, опять запыленная, с граблями в руках, пронизывая паныча полным жгучей ненависти взглядом. Приказчик, метнувшись к хозяину, стал торопливо объяснять ему причины заминки на току, но паныч, слушая его одним ухом, уже громко обращался к приставу, так, чтобы слышали все токовики.

— Развяжите их,— указал он на связанных под соломой ребят.

Пристав оторопел. Раскрыли рты и стражники, расцвеченные свежими шишками и синяками. Но усердные чеченцы, мгновенно оседлав связанных, уже молча срывали с них арканы.

— На этот раз я им прощаю,— торжественно продолжал паныч.— Пусть становятся, домолачивают быстрее, потому что скоро им быть... в солдатских шинелях. Свою вину они будут иметь возможность искупить кровью на полях сражений...

Весь ток ахнул от страшной догадки...

Война!

XLV

Снова, как во время ярмарки, Каховка была переполнена народом. Но не весенними красками полыхала в эти дни она, не карусельным малиновым звоном перезванивала — иным шумом шумела теперь, напоминая огромный военный лагерь... В плавнях глухо погрохатывали залпы — шли учебные стрельбы. На пристани тюками выгружали серые солдатские шинели и амуницию. По всему местечку звучали слова команд, поблескивали погонами офицеры, сортируя, муштруя новобранцев.

А по всем шляхам из степи двигались и двигались на Каховку подводы, везя свежие партии призванных в войско степняков.

Сухое ветреное утро гудело над Каховкой. Неприветливы были в эти дни степи. Утратили свое свежее весеннее очарование, потемнели, засвистали, как голая пустыня. Пыль на поблекших травах, пыль в воздухе, неподвижной завесой темнеет она на не обмытом дождями небосклоне. С каждым днем пустеют темно-коричневые завесы, поднимаются все выше в небо, словно кто-то постепенно возводит глухие стены по горизонту вокруг степей. Огромные перекати-поле, упруго подпрыгивая на открытых равнинах, катятся и катятся откуда-то с востока на Каховку. Могучие вихри ходят столбами по всей Таврии, ввинчиваясь в небо.

Задумчиво стояли на окраине Каховки, невдалеке от тракта, Мурашко и Баклагов, провожая глазами новобранцев. Щедрыми были для батюшки-царя облупленные саманные села Юга! Редко он, правда, вспоминал о всяких там своих чаплинцах, серогозцах, строгановцах и маячанах, заброшенных в безводную степь... Не слыхал, когда копали по ночам колодцы, не видел, когда зимой сгребали снег на околицах. Зато неизменно вспоминал о них при собирании податей, просыпалось в нем внимание к ним во времена лихолетья, когда надо было формировать полки, когда табунами выставляла Таврия к приему в Каховку крепких и загоревших своих сынов — чабанов и хлеборобов, солевозов и рыбаков, отрывая их от семей, от родных домов, чтоб ложились они потом где-то рядом с волгарями и сибиряками в братские могилы или возвращались домой в густых георгиевских крестах.

Рыдая, справляли проводы села. С песнями, то удальски-разгульными, то тоскливо-раздольными, тарахтели возы на Каховку.

В суровой задумчивости слушали рекрутскую тоску Мурашко и Баклагов, и мысли их были сейчас о живучей этой Каховке, что клокотала каждую весну дикими «людскими» ярмарками, что горела летом сыпучими огнями-песками, что заливалась ныне безысходно-разгульным, хватающим за душу пением будущих героев... Узлом сходились здесь, в Каховке, пути поколений. Суждено ей было стать вековым сгустком их песен и слез, тоски и веселья, самых горьких разочарований и чистых, как степные миражи, порывов.

Едут и едут... Из экономий, степных таборов, из бурых саманных сел... Кто из них вернется оттуда, с войны? И если вернется, то кем? Какую науку вынесут они с фронтов, каким языков после возвращения будут разговаривать с фальцфейнами, родзянками, ефименками?

— Все лето везли на Каховку... сено... шерсть... сливки... А теперь докатилось... эх!

Не договорил Баклагов. Но Мурашко и так было понятно, что думал его суровый и сдержанный друг. С торчащими усами и выпуклыми глазами из-под серых бровей Баклагов выглядел сегодня каким-то особенно колючим, сердитым. Казалось, недоволен он всеми и всем: возами, груженными людьми, каховскими облупленными мазанками, песчаной острой поземкой, что вьется под ногами и понемногу заметает где-то подвижнические его лозы... Солнце стояло высоко, но дню не хватало нормального света. В насыщенном пылью воздухе уже зловеще звенела необычная, характерная для предбурья горячая сухость. Трудно было дышать.

Иван Тимофеевич, заметно поседевший в столичных скитаниях, был и сейчас снаряжен по-дорожному: с рюкзаком за плечами, с палкой в руке. Вернувшись накануне из Питера с отклоненным проектом и переночевав у Баклагова, он собрался сейчас в Асканию, надеясь, что в дороге ему попадутся попутные подводы. Пока что шли они только из степи, и ни одна — в степь.

— Пойду,— сказал Мурашко, отряхнувшись.

Баклагов засопел.

— Переждал бы ты у меня, Тимофеевич... Видишь, надвигается...

Ветер подымал в степи волны пыли. Солнце светило тускло, без летнего блеска, небосклон на востоке без туч потемнел, стал похожим на поля: подпятые далекими бурями пески неподвижно висели в воздушном океане, развернувшись в полнеба.

Где-то за сотни верст от Каховки в эти дни уже бушевала черная буря. Накануне в южных газетах появились тревожные телеграммы из Ростова, в которых сообщалось, что ветер несет на город тучи пыли, что вблизи Таганрога Азовское море, отхлынув от берега, скрылось из виду, оголило на много верст морское дно. Суда в порту, сбившись в беспорядке, лежат на боку. Буря, черная буря вот-вот овладеет таврийским небом.

Все это имел в виду Баклагов, советуя приятелю переждать в Каховке, хотя и сам он на месте Мурашко вряд ли усидел бы тут, когда уже рукой было подать до семьи, до сада, до всего самого дорогого, что оставалось теперь у Ивана Тимофеевича и что ему, возможно, снова придется вскоре покидать (потому что уже, верно, и на него где-нибудь шьют военную шинель).

— Нет, Никифорович... Я еще успею проскочить,— ответил Мурашко, спокойно поглядывая в степь. — Там ведь ждут...

Голос его задрожал от глубоко скрытой нежности.

— Смотри, Тимофеевич...

Баклагов проводил приятеля до тракта, и там они распрощались.

Пошел вдоль шляха Мурашко.

Тяжело дышалось. Сухой воздух все высушивал в груди, кровь стучала в висках. И только ясный образ Светланы, то и дело наплывая с потемневшего небосклона и как бы притягивая к себе, придавал ему силы шаг за шагом идти вперед против ветра.

Незнакомые подводы бесконечным потоком катились навстречу. Ехали и ехали те, которые должны были строить его канал, поворачивать Днепр в степь.

— Серогозские, видать?

— Серогозские, дядя!.. Или грудь в крестах, или голова в кустах!..

Отчаянные, готовые на все парни задорно встряхивали чубами, сидя в обнимку на возах, которые, казалось, уже самим ветром катило на Каховку... Поспускали босые ноги с телег, поют... Хоть песнями щедро снаряжала Таврия

своих сынов в дорогу. Среди других песен везли новобранцы и ту — про машину, про свисточек! — сложенную неизвестной им девушкой-сезонницей в степи на косовице. Начиналась лирической девичьей тоской, переходила в рекрутское могучее отчаяние... «Налей, мамо, стакан рому, бо я еду до приему... Гей-гей, йо-ха-ха, бо я еду до приему...» Жгучей болью обдавало Мурашко это залихватское «йо-ха-ха» новобранцев...

Далекая дорога лежала перед Вутанькиной песней. Угорать ей в теплушках, мерзнуть ей в окопах, быть ей в Карпатах и в пущах Полесья!..

А в полдень поднялось то, что не раз поднималось ранними веснами и в конце лета над этим обездоленным, беззащитным краем. В кромешный ад превратилась открытая степь — заслоняя солнце, шла, проносилась с востока на запад черная буря.

Вся Таврия среди бела дня вдруг окуталась такими сумерками, что не щурясь можно было смотреть на солнце. Заревел по селам скот, заметались в степях разбросанные ветром отары. Казалось, все будет сметено в степи этим ураганом, все он сорвет, разрушит на своем пути, с корнями вырвет из земли зеленую Асканию и погонит ее комом, словно гигантское перекати-поле, до самого Днепра. Могуче сопротивлялся урагану асканийский лес. Кипел потемневшей листвой, пружинил жилистыми ветвями, гнулся, бился, скрипел всеми своими зелеными снастями, но держался среди открытых просторов, словно на крепком якоре.

С хоругвями встречали черную бурю степняки. Голосил асканийский хор мальчиков посреди многолюдной крестьянской процессии, которая остановилась у степного колодца с полуразрушенным срубом, с деревянным барабаном на столбе. Покачивались сухие бадьи на канатах. Не блестела внизу вода. Буря заметала колодец издалека принесенной пылью.

Запыленным, посеревшим табуном сбились вокруг сруба юные хористы, в натужном трагическом пении изнемогали Данько и Валерик. Не страх, а ненависть рождала в них эта разъяренная черная стихия, забивающая дыхание, на глазах заносящая колодец; словно воплотив в себе все беды и обиды жизни, слепо неслась она на них с дикой силой разгулявшихся пустынь. Мальчики пели, но не умоляли ее, а, как и другие, восставали против

нее всем существом, стараясь пересилить высвисты развихренного мрака своими высокими и дерзкими псалмами.

Все попряталось в степи — зверь и птица. Только возы с новобранцами безостановочно тарахтели по выметенным бурей трактам на Каховку, да пробивался где-то в тучах пыли против ветра одинокий Мурашко, да звенели в многотысячной крестьянской толпе у степного колодца юные чистые альты и дисканты, посылая свои бунтарские псалмы высокому тусклому солнцу.

Мело, крутило, бушевало, окутывая сумерками весь край. Не били в тот день звонари на сполох. Но, качаясь от ветра, колокола сами уже гудели по всей почерневшей безводной Таврии.

1951—1952

СОДЕРЖАНИЕ

ЗЕМЛЯ ГУДИТ. *Перевод И. Карабутенко* 7
ТАВРИЯ. *Перевод Л. Шапиро* 191

Гончар О.

Г 65 Собрание сочинений. В 5-ти томах. Т. 2. Земля гудит. Повесть. Таврия. Роман. Пер. с укр. И. Карабутенко и Л. Шапиро. М., «Худож. лит.», 1973

464 с.

Повесть Олеся Гончара «Земля гудит» (первоначально называвшаяся «Непокоренная Полтавчанка», 1947) рассказывает о подлинных событиях, о реально существовавших людях — о молодых полтавских подпольщиках. Повесть и поныне читается как один из интереснейших художественных документов, отражающих борьбу народных мстителей с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Роман «Таврия» (1952), также вошедший в этот том, повествует о жизни украинских батраков на юге Украины в предреволюционные годы.

0733—240 С(Укр)2
028(01)—74 Подп. изд.

Александр Терентьевич
ГОНЧАР
Собрание сочинений
Том 2

Редактор *С. Князева*

Художественный редактор
Г. Кудрявцев

Технический редактор
Л. Титова

Корректоры *З. Тихонова*
и *Н. Усольцева*

Сдано в набор 25/IV 1973 г. Подписано в печать 10/XII 1973 г. Бумага типографская № 1 84×108¹/₃₂. 14,5 печ. л. 24,36 усл. печ. л. 25,89 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 812. Цена 1 р. 20 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26